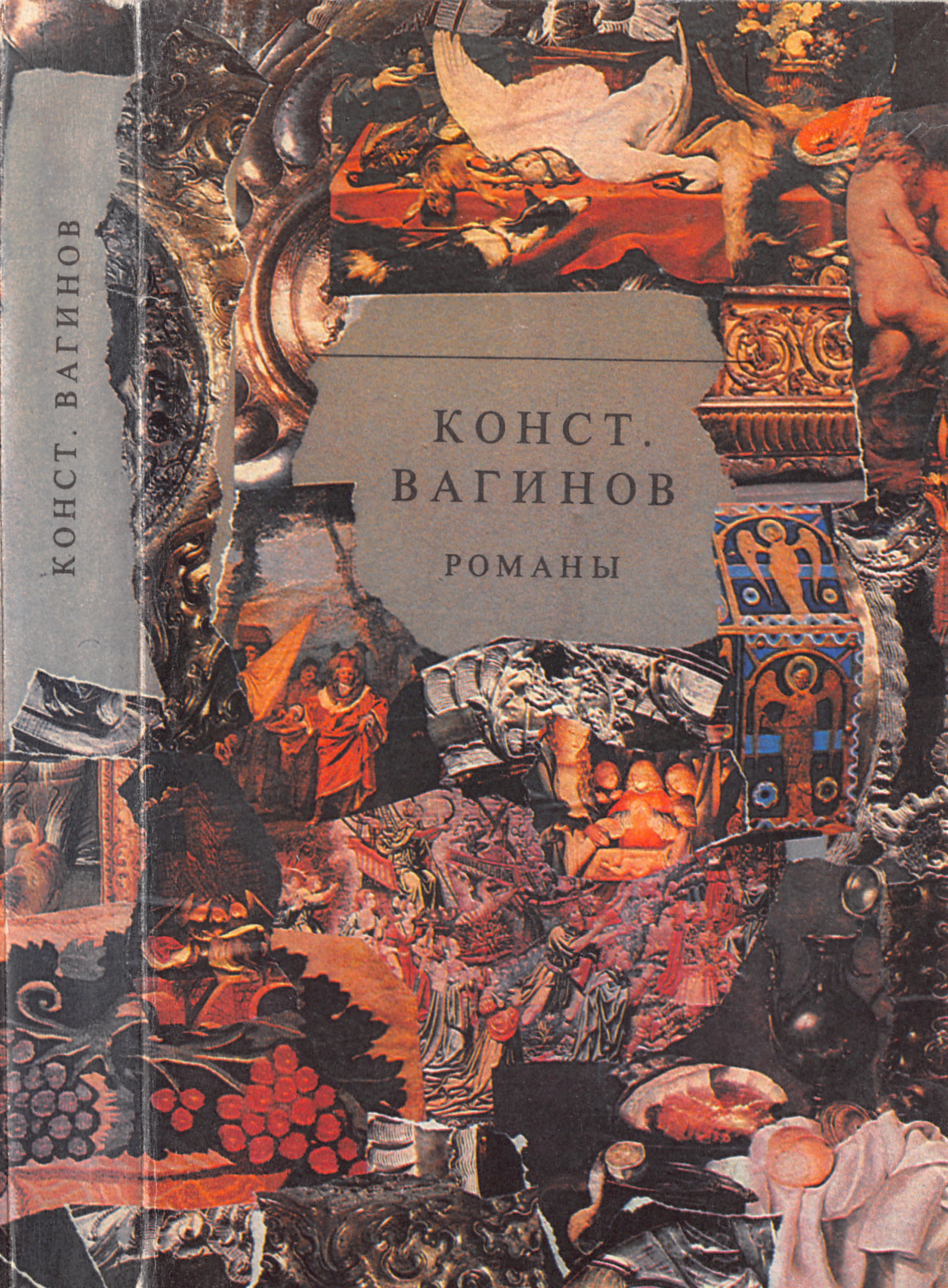


КОНСТ. ВАГИНОВ
КОНСТ.
ВАГИНОВ
РОМАНЫ

КОНСТ. ВАГИНОВ

КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ

ТРУДЫ И ДНИ СВИСТОНОВА

БАМБОЧАДА

ГАРПАГОНИАНА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ББК 84Р7
В12

Составление
А. И. ВАГИНОВОЙ

Вступительная статья
Т. Л. НИКОЛЬСКОЙ

Подготовка текста
Т. Л. НИКОЛЬСКОЙ и В. И. ЭРЛЯ

Оформление художника
А. СЕМЕНОВА

В $\frac{4702010201-248}{028(01)-91}$ 12-91

ISBN 5-280-01810-4

ТРАГЕДИЯ ЧУДАКОВ

В двадцатые годы имя Константина Вагинова было хорошо известно в литературных кругах Ленинграда. Его тонкую хрупкую поэзию ценили Н. Гумилев, М. Кузмин, О. Мандельштам. Едкая гротесковая проза Вагинова вызывала обостренный интерес читателей и нередко раздражение критики. После его смерти, последовавшей на тридцать пятом году жизни, 26 апреля 1934 года, газета «Литературный Ленинград» писала, что безвременная кончина писателя — большая потеря не только для друзей и близких, но и для всей советской литературы. Со второй половины тридцатых годов до середины шестидесятых творчество, да и само имя Вагинова было прочно забыто. Затем в мемуарах В. Каверина, Г. Гора, И. Бахтерева и немногих других имя писателя вновь прозвучало, но попытки переиздать его произведения на родине не увенчались успехом. Тем временем репринты двух сборников стихов и роман «Козлиная песнь» вышли в Америке, однотомное «Собрание стихотворений», подготовленное Л. Чертковым, в Германии, роман «Бамбочада» был переведен на итальянский язык и увидел свет в 1972 году в Турине с послесловием В. Страды, который ставил прозу Вагинова в один ряд с прозой А. Платонова и видел в их произведениях «реальные возможности иной литературы, иного творческого бытия в культурной и общественной жизни, по сравнению с уже угрожающе надвигавшимися».

В большинстве мемуаров и статей, в особенности в работах зарубежных славистов, Вагинов упоминается в первую очередь как член группы Объединение реального искусства — ОБЭРИУ, в одном ряду с Н. Заболоцким, Д. Хармсом и А. Введенским. Такое восприятие Вагинова несколько однобоко и не дает верного ключа к пониманию его творчества. Чтобы войти в мир вагиновской прозы, нужно представить себе литературное окружение писателя в различные периоды его недолгого жизненного пути и саму атмосферу культурной жизни Петрограда-Ленинграда двадцатых — начала тридцатых годов.

Константин Константинович Вагинов (Вагенгейм) родился в Петербурге 4(16) апреля 1899 года. Его отец Константин Адольфович Вагенгейм, из давно обрусевших немцев, был жандармским подполковником, а мать Любовь Алексеевна

владела в Петербурге несколькими домами. Тем не менее родители отдали учиться своего сына в славившуюся своими демократическими традициями гимназию Я. Гуревича, которую юноша закончил весной 1917 года. В старших классах Вагинов увлекался Э. По и Ш. Бодлером и в семнадцать лет сам стал писать стихи, в которых подражал автору «Цветов зла». В живописи он подобно многим своим современникам любил художников «Мира искусства» — К. Сомова, А. Бенуа, Л. Бакста. Отличало Вагинова от сверстников углубленное изучение античности, начавшееся с коллекционирования старинных монет. Любимым поэтом был Овидий, «Метаморфозы» которого послужили источником его многих стихов. Другой любимой с детства книгой была многотомная «История упадка и разрушения Римской империи» Э. Гиббона, в которой подробно рассказывалось о гибели памятников языческой культуры, пожаре знаменитой Александрийской библиотеки, превращении белых святых-богов римского пантеона — в черных. Реминисценции из сочинения Гиббона займут впоследствии важное место в романе «Козлиная песнь».

Летом 1917 года Вагинов поступил на юридический факультет Петроградского университета. Через несколько месяцев после Октябрьской революции был мобилизован в Красную Армию, воевал на польском фронте и за Уралом, а когда он вернулся в Петроград, там еще царствовал военный коммунизм. Город был голодным и пустынным. На Ростральных колоннах росла полынь. Старинные дворцы стояли с выбитыми стеклами. По ночам на улицах разводились костры, у которых грелись беспризорники. «Живу отшельником Екатерининский канал 105. За окнами растет ромашка, клевер дикий ⟨...⟩ из кукурузы хлеб, прогорклая вода. Телесный храм разрушили, в степях поет орда» — писал поэт, сопоставляя реальные картины «как бы повисшего над пропастью» фантастического города с известными ему по литературе картинами разрушенного Рима.

Творческая жизнь в голодном Петрограде била ключом. Повсюду открывались литературные и театральные студии. Действовали Дом искусств, Дом литераторов, Петроградский союз поэтов. Вагинова можно было видеть почти во всех поэтических кружках и салонах. Он занимался у Гумилева в студии Дома искусств, знаменитом Диске, воспетом в романе О. Форш «Сумасшедший корабль»; бывал на литературных понедельниках в квартире фотографа М. Наппельбаума, входил в «Кольцо поэтов им. К. Фофанова», вместе с Н. Тихоновым и С. Колбасьевым основал поэтическое объединение «Островитяне», перезнакомился почти со всем литературным Петроградом. Молодого поэта не смущало, что группы, в которые он

входил, часто недолюбливали друг друга. Прежде всего его интересовали люди, и в каждом из своих новых знакомых он находил для себя что-то интересное.

Сблизился Вагинов и с кружком М. А. Кузмина, поэта, прозаика и критика, совмещавшего любовь к «Миру искусства» с увлечением гностической философией и экспрессионизмом. Помимо самого Кузмина в этот неформальный кружок, собиравшийся, как правило, за чаем у своего мэтра, входили античник и драматург А. Пиотровский, режиссер С. Радлов, его жена поэтесса А. Радлова, прозаик Ю. Юркун, художник В. Дмитриев и еще несколько человек. В 1922 году они сгруппировались вокруг альманаха «Абраксас», выходившего под редакцией М. Кузмина и А. Радловой, в первом выпуске которого была напечатана первая поэтическая проза Вагинова «Монастырь Господа нашего Аполлона». Основная мысль этого небольшого произведения — необходимость сохранения подлинного искусства в условиях новой действительности — перекликается с лейтмотивом статьи Е. Замятина «Я боюсь», опубликованной двумя годами раньше в журнале «Дом искусств». В отличие от открытой публицистичности замятинской статьи, Вагинов сочетает элементы публицистики и сатиры с мифопоэтическим пластом, включая в ткань повествования и ряд практических советов по овладению литературным мастерством и по психологии творчества.

После публикаций в «Абраксасе» Вагинов в течение пяти лет выступал исключительно как поэт. В 1923—1926 годах он учился на литературном отделении Высших государственных курсов искусствоведения при Институте истории искусств, одновременно слушал лекции и на отделении искусствоведения. Среди его преподавателей были блестящие молодые ученые — Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, Б. Энгельгардт. Отношения студентов с преподавателями, многие из которых были лишь на несколько лет старше своих воспитанников, носили дружеский характер. После занятий все вместе гуляли по городу, спорили о литературе, читали стихи; часто студенты провожали преподавателей домой. В такой непринужденной атмосфере Вагинов знакомился с теориями общества по изучению поэтического языка — Опояза, занимался историей литературы.

В середине двадцатых годов Вагинов подружился с М. Бахтиным, работавшим тогда над проблемой мениппеи [1]. Много-

---

[1] Мениппова сатира — жанр античной литературы (от имени Мениппа — III в. до н. э.). Для мениппеи характерно смешение стихов и прозы, диалогическая форма, шутовской юмор, пародирование эпоса и трагедии.

численные беседы с ученым не прошли бесследно, отразившись на характере вагиновской прозы. Сблизился он и с кругом Бахтина — биологом И. Канаевым, литературоведами П. Медведевым и Л. Пумпянским,— последний делал доклад о творчестве поэта в квартире пианистки М. В. Юдиной. Но особенно близок ему был блестящий искусствовед И. Соллертинский, который часто бывал у него дома. Друзьями Вагинова стали и молодые ученые-античники А. Болдырев, А. Доватур, А. Егунов и А. Миханков, выпустившие в 1925 году в коллективном переводе роман Ахилла Татия Александрийского «Левкиппа и Клитофонт». Вагинов посещал семинары эллинистов, начал заниматься с А. Н. Егуновым греческим языком и даже пробовал переводить «Дафниса и Хлою» Лонга и «Любовные письма» Аристенеда.

Было у Вагинова, по натуре страстного коллекционера, много знакомых и среди ленинградских библиофилов. Его часто можно было встретить на книжных развалах на Литейном проспекте (тогда на проспекте Володарского), на Александровском рынке, располагавшемся на Вознесенском проспекте (ныне проспект Майорова) между Садовой улицей и набережной реки Фонтанки. На этот рынок в первые пореволюционные годы свозились остатки разграбленных и конфискованных библиотек великих князей, которые первоначально продавались на вес. Вагинову везло на книжные редкости — почти всегда он возвращался домой с каким-нибудь раритетом. Это могли быть «Аттические ночи» римского писателя Авла Геллия в переводе учеников славяно-греко-латинской академии или редкое издание «Записок англичанина, употреблявшего опиум» Де Квинси, почему-то приписывавшееся переводчиком Матюрену, автору «Мельмота-скитальца», стихи поэта испанского барокко Гонгоры, книги на старофранцузском и итальянском языках. Вагинов с детства знал французский язык, а старофранцузский и итальянский выучил, по рассказам его вдовы, стоя в очередях за продуктами. Начал он изучать и испанский язык.

Помимо книг он коллекционировал папиросные коробки, конфетные бумажки, этикетки от продуктов, по большей части безвкусные, словом, то, что получило впоследствии название кэмпа или китча. Собирал и городской фольклор — песни, которые пели беспризорники, частушки «с картинками», анекдоты и даже записи сновидений. Он хотел сохранить для потомков характерные черты эпохи, запечатленные в самых различных формах. Собирательство сталкивало Вагинова с множеством чудаков, среди которых встречались и коллекционеры, собиравшие окурки, и экзотические нищие и «бывшие люди»,

зарабатывающие себе на хлеб насущный исполнением жестоких романсов. Интерес к чудакам способствовал и его сближению с Д. Хармсом, одним из самых ярких театрализаторов жизни своего времени. В группе обэриутов, в которую Вагинов вступил в 1927 году, он стоял несколько особняком, как, впрочем, и во всех остальных группах. Вагинов выступал на знаменитом вечере обэриутов «Три левых часа», и во время его выступления танцевала балерина. Принимал он участие в ряде коллективных выступлений Объединения реального искусства, но его творчество и система поведения отличались от концептуальности ленинградских авангардистов, за которой он наблюдал со стороны со своей привычной иронией, о чем свидетельствует описание обэриутского вечера в его романе «Труды и дни Свистонова».

В 1927 году в ленинградском журнале «Звезда» был напечатан первый роман Вагинова «Козлиная песнь», вышедший в 1928 году отдельным изданием в ленинградском издательстве «Прибой». «Козлиная песнь», что по-гречески означает «трагедия»,— роман о петербургских интеллигентах, не сумевших найти себе места в новой действительности. Герои романа — ученый-эрудит Тептелкин, работающий по ночам над итоговым трудом своей жизни «Иерархия смыслов», и его друзья — неизвестный поэт, стихи которого понятны лишь узкому кругу ценителей, молодые люди Миша Котиков, собирающий материалы о недавно погибшем поэте Заэвфратском, и Костя Ротиков, коллекционирующий безвкусицу, мечтают через всю жизнь пронести бескорыстную любовь к искусству, остаться островком Ренессанса в живущем материальными интересами мире. Они собираются в Петергофе в высокой деревянной башне-даче Тептелкина, своего рода «башне из слоновой кости», и беседуют о возвышенном. Но справиться с окружающей бездуховностью друзья не в силах. Постепенно их круг распадается, забота о материальном благополучии берет верх над духовными запросами. Тептелкин женится, забрасывает свой сокровенный труд и зарабатывает чтением лекций на потребу дня; поклонник поэзии Заэвфратского выбирает прозаическую профессию зубного врача и становится супругом вдовы своего кумира. Неизвестный поэт, неспособный идти на компромисс, кончает жизнь самоубийством, понимая, что его стихи никому уже не нужны.

Ряд образов «Козлиной песни» восходит к ранней прозе Вагинова. Перед глазами собравшихся на башне возникает прекрасное видение, исчезающее, когда герои начинают спускаться по лестнице духовного конформизма. Островок Ренессанса — мечта Тептелкина — видоизменение монастыря

Аполлона. Для композиции «Козлиной песни» характерны временные сдвиги, лирические отступления. Сюжет романа размыт. Эпизоды жизни Тептелкина и его друзей перемежаются философскими рассуждениями неизвестного поэта, ироническими комментариями автора — выступающего как действующее лицо романа. Через всю книгу проходит тема театра на сцене жизни, декларативно сформулированная в авторском послесловии. В «Козлиной песни» много явных и скрытых цитат из поэтов серебряного века, античных и средневековых авторов. Концептуальную нагрузку несет неоднократно упоминаемая книга Шпенглера «Закат Европы», которой герои романа «переболели» в начале двадцатых годов. Иронизируя над шпенглеровской концепцией заката Европы, Вагинов в то же время прослеживает гибель старопетербургской культуры, как бы руководствуясь указанием немецкого философа-идеалиста, что, в отличие от античного мира, который умирал, не зная о своей неминуемой гибели, Европа будет следить за каждой стадией своего умирания пристальным взглядом опытного врача.

Первый роман писателя был встречен с интересом, подогревавшимся узнаваемостью прототипов многих героев книги. Некоторые знакомые Вагинова, узнав свои карикатурные портреты, обиделись на него, у других хватило чувства юмора, чтобы оценить дружеские шаржи. Погоня за выявлением прототипов заслонила для многих современников философскую проблематику произведения, его стилистические достоинства. Поэтому Вагинову, который подготавливал роман ко второму, так и не осуществившемуся изданию, пришлось в одном из вариантов нового предисловия обратиться к читателям с просьбой не идентифицировать писателя, действующего в романе, с живым автором и по возможности сравнивать героев книги с героями других литературных произведений, а не с реально существующими людьми.

Тип «романа с ключом», к которому относится «Козлиная песнь», был представлен в отечественной литературе двадцатых годов такими произведениями, как «Скандалист» В. Каверина, вышедший почти одновременно с «Козлиной песнью», дилогией Р. Ивнева «Любовь без любви» (1925) и «Открытый дом» (1927). Немного позже романы такого типа были созданы О. Форш («Сумасшедший корабль», 1931) и М. Булгаковым («Театральный роман», 1936—1937, опубликован в 1965 г.).

Вторая книга Вагинова, «Труды и дни Свистонова», вышедшая в «Издательстве писателей в Ленинграде» в 1929 году, — роман о создании романа. Многочисленные герои повествова-

ния — обыватели, старающиеся казаться интересными и значительными. Они стремятся попасть в роман писателя Свистонова, чтобы войти в историю, но его безжалостный глаз вскрывает мещанскую сущность этих людей. Слушая новое произведение модного писателя, прототипы ощущают себя раздетыми и разочаровываются не только в авторе, обманувшем их надежды, но и в самих себе. Один из героев — несостоявшийся писатель Куку, живущий по моделям литературных произведений. По этим же образцам он строит даже свой роман с любимой девушкой. Когда Свистонов предугадывает будущий ход этого романа, Куку понимает, что за него уже прожили жизнь. Он поневоле сбрасывает маску непризнанного таланта, перестает придавать своей внешности черты сходства с Пушкиным и, не зная, чем теперь заполнить свое существование, опускается. Другой герой, сплетник Психачев, навязывающийся в книгу Свистонова, играет роль Калиостро. Психачеву нужно быть властителем дум, хотя бы небольшого кружка стареющих поклонниц, чтобы хоть как-то оправдать свою неудавшуюся жизнь и нищенское существование. Давая читать роман обожающей отца дочери Психачева, Свистонов понимает, что лишает ее иллюзий, но не считает честным скрыть от девочки свой взгляд на советского Калиостро. Сам писатель Свистонов, названный одним из героев будущего романа Мефистофелем, производит эксперименты над людьми, которых он хочет вставить в книгу. Его не волнует, что живые люди, пусть даже мелкие и ничтожные, могут пострадать по его вине. Они для писателя лишь экспонаты коллекции. В поисках литературных натурщиков он расширяет круг знакомств, входит в доверие, а затем, когда книга написана, теряет интерес к ним.

Утрируя теорию раннего Опояза об искусстве как совокупности приемов, Вагинов показывает процесс построения литературного произведения как механической конструкции. Один прием, которым пользуется Свистонов,— перенесение в роман списанных с натуры людей; другой — литературный коллаж. Цитаты из книг, газетные объявления служат Свистонову материалом, из которого с помощью ножниц и клея и небольших связующих вставок умело монтируется новое произведение. Вагинов показывает, что искусство, лишенное души, опустошает душу своего создателя. Когда Свистонов окончил свое творение, мир стал для него пустым, и писатель сам перешел в свой роман.

«Труды и дни Свистонова» — экспериментальное по замыслу произведение, построенное на злободневном материале. В книге иронически описываются будни ленинградских писате-

лей, один из вечеров обэриутов «Три левых часа». Сатирические зарисовки быта, жанровые сценки соседствуют с описанием книжных раритетов из библиотеки Свистонова, документальными текстами курьезных статей девятнадцатого века. Восприятие литературы прошлого современным сознанием составляет отдельный пласт книги. Тип романа о романе принадлежит к экспериментальным. Из современников Вагинова опыт создания такого произведения был сделан французским писателем А. Жидом. Его роман «Болото», написанный в начале тридцатых годов, по мнению югославской исследовательницы Вагинова Д. Угрешич, имеет ряд точек соприкосновения с романом «Труды и дни Свистонова».

Третий роман писателя, «Бамбочада», вышедший в «Издательстве писателей в Ленинграде» в 1931 году, пронизан добродушной иронией, соседствующей с элегической грустью. В романе изображены безобидные чудаки. Главный герой — Евгений Фелинфлеин, любитель путешествий, приключений, подчас граничащих с аферами, в равной мере способный на бескорыстие и на обман, воспринимающий весь окружающий его мир как «фантастический бытовой театр». Талантливый дилетант, знаток современного и старого искусства, способный музыкант-авангардист, Евгений абсолютно лишен чувства ответственности за свои поступки. Ему ничего не стоит стянуть браслетку у своей очередной невесты для того, чтобы на вырученные деньги принести ей деликатесы и приготовить изысканный обед. Фелинфлеин порхает по жизни, меняя жен, собирая книжные курьезы, развлекая себя наблюдением за нравами столичных и провинциальных обывателей. Лишь смертельно заболев, он начинает понимать, что жизнь прошла, так и не успев начаться, что он ничего не успел и уже не успеет сделать.

Если для Евгения мир — скопище курьезов, для его друга инженера Торопуло окружающее ценно лишь своей материальной, вкусовой стороной. Фанатично увлеченный кулинарией, Торопуло собирает поваренные книги на всех языках мира, учит иностранные языки, чтобы иметь возможность прочесть рецепты экзотических блюд, в совершенстве владеет поварским искусством и устраивает для своих друзей тщательно продуманные гурманские обеды, сопровождая трапезы лекциями о гастрономическом искусстве. Через призму кулинарии этот потомок Лукулла воспринимает живопись, музыку и поэзию. Гедонисту Торопуло противостоит бухгалтер Ермилов,— отец трагически погибшей балерины Вареньки. Свою жизненную миссию Ермилов видит в том, чтобы рассказать о Вареньке как можно большему числу людей. Для этого он ходит по

гостям, развлекает новых знакомых разнообразными историями, чтобы перейти в конце к рассказу о своей бедной дочери. История Вареньки Ермиловой была хорошо знакома читателям романа. Под именем Вареньки Вагинов вывел известную в двадцатые годы балерину Лидочку Иванову (1903—1924), которая в восемнадцать лет окончила балетное училище по классу Вагановой и с блеском выступала на сцене Мариинского театра. О выдающемся мастерстве юной танцовщицы неоднократно писал в петроградской прессе балетный критик А. Волынский. В июне 1924 года Л. Иванова утонула во время аварии моторной лодки, на которой она каталась в кругу своих поклонников. Гибелью артистки были потрясены не только балетные круги, но и все ее знавшие. Некрологи написали М. Кузмин, Н. Никитин, М. Зощенко и другие писатели. Герои «Бамбочады» имеют не только реальных прототипов, но и литературную родословную. Так образ Фелинфлеина восходит к плутовскому роману XVIII века, а Ермилов продолжает линию «маленьких людей», с теплотой описанных русской литературой XIX века.

Большое место в структуре романа занимают вставные новеллы, не связанные с сюжетом. Этот прием Вагинов заимствует из «Декамерона» Боккаччо и «Гептамерона» Маргариты Наваррской. В текст «Бамбочады» включены дневниковые записи, рекламные объявления, меню ресторанов. Такие документальные вставки были характерны для художественных исканий советской прозы начала двадцатых годов.

В последние годы жизни Вагинов работал над романом «Гарпагониана», в котором на втором плане присутствуют герои «Бамбочады» Торопуло, Пуншевич и Ермилов, организовавшие общество собирания мелочей уходящего быта, к которым принадлежат хранящиеся у Торопуло меню и конфетные обертки, этикетки от спичечных коробков, названия артелей типа «Красная синька». Если Торопуло и Пуншевич, подобно самому Вагинову, пытаются спасти от уничтожения предметы материальной культуры, другие коллекционеры, изображенные в романе, преследуют иные, менее благородные, цели. «Старый юноша» Локонов, не приспособленный к реальной жизни, собирает сновидения, чтобы погрузиться в мир грез, забыть о том, что он живет на средства престарелой матери. Для спившегося авантюриста Анфертьева предметы коллекционирования — средство заработка. Он по дешевке скупает на базаре старый хлам, который перепродает собирателям. Для систематизатора Жулонбина главное наслаждение доставляет сам процесс накопления. В этом он сродни мольеровскому Гарпагону, имя которого, ставшее нарицательным, вошло в название

романа. Вагинов широко вводит в «Гарпагониану» фольклор улицы — анекдоты, макаберные истории, городские романсы. Роман насыщен вставными новеллами, которые замедляют ход повествования, способствуют созданию лишенной кислорода атмосферы тридцатых годов, чувства безысходности. Вагинов писал «Гарпагониану» будучи смертельно больным. Отчасти и этим объясняется мрачный колорит романа.

Незадолго до смерти он задумал новую книгу — о революции 1905 года. Замысел романа родился у него во время сбора материала по истории Нарвской заставы, вошедшего в изданную в 1933 году книгу «Четыре поколения» из серии сборников по истории фабрик и заводов. Черновики романа до нас не дошли.

Мир многослойной прозы Вагинова — интересное и самобытное явление в литературном процессе двадцатых годов. Бытовой пласт соседствует в его произведениях с культурологическим и философско-историческим. Чтобы понять все реминисценции и аллюзии, которыми насыщены его романы, нужно знать литературу начала века и средневековья, позднюю античность и литературный быт двадцатых годов. Мотивы маниакальности и психопатологии, раздвоения личности и пророчеств, характеризующие поведение участников шутовского хоровода, в котором кружатся герои его книг, совпадают с тем, что М. Бахтин определил термином «мениппея». Сам же ученый в частных беседах высоко отзывался о карнавальной стихии романов Вагинова. Однако вряд ли можно согласиться с мнением итальянского исследователя Л. Палеари, считающего романы Вагинова экспериментально-практическим подтверждением теории Бахтина. Вагиновское творчество нельзя рассматривать в отрыве от литературы его времени. Нельзя забывать и о том, что сама действительность двадцатых годов была настолько фантастичной, насколько фантастичным было само время. Гротесковый быт той поры отражен в произведениях М. Булгакова, С. Заяицкого, М. Зощенко, Л. Лунца и многих других писателей, имена которых мало что говорят сегодняшнему читателю. Для прозы двадцатых годов, в особенности для ленинградской прозы, был характерен интерес к необычным героям, сочетанию фантастики гофмановского типа с идущим от Достоевского психологизмом. Из малоизвестных произведений такого рода, представляющих интерес и сегодня, назовем первые романы Л. Борисова «Ход конем» и «Аквариум», раннюю прозу М. Козакова, в особенности его «Повесть о карлике Максе», рассказы совершенно забытого до последних лет писателя Н. Баршева.

Сиюминутная злободневность, вызывавшая порой скандальный интерес к романам Вагинова, ушла в прошлое. Но злобо-

дневна и сегодня гуманистическая направленность его прозы, призыв писателя к верности идеалам искусства и его предупреждение об опасности безответственности, равно как и конформизма. Любовно изображенные писателем «мелочи уходящего быта» сейчас, когда этот быт действительно ушел в прошлое, представляют интерес для характеристики эпохи.

Творческие искания Вагинова плодотворно рассматривать и в контексте исканий европейской литературы. Так, «Козлиную песнь» еще в двадцатые годы сопоставляли с «Контрапунктом» и «Шутовским хороводом» О. Хаксли. В наше время итальянский ученый К. Риччо отметил, что такой герой, как Свистонов, «мог бы послужить отправной точкой для вавилонской библиотеки аргентинца Борхеса».

Переиздание романов Вагинова, выходивших при жизни писателя маленькими тиражами и давно ставших библиографической редкостью, даст возможность читателям открыть для себя творчество рано ушедшего из жизни талантливого мастера слова, а широкому кругу филологов ввести его тексты в научный оборот. Таким образом, будет восстановлена историческая справедливость и имя писателя займет наконец достойное место в истории отечественной литературы.

Т. Никольская

КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ,

ПРОИЗНЕСЕННОЕ ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ АВТОРОМ

Петербург окрашен для меня с некоторых пор в зеленоватый цвет, мерцающий и мигающий, цвет ужасный, фосфорический. И на домах, и на лицах, и в душах дрожит зеленоватый огонек, ехидный и подхихикивающий. Мигнет огонек — и не Петр Петрович перед тобой, а липкий гад; взметнется огонек — и ты сам хуже гада; и по улицам не люди ходят: заглянешь под шляпку — змеиная голова; всмотришься в старушку — жаба сидит и животом движет. А молодые люди каждый с мечтой особенной: инженер обязательно хочет гавайскую музыку услышать, студент — поэффектнее повеситься, школьник — ребенком обзавестись, чтоб силу мужскую доказать. Зайдешь в магазин — бывший генерал за прилавком стоит и заученно улыбается; войдешь в музей — водитель знает, что лжет, и лгать продолжает. Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя.

ПРЕДИСЛОВИЕ,

ПРОИЗНЕСЕННОЕ ПОЯВИВШИМСЯ АВТОРОМ

Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается — автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер. Покажешь ему гробик — сейчас постукает и узнает, из какого материала сделан, как давно, каким мастером, и даже родителей покойника припомнит. Вот сейчас автор готовит гробик двадцати семи годам своей жизни. Занят он ужасно. Но не думайте, что с целью какой-нибудь гробик он изготовляет, просто страсть у него такая. Поведет носиком — трупом пахнет; значит, гроб нужен. И любит он своих покойников, и ходит за ними еще при жизни, и ручки им жмет, и заговаривает, и исподволь доски заготовляет, гвоздики закупает, кружев по случаю достает.

Глава I

ТЕПТЁЛКИН

В городе ежегодно звездные ночи сменялись белыми ночами. В городе жило загадочное существо — Тептелкин. Его часто можно было видеть идущего с чайником в общественную столовую за кипятком, окруженного нимфами и сатирами. Прекрасные рощи благоухали для него в самых смрадных местах, и жеманные статуи, наследие восемнадцатого века, казались ему сияющими солнцами из пентелийского мрамора. Только иногда подымал Тептелкин огромные, ясные глаза свои — и тогда видел себя в пустыне.

Безродная, клубящаяся пустыня, принимающая различные формы. Подымется тяжелый песок, спиралью вьется к невыносимому небу, окаменевает в колонны, песчаные волны возносятся и застывают в стены, приподнимется столбик пыли, взмахнет ветер верхушкой — и человек готов, соединятся песчинки, и вырастут в деревья, и чудные плоды мерцают.

Одним из самых непрочных столбиков пыли была для Тептелкина Марья Петровна Далматова. Одетая в шумящее шелковое платье, являлась она ему чем-то неизменным в изменчивости. И когда он встречался с ней, казалось ему, что она соединяет мир в стройное и гармоническое единство.

Но это бывало только иногда. Обычно Тептелкин верил в глубокую неизменность человечества: возникшее раз, оно, подобно растению, приносит цветы, переходящие в плоды, а плоды рассыпаются на семена.

Все казалось Тептелкину таким рассыпавшимся плодом. Он жил в постоянном ощущении разлагающейся оболочки, сгнивающих семян, среди уже возносящихся ростков.

Для него от сгнивающей оболочки поднимались тончайшие эманации, принимавшие различные формы.

В семь часов вечера Тептелкин вернулся с кипятком

в свою комнату и углубился в бессмысленнейшее и ненужнейшее занятие. Он писал трактат о каком-то неизвестном поэте, чтоб прочесть его кружку засыпающих дам и восхищающихся юношей. Ставился столик, на столик лампа под цветным абажуром и цветок в горшочке. Садились полукругом, и он то поднимал глаза в восхищении к потолку, то опускал к исписанным листкам. В этот вечер Тептелкин должен был читать. Машинально взглянув на часы, он сложил исписанные листки и вышел. Он жил на второй улице Деревенской Бедноты. Травка росла меж камней, и дети пели непристойные песни. Торговка блестящими семечками долго шла за ним и упрашивала его купить остаток. Он посмотрел на нее, но ее не заметил. На углу он встретился с Марьей Петровной Далматовой и Наташей Голубец. Перламутровый свет, казалось ему, исходил от них. Склонившись, он поцеловал у них ручки.

Никто не знал, как Тептелкин жаждал возрождения.— Жениться хочу,— часто шептал он, оставаясь с квартирной хозяйкой наедине. В такие часы лежал он на своем вязаном голубом одеяле, длинный, худой, с седеющими сухими волосами. Квартирная хозяйка, многолюбивая натура, расплывшееся горой существо, сидела у ног его и тщетно соблазняла пышностью своих форм. Это была сомнительная дворянка, мнимо владевшая иностранными языками, сохранившая от мысленного величия серебряную сахарницу и гипсовый бюст Вагнера. Стриженая, как почти все женщины города, она, подобно многим, читала лекции по истории культуры. Но в ранней юности она увлекалась оккультизмом и вызывала розовых мужчин, и в облаке дыма голые розовые мужчины ее целовали. Иногда она рассказывала, как однажды нашла мистическую розу на своей подушке и как та превратилась в испаряющуюся слизь.

Она подобно многим согражданам любила рассказывать о своем бывшем богатстве, о том, как лакированная карета, обитая синим стеганым атласом, ждала ее у подъезда, как она спускалась по красному сукну лестницы и как течение пешеходов прерывалось, пока она входила в карету.

— Мальчишки, раскрыв рты,— рассказывала она,— глазели. Мужчины, в шубах с котиковыми воротниками, осматривали меня с ног до головы. Мой муж, старый

полковник, спал в карете. На запятках стоял лакей в шляпе с кокардой, и мы неслись в императорский театр.

При слове «императорский» нечто поэтическое просыпалось в Тептелкине. Казалось ему — он видит, как Авереску в золотом мундире едет к Муссолини, как они совещаются о поглощении Юго-Славского государства, об образовании взлетающей вновь Римской империи. Муссолини идет на Париж и завоевывает Галлию. Испания и Португалия добровольно присоединяются к Риму. В Риме заседает Академия по отысканию наречия, могущего служить общим языком для вновь созданной империи, и среди академиков — он, Тептелкин. А хозяйка, сидя на краю постели, все трещала, пока не вспоминала, что пора идти в Политпросвет. Она вкладывала широкие ступни в татарские туфли и, колыхаясь, плыла к дверям. Это была вдова капельмейстера Евдокия Ивановна Сладкопевцева.

Тептелкин поднимал свою седеющую, сухую голову и со злобой смотрел ей вслед.

«Никакого дворянского воспитания,— думал он.— Пристала ко мне, точно прыщ, и работать мешает».

Он вставал, застегивал желтый китайский халат, купленный на барахолке, наливал в стакан холодного черного чаю, размешивал оловянной ложечкой, доставал с полки томик Парни и начинал сличать его с Пушкиным.

Окно раскрывалось, серебристый вечер рябил, и казалось Тептелкину: высокая, высокая башня, город спит, он, Тептелкин, бодрствует. «Башня — это культура,— размышлял он,— на вершине культуры — стою я».

— Куда это вы все спешите, барышни? — спросил Тептелкин, улыбаясь.— Отчего не заходите на наши собрания? Вот сегодня я сделаю доклад о замечательном поэте, а в среду, через неделю, прочту лекцию об американской цивилизации. Знаете, в Америке сейчас происходят чудеса; потолки похищают звуки, все жуют ароматическую резину, а на заводах и фабриках перед работой орган за всех молится. Приходите, обязательно приходите.

Тептелкин солидно поклонился, поцеловал протянутые ручки, и барышни, стуча каблучками, скрылись в пролете.

Гулял ли Тептелкин по саду над рекой, играл ли в винт за зеленым столом, читал ли книгу,— всегда рядом с ним стоял Филострат. Неизреченной музыкой было полно все существо Филострата, прекрасные юношеские глаза под крылами ресниц смеялись, длинные пальцы, унизанные кольцами, держали табличку и стиль. Часто шел Филострат и как бы беседовал с Тептелкиным.

— Смотри,— казалось Тептелкину, говорил он,— следи, как Феникс умирает и возрождается.

И видел Тептелкин эту странную птицу с лихорадочными женскими ориентальными глазами, стоящую на костре и улыбающуюся.

Иногда Тептелкина навещал сон: он сходит с высокой башни своей, прекрасная Венера стоит посредине пруда, шепчется длинная осока, восходящая заря золотит концы ее и голову Венеры. Чирикают воробьи и прыгают по дорожкам. Он видит — Марья Петровна Далматова сидит на скамейке и читает Каллимаха и подымает полные любви очи.

— Средь ужаса и запустения живем мы,— говорит она.

ИНТЕРМЕДИЯ

На проспекте 25 Октября благовоспитанные молодые люди, Костя Ротиков и Миша Котиков, прислонившись к чугунным перилам, протянули друг другу зажженные спички.

В прежние времена, в более поздний час не менее благородные молодые люди мчали венгерку и мазурку, подыгрывая музыку на губах. Как известно, в прежние времена проспект пустел совершенно после трех часов ночи. Фонари гасли, и ищущие субъекты и играющие задами женщины исчезали в соответствующих заведениях.

Но сейчас около девяти часов. По крайней мере часы на бывшей городской думе, а теперь на третьеразрядном кинематографе, показывают без десяти минут девять. Но молодые люди стояли не против бывшей городской думы, а на мосту под вздыбленным конем и голым солдатом, так, по крайней мере, казалось им.

Глава II

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ НЕИЗВЕСТНОГО ПОЭТА

1916 г.— На этом-то проспекте, на западный манер провел неизвестный поэт свою юность. Все в городе ему казалось западным — и дома, и храмы, и сады, и даже бедная девушка Лида казалась ему английской Анной или французской Миньоной.

Худенькая, с небольшим белокурым хохолком на голове, с фиалковыми глазками, она бродила между столиков в кафе под модную тогда музыку и подсаживалась к завсегдатаям нерешительно. Некоторые ее угощали кофе, сваренным вместе со сливками, другие шоколадом с пеной и двумя бисквитами, третьи — просто чаем с лимоном. Люди во фраках с салфеткой под мышкой, проходя, обращались к ней на «ты» и, склонившись, шептали на ухо непристойность.

В этом кафе молодые люди мужеского пола уходили в мужскую уборную не затем, зачем ходят в подобные места. Там, оглянувшись, они вынимали, сыпали на руку, вдыхали и в течение некоторого времени быстро взмахивали головой, затем, слегка побледнев, возвращались в зало. Тогда зало переменялось. Для неизвестного поэта оно превращалось чуть ли не в Авернское озеро, окруженное обрывистыми, поросшими дремучими лесами, берегами, и здесь ему как-то явилась тень Аполлония.

1907 г.— Толпы гуляющих двигались неторопливо. В белоснежных, голубых, розовых колясках сидели, лежали, стояли дети. Влюбленные гимназисты провожали влюбленных гимназисток. Продавцы предлагали парниковые, пахнущие дешевыми духами фиалки и качающиеся нарциссы. Буржуа возвращались с утренней прогулки на острова — в ландо, обитых синим или коричневым сукном, в шарабанах, в колясках, запряженных вороной или серой парой. Изредка мелькали кареты, в них виднелись старушечьи носы и подбородки. Они подъезжали, сбегал швейцар и почтительно открывал дверцу. Неизвестный поэт часто ездил в таких экипажах. Сидела мать, женщина задумчивая, бледная, на козлах вырисовывался круп кучера, на коленях у матери лежали цветы или коробка конфет, мальчику было лет семь, любил он балет, любил он лысые головы сидящих

впереди и всеобщую натянутость и нарядность. Он любил смотреть, как мама пудрится перед зеркалом, перед тем как ехать в театр, как застегивает обшитое блестками платье, как она открывает зеркальный створчатый шкаф и душит платок. Он, одетый в белый костюм, обутый в белые лайковые сапожки, ждал, когда мама окончит одеваться, расчешет его локоны и поцелует.

1913 г.— Семья сидела за круглым столом, освещенная морозным, красным солнцем. В соседней комнате топилась печь, и слышно было, как дрова трещали. За окнами была устроена снежная гора, и видно было, как дворовые дети неслись с высоты на санках.

После завтрака будущий неизвестный поэт пошел с гувернером в банкирскую контору Копылова. Копылов издавал журнал «Старая монета». У него в конторе стояли небольшие дубовые шкафики с выдвижными полочками, обитыми синим бархатом, на бархате лежали статеры Александра Македонского, тетрадрахмы Птолемеев, золотые, серебряные динарии римских императоров, монеты Босфора Киммерийского, монеты с изображениями: Клеопатры, Зенобии, Иисуса, мифологических зверей, героев, храмов, треножников, трирем, пальм; монеты всевозможных оттенков, всевозможных размеров, государств — некогда сиявших, народов — некогда потрясавших мир или завоеваниями, или искусствами, или героическими личностями, или коммерческими талантами, а теперь не существующих. Гувернер сидел на кожаном диване и читал газету, мальчик рассматривал монеты. На улице темнело. Над прилавком горела лампочка под зеленым колпаком. Здесь будущий неизвестный поэт приучался к непостоянству всего существующего, к идее смерти, к перенесению себя в иные страны и народности. Вот, взнесенная шеей, голова Гелиоса, с полуоткрытым, как бы поющим ртом, заставляющая забыть все. Она наверно будет сопутствовать неизвестному поэту в его ночных блужданиях. Вот храм Дианы Эфесской и голова Весты, вот несущаяся сиракузская колесница, а вот монеты варваров, жалкие подражания, на которых мифологические фигуры становятся орнаментами, вот и средневековье, прямолинейное, фанатическое, где вдруг, от какой-нибудь детали, пахнёт, сквозь иную жизнь, солнцем.

И все новые и новые появляются ящички.

Гувернер прочел всю газету. За окнами горят фонари.

— Пора,— говорит он,— не то мы опоздаем к обеду.

Купленные монеты опускаются в отдельные конвертики, конвертики в большой конверт.

Придя домой, мальчик доставал лупу, огромную как круглое окно, садился на дубовый табурет перед столом, раскладывал приобретенные монеты и совершал путешествия во времени, пока не проходил мимо комнаты отец в бухарском халате в столовую и горничная не забегала сказать:

— Кушать подано.

После обеда отец отправлялся в кабинет, обставленный книжными шкафами, соснуть часок-другой на ковровом диване. В шкафах помещались великолепные книги, которые можно было встретить в любом интеллигентном семействе: приложение к «Ниве», страшнейшие романы Крыжановской, возбуждающий бессонницу граф Дракула, бесчисленный Немирович-Данченко, иностранные беллетристы на русском языке. Были и научные книги: «Как устранить половое бессилие», «Что нужно знать ребенку», «Трехсотлетие Дома Романовых».

В девять часов вечера отец облекался в форму, душился и уезжал в клуб,

После отъезда отца в кабинете появлялся будущий неизвестный поэт, садился на диван, на ковре расстилалась карта, на диване разбрасывался Гиббон и всяческая археология. В соседней комнате, в гостиной, мать играла «Молитву Девы». В своей комнате младший брат читал Нат-Пинкертона, в комнате неизвестного поэта гувернер надевал сапоги, напевая шансонетку,— он шел поразвлечься после трудового дня; на кухне денщик сажал на колени горничную, та — ржала.

1917 г.— Неизвестному поэту было 16 лет, Лиде 18, когда они встретились. Она тогда лишь изредка появлялась в кафе. Иногда она говорила, что она гимназистка, и вспоминала поездку на лихаче, тишайшую ночь, проносящиеся дома, мелькающие деревья и кабинет ресторана, офицеров, звон бокалов и как она плакала на диване, утирая слезы краем черного передника. Иногда она рассказывала, что была влюблена в студента, белоподкладочника, и как он уступил ее своим товарищам.

Иногда она говорила, что ее обесчестил женатый человек, лицо, уважаемое в городе, с длинной седой бородой, любящее гулять вечером по Летнему саду.

Неизвестный поэт оторвался от чтения, от расставления книг по полкам, от рассматривания монет. Был третий час ночи. Мимо портьер, наглухо опущенных, по черной лестнице он сошел на пустынный двор, ослепительно освещенный огромным висячим фонарем. Удивленный дворник выпустил его из-под ворот и видел, как юноша убегает по широкой улице по направлению к Невскому. Шел дождь мелкий, косой. На ступеньках подъезда, разложив подаренные им ей в прошлую ночь атласные карты, сидела Лида, прислонившись к дверям. Она дремала, полураскрыв рот. Неизвестный поэт сел рядом, посмотрел на ее девичье лицо, на тающий снег вокруг, на часы над головой, достал белое, искрящееся из кармана, отвернулся к стене, особое звучание, похожее на протяжное «о», переходящее в «а», казалось ему, понеслось по улицам. Он видел — дома сузились и огромными тенями пронзили облака. Он опустил глаза,— огромные красные цифры фонаря мигают на панели. Два — как змея, семь — как пальма.

Разложенные карты притягивают его глаза. Фигуры оживают и вступают с ним в неуловимое соотношение. Он связан с картами, как актер с кулисами; он быстро будит Лиду и, по странной иронии, начинает играть с ней в дурачка; пятерки карт дрожат в их руках, пока в глазах не темнеет, ветер мешает, они отворачиваются к стене; дождь переходит в порхающий мягкий тающий снег. Они защищены навесом.

Карты ему кажутся ужасом и пустотой. Скоро начнет просыпаться город.

— В чайную, в чайную скорей! — говорит Лида,— я совсем застыла за эту проклятую ночь! Неужели ты не мог прийти раньше и увезти меня в гостиницу! Я бы проспала как убитая! я ведь третью ночь на улице! Нет ли у тебя денег, может быть, мы найдем пустую комнату.

— Что ты, Лида! в пять часов все гостиницы переполнены, нас никуда не впустят!

— Тогда идем скорей, скорей в чайную. Меня мучит тоска. Боже мой, скорей, скорей идем в чайную!

Он посмотрел на ее совершенно белое лицо, на рас-

ширенные зрачки; сколько внутренних лет сидит он здесь, что означает фонарь, что знаменует собой снег и что значит он, появившийся на проспекте?

Цветы любви, цветы дурмана...

неожиданно запела Лида, отступив от подъезда. Проходил какой-то забулдыга; он посмотрел на них иронически. Неизвестный поэт и Лида, сквозь завесу колющего снега, пошли. Карты лежали забытые на подъезде.

Ночная чайная гремела. Проститутки, в платках, в ситцевых платьях, смотрели нагло и вызывающе. На бледных лицах непойманных воров мигали глаза и бегали по углам, на круглых столах стоял чай невыносимого, как заря, цвета. Неизвестный поэт и Лида появились в дверях. Ночь отошла.

Проспект 25 Октября носил в те времена иное название. Украшенный круглыми ослепительными электрическими фонарями, в то время как окружающие его улицы и переулки мерцали от газового освещения, простирал он между домами дворцы, церкви и казенные здания. Сквозь стекла окон и дверей можно было видеть белоснежные лестницы с коврами нежнейшей окраски, портьеры, играющие шелками, столики из всевозможных материалов, кресла и диваны всевозможных форм. Иногда, в длинных залах, под потолками, с несущимися по воздуху амурами, молодые люди просиживали ночи напролет, глядя помертвевшими глазами в пространство.

Сергей К. сидел в своей комнате, разделенной надвое шкафами с французскими книгами. В столовой, сохранившей следы восемнадцатого века, было тихо — семья, вплоть до бабушки, уже отпила вечерний чай и разбрелась по своим комнатам. Бабушка, должно быть, в это время снимала свою наколку перед зеркалом, или, может быть, мазала руки на ночь какой-нибудь пастой, или освобождала себя от корсета с помощью своей горничной; мать, должно быть, писала своей подруге в Париж, или, может быть, перечитывала свой девичий альбом, или распускала волосы перед зеркальным шкафом, в то время как ее горничная опускала шторы. Отец в это время подъезжал к яхт-клубу на

Морской, чтоб провести ночь за зеленым столом, или, может быть, входил в ресторан Кюба, чтоб встретиться там с одной из полночных див.

Часы в столовой пробили одиннадцать. Раздался звонок, вошел неизвестный поэт, и друзья отправились.

Луна и звезды прояснились над городом. Поскрипывал снег, гудели белые от света, наполненные земгусарами, трамваи, кинематографы предлагали зрелища, личности под воротами — порнографические книжки и карточки, трусцой на извозчиках ехали парочки, таксомоторы двигались, приготовляясь нестись.

На панелях кучками стояли, ходили, подтанцовывали женщины с раскрашенными лицами.

Неизвестный поэт остановился.

— Вспомни вчерашнюю ночь,— повернул он свое, с нависающим лбом, с атрофированной нижней частью, лицо к Сергею К.,— когда Нева превратилась в Тибр, по садам Нерона, по Эсквилинскому кладбищу мы блуждали, окруженные мутными глазами Приапа. Я видел новых христиан, кто будут они? Я видел дьяконов, раздатчиков хлебов, я видел неясные толпы, разбивающие кумиры. Как ты думаешь, что это значит, что это значит?

Неизвестный поэт смотрел в даль.

На небе перед ним постепенно выступал страшный, заколоченный, пустынный, поросший травой город — друзья шли по освещенной, жужжащей, стрекочущей, напевающей, покрикивающей, позванивающей, поблескивающей, поигрывающей улице, среди ничего не подозревавшей толпы.

1918—1920 гг.— На снежной горе, на Невском, то скрываемый вьюгой, то вновь появляющийся, стоит неизвестный поэт: за ним — пустота. Все давно уехали. Но он не имеет права, он не может покинуть город. Пусть бегут все, пусть смерть, но он здесь останется и высокий храм Аполлона сохранит. И видит он — вокруг него образуется воздушный снежный храм и он стоит над расщелиной.

Неизвестный поэт и Сергей К. шли по коврам фойе на цыпочках. С некоторых пор они чувствовали боль в затылках.

На постах стояли милиционерки, театрально отставив ножку, лущили семечки и переругивались с танцующими личностями у фонарей.

Распускалась темная ночь позднего лета. Уже не луна и одна звезда, а луна и тысячи звезд, голубоватых, красноватых, желтоватых, освещали город.

По этим-то торцам и панелям пробегала Лида, уже босая и подурневшая.

«Черт возьми,— думала она,— вот жизнь и кончается. Где бы на чулки и туфельки взять? Так ведь и на понюшку не заработаешь».

Она бросилась в чайную.

— Пошла вон,— толкнул ее в грудь человек с салфеткой,— явилась шляться, из-за вас еще заведение закроют.

Неизвестный поэт с приятелем появились из-под ворот.

— Пойдем, Сережа, в Летний сад,— сказал он,— посидим на скамеечке.

— Ты! — вскрикнула Лида. Но через секунду отступила.— Извините, я помешала вам.

Приближался патруль.

Лида бросилась в ворота ближайшего дома.

Молодые люди скрылись на Невском.

Глава III
МЕЖДУСЛОВИЕ

Я сижу у моего друга, известного художника. Он спит за три комнаты отсюда. Комната, где я нахожусь, выходит ротондой на улицу. Сейчас три часа ночи. Электрические лампочки, прикрепленные к трамвайному столбу, горят внизу. Из окон крыши домов не видны, они сливаются с небом, а за домами, я чувствую, течет Нева,— голубая.

Ночь темна. Сейчас третий час ночи. Любимый час моих героев. Час расцвета неизвестного поэта, его способностей и видений. Я снова вижу: сквозь лютый мороз, по снежным ухабам улиц, под ужасающий ветер, от которого омертвевает лицо, он ищет опьянения, не как наслаждения, а как средства познания, как средства ввергнуть себя в то священное безумие (amabilis

insania), в котором раскрывается мир, доступный только прорицателям (vates).

Окна закрыты. Дома опустошены. Все дальше от него отступает священное безумие. Нет больше пальм, платанов, кипарисов. Нет больше портиков, нет водометов. Нет больше великой свободы духа. Нет больше бесед под открытым, черным или златоцветным небом. Я вижу — среди разрушающихся домов он прощается со своими друзьями. Вот сидит на камне, бегая глазами, как сумасшедший, один из них. Вот другой неподвижно лежит на земле. Он чувствует, что он умер. Вот третий взбирается по разрушенной лестнице в сквозном доме, чтоб с высоты, в последний раз, посмотреть город. Вот неизвестный поэт стоит, прислонившись к колонне. Разбитая капитель с листьями аканта доходит ему до колен; он слышит, как в соседнем доме кричит петух. Он вспоминает кошек, уходящих умирать в такие же запущенные здания. Тихо появляется одна, вытягивает шею, волочит задние ноги. За ней другая, мокрая и дрожащая, не удерживается, падает с лестницы в черный провал. Третья, потухшими глазами тщетно поискав вокруг, силится свернуться в клубок и не успевает.

Сейчас, должно быть, три часа. Темно, совсем темно. Внизу женщина играет на рояле. Я уверен, что это женщина. Я думаю, ей кажется, что нежный друг лежит у ее ног. Я думаю, она распустила волосы. Я раскрываю диалог Барталомео Таеджо «L'Humore» и читаю рассуждения в похвалу и в хулу вину. О дружбе, существующей между вином и поэзией. Я возвращаюсь к первой странице, где описывается день жатвы винограда в прелестнейшем селении Робекко. Девушки у давилен воспевают драгоценность лозы, на дорогах крестьяне, повозки, лохани с виноградом или вином. Другие поселяне идут от дороги с корзинами, котомками, освободить кусты от плодов. В опьяняющем воздухе движутся толпы галерников, входя пением и игрою на гитаре в сердца, полные любви, поселянок.

Я вспоминаю страницу из романа Лонга — «была уже осень в своей силе, и время жатв наступило. Каждый в полях»...

И в окне мелькнула тень Афродиты.

Я подхожу к окну. Как тихо все! Какой желтый свет бросают вниз на часть улицы маленькие лампочки,

прикрепленные к перекладинам на трамвайных столбах! И как грустно идет прохожий, подняв плечи, по панели! Куда идет он? Может быть, с ним были знакомы мои герои. Может быть, это один из моих героев, случайно уцелевший.

Небо посветлело. Крыши домов видны, с трубами и громоотводами. Цокают копыта. За мной на стене висит карта, сохранившаяся от времен европейской войны, должно быть, лет двенадцать, тринадцать тому назад ее утыкала русскими, французскими, итальянскими, английскими флажками вся семья. Гордилась успехами армии, горевала при отступлениях.

Глава IV

ТЕПТЁЛКИН И НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ

После того, как барышни, стуча каблучками, скрылись в пролете, Тептелкин постоял, посмотрел на то место, где только что они протягивали ручки, и быстро пошел, спотыкаясь. По-видимому, он задумался.

— Как вы думаете...— по рассеянности остановился Тептелкин.

Книжник улыбнулся.

— Всегда вы шутите, вместо того чтобы поздороваться по-человечески. Садитесь, потолкуем.

Но Тептелкин стал рассматривать книги, развешанные на решетке сада при Мариинской больнице.

— Если бы у вас были деньги, вы, пожалуй, всю мою библиотеку купили бы.— И уличный торговец стал показывать Тептелкину книги.

Действительно, книги были замечательные: почти лубочный, недавний французский перевод Марка Аврелия был переплетен в роскошный пергамент, тисненный золотом, «Зодиак жизни» — карманная книжечка с синим обрезом, с прекрасным орнаментом на заглавном листе уносила в позднее Возрождение.

— Нет ли у вас «Утешения философии» Боэция? — спросил Тептелкин.— Я бы взял у вас в долг.

Книжники охотно давали книги в долг Тептелкину, с которым можно было посидеть и поговорить.

Боэция не оказалось.

— Но как же совместить это с концепцией неизвестного поэта, что большевизм огромен, что создалось положение, подобное первым векам христианства.

И всю дорогу старался Тептелкин выйти из этого затруднения.

«Всегда новая религия появляется на периферии культурного мира,— размышлял он.— Христианство появилось на периферии греко-римского мира в Иудее нищей, печальной, узкой и косной духом. Ислам у номадов, а не в цветущем Иемене, где бьют фонтаны, где ароматные плоды колышутся и наполняют воздух дурманом, где женщины, при пробуждении, сладострастно потягиваются и лениво зевают. Фу, какие нечистые мысли,— отвлекся Тептелкин,— точно я о женщинах мечтаю»

Он задумался.

Даже во сне, иногда, появится женская грудь и вздохнет рядом. Черные глаза, кажется, смотрят в душу, обнимешь пустоту, замрешь и ждешь чего-то.— И Тептелкин увидел свою комнату и розу, подаренную ему в прошлую среду Марьей Петровной Далматовой.— «Страшно жить ей, должно быть,— подумал он о Марье Петровне,— страшно. Мы люди культурные, мы все объясним и поймем. Да, да, сначала объясним, а потом поймем — слова за нас думают. Начнешь человеку объяснять, прислушаешься к своим словам — и тебе самому многое станет ясно».

И он вспомнил о неизвестном поэте. Любит он здорово неизвестного поэта! Напишет неизвестный поэт, не думая, две строчки, а выйдет умно, эх, черт возьми, как умно. И будет в этих словах гибель, и великая страсть, и жалоба на заходящее навек солнце. За неизвестного поэта слова сами думают. О, как умел обращаться со стихами неизвестного поэта Тептелкин! Каким многообилием смысла раскрывались для него метафоры неизвестного поэта! Казалось ему, разрушается государство, а чистый юноша поет о свободе духа, поет скрытно, как бы стыдясь, а все слушают и хвалят за непонятные метафоры, за сияние, возникающее от сопоставления слов.

Утром того же дня казалось неизвестному поэту, что он проснулся в доме терпимости: одетые гусарами, турчанками, польками, женщины сидят на полу и игра-

ют в карты; тапер, взмахивая шевелюрой, ударяет по клавишам. Ходят драгуны, позванивая шпорами. Улан поручик сидит на диване и пишет своей сестре письмо в стихах.

«Я — это мой отец,— подумал неизвестный поэт и взглянул на висевшую на стене картину,— грудастая женщина в пышных юбках, оклеенных звездами, лежала на диване, закатив глаза.— Я,— раскинул руки неизвестный поэт,— это мой отец в девяностых годах, в каком-то провинциальном городе, потому что в Петербурге совсем другие дома терпимости: львы, мраморные лестницы, швейцары с галунами, лакеи в атласных панталонах, оркестр человек в пятнадцать, прекрасные дамы в бальных туалетах».

— Скри-кри-ра-ра-ру-ру,— играл оркестр.

Казалось неизвестному поэту, что он — его дед, огромный, представительный, сидит в ложе; на барьере лежит шелковая афиша, обшитая мелкими кружевами; на сцене — Людовик XIII что-то говорит Ришелье. Театр деревянный, а вокруг театра деревянные домики и снега, снега... «Енисейск,— подумал неизвестный поэт.— Я — мой дед, городской голова Енисейска».

В сумраке он почувствовал приближение тройки. Будто он стоит на крыльце и слышит бубенчики, а потом удары подков, а потом и ржание, а потом голоса девичьи: — «Приготовлен ли зал, где лакеи, отчего нет огней?»

И видит, лакеи из дома церемонно выходят. Раздается музыка бальная, дамы с шлейфами поворачиваются — а за окнами ночка снежная, ночка снежная, безмятежная, и стоит он и смотрит в окно — внизу аллея статуй, а вдали, в городе, снежная вьюга поет:

Где вы, оченьки, где вы, светлые.
В переулках ли, темных уличках
Разбежалися, да повернулися,
Да кровавой волной поперхнулися.
Негодяй на крыльце
Точно яблонь стоит,
Вся цветущая,
Не погиб он с тобой
В ночку звездную.
Ты кричала, рвалась,
Бесталанная.
Один — волосы рвал,
Другой — нож повернул —
За проклятый, ужасный сифилис.

— Кой черт,— вскричал неизвестный поэт,— не

жена она мне была, не любовница, и не знаю я, был ли у ней сифилис.

Злой поднялся с белоснежной постели и пошел в Эрмитаж статуи рассматривать. В нижнем помещении чувствует, как он сам склоняется над собой и поет:

А друзья его все гниют давно,
Не на кладбищах, в тихих гробиках,
Один в доме шатается,
Между стен сквозных колыхается,
Другой в реченьке купается,
Под мостами плывет, разлагается,
Третий в комнате за решеткою
С сумасшедшими переругивается.

Проснулся неизвестный поэт. Было 1-ое мая.

«Приятно,— подумал он,— четыре года, как я порвал с ночью, с освещенным и потухшим городом, с ночными мерцающими толпами, с предвещаниями».

Глава V

ФИЛОСОФИЯ АСФОДЕЛИЕВА

— Странный Тептелкин,— болтали барышни, идя по Кирочной улице.— Девственник, наверно.

— Женить его надо, а то пропадет без толку. Хочешь, я его за тебя выдам замуж? — подумав, засмеялась Марья Петровна Далматова.— Будет тебе он ножки целовать, работать на тебя как вол, а ты — на кровати, вечно без белья лежать и романы перелистывать.

— Я хочу любви, чтобы всюду цветы забрезжили, чтоб мир для меня прояснился. А то черт знает что вокруг,— вздохнула Наташа.

— Ничего, кутнем сегодня, почитают нам стишки, угостят вином, целовать будут,— рассмеялась Муся.

— Но ведь они прохвосты,— прервала ее смех Наташа.

— Ничего,— прыснула Муся.— Если кто станет лезть по-настоящему, я булавку воткну куда попадется, живо отстанет.— Она вытащила и серьезно показала сломанную шляпную булавку.

— Только для тебя иду,— заявила Наташа,— уверена ли ты, что это не опасно?

— Ерунда, если станет приставать, дай ниже живота кулаком — отойдет как миленький.

Они вошли в подъезд. Дверь им открыл Свечин.

— Ну что, девушки, пришли,— улыбнулся он и закурил.— Весело проведем вечерок.

За ним появился Асфоделиев, выбритый, со смоченными одеколоном руками, в визитке, в сияющем пенсне; он важно и неторопливо поздоровался, спросил, гуляли ли они сегодня по Летнему саду, не написали ли новых стихов.

Все вчетвером вошли в комнату.

Мумиеобразный человек поднялся, взмахнул длинными волосами, поклонился издали.

— Вот наш друг Кокоша Шляпкин,— представил его Свечин,— поэт, музыкант, художник, кругосветный путешественник. Сейчас из глины революционные сцены лепит — прохвост ужаснейший.

Субъект улыбнулся.

За Мусей стал ухаживать Асфоделиев, за Наташей Свечин. Кокоша подсаживался то к одним, то к другим и, по-видимому, скучал.

После ужина универсальный артист Кокоша сел за пьянино, начал импровизировать. В соседней комнате Асфоделиев, выбрав местечко потемнее, затащил Мусю на диван. Муся, в истоме после выпитого вина, позволяла ему проводить губами по руке, целовать затылок, но руки его отстраняла, подбородок отталкивала.

Тогда Асфоделиев попытался на нее воздействовать философией.

— На кой черт вам девственность,— шептал он, прижимая ее к себе и вращая жирным продолжением своей спины,— или вас соблазняют мещанские добродетели? нет, нет, я предлагаю вам сказочную жизнь богемы, истинно аристократическую жизнь.

И толстяк уронил пенсне.

— Девушка — желторотый воробей,— продолжал он свои манипуляции,— от нее пахнет булкой; женщина — это цветок, это благоухание. Семья — это мещанство, это штопанье чулок, это кухня.— Рука его устремилась, но была остановлена.— Мы, поэты,— переваливался Асфоделиев на другой бок,— духовная аристократия, поэтессе нужны переживания. Как вы хотите писать стихи, не зная мужчины?

В это время, сквозь комнату, Свечин протащил хихикающую Наташу. Она была пьяна совершенно, голова ее свесилась набок, она прикрывала рот рукой, ее тошнило. Он провел ее в уборную и стал прохаживаться

за дверью возбужденно. Отвел ее в последнюю комнату, опустил на постель.

Наташа уткнулась в подушку и заснула. Свечин стал раздеваться, насвистывая. Он снял с себя рубашку, стал медленно расшнуровывать ботинки.

— Пусть она уснет покрепче.

Снял ботинки, поставил их аккуратно у кровати.

Зажал ей рот рукой, она силилась сбросить его с себя, но не могла. Сквозь руку она плакала и видела свет лампы.

Он сел на краю постели отдышаться. Наташа подняла свою голову, потрогала грудь, посмотрела на его спину, откинулась и заплакала. Он повернулся, радостно похлопал ее и сказал:

— Не все ли равно — рано или поздно.

— Как твои дела? — входя в гостиную, спросил он Асфоделиева.

Тот сидел нахмурившись. Муся засмеялась.

Он отвел Асфоделиева к окну.

— Ты дурак,— сказал он.— А где прохвост Кокоша?

— Ушел давно, надоело ему ждать.

— Дурак твой Кокоша, сейчас бы в спальню пошел, пока девушка не очухалась. Говорил я ему, чтобы подождал.

— Я пойду туда,— сказал Асфоделиев, улыбнулся полным лицом, поправил пенсне и отправился.

Свечин подошел к Мусе.

— Где Наташа? — спросила она.

Но Свечин удержал ее за руки.

— Она сейчас придет.

Муся поняла и стала зла на подругу.

«Дура»,— подумала она и села.

Свечин сел и начал обхаживать ее.

— Где Наташа? — снова повторила она. Встала, чтобы идти ее искать.

Из дверей вышел, улыбаясь, Асфоделиев.

— Ваша Наташа пьяна как стелька, она сейчас придет.

За окнами вставало солнце. Подруги, не попрощавшись, вышли.

В это утро Ковалев сидел перед окном — вот Пьеро несет Коломбину, вот старый муж лежит при лампе, а молодая жена стоит — ищет блох. Вот девушка обна-

женная лежит на операционном столе; над ней в задумчивости склонился седой доктор.

Сколько воспоминаний... Сколько воспоминаний.

Открытка с Пьеро и Коломбиной — его любимая открытка. Открытки с ловлей блох и с операционным столом — любимые открытки генерала Голубца.

А когда Ковалев в тачке возил щебень на барку, прошла возвращавшаяся с пирушки, Наташа, запрятав носик в воротник, не узнала Ковалева, а Ковалев был страшно рад, что она его не узнала, он ведь не рабочий, а так, временно, до приискания настоящей работы, щебень грузит. Скрылась Наташа; закурил Ковалев, сел на тачку и задумался; достал краюху ситного с изюмом и съел с удовольствием, вспомнил Пасху, бой колоколов в воздухе и романсы.

«Ничего, вырвусь,— решил,— снова стану человеком. Вот только в профсоюз трудно пройти».

И стал думать о профсоюзе, как прежде о Георгиевском крестике.

«Надо во что бы то ни стало утвердиться на строительных работах».

Глава VI

ГЕНЕРАЛ ГОЛУБЕЦ И КОРНЕТ КОВАЛЕВ

Генерал Голубец, отец Наташи, рассматривая партитуру, курил дешевую сигару, когда Наташа, возвращаясь с пирушки, прошла в свою комнату. Ее отцу захотелось поговорить в это весеннее утро. Он встал, пошел следом за Наташей и остановился в дверях.

— Комендант сидел у окна,— стал рассказывать генерал Голубец анекдот,— и увидел, что по улице идет поручик Н-ского полка без шашки. «Иван!» — зовет комендант денщика и указывает на офицера. Через минуту офицер появляется в комнате, при шашке. Комендант видит шашку и смущается. «Простите, поручик,— говорит он,— мне показалось незнакомым ваше лицо. Давно ли вы у нас в городе?» И любезно поговорив, отпускает офицера. Поручик вышел. Комендант снова сел к окну. Через минуту видит — идет тот же поручик без шашки! «Иван! — кричит комендант.— Позвать его!» Через минуту входит офицер при шашке. Комендант конфузится еще более и просит офицера

передать поклон от него командиру полка. Офицер вышел. Комендант снова сел к окну. Через минуту видит, опять идет тот же офицер без шашки! «Иван! — кричит комендант.— Вернуть его!» Через минуту входит тот же поручик при шашке. Совсем сконфуженный комендант приглашает поручика сыграть вечером в винт. Молодой офицер вышел. Комендант сел к окну. Через минуту видит, идет тот же поручик без шашки! «Лиза, Елена Александровна! — зовет комендант жену и дочь и показывает в окно на офицера.— При шашке он?» — «Без шашки!» — в один голос отвечают жена и дочь. «А я говорю, шашка есть! шашка есть!» — кричит комендант и сердится.

Генерал Голубец выдержал паузу.

— А знаешь, где поручик брал шашку? — спросил он у Наташи.— Это была шашка самого коменданта!

Бывший генерал Голубец отходит от двери в столовую, садится за партитуру; рядом самовар и жена. Он тапер в кинематографе, она шьет на рынок маркизетовые платья. А позади них, в комнате, единственная дочь их, худенькое, хихикающее дитя, занимающееся в университете.

В 191... году, провожая Михаила Ковалева на войну, Наташа думала: герой, воин.

И, вернувшись домой, плакала: убьют его, наверно убьют. Ей было тогда пятнадцать лет, ее тогда нельзя было назвать хихикающим существом. Правда, она тогда уже впопад и невпопад улыбалась, но это была улыбка застенчивых людей.

Корнет Павлоградского гусарского полка Михаил Ковалев, ее жених, тогда ехал на войну, как на парад. Летели поля, леса. Он стоял у окна, видел Георгиевский крест и лицо своей невесты. Но через неделю после прибытия Михаила в полк солдаты предложили ему должность кашевара. «Вот они, подвиги»,— подумал он. Затем он год скрывался в лесах под Петербургом, затем он попал на красный фронт в качестве помощника инспектора кавалерии. Он ругал красных где только мог, но служил им честно. Потом он был демобилизован и очутился в Петербурге. Но Наташа к нему охладела. Годы голода ее переродили; она стала нервным существом. То она училась в какой-то театральной студии, где ее хватали за все места, то в университете прохаживалась в «Булонском лесу» (главный коридор), куря папиросу.

Михаил Ковалев редко после революции виделся с Наташей. Полное безденежье, невозможность найти службу,— у него не было никакой специальности,— глубоко унижали его и приводили в отчаяние. Но все же он думал, что он когда-нибудь найдет место и тогда женится на Наташе.

Ежегодно, в первый день Пасхи, он натягивал краповые чакчиры с золотыми галунами, сапоги с гусарскими розетками, вытаскивал из глубины шкафа френч. Из-под половицы доставал золотые погоны с вензелями, одевался быстро, быстро, клал шпоры в карман и, в прожженной на войне с белыми шинели,— летел к Наташе.

Это повторялось из года в год. Он взбегал по лестнице, бывшая ее превосходительство сидела в комнате и читала книгу. С Наташей он христосовался, съедал ломтик кулича и блюдечко сливочной пасхи.

Затем Наташа садилась за зыбкое пьянино и что-то безголосо пела. Открывала жалко рот и смотрела на Михаила Ковалева. Ей было грустно, она его больше не любила. Она считала его пошлым.

Иногда Михаил Ковалев вставал, просил Наташу сыграть «Ах, увяли давно хризантемы». Становился рядом, тоже раскрывал рот и фальшивил. Иногда пел «Это девушки все обожают» или «Красотки, красотки, красотки кабаре, любовь ведь для вас наслажденье».

«Ах, как хорошо провел я этот вечер»,— думал он, возвращаясь ночью домой по переименованным и вновь освещенным улицам, среди буденовок, кожаных курток, под скачущими вывесками.

Глава VII

КНИГА ТЕПТЁЛКИНА

«Для создания мысли научная поэзия необходима,— думал Тептелкин, лежа в постели, на следующий день после чтения,— вот и никому не известный поэт посредством сопоставления слов вызывает новый мир для нас; мы его разберем, разложим, переведем на язык прозы, лишим образности, и следующее поколение, уже усвоившее плоды наших трудов, не увидит в его стихах пышного цветения образности нового мира. Все будет им казаться обыкновенным в его стихах, жалким; а сейчас только немногим доступны они.

Пройдут годы, вся эпоха отойдет, все вокруг изменится, и над неизвестным поэтом будут смеяться, называть варваром, сумасшедшим, идиотом, пытавшимся испортить прекрасный язык. Ученики, пишущие скверные стишки ученицам, конторщики, между составлением бумаг объясняющиеся в любви машинисткам, директора трестов и представители месткомов будут говорить:

— Экое было вырождение и до чего праздные люди не додумаются! Стихи должны передавать мысль, идти по пятам науки. Радио изобретен — пиши о радио, беспроволочный телеграф изобретен — прославляй культуру.

Но пока хоть и недолгая слава,— Тептелкин спустил ноги и сел на постели,— но слава уже ждет неизвестного поэта. Барышни уже начали наклеивать фотографические карточки на его книжки, пожимают ему руку научные сотрудники, студенты вешают его портрет над скучными книжками. И если он сейчас умрет, то за его гробом пойдет не менее сорока человек и будут говорить о борьбе против века и изобразят хитроумным Одиссеем, оставшимся на острове Цирцеи (искусство), бежавшим от моря (социология)».

Взглянул Тептелкин в окно, не идет ли к нему неизвестный поэт, и увидел, что идет, палочкой постукивает, шляпой помахивает, новую рукопись несет.

«Вот сейчас попирую в стране неизвестной»,— подумал Тептелкин и побежал дверь отпирать.

Поцеловались. Ругнули современность. Духовно плюнули на проходивших пионеров.

— Экое поколение растет, без всякого гуманизма, будущие истинные представители средневековья, фанатики, варвары, не просвещенные светом гуманитарных наук.

— Да пакость, гадость вокруг — одичание,— склонился Тептелкин.

Сели.

— И всегда пакость, гадость была вокруг, сволочное топтание,— задумавшись продолжал Тептелкин.— Воображаю, как белогвардейцы пакостят консульские здания за границей: перед тем, как туда вселяется какое-нибудь полпредство, и обои срывают, и в потолок плюют, и паркет выламывают. Не сядут перед камином посидеть в последний раз, погрустить, посмотреть на стены, материей обтянутые, не походят по комнатам, не выйдут в сад, если таковой при доме имеется.

— Не стоит философствовать,— уклонился неизвест-

ный поэт,— мы давно — я искусственно, вы литературно — пережили гибель, и никакая гибель нас не удивит. Интеллигентный человек духовно живет не в одной стране, а во многих, не в одной эпохе, а во многих и может избрать любую гибель, он не грустит, а ему просто скучно, когда его гибель застает дома, он только промычит: еще раз с тобой встретился,— и ему станет смешно.

Тептелкину стало грустно, очень грустно. Он подошел к окну.

«Какие славные, загорелые дети эти пионеры,— подумал он и улыбнулся. Ему почему-то стало радостно и свежо, как будто в комнату ворвалась струя воздуха, освещенная солнцем,— вот снова молодость мира»,— подумал он.

В это время в комнату вошел Костя Ротиков.

— Удивительные стихи пишете вы,— обратился он к неизвестному поэту: — истинное барокко.

У Кости Ротикова были особые движения, весь он двигался с элегантностью. Сегодня он зашел к Тептелкину, чтоб увезти неизвестного поэта и поговорить с ним о безвкусице: он собирал безвкусные и порнографические вещи как таковые; часто они, Костя Ротиков и неизвестный поэт, ходили по рынкам и выбирали пепельницы; на одной стороне пепельницы все прилично, а на другой все неприлично; на одной стороне идет дама и лицо кавалера за ней улыбается, а на другой...

Костя Ротиков покупал не только порнографические открытки, но и открытки приличные, но отвратительные. Усастый, румяный кавалер обедает с дамой в ресторане и жмет ей ножку под столом своим сапогом. Девица в прическе блином играет на арфе. Голая нимфа с кружкой пива бежит, а за ней охотится человек в тирольском костюме.

Когда они ушли, Тептелкин вздохнул свободнее. Осмотрел свою комнату, и все в ней ему понравилось. Понравилась ему и пепельница с цветочками (она существовала для друзей — Тептелкин не курил), и ваза для цветочков с аравитянкой, облокотившейся на кувшин, и фотографические карточки — семейные сцены детства: вот шестилетний Тептелкин бежит с сачком за бабочкой, вот восьмилетний Тептелкин обедает, вот десятилетний Тептелкин в латах рыцаря сидит под елкой; вот карточки матери, братьев, сестер, вот друзей, наконец, карточка Мечты.

Посмотрел Тептелкин на летнее кресло-качалку и нашел, что оно не менее удобно, чем вольтеровское кресло, решил продолжать основной труд своей жизни, открыл сундук, сундук был всегда покрыт зеленой плюшевой скатертью и изображал — неизвестно что изображал. Достал тетрадь.

На первой странице было выведено: «Иерархия смыслов». «Введение в изучение поэтических произведений». На второй странице в нижнем углу (Тептелкин любил оригинальность) помещалось посвящение «Моей Единственной» (единственной с большой буквы) и фотографическая карточка Мечты. На третьей странице римская цифра I, на четвертой посредине выступало одно слово: «Предисловие», на пятой...

Труд был начат солидно. Дальше под основным текстом шли примечания на французском языке из виднейших современных лингвистов, без перевода на русский язык (труд был явно рассчитан на настоящих ученых, а не на глупых студентов). Основной текст, казалось, тоже был написан на иностранном языке и только согласован русскими окончаниями. Тут намекалось на возможность дать новые определения понятию романтического и понятию классического, тут говорилось о поэтических способах окрашивать настоящее время в прошедшее и будущее и разрушалось нелепое представление, что смыслы гнездятся в слове, и давалось определение эстетического как фантазма, как гармонизации природы и истории.

«И если б истинный художник,— думал Тептелкин,— заглянул в эту книгу, он не смог бы оторваться от нее; на него подействовал бы завораживающий пафос этих страниц: художественное произведение всегда лично, принципиально лично, нельзя видеть художественное произведение безлично, дело не в имени, а в том, что личность в произведении отражается».

* *
*

«Искусство есть восхищенность, есть объективный фазис бытия. В эстетическом нет ни природы, ни истории, это особая сфера: и не логическая, и не этическая, и не сумма их».— Сколько бы ни читал художник,

неотступно звучал бы в его ушах лейтмотив книги: искусство есть бытие восхищенное, фантазия есть объективный фазис бытия. И он бы простил Тептелкину и нелепый язык, и французские примечания, и убранство комнаты, и фотографическую карточку Мечты в шляпке, с зонтиком в руках, отъезжающей на извозчике.

ИНТЕРМЕДИЯ

Уже два часа прохаживается по рынку Костя Ротиков в белых брюках, в черном пиджаке и фетровой шляпе. Высокий, коренастый, склоняется над барахлом, брезгливо раздвигает палочкой, ищет порнографию.

— Чего вам? — спрашивают торговки старым железом и сосут край стакана с горячим чаем.— Чего вы все роетесь, все разбрасываете?

Краснеет Костя Ротиков и отходит. Неизвестный поэт по другую сторону стоит перед рыночным антикваром, рассматривает старую, косматую, похожую на ведьму Венеру; одной рукой она ведет большеголового амура, в другой держит балалайку. У Венеры чресла опоясаны монгольской тканью с зигзагами, груди у нее морщинистые, отвислые, а по бокам головы знаки ее (♀).

В это время к нему подходит Свечин.

— Знаешь, здесь на рынке Кокоша Шляпкин торгует. Выставил, подлец, красноармейца, танцующего на груди офицера, нарисовал портретики Ильича, вставил в медальоны и комсомолкам в платочках предлагает. А не знаешь ли ты вузовки какой-нибудь? Люблю девушек откупоривать. Вчера, пока ты шествиями наслаждался,— знаю, знаю, сидел где-нибудь на балконе и поплевывал вниз,— я Наташу...

Бывший артиллерийский офицер сделал соответствующий жест.

Неизвестный поэт почувствовал беспокойство. Он помнил ее еще маленькой девочкой с косичками, в белом платье, танцевавшей в Павловске на детских балах.

— А, вот вы где, друзья мои,— протянул им руки Тептелкин,— должно быть, о литературе говорите, не буду мешать вам, не буду.

Он откланялся и пошел.

Костя Ротиков наконец отыскал соответствующую спичечницу. Свечин отправился, заглядывая под шляпки.

Вдоль стены стояли бывшие дамы, предлагая: одна — чайную ложечку с монограммой, другая — порыжевшее, никуда не годное боа, третья — две рюмочки, переливавшие семью цветами, четвертая — тряпичную куколку собственного изделия, пятая — корсет девятисотых годов. Та седая старушка — свои волосы, выпавшие еще в ранней юности и собранные в косичку, эта, сравнительно молодая,— сапоги, довольно поношенные, своего умершего мужа.

Глава VIII

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ И ТЕПТЁЛКИН НОЧЬЮ У ОКНА

— Вы совершаете великую подлость,— сказал мне однажды неизвестный поэт.— Вы разрушаете труд моей жизни. Всю жизнь я старался в моих стихах показать трагедию, показать, что мы были светлые; вы же стремитесь всячески очернить нас перед потомством.

Я посмотрел на него.

— Если вы думаете, что мы погибли, то вы жестоко ошибаетесь,— продолжал неизвестный поэт, играя глазами,— мы особое, повторяющееся периодически состояние и погибнуть не можем. Мы неизбежны.

Он сел на скамейку. Я сел с ним рядом.

— Вы — профессиональный литератор, нет ничего хуже профессионального литератора,— отодвинулся он от меня.

— Сумасшедший,— пробормотал я. Он повернул голову.

— Иногда сознания у современников не совпадают,— это не дает вам права считать меня сумасшедшим.

Я устыдился. Может быть, правда, он не сумасшедший. Мы помолчали.

Он настороженно стал слушать шорохи листьев. Мимо нас проходили комсомольцы со своими подругами.

«Нет, нет, все же он сумасшедший!»

— Я часто отсутствую,— сказал неизвестный поэт, как бы отгадывая мою мысль,— но это не что иное, как растворение в природе.

Он встал и пожал мне руку.

— Мне искренно жаль, что вы живете в том мире, который изображаете.

К нему шел Тептелкин.

Они серьезно и как вежливые люди поздоровались. Они не хлопали друг друга по плечу.

Пошли по аллее. Я прошел мимо мечети, сел в трамвай.

«Ты сумасшедший, все же сумасшедший»,— подумал я.

Я вошел в дом, очинил карандаш.

— Нет,— сказал я,— надо выяснить, что сейчас они делают. Они, должно быть, опять заняты скверным и нехорошим делом.

Я покрутил усы, вышел, положил ключ в карман, посмотрел, при мне ли карандаш и бумага. Ночь была белая.

Колонны выступали то парами, то тройками, то четверками. Ко мне пристало существо в одежде сестры милосердия.

— Я — Тамара,— сказала она.

— А где твое одеяло из белого атласа? — спросил я,— одеяло из дорогой материи стоби, из индийского коленкора, из гиландского шелка, подушка шелковая цвета фиалки, вуаль золотая с кисточкой?

Она навела на меня лорнет.

— От вас воняет пивом,— сказала она.— Но вы, должно быть, чистенький мужчинка. Идемте ко мне.

— Ладно,— ответил я,— в другой раз. Сейчас я ужасно занят. Сейчас мне некогда.

— Ничего, ничего,— ответила она,— можно и тут, отойдемте в сторонку.

Видя, что я не останавливаюсь, крикнула:

— А может быть, вы литератор, вы ведь все, подлецы, нищенствуете. Я одного взяла на содержание Вертихвостова. Он стихи мне про сифилис читает, себя с проституткой сравнивает. Меня своей невестой называет.

— Отстаньте, дорогое существо,— сказал я,— отстаньте. Я не литератор, я любопытствующий.

Она шла за мной и проводила меня почти до площади Жертв Революции. Там она села на скамейку и заплакала.

— Кой черт вы плачете? — спросил я ее.— Или вам жаль шубы из горностая, иль другой, из каракумского меха с жемчужинами на отвороте, или колец из ништадтской бирюзы, или накидки из ткани хорасанской, или шахмат из рыбьих зубов, шкатулок из янтаря?

— Я хотела бы покататься на велосипеде, я ведь

одна из лошадок полковника Бабулина, я хочу, чтобы вокруг меня были офицеры.

Тут я только заметил, что ее совершенно развезло.

«Пьяница»,— подумал я и удвоил шаг.

Был второй час ночи, когда я подошел к дому, где жил Тептелкин. Дворник пропустил меня. Я прошел в полуразрушенный флигель, встал против окна Тептелкина. Они сидели за столом, горела керосиновая лампа, они что-то читали, жарко спорили. Иногда неизвестный поэт вставал и прохаживался по комнате. «Что они читают, о чем говорят? — подумал я.— Наверно, хихикают над современностью».

— Я думаю,— поднялся неизвестный поэт,— наша эпоха героическая.

— Несомненно героическая,— подтвердил Тептелкин.

— Я думаю, что мир переживает такое же потрясение, как в первые века христианства.

— Я убежден в этом,— ответил Тептелкин.

— Какое зрелище перед нами открывается! — заметил неизвестный поэт.

— В какой интересный момент мы живем! — восторженно прошептал Тептелкин.

— Однако, пора,— отошел неизвестный поэт от окна.— Я возьму у вас Данта.

— Конечно,— ответил Тептелкин.

Неизвестный поэт подошел, закрыл книгу, положил ее в карман. Стал прощаться. Через несколько минут после его ухода вышел и я.

Семеня домой по абсолютно пустынным улицам, я думал, что и я некогда считал неизвестного поэта петербургской пифией.

Глава IX

ПОЭТ СЕНТЯБРЬ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ

Однажды неизвестный поэт читал стихи в уголке имени Кружалова.

Вокруг него извивался пьяный, бородатый, в ситцевой рубахе, человек и почти плакал от восторга.

— Боже мой,— повторял он,— какие гениальные стихи! О таких стихах я мечтал всю жизнь!

Знакомые барышни дружно хлопали неизвестному поэту.

Человек в ситцевой рубахе дохнул на него винным перегаром, потряс руку.

— Ради Бога, зайдите ко мне, моя фамилия Сентябрь.

Неизвестный поэт достал из кармана обрывки исписанных бумажек, выбрал на одном из них свободное место, записал адрес.

— Я приехал из Персии, зайдите ко мне, я давно не слышал настоящих стихов,— сказал человек в ситцевой рубахе.

На следующий день неизвестный поэт отправился к Сентябрю.

Сентябрь жил в другой части города, в так называемом доходном доме, т. е. в высоком доме с узеньким, как колодец, двором, с большими, со всеми удобствами, квартирами на улицу и маленькими, в боковых флигелях и заднем фасаде, неумолимо однообразными, повторяющимися по одному плану снизу вверх.

Неизвестный поэт позвонил. Дверь ему отворил Сентябрь, трезвый, в высоких сапогах, в чистой рубахе, подпоясанный ремнем.

В первой комнате посредине стоял стол, накрытый скатертью, на нем остатки еды. Вокруг стола четыре покоробленные дождем венские стула. На гвоздике висело пальто, порыжевшее от времени, и кофточка жены. Половина комнаты была отгорожена шкафом, за ним стояло брачное ложе Сентября.

Неизвестный поэт отложил свою палку, украшенную епископским камнем, положил шляпу и с искренней симпатией посмотрел на Сентября. Он уж многое знал о нем. Знал, что тот семь лет тому назад провел два года в сумасшедшем доме, знал нервную и ужасную стихию, в которой живет Сентябрь.

— Я со вчерашнего дня не могу успокоиться,— говорил Сентябрь,— до сумасшедшего дома, в сумасшедшем доме и в Персии мне чудились такие стихи, как будто вы умирали не раз, как будто вы не раз уже были.

Неизвестный поэт осмотрел комнату.

— Прочтите мне свои стихи,— сказал он.

— Нет, нет, потом. Вот моя жена.

Из-за шкафа вышла худенькая женщина с семилетним чистеньким, красивым мальчиком.

— Вот мой зайченыш Эдгар. Это необыкновенный поэт,— сказал он ребенку, показывая глазами на неизвестного поэта.

— Пушкин? — спросил мальчик и широко раскрыл глаза.

Сентябрь провел неизвестного поэта в свою комнату. Узенькая кровать (отдельное ложе Сентября), прикрытая фиолетовым одеялом с черными горизонтальными полосами. Тоненькая подушка служила изголовьем. Вся исчерканная рукопись валялась посредине постели. На подоконнике стоял стакан и дыбилась начатая осьмушка махорки. У стены черный столик и стул. Комната была оклеена обоями с яркими розами.

Сентябрь и неизвестный поэт сели на постель.

— Зачем вы приехали сюда! — Помолчав, неизвестный поэт посмотрел в окно.— Здесь смерть. Зачем бросили берег, где печатались, где вас жена уважала, так как у вас были деньги? Где вы писали то, что вы называете футуристическими стихами. Здесь вы не напишете ни одной строчки.

— Но ваши стихи? — ответил Сентябрь.

— Мои стихи,— неизвестный поэт задумался,— может быть, совсем не стихи. Может быть, они оттого так действуют. Для меня они иносказание, нуждающийся в интерпретации специальный материал.

— Я не все понимаю, что вы говорите,— заходил Сентябрь по комнате.— Я кончил только четырехклассное городское училище, затем я сошел с ума. По выходе из больницы стал писать символистические стихи, ничего не зная о символизме. Когда, затем, мне случайно попались рассказы По, я был потрясен. Мне казалось, что это я написал эту книгу; я только недавно стал футуристом.

Он остановился, приподнял край одеяла, вытащил из-под кровати деревянный ящик, открыл его, достал рукопись, прочел:

Весь мир пошел дрожащими кругами,
И в нем горел зеленоватый свет.
Скалу, корабль и девушку над морем
Увидел я, из дома выходя.

По Пряжке, медленно, за парой пара ходит,
И рожи липкие. И липкие цветы.
С моей души ресниц своих не сводят
Высокие глаза твоей души.

«Удивительную интеллигентность,— думал неизвестный поэт, пока Сентябрь читал,— вызывает душевное расстройство».

Он посмотрел в глаза Сентябрю:

«Жаль, что он не может овладеть своим безумием».

— Я написал это стихотворение,— снова заходил Сентябрь по комнате,— еще до выхода из лечебницы. Я его тогда понимал, но теперь совсем не понимаю. Для меня это, сейчас, набор слов.

Он нагнулся и вынул из ящика другие стихи. Выпрямился, снова стал читать.

В общей ритмизованной болтовне изредка попадались нервные образы, но все в целом было слабо.

Сентябрь это почувствовал, сел на корточки, сконфуженно принялся рыться в глубине сундука. Он вытащил книжечки своих стихов, напечатанные в Тегеране, но и в них не было ничего.

— Чайник вскипел,— остановившись в дверях, обратилась к мужу жена,— Петр Петрович, пригласи гостя чай пить.

— Сейчас, сейчас.— И Сентябрь в глухой безнадежности скороговоркой стал читать свои недавние, футуристические стихи.

Неизвестный поэт почти в отчаянии сидел на кровати.

«Вот человек,— думал он,— у которого было в руках безумие, и он не обуздал его, не понял его, не заставил служить человечеству».

От окна уже несло ночным холодком. Сентябрь и неизвестный поэт прошли в соседнюю комнату.

Розовые сушки лежали на тарелке. Жена Сентября разливала чай; маленькая, черненькая, морщинистая, но юркая, она быстро, быстро говорила, предлагала сушки, опять говорила. Наконец неизвестный поэт прислушался.

— Не правда ли,— продолжала она,— это безумие приехать сюда, здесь страшно жить, а у него у Байкала родители крестьяне, дом — полная чаша, туда, а не сюда надо было ехать.

Керосиновая лампа мутно горела на столе. Отодвинув стакан, семилетний Эдгар спал, положив на руки голову.

— Зайченыш мой,— склонился Сентябрь и поцеловал своего сына.

Наступило молчание.

— Ты меня и сына погубишь, нам надо уехать, уехать!

Встав из-за стола, она принялась ходить по комнате.

Глубокой ночью спускался неизвестный поэт по лестнице. На пустой улице, слушая замолкавшее эхо своих шагов, облокотился на палку с большим иерархическим аметистом, выпустил лопатки и задумался. Хотел бы он быть главою всех сумасшедших, быть

Орфеем для сумасшедших. Для них бы разграбил он восток и юг и одел бы в разнообразие спадающих и вновь появляющихся риз несчастные приключения, случающиеся с ними.

Он с ненавистью поднял палку и погрозил спящим бухгалтерам, танцующим и поющим эстрадникам. Всем не испытывавшим, как ему казалось, страшнейшей агонии.

— Помогите! о, помогите! — мерещилось ему, кричал девичий голос из первого этажа.

Ничего не понимая, с силой, удесятеренной тоской, он, прихрамывая, взбежал по лестнице, сбежал с нее и с разбегу кинулся в окно. Глаза у него остановились, шея напряглась. Раз, раз! вцепился он в чей-то затылок и начал бить кулаками по голове; его легко сбросили — он вцепился в горло; его откинули — он схватил тяжелый стул. Ударил.

Стало тихо.

У ног его лежал Свечин. Никакой девушки в комнате не было.

«Вот так штука,— подумал неизвестный поэт, приходя в себя,— черт знает что произошло».

Вся квартира зашевелилась, захлопали двери, затопали ноги по коридору.

Неизвестный поэт морщил лоб.

Побежал за постовым милиционером.

Выяснили, что в то время, как Свечин спал, в комнату ворвался через окно его знакомый и покушался его убить.

«Какая странная жизнь,— думал неизвестный поэт.— По-видимому, во мне глубоко, глубоко живы ощущения детства. Когда-то женщина мне казалась особым существом, которое нельзя обижать, для которого надо всем жертвовать. По-видимому, в моем мозгу до сих пор сохранились какие-то бледные лица, распущенные волосы и ясные голоса. Должно быть, подсознательно я ненавидел Свечина, иначе как могла возникнуть эта галлюцинация?»

Окно было забито досками, за досками была укреплена решетка; наверху виднелась узенькая полоска облачного неба; на одной койке сидел неизвестный поэт, на другой — лежал пожилой заключенный.

Больше всех удивлен был этим происшествием Свечин. Он его никак не мог объяснить. Он ходил обвязанный и пожимал плечами.

Официальный защитник ничего не мог добиться от неизвестного поэта.

— Мне нечего сказать современности,— произнес вслух, разговаривая сам с собой, неизвестный поэт.— К черту всякие объяснения! — И ходил от окна к двери.

Медицинская экспертиза нашла его вполне нормальным.

В конце концов приговорили его на год, условно.

Глава X
НЕКОТОРЫЕ МОИ ГЕРОИ В 1921—1922 гг.

С некоторых пор, с опозданием на два года, в городе,— я говорю о Петербурге, а не о Ленинграде,— все заражены были шпенглерианством.

Тонконогие юноши, птицеголовые барышни, только что расставшиеся с водянкой отцы семейств ходили по улицам и переулкам и говорили о гибели Запада.

Встречался какой-нибудь Иван Иванович с каким-нибудь Анатолием Леонидовичем, руки друг другу жали:

— А знаете, Запад-то гибнет, разложение-с. Фьют-с культура — цивилизация наступает...

Вздыхали.

Устраивались собрания.

Страдали.

Поверил в гибель Запада и поэт Троицын.

Возращаясь с неизвестным поэтом из гостей, икая от недавно появившейся сытной еды, жалостно шептал:

— Мы, западные люди, погибнем, погибнем.

Неизвестный поэт напевал:

О, грустно, грустно мне, ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес...

Говорил о К. Леонтьеве и хихикал над своим собратом. Ведь для неизвестного поэта что гибель? — ровным счетом плюнуть, все снова повторится, круговорот-с.

— Подыми ножку и скачи,— хотелось ему посоветовать Троицыну. Он хлопнул его по плечу: — Любуйся зрелищем мира,— и показал на собачку, гадящую у ворот.

Троицын остановился — собак тогда еще мало было в городе.

— А все же грустно, ...чка,— он назвал неизвестного поэта уменьшительным именем.— Вот пишешь стихи, а кому они нужны.— Читателей нет, слушателей нет,— грустно.

— Пиши идиллии,— посоветовал неизвестный поэт,— у тебя идиллический талант; делай свое дело, цветок цветет, трава растет, птичка поет, ты стихи писать должен.

Помолчали.

— Луна. Звезды,— сладко зевнул Троицын.— Давай проходим сегодняшнюю ночь.

— Проходим,— согласился неизвестный поэт.

На стоптанных каблуках, в лохмотьях, поэты шли то к Покровской площади, то на Пески, то к саду Трудящихся.

— Ты любишь и чувствуешь Петербург,— засмотрелся Троицын у Казанского собора на звезды.

— Не удивительно,— рассматривая свои сапоги, заметил незвестный поэт,— я в нем присутствую в лице четырех поколений.

— Четыре поколения вполне достаточно, чтобы почувствовать город,— доставая платок, подтвердил Троицын.— А я с Ладоги,— продолжал он.

— Пиши о Ладоге. У тебя детские впечатления там, у меня — здесь. Ты любил в детстве поля с васильками, болота, леса, старинную деревянную церковь, я — Летний сад с песочком, с клумбочками, со статуями, здание. Ты любил чаёк с блюдечка попивать.

Помолчали.

Неизвестный поэт оглянулся.

— Я парк раньше поля увидел, безрукую Венеру прежде загорелой крестьянки. Откуда же у меня может появиться любовь к полям, к селам? Неоткуда ей у меня появиться.

Они сели на камни у забора Юсуповского сада.

— Прочти стихи,— предложил Троицын неизвестному поэту.

Неизвестный поэт положил палку.

— Черт знает что,— растрогался Троицын,— настоящие петербургские стихи. Посмотри, видишь луну сквозь развалины?

Он встал на цыпочки на груду щебня.

Неизвестный поэт закурил.

— Не смотри на луну,— сказал он,— это тревожащее явление.— И, поднявшись перед Троицыным, хотел заслонить ее.

В год шпенглерианства Миша Котиков приехал, поразился и влюбился в силу, гордость, мироощущение недавно утонувшего петербургского художника и поэта Заэвфратского, высокого седого старика, путешествовавшего с двумя камердинерами. Поэт Заэвфратский с тридцатипятилетнего возраста создавал свою биографию. Для этого он взбирался на Арарат, на Эльбрус, на Гималаи — в сопровождении роскошной челяди. Его палатку видели оазисы всех пустынь. Его нога ступала во все причудливые дворцы, он беседовал со всеми цветными властителями.

Миша Котиков ни разу не видал Заэвфратского, но был поражен. Миша был румяный, рыжий, большеголовый мальчик, опрятный, с маленьким ротиком. «Удивительно!» — часто шептал он, склоняясь над книжками и рисунками Заэвфратского.

Плакала жена Александра Петровича Заэвфратского, когда Заэвфратского не стало, и ручки ломала.

Воспользовались случаем друзья Заэвфратского, ходили к ней и утешали.

И Свечин утешал.

А на следующий день ругался:

— Дура, птица, лежит как колода.

И ходил по всему небольшому деревянному дому и разглашал:

— Вот он с ней, а она вздыхает — ах, Александр Петрович!

Через год Миша Котиков, как поклонник Заэвфратского, познакомился с Екатериной Ивановной.

Вечерком вина принес и закусочек; долго, склонив головку, говорила Екатерина Ивановна об Александре Петровиче. Какие платья он любил, чтоб она носила, какие руки были у Александра Петровича, какие прекрасные седые волосы, какой он был огромный, как он ходил по комнате и как она, встав на цыпочки, целовала его.

Сидел Миша Котиков, раскрыв свой маленький пунцовый ротик, смотрел своими голубыми ясными глазками, начал гладить и пожимать ручки Екатерины Ивановны, целовать Екатерину Ивановну в лоб. Все спрашивал:

— А какой нос был у Александра Петровича? а какой длины руки? а носил ли Александр Петрович крахмальные воротнички или предпочитал мягкие? а барабанил ли пальцами Александр Петрович по стеклу?

На все вопросы ответила Екатерина Ивановна и заплакала. Взяла мужской носовой платок с инициалами, поднесла к глазам.

— Не платок ли это Александра Петровича? — спросил Миша Котиков.

Долго она сидела молча и утирала слезы платком Заэвфратского.

Потом передала платок Мише Котикову:

— Храните его на память об Александре Петровиче.

Снова заплакала.

Миша Котиков аккуратно сложил платок и спрятал поспешно.

— А что говорил об искусстве Александр Петрович? — ощупывая платок в кармане, спросил Миша Котиков.— Чем была поэзия для Александра Петровича?

— Он со мной о поэзии не говорил,— раскрыв глаза, посмотрела в зеркало Екатерина Ивановна.

Подскочила к зеркалу.

— Посмотрите, не правда ли, я грациозная? — она стала разводить руками, склонять голову.— Александр Петрович находил, что я грациозная.

— А когда начал писать стихи Александр Петрович, в каком возрасте? — закуривая папироску, задал вопрос Миша Котиков.

— Не правда ли, я похожа на девочку,— села в кресло Екатерина Ивановна.— Александр Петрович говорил, что я похожа на девочку.

— Екатерина Ивановна, а какой столик мы накроем? — рассерженно спросил, вставая с кресла, Миша Котиков.

— Вот этот,— показала на круглый столик Екатерина Ивановна,— но у меня ничего нет.

— Я принес Бордо и...— с гордостью сказал Миша Котиков,— закуски и фрукты.

— Ах, какой вы хороший,— засмеялась Екатерина Ивановна,— я люблю вино и фрукты!

— Меня совсем забросили друзья Александра Петровича,— сказала она вздыхая, в то время как Миша Котиков, став на цыпочки, доставал рюмки из шкафа.

— Они обо мне совсем не заботятся, знают, что я

безвольная, не умею жить, совсем не обращают на меня внимания. Не заходят, не говорят об Александре Петровиче. Не ухаживают за мной. Будемте друзьями, будемте говорить об Александре Петровиче,— добавила она.

Выпив и закусив, Миша Котиков стал рассматривать вещи в комнате.

— Не правда ли, это столик, за которым писал Александр Петрович? — указал он на небольшой круглый стол.— Отчего пыль вы не вытираете? — добавил он.

— Не умею я пыль вытирать,— ответила Екатерина Ивановна,— при Александре Петровиче я пыль не вытирала.

На следующий день проснулся Миша Котиков в постели Александра Петровича.

Рядом с ним, раскрыв ротик, высунув ручку, спала Екатерина Ивановна.

«Жаль, что она так глупа,— подумал Миша Котиков.— Никаких ценных сведений об Александре Петровиче сообщить мне не может. Ну, да ладно, от друзей Александра Петровича получу ценные сведения. А от нее узнаю, как писал Александр Петрович».— Екатерина Ивановна, а Екатерина Ивановна, как писал Александр Петрович?

Проснулась Екатерина Ивановна, раскинула ручки, толкнула коленком Мишу Котикова, перевернулась на другой бок и заснула.

Две недели ходил к Екатерине Ивановне Миша Котиков. Разные интимные подробности об Александре Петровиче собирал; иногда водил Екатерину Ивановну в кинематограф, иногда в театр, иногда просто по улицам гуляли.

Все узнал Миша Котиков: сколько родимых пятнышек было на теле Александра Петровича, сколько мозолей, узнал, что в 191... году у Александра Петровича на спине чирей выскочил, что любил Александр Петрович кокосовые орехи, что было у Александра Петровича за время брака с Екатериной Ивановной тьма любовниц, но что он любил ее очень.

А когда все узнал и все записал, то решил, что любовницы Александра Петровича, должно быть, умнее жены и ему больше сведений о душе Александра Петровича смогут дать. Бросил Екатерину Ивановну. Был он мальчик чистенький, одевался аккуратно в высшей сте-

пени, никогда у него ни под одним ноготочком грязь не застревала.

Узнал, что студентка X была последней любовницей Александра Петровича, встретился с ней в одном знакомом доме, где литературные собрания устраивались.

Дом был удивительный. Две барышни — и обе стихи писали. Одна — с туманностью, с меланхолией, другая — со страстностью, с натуральностью. Они обе решили поделить мир на части: одна возьмет грусть мира, другая — его восторги.

Были еще всякие юноши и девушки. Поэтический кружок составился. Приходили и прежней эпохи поэты; тридцатипятилетние юноши. Все стихи, садясь в кружок, читали, а некоторые на балконе стояли, звездным небом и трубами любовались. Здесь-то и встретился Миша Котиков со студенткой X.

Он тоже здесь стихи читал, сидя на подушке от дивана, ножки вытянув, глазки закрыв. Рядом с ним как раз сидела студентка X, веселая, с длинными ножками.

— А что, Евгения Александровна, пойдемте после вечера по городу погулять, к томоновской Бирже.

— Только если соберется компания,— шепотом ответила Евгения Александровна.

В два часа ночи компания составилась.

Компания прошла мимо вздыбленных коней над Фонтанкой. Всю дорогу ухаживал за Женей Миша Котиков. Говорил о том, что она удивительная и необыкновенная девушка. Когда подошли к Бирже Томона, удалились вместе Миша и Женя, склонив нежно головы.

Раскраснелся Миша Котиков, порозовела Женичка, со ступенек встали.

— Скажите, Женичка,— спросил Миша Котиков,— очень вас любил Александр Петрович?

— Обещал два месяца любить, но потом избегал встречаться.

— А когда это было?

— 11-го февраля.

— Не говорил ли с вами Александр Петрович о поэзии?

— Говорил,— ответила, поправляя юбку, Женя,— говорил, что каждая девушка писать стихи должна. Во Франции все пишут.

— А что говорил Александр Петрович об ассонансах?

— Ассонансов он не любил, говорил, что они только для песен годятся.

— Женичка, Женичка, еще поправьте юбочку, а то заметить могут.

Молодые люди прощались. Город постепенно восстанавливался. Появлялись окрашенные здания. Поэт Троицын прошел, провожая свою аптекаршу. А знакомство у него с аптекаршей было необычайное. Раз как-то он, проходя мимо аптеки, увидел за прилавком хорошенькую головку, зашел, попросил средства от головной боли; хорошенькая головка знала, что это Троицын. Еще бы не знать! Троицын везде стихи читал. Он страшно любил стихи читать.

Дала она ему средство от головной боли, и заговорил Троицын о звездах. Просто неземной человек был Троицын, только о звездах и мог говорить.

— Посмотрите,— говорил он, показывая в окно,— какая Медведица.

— А какая огромная луна,— ответила девушка.

— А какой чистый воздух ночной,— сказал Троицын.

— А знаете мое стихотворение «Дама с камелиями»? — спросил Троицын.

— Не знаю.

— Хотите, я почитаю?

— Почитайте,— ответила барышня.

Троицын почитал.

«Какие поэтические стихи!» — замечталась девушка.

Троицын облокотился совсем на прилавок. Барышня посмотрела на часы.

— Сейчас моя подруга придет, я ее сегодня заменяю.

— Я вас провожу,— сказал Троицын.

— Хорошо,— раскрыла глаза барышня.

Через полчаса они шли мимо Петровского парка.

— Давайте в снежки играть,— предложил Троицын.

То она убегала, то он убегал. Прохожих не было. Сели отдохнуть, белые от снежков.

Посмотрел Троицын вокруг — никого. Посмотрела она — никого. Пошли подальше от дороги.

На следующий день Троицын бегал по городу и всем рассказывал. Но в течение двух недель ходил прово-

жать аптекаршу, появлялся везде с аптекаршей, отводил друзей в сторону и шептал на ухо:

— Надоела мне она. Это все перпендикулярная любовь. Я, как Дон-Жуан, настоящей любви ищу.

Посмотрели вслед удаляющейся парочке молодые люди, посмеялись над Троицыным.

Попрощался с Женей Миша Котиков. Условились завтра встретиться. Подошел Миша Котиков к неизвестному поэту.

— Я биографией Александра Петровича занят. Не можете ли вы дать нужные сведения?

— Гм...— лениво ответил неизвестный поэт.— Обратитесь к Троицыну. Он все знает.

Миша Котиков побежал догонять Троицына.

На следующий день Миша Котиков сидел у Троицына. Комната была полутемная. Пахло малиновым вареньем. На окнах висели кисейные занавески. На подоконнике зеленела девичья краса. На стенах были развешаны портреты французских поэтов, приколоты гравюры, изображавшие Манон Леско, Офелию, блудного сына.

— Вот перо Александра Петровича,— протянул вставочку Троицын Мише Котикову,— вот чернильница, вот носовой платок Александра Петровича.

— У меня есть носовой платок Александра Петровича,— ответил с гордостью Миша Котиков.

— Как, вы тоже собираете поэтические предметы?

— Это вещи для биографии,— ответил Миша Котиков.— Важно установить, в каком году какие носовые платки носил Александр Петрович. Вот у вас батистовый, а у меня полотняный. Вещи связаны с человеком. Полотняный платок показывает одну настроенность души, батистовый — другую.

— У меня платок тринадцатого года.

— Вот видите,— заметил Миша Котиков,— а у меня шестнадцатого! Значит, Александр Петрович пережил какую-то внутреннюю драму или ухудшение экономического положения. По платку мы можем восстановить и душу и экономическое состояние владельца.

— А я вообще собираю поэтические предметы,— доставая шкатулку, сказал Троицын.

— Вот шнурок от ботинок известной поэтессы (он назвал поэтессу по имени). Вот галстук поэта Лебединского, вот автограф Линского, Петрова, вот — Александра Петровича.

Миша Котиков взял автограф Александра Петровича, стал рассматривать.

— А где бы мне добыть автограф Александра Петровича?

— У Натальи Левантовской,— ответил Троицын.

«А...» — подумал Миша Котиков.

Глава XI
ОСТРОВ

Еще весной переехал Тептелкин в Петергоф, снял необыкновенное здание.

Задумался у входа. Здесь он будет принимать друзей, будет гулять по парку с друзьями, как древние философы, и, прохаживаясь, объяснять и разъяснять, говорить о высоких предметах. Здесь посетит и мечта жизни его, необыкновенное и светлое существо,— Мария Петровна Далматова. Сюда приедет и философ, его старый наставник, и необыкновенный поэт, духовный потомок западных великих поэтов, прочтет им всем новые стихи свои на лоне природы. И другие знакомые приедут. Задумался Тептелкин.

Утром он встал, распахнул окно и запел как птичка. Внизу чирикали, взлетали воробьи, шла молочница.

«Теплынь-то какая»,— подумал он и простер руки к просвечивающему сквозь ветви деревьев солнцу.

— Тихо тут, совсем тихо, я буду работать вдали от города; здесь я могу сосредоточиться, не разбрасываться.

Он облокотился на стол.

— Ха-ха,— смеялись по вечерам обитатели соседних дач, утихомирившиеся советские чиновники, со своими женами и детворой, идя по дорожкам от дач и погружаясь в зелень парка.

— Ха-ха! приехал философ; тоже, выбрал помещение!

— Ха-ха, дурачок, по утрам цветы собирает.

Тептелкин со дня на день ждал приезда своих друзей. Собирал цветы по утрам, чтобы встретить друзей с цветами.

Вот идет он с охапкой черемухи — Мария Петровна любит черемуху. Вот завернул он за угол с букетом сирени. Сирень любит Екатерина Ивановна.

Но отчего нигде не видно Натальи Ардалионовны? Куда она скрылась?

— Мы последний остров Ренессанса,— говорил Тептелкин собравшимся,— в обставшем нас догматическом море; мы, единственно мы, сохраняем огоньки критицизма, уважение к наукам, уважение к человеку; для нас нет ни господина, ни раба. Мы все находимся в высокой башне, мы слышим, как яростные волны бьются о гранитные бока.

Башня была самая реальная, уцелевшая от купеческой дачи. Низ дачи был растащен обитателями соседних домов на топку кухонь, но верх уцелел, и в комнате было уютно. Стоял стол, накрытый зеленой скатертью. Вокруг стола сидело общество: дама в шляпе со страусовыми перьями и с аметистовым кулоном, собачка рядом с ней на стуле; старичок, рассматривающий ногти и делающий тут же маникюр; юноша в кителе с старозаветной студенческой фуражкой на коленях; философ Андрей Иванович Андриевский; три вечных девы и четыре вечных юноши. В уголке Екатерина Ивановна завивала пальцем волосы.

— Боже мой, как нас мало,— Тептелкин качнул своими седеющими волосами.— Попросим уважаемого Андрея Ивановича сыграть,— повернулся он к высокому философу, совершенно седому, с длинными пушистыми усами.

Философ встал, подошел к футляру, вынул скрипку.

Тептелкин растворил окно, отошел. Философ сел на подоконник, засунул угол платка за крахмаленый воротничок, попробовал струны и заиграл.

Внизу цвели запоздавшие ветви сирени. В комнату проникал фиолетовый свет. Там, вдали, мерцало море, освещенное развенчанной, но сохранившей очарование для присутствующих луной. Перед морем фонтаны стремились достичь высоты луны разноцветными струями, наверху кончавшимися трепещущими белыми птичками.

Философ играл старинную мелодию.

Внизу, по аллее фонтанов, проходил Костя Ротиков с местным комсомольцем. У комсомольца были глаза херувима. Комсомолец играл на балалайке.

Костя Ротиков был упоен любовью и ночью.

Философ играл. Он видел Марбург, великого Когена и свою поездку по столицам западноевропейского мира; вспомнил, как он год прожил на площади Жанны д'Арк; вспомнил, как в Риме... Скрипка пела все унывней, все унывней.

Философ с густой, седой шевелюрой, с моложавым лицом, с пушистыми усами и бородой лопатой видел себя великолепно одетым, в цилиндре с тросточкой, гуляющим с молодой женой.

— Боже мой, как она любила меня,— и ему захотелось, чтоб умершая жена его стала вновь молодой.

— Не могу,— сказал он,— не могу больше играть,— опустил скрипку и отвернулся в фиолетовую ночь.

Вся компания сошла вниз в парк.

Философ некоторое время шел молча.

— По-моему,— прервал он молчание,— должен был бы появиться писатель, который воспел бы нас, наши чувства.

— Это и есть Филострат,— рассматривая только что сорванный цветок, остановился неизвестный поэт.

— Пусть будет по-вашему, назовем имеющего явиться незнакомца Филостратом.

— Нас очернят, несомненно,— продолжал неизвестный поэт,— но Филострат должен нас изобразить светлыми, а не какими-то чертями.

— Да уж, это как пить дать,— заметил кто-то.— Победители всегда чернят побежденных и превращают, будь то боги, будь то люди,— в чертей. Так было во все времена, так будет и с нами. Превратят нас в чертей, превратят, как пить дать.

— И уже превращают,— заметил кто-то.

— Неужели мы скоро друг от друга отскочим? — ужасаясь, прошептал Тептелкин, моргая глазами,— неужели друг в друге чертей видеть будем?

Шли к бабьегонским высотам.

Компания расстелила плед, каждый скатал валиком свое пальто.

— Какой диван! — воскликнул Тептелкин.

Впереди, освещенный магометанским серпом, темной массой возносился Бельведер; направо — лежал Петергоф, налево — финская деревня.

Когда все расположились, неизвестный поэт начал:

Стонали точно жены струны.
Ты в черных нас не обращай...

Тептелкин, прислонившись к дереву, плакал, и всем в эту ночь казалось, что они страшно молодые и страшно прекрасные, что все они страшно хорошие люди.

И поднялись — шерочка с машерочкой и затанцевали на лугу, покрытом цветами, и появилась скрипка в руках философа и так чисто и сладко запела. И все воочию увидели Филострата: тонкий юноша с чудными глазами, оттененными крылами ресниц, в ниспадающих одеждах, в лавровом венке — пел, а за ним шумели оливковые рощи. И, качаясь, как призрак, Рим вставал.

— Я предполагаю написать поэму,— говорил неизвестный поэт (когда видение рассеялось), — в городе свирепствует метафизическая чума; синьоры избирают греческие имена и уходят в замок. Там они проводят время в изучении наук, в музыке, в созидании поэтических, живописных и скульптурных произведений. Но они знают, что они осуждены, что готовится последний штурм замка. Синьоры знают, что им не победить; они спускаются в подземелье, складывают в нем свои лучезарные изображения для будущих поколений и выходят на верную гибель, на осмеяние, на бесславную смерть, ибо иной смерти для них сейчас не существует.

— Ах, не правда ли, я теперь совсем глупой стала,— начала приставать к Тептелкину Екатерина Ивановна,— совсем глупой стала без Александра Петровича и совсем несчастной.

— Послушайте,— отвел Тептелкин в сторону Екатерину Ивановну,— вы совсем не глупая, просто жизнь так складывается.— «Развратил ее совершенно Заэвфратский, развратил»,— подумал он.

— А где Михаил Петрович Котиков,— прошептала Екатерина Ивановна,— отчего он не заходит, не говорит со мной об Александре Петровиче?

Помолчал Тептелкин:

— Не знаю.

Екатерина Ивановна, приподняв ножку, начала осматривать свои туфельки.

— А ведь туфли-то у меня совсем истрепались,— широко раскрыв глаза, сказала она.— И дома нет одеяла, пальто прикрываться приходится.

И задумалась.

— Нет ли у вас конфеток?

— Нет,— грустно ответил Тептелкин.

— А ведь Александр Петрович великий поэт, не правда ли? Нет теперь больше таких поэтов,— выпрямилась она с гордостью.— Он меня больше всего на свете любил.— И улыбнулась.

К Тептелкину подошла Муся в старомодной соломенной шляпке с голубыми ленточками и слегка блестящими ногтями дотронулась до его руки.

— Скажите,— сказала она, что значит:

Есть в статуях вина очарованье,
Высокой осени пьянящие плоды...

— Ах, ах,— покачал головой Тептелкин,— в этих строках скрыто целое мировоззрение, целое море снующих, то поднимающихся как волны, то исчезающих смыслов!

— Как хорошо мне с вами,— сказала Муся.— Мне он говорил,— она показала глазами на неизвестного поэта, разговаривающего с вечным юношей,— что вы последние, уцелевшие листы высокой осени. Я это не совсем поняла, хотя кончила университет; но ведь теперь в университетах не этому совсем учат.

— Этому не учат, это чувствуют,— заметил Тептелкин.

— Сядемте на ту ступеньку,— указала Муся подбородком.

Они поднялись повыше. Сели на ступеньку между кариатид портика Бельведера.

— Как поют соловьи! — сказала Муся.— Отчего девушек соловьи всегда волнуют?

— Не только девушек,— ответил Тептелкин,— меня соловьи тоже всегда волнуют.

Он посмотрел Мусе в глаза.

— А я женщин боюсь,— задумчиво уронил он.— Это страшная стихия.

— Чем же страшная? — улыбнулась Муся.

— А вдруг закрутит, закрутит и бросит. С моими друзьями это случалось, а как бросит, никак не умолить жить вместе. А как мои друзья на своих жен молились и портреты в бумажниках носили! А они всегда, всегда бросают.

Тептелкин обиделся за друзей.

Муся достала гребенку и стала расчесывать Тептелкину волосы.

Внизу молодые люди пели:

Gaudeamus igitur...[1]

Тептелкин вспомнил окончание университета, затем погрузился в свое детство и в нем встретился с Еленой Ставрогиной. Ему показалось, что есть нечто от Елены Ставрогиной в Марии Петровне Далматовой, что она как бы искаженный образ Елены Ставрогиной, искаженный — но все же дорогой. Он поцеловал у нее руку.

— Боже мой,— сказал он,— если б вы знали...

— Что, что? — спросила Муся.

— Ничего,— тихо ответил Тептелкин.

Внизу пели:

Есть на Волге утес...

Утром в поезде ехали обратно в Ленинград Костя Ротиков и неизвестный поэт. Неизвестный поэт грустил невыносимо. Ведь его ждет полное забвение. Костя Ротиков развлекал его как мог и говорил о барокко.

— Не правда ли,— говорил он,— вы стремитесь не к совершенству и законченности, а к движущемуся и становящемуся, не к ограниченному и осязаемому, а к бесконечному и колоссальному.

В вагоне никого не было, они сидели вдвоем. Костя Ротиков встал и стал читать сонет Гонгоры.

Неизвестный поэт с нежностью смотрел на Костю Ротикова, насмешливого и остроумного, слегка легкомысленного, читающего только иностранные книги и несколько свысока любующегося творениями рук человеческих.

— Еще поборемся,— сказал он, выпрямляясь.

— Что с вами? — спросил Костя Ротиков.

— Ничего,— улыбнулся неизвестный поэт,— я обдумываю новую баро́чную поэму.

За окнами неслись поля с высокой травой. Появившийся Костя Ротиков уже читал сонет Камоэнса и находил огромное сходство в настроенности с пушкинским стихотворением:

Для берегов отчизны дальной...

В конце поезда, в вагоне, одна, сидела Екатерина Ивановна и обрывала ромашку: любит — не любит, лю-

---

[1] Да будем веселиться...— первая строка студенческого гимна *(лат.)*. Здесь и далее все подстрочные примечания, кроме особо оговоренных, принадлежат редакции.

бит — не любит. Но кто ее любит или не любит,— не знала. Но чувствовала, что ее должны любить и о ней заботиться.

А в самом последнем вагоне ехал философ с пушистыми усами и думал:

«Мир задан, а не дан; реальность задана, а не дана».

Чиво, чиво — поворачивались колеса.

Чиво, чиво...

Вот и вокзал.

У Кости Ротикова палочка с большим кошачьим глазом.

У Кости Ротикова глаза голубые, почти сапфировые.

У Кости Ротикова пальцы длинные, розовые.

— Куда мы направимся? — весело спросил неизвестный поэт.— Делать всё нам равно нечего.

— Пойдемте слушать, как изменяется язык отечественных осин,— улыбнулся Костя Ротиков.

Весь день провели вместе Костя Ротиков и неизвестный поэт. Гуляли по Летнему саду, по набережным Фонтанки, Екатерининского канала, Мойки, Невы. Постояли перед Медным Всадником, пожалели, что некогда отцы города счистили зелень,— прекрасную черно-зеленую патину. Покурили. Сели на скамейку. Поговорили о том, что город по происхождению большой дворец.

Поговорили о книгах.

Летний вечер. Никаких официальных занятий. Никакой кафедры. Мошкара кружится и вьется. В лодке сидит Тептелкин, гребет. У берега качаются тростники, наверху виден Петергофский дворец, на берегу стоит неизвестный поэт.

— Приехали! — кричит Тептелкин и гребет к берегу.— Наконец-то вы приехали. Если б вы знали, как мне грустно жить здесь, сегодня мне особенно грустно.

Лодка пристала к берегу, неизвестный поэт сходит в нее, и Тептелкин, сутулый, седеющий, гребет от берега. Неизвестный поэт управляет рулем,— лодка несется ко взморью.

— Мне вспомнилось,— говорит Тептелкин,— как я преподавал несколько лет тому назад в одном университетском городе. Я помню, как раз в этот день, в этот час, мы — я и учащаяся молодежь — отправились на противоположный берег реки и там в рощице я прочел лекцию.

Сумерки.

Наконец в темноте они привязали лодку и пошли гулять по парку.

На востоке появилась розовая полоска зари, когда молча они подошли к башне.

Неизвестный поэт слушал, как Тептелкин долго возится наверху в единственной жилой комнате, как он снимает сапоги и ставит их у кровати, как звенит ложечка в стакане.

«Пьет холодный чай»,— решил он.

Утром Костя Ротиков увидел неизвестного поэта дремлющим на белой скамье в парке у большой ели, прямой как мачта. Друзья радостно поздоровались и отправились к морю. Позади косят траву. Костя Ротиков сел на корточки в море, среди волн, крепкий, розовый. Неизвестный поэт дремлет на камнях, на берегу, согретый утренним солнцем.

— А знаете,— появился Костя Ротиков,— Андрей Иванович поселился здесь.

Дрыгая ногой и обтираясь мохнатым полотенцем, он продолжает:

— Я у него беру уроки методологии искусствознания.

Камни и песок раскалены. Костя Ротиков зашнуровывает ботинки с круглыми носами. Неизвестный поэт весело скачет с камня на камень и курит.

Молодые люди отошли от кладбища и направились наискось, по тропинке, между еще не скошенным пушистым медком, покрытым черными букашками и зеленовато-металлическими жучками и улиточной слизью, тмином, красным и белым клевером и щавелем, к дороге, ведущей в Новый Петергоф, к небьющим фонтанам (будний день), к статуям с сошедшей позолотой, ко дворцу, где у балюстрады ходит взад и вперед инвалид — продавец папирос, бегает босоногий мальчишка, предлагая ириски, и, скрестив ноги, прислонившись к ящику, меланхолически время от времени копает в носу мороженщик.

Молодые люди вошли в общественную столовую, расположенную вблизи дворца, и стали есть кислые щи. Одна тарелка была тяжелая, морская, другая — с гербом; ложки были оловянные.

— Что собой представляет Филострат? — спросил Костя Ротиков, поднося ложку ко рту.

Но в это время вошел в столовую философ Андрей

Иванович в сопровождении фармацевта и научной сотрудницы местного института.

Костя Ротиков и неизвестный поэт, встав, приветствовали вошедшего. После обеда все вместе направились в Старый Петергоф на празднование годовщины местного института. Но по дороге решили зайти к Тептелкину.

Тептелкин в это время принимал солнечную ванну. Он сидел голый в трехногом кресле и играл пальцами ног, и улыбался, и пил чай, и читал «Дух христианства» Шатобриана.

Костя Ротиков вошел первый и отпрянул. Прикрыл дверь, попросил поднимающихся подождать, приоткрыл дверь и элегантно проскочил в комнату. Тептелкин от неожиданности весь покраснел.

Компания, расположившись у башни, в садике со сломанным забором, с кустами акаций, со следами клумб, развлекалась. Она увеличилась еще за это время. Среднего роста студент, сидя на пне, играл на гребенке. Другой, крошечного роста, присвистывал. Философ сидел на скамейке, недавно поставленной и еще не окрашенной; рядом с ним сидел фармацевт, вечно шевелящий губами; на траве аккуратно сидела сотрудница местного института. В это время с высоты башни спустился Костя Ротиков под руку с Тептелкиным.

Фармацевт наконец только что начал говорить; ему жалко было, что ему помешали. Он был огромного роста, в крахмальном белье и, собственно, не носил, а преподносил свой костюм. Тут же, прося не двигаться, всю группу снимал «кодаком» молодой человек, увлекающийся фрейдизмом; он даже уроки немецкого языка здесь брал у Тептелкина, чтобы читать Фрейда в подлиннике.

— Господа,— сказал Тептелкин.— Может быть, вместо того, чтобы сейчас идти на годовщину, еще посидим здесь, потому что через час ко мне ученик из города приедет.

Пока Тептелкин в башне подготавливал ученика трудовой школы в вуз, неизвестный поэт и Костя Ротиков сходили за пивом, все поочередно пили из оказавшегося у кого-то стаканчика, обмахивались носовыми платками, били и отгоняли комаров.

Послышались мужские шаги. На дороге появилась сморщенная цыганка в высоких смазных сапогах. Увидев башню и компанию, она быстро побежала к ней:

— Дай погадаю, дай погадаю! Глаза твои заграничные!

Ходила она между лежащими, сидящими и стоящими.

— Не надо, не надо,— отвечали ей,— мы свое будущее знаем.

Никто не заметил, как из башни проскользнул ученик с физикой Краевича под мышкой.

— Ля-ля, ля-ля,— пел Тептелкин, пряча деньги и спускаясь по лестнице.

Уже солнце садилось, когда компания приблизилась к местному институту. Они опоздали, научная часть кончилась, неслась музыка из небольшого зала небольшого дворца герцогов Лейхтенбергских. Стеклянные двери в парк были растворены, и красивые и некрасивые девушки, в тщательно сохраненных кружевных платьицах, вились у входа. Внутри танцевали. Все носило чистый и невинный характер. Радостные лица молодых девушек и молодых мужчин, тапер, сохранявший медленность, профессора, сидящие по стенам и с достоинством беседующие друг с другом. Компания гуськом вошла в зал. Уже давно луна рябит. Костя Ротиков танцует до седьмого пота; философ осторожно ходит между танцующими и беседует с профессорами; Тептелкин выплывает из дверей в парк с фармацевтом. Вокруг летают ночные бабочки и бьются в освещенные окна.

Тьма. Философ, фармацевт и научная сотрудница движутся тремя силуэтами. Фармацевт следит, как бы не оступился философ, как бы не разбился, как бы не пропало одно из последних философских светил.

У аккуратного крыльца два силуэта целуются с третьим.

— Покойной ночи, дорогой Андрей Иванович,— говорят они.

Утром студенты опять разбрелись по парку собирать козявок, жучков, всякую травку; некоторые плыли на лодках по небольшим прудам, сачками ловили в воде водоросли. Было жарко, солнце палило. Пахло сеном.

Глава XII

РАСЦВЕТ

Через южный городок лихо шли отряды матросов, суетливо полки красноармейцев, оборванных и усталых. Тянулась артиллерия и обозы. Врангель высадил десант.

Он был в 16-ти верстах, когда в актовом зале двухэтажной женской гимназии, рядом с больницей, против собора, открылось торжественное заседание. За длинным столом, накрытым традиционным зеленым сукном, сидели петербуржцы. Сначала, вскочив, произнес речь только что назначенный ректор, затем говорили только что избранные деканы, потом только что избранные профессора и преподаватели. После третьего преподавателя поднимается Тептелкин.

— Граждане,— говорит он,— вы почтили нас священным званием профессоров и преподавателей; от голода, от повальных болезней, от морального страдания на севере Петербург погибает. Там книгохранилища опустели, музеи больше не посещаются. В университете бродят, серые, как тени, студенты, там нет ни собак, ни кошек, вороны не летают, воробьи не чирикают. Там всю зиму не раздеваются, сидят у буржуек, как эскимосы. На улицах валяются дохлые лошади с поднятыми к небу ногами и совершенно прозрачные, опухшие люди режут их на части и, запрятав куски за пазуху, тайком возвращаются по домам.

Здесь, среди южной природы, в благодатном климате, в изобилии плодов земных, мы разовьем интеллектуальный сад, насадим плоды культуры.

Тептелкин останавливается, поднимает лицо, ломает руки.

— Здесь, на юге, культура взойдет многоярусной башней, южные ветры будут овевать ее, невинные цветы усеют ее подножие, в окна будут залетать птицы, летом мы будем уходить в степь целыми толпами и читать вечные страницы философии и поэзии. Война, разруха не должны смущать вас. Я думаю, вы чувствуете тот пафос, который одушевляет нас.

Пожилой человек, знаток сумеро-аккадийских письмен, не выдержал и захохотал; старичок, которого увлекала античность не своими грамматическими формулами, а своей эротикой, прыснул и закрыл лицо руками; биолог, известный донжуан, посмотрел иронически и поправил пробор. Но весь актовый зал аплодировал Тептелкину, и в учительской ему пожимали руку и беседовали.

По краткому собеседованию со студентами, Тептелкин решил читать курс по Новалису.

Великолепна была первая лекция Тептелкина. Он

склонялся на фоне досок над кафедрой и время от времени заглядывал в свои листки.

— Коллеги,— говорил он,— мы сейчас погрузимся в прекраснейшее, что существует на свете. Мы выйдем из связанного по рукам и по ногам классицизма, чтобы услышать пленительную музыку человеческой души, чтоб лицезреть, еще покрытый росой, букет юности, любви и смерти.

Голос Тептелкина переливался, как пение соловья, его фигура — высокая, стройная, без малейшей сутулости, его руки, соединенные в виде лодочки за спиной, его вдохновенные глаза,— все вызывало в слушающих восторг, а когда Тептелкин на следующей лекции стал читать оригиналы и тут же переводить их и комментировать, привлекая Бог знает скольких поэтов и на скольких языках, многие юноши окончательно были потрясены, а барышни влюбились в Тептелкина. Всю учащуюся молодежь охватила физическая жажда юности, любви и смерти.

Всю зиму лекции Тептелкина были переполнены. Уже настала весна, и на мостовых меж кирпичей пробивалась сорная трава; уже солнце грело; уже Тептелкин носил летний костюм и белые парусиновые туфли.

Когда проходил он по улице, за ним следовали барышни с букетами цветов и говорили о юности, любви и смерти. Когда он заходил к учащейся молодежи, его встречали почтительными поклонами.

Тептелкин стал кумиром города.

Некоторые студенты принялись изучать итальянский язык, чтобы читать о любви Петрарки и Лауры в подлиннике, другие повторять латынь, чтобы читать переписку Абеляра и Элоизы, иные стали грызть греческую грамматику, чтобы читать «Пир» Платона.

Все чаще устраивались экстраординарные доклады Тептелкина.

— Расцвет, расцвет,— волновался он и как дирижер носился по городу.

То он с кем-нибудь читал о любви и толковал о прегнантном обороте, то кстати разбирал Данте и, дойдя до середины пятой песни, до Паоло и Франчески, потрясенный, ходил по комнате, то комментировал прощание Гектора с Андромахой, то читал доклад о Вячеславе Иванове.

Год просуществовал университет в городке. Врангель был отогнан, и было получено распоряжение о

том, чтобы в университете было не меньше десяти марксистов. В то время марксистов не оказалось, все они были заняты на фронте. И университет закрылся. Закрылись аудитории, помещавшиеся в лабазе, кончились торжественные заседания и экстраординарные доклады в актовом зале женской гимназии. Тщетно прекраснейший климат и южные степи звали Тептелкина остаться. Он, захватив свои пожитки, вернулся в Петербург.

Глава XIII
ОСЕНЬ

Все лето прожил Тептелкин в своей башне, в милой для него дворянской окрестности.

Поздней осенью, когда багряные листы стали кружиться в воздухе и шуршать под ногою, сложил свои книжки, единственное свое достояние, в брезентовый чемодан; обошел в последний раз приходящий в запустение английский парк, маленький, но сложный, как лабиринт. Прошел в соседний парк, посмотрел грустно на Еву, прикрывавшую рукой лобок; между рукой и телом видны были черные прутья (шалость местной детворы), взглянул на Адама, продолжение спины Адама было запачкано нечистотами.

Сел на скамейку. На этой скамейке несколько дней тому назад он сидел с Мусей Далматовой, но не говорил о любви, а говорил о том, что хорошо жить вдвоем, что он больше не боится женщин. Он вспомнил золотые слова Марьи Петровны в ответ:

— Жена как мать должна относиться к своему мужу.

Ведь Тептелкину нужна была мама, которая любила бы его и ласкала, целовала бы в лоб и называла своим ненаглядным мальчиком.

— Боже мой, как прекрасен парк, как прекрасен...— прошептал Тептелкин, вставая со скамейки.

И хотя он не был дворянин, ему стало жаль дворян, разрушенных усадеб, коров с кличками Ариадна, Диана или Амальхен, Гретхен; всех многочисленных родственниц и приживалок, вечно зябнущих в серых, коричневых или черных платках, самоваров, варений, альбомов, пасьянсов, раскладываемых дрожащею рукой.

«Разве теперь,— думал он,— когда это все отошло, не трогательны розовые сады, где-нибудь в Харьковской губернии. Подростки женского пола, читающие только Пушкина, Гоголя и Лермонтова и мечтающие о спасении Демона; и не ужасна ли жизнь этих бывших подростков теперь, когда прежний быт, для которого они были созданы, кончился? Не обступает ли их теперь ужаснейшее отчаяние?»

Глава XIV

ПОСЛЕ БАШНИ

Снова для Тептелкина наступила пора занятий в городских библиотеках, чтения писем и сочинений маленьких сотрудников-гуманистов, скромных солдат армии, предводителями которой были Петрарка и Боккаччио. Видел он Петрарку бродящим вместе с Филиппом де Кабассолем по окрестностям Воклюза, занятых разговорами о научных и религиозных вопросах, проводящих целые ночи за книгами. Появлялся Клемент VI, награждающий за латинские стихи пребендой.

Затем он с грустью читал отчеты о спорах. Он чувствовал, что при крайнем упадке гуманитарных наук и при крайней скудости в хороших книгах возможна только пустая болтовня, а не ученый спор.

Иногда он перелистывал новые, выходившие книги. Его поражала форма изложения.

«Современники,— думал он,— отличаются невозможной формой изложения, полным отсутствием духа критики, крайним невежеством и чрезвычайной наглостью».

Стали приходить к Тептелкину Аким Акимовичи и на ухо сообщали сведения о его друзьях. Один живет со своей матушкой и занимается оккультизмом; другой — к песикам неравнодушен; третий бывший наркоман, и прозрения его в высшей степени подозрительны. Четвертый подхалимствует в чуждых сферах.

Смеялся Тептелкин.

— Мои друзья — избранники, никогда клевете не поверю. Нет ничего выше дружбы.

Но он стал замечать, что молодой человек, увлекающийся радио, действительно как-то слишком страстно целуется со своей матушкой. Сидят, сидят и вдруг язык с языком соединяется, и напряжение языков у

них до того сильно, что оба они, и сын и мать, от натуги краснеют. И действительно заметил, что другой его знакомый с непочтенными людьми на «ты» и при встречах с ними виляет задом. А третий часто неестественно нервен. Но все же убеждал сам себя Тептелкин, что все это пустяки, дружба выше всего на свете! Тут произносилась цитата из Цицерона.

Неизвестный поэт поджидал Костю Ротикова в Екатерининском сквере.

Постоял.

Прошелся по саду.

На одной скамейке заметил Мишу Котикова с актрисой Б. Сидит и что-то на ухо нежно шепчет и уголком рта, заметив неизвестного поэта, нехорошо улыбается.

«Всё биографические сведения о Заэвфратском собирает»,— повернулся неизвестный поэт спиной и пошел к калитке.

Купил газету.

Сел на скамейку.

Почитал.

Опустил газету.

Затем вспомнил философа с пушистыми усами и мысленно преклонился перед его стойкостью; в прежние времена этого философа ждала бы великолепная кафедра. Почтительную молодежь было бы не оторвать от его книг. Но теперь нет ни кафедры, ни книг, ни почтительной молодежи.

Зевнул.

Лениво подумал: «Это ересь, что с победой христианства исчезли сильные, языческие поэты и философы. Они нигде не встречали понимания, самого примитивного понимания, и должны были погибнуть. Какое одиночество испытывали последние философы, какое одиночество...»

Он заметил Марью Петровну Далматову на скамейке.

Встал. Подошел.

— Что делаете вы тут? — спросил он.

— Вашу книгу читаю,— улыбаясь, ответила Муся.

— Вы лучше Троицына почитайте. Для девушек это полезнее. Охота вам читать такой сухой вздор.

«Я разучиваюсь говорить,— подумал он,— совсем разучиваюсь».

И вдруг грустно, грустно посмотрел вокруг.

Глава XV
СВОИ

Совсем глубокой осенью, после того, как Тептелкин покинул башню и переехал обратно в город, неизвестный поэт вошел в его комнату.

Тептелкин, как всегда, в часы занятий сидел в китайском халате, на голове его возвышалась тюбетейка.

— Я изучаю санскрит,— сказал он.— Мне необходимо проникнуть в восточную мудрость; я вам сообщу совершенно по секрету, я пишу книгу «Иерархия смыслов».

— Да,— опираясь подбородком на палку, засмеялся неизвестный поэт.— Дело в том, что современность вас осмеет.

— Какие вы глупости говорите,— вскричал, раздражаясь, Тептелкин.— Меня осмеют! Все меня любят и уважают!

Неизвестный поэт поморщился и забарабанил пальцами по стеклу.

— Для современности,— повернул он голову,— это только забава.

— Возьмем Троицына. Можно спорить об его величине, но все же он поэт настоящий.

— Я слышал, как Троицын собирает поэтические предметы,— смотря на затылок неизвестного поэта, заметил Тептелкин.

— Что ж, это от великой любви к поэзии. Для посторонних великая любовь часто бывает смешна.

— А Михаил Александрович Котиков? — задумавшись, спросил Тептелкин.

От Тептелкина неизвестный поэт пошел по полученному утром приглашению.

Сидели на железных неокрашенных кроватях безумные юноши. Один поблескивал пенсне, другой пел птичьим голосом свое стихотворение. Третий, ударяя в такт ногой, выслушивал свой пульс. Посредине сидела их общая жена — педагогичка второго курса. На голой стене комнаты отражалось окно с цветком.

Неизвестный поэт вошел.

— Мы хотим поговорить с вами о поэзии. Мы считаем вас своим,— прервали они свои занятия.

— Даша, брысь со стула,— сказал человек в пенсе.

Педагогичка повернулась и хлопнулась на постель.

— Гомперцкий,— протянул руку человек в пенс-

не,— изгнан из университета за академическую неуспешность.

— Ломаненко, сельскохозяйственник,— пропел птичьим голосом второй.

— Стокин, будущий оскопитель животных,— представился третий.

— Иволгина,— протянула руку педагогичка и поцарапала пальцем по ладони неизвестного поэта.

— Даша, смастери чай,— пробасил будущий фельдшер в сторону.

— Я слушать хочу,— скривив голову набок, засмеялась Даша.

— Говорят тебе! — истерическим голосом провизжал человек в пенсне, сделал пируэт и грациозно шлепнул ее носком сапога ниже спины.

Педагогичка скрылась.

«Попался,— повернулся к окну неизвестный поэт.— Здесь нельзя говорить о сродстве поэзии с опьянением,— думал он,— они ничего не поймут, если я стану говорить о необходимости заново образовать мир словом, о нисхождении во ад бессмыслицы, во ад диких и шумов и визгов, для нахождения новой мелодии мира. Они не поймут, что поэт должен быть, во что бы то ни стало, Орфеем и спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться с Эвридикой — искусством, и что, как Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает. Неразумны те, кто думает, что без нисхождения во ад возможно искусство. Средство изолировать себя и спуститься во ад: алкоголь, любовь, сумасшествие...»

И мгновенно перед ним понеслись страшные гостиницы, где он, со стаей полоумных бродяг, медленно подымался по бесконечным лестницам, освещенным ночным, уменьшенным светом. Ночи под покачивание матрацев, на которых матросы, воры и бывшие офицеры, и женские ноги то под ними, то на них. Затем прояснились заколоченные, испуганные улицы вокруг гостиницы. И бежит он снова, шесть лет тому назад, с опасностью для жизни, по снежному покрову Невы, ибо должен наблюдать ад, и видит он, как ночью выводят когорты совершенно белых людей.

— Еще на западе земное солнце светит...—

скажет потом одна поэтесса, но он твердо знает, что никогда старое солнце не засветит, что дважды невоз-

можно войти в один и тот же поток, что начинается новый круг над двухтысячелетним кругом; он бежит все глубже и глубже в старый, двухтысячелетний круг. Он пробегает последний век гуманизма и дилетантизма, век пасторалей и Трианона, век философии и критицизма и по итальянским садам, среди фейерверков и сладостных латино-итальянских панегириков, вбегает во дворец Лоренцо Великолепного. Его приветствуют там, как приветствуют давно отсутствовавших любимых друзей.

— Как ваши занятия там, наверху? — спрашивают его.

Он молчит, бледнеет и исчезает. И уже видит себя стоящим в рваных сапогах, нечесаным и безумным перед туманным высоким трибуналом.

«Страшный суд»,— думает он.

— Что делал ты там, на земле? — поднимается Дант.— Не обижал ли ты вдов и сирот?

— Я не обижал, но я породил автора,— отвечает он тихим голосом,— я растлил его душу и заменил смехом.

— Не моим ли смехом,— подымается Гоголь,— сквозь слезы?

— Не твоим смехом,— еще тише, опустив глаза, отвечает неизвестный поэт.

— Может быть, моим смехом? — подымается Ювенал.

— Увы, не твоим смехом. Я позволил автору погрузить в море жизни нас и над нами посмеяться.

И качает головой Гораций и что-то шепчет на ухо Персию. И все становятся серьезными и страшно печальными.

— А очень мучились вы?

— Очень мучились,— отвечает неизвестный поэт.

— И ты позволил автору посмеяться над вами?

— Нет тебе места среди нас, несмотря на все твое искусство,— поднимается Дант.

Падает неизвестный поэт. Подымают его привратники и бросают в ужасный город. Как тихо идет он по улице! Нечего делать ему больше в мире. Садится за столик в ночном кафе. Подымается Тептелкин по лесенке, подходит.

— Не стоит горевать,— говорит он.— Мы все несчастны в этом мире. Ведь я тоже думал донести огонек возрождения, а ведь вот что получается.

Снова неизвестный поэт в комнате.

— Вы стремитесь к бессмысленному искусству. Искусство требует обратного. Оно требует осмысления бессмыслицы. Человек со всех сторон окружен бессмыслицей. Вы написали некое сочетание слов, бессмысленный набор слов, упорядоченный ритмовкой, вы должны вглядеться, вчувствоваться в этот набор слов; не проскользнуло ли в нем новое сознание мира, новая форма окружающего, ибо каждая эпоха обладает ей одной свойственной формой или сознанием окружающего.

— На примере, конкретно! — закричали присутствующие.

«Надо попроще,— подумал он,— надо попроще».

— Окна комодов, деревья садов... что это значит? — спросил он.

— Ничего,— закричали с постелей,— это бессмыслица!

— Нет,— ощупывая листки в кармане, сказал он.— Всмотритесь в комод.

— У комодов нет окон,— закричали с постелей,— у домов — окна!

— Хорошо,— улыбнулся неизвестный поэт.— Значит, дома́ — комоды. А что в садах деревья — согласны?

— Согласны,— ответили присутствующие.

— Получается: в домах-комодах живут люди, подобно тому как деревья растут в садах.

— Не понимаем! — закричали присутствующие.

— Вот импровизация!

— Вот что значит,— сказал неизвестный поэт,— окна комодов, деревья садов.

— Вот штука-то,— процедили люди на постелях, когда неизвестный поэт исчез.

— Дашка, чай не нужен.

— А сволочь, какие стихи пишет,— нахмурился человек в пенсне.— Заумные и вместе с тем незаумные. Поди его разбери.

Гомперцкий пошел на кухню, сел на окно и обратился к Даше:

— Яичницу поставь.

Стал барабанить пальцами по стеклу.

— Я человек интеллигентный, неврастеник, ты меня больше чем,— он указал на дверь,— любить

должна. Я учился, я рафинированный субъект, а они что — темнота. Ой, тру-ла-ла, ой, тру-ла-ла...— запел он.

— А ведь, в общем, мы твой гарем, Дашка; ты у нас — падишах.— Он подошел к ней.

— Эх, отстань,— оттолкнула она его,— яичница пригорит.

Глава XVI
ВЕЧЕР СТАРИННОЙ МУЗЫКИ

Переехав с дачи в город, снова Тептелкин давал бесплатные уроки египетского, греческого, латинского, итальянского, французского, испанского, португальского языков; надо было поддержать падающую культуру.

Вот и сегодня, в этот ясный, осенний день, в своей комнате, на фоне семейных фотографий, сидел он над египетской сказкой о потерпевшем кораблекрушение. Разбирал иероглифы, выписывал слова на отдельные листки.

Себаид — поручение
Мер — начальник города
Нефер — прекрасный

И, смотря в пространство, он слышал, как изображенные птицы поют, как проносятся разукрашенные лодки, как пальмы качаются. И вставал прекрасный образ Изиды, а затем последней царицы.

А во дворе, под окнами, пионеры играли в пятнашки, в жмурки, иные ковыряли в носу, как самые настоящие дети, и время от времени пели:

мы новый мир построим

или

поедем на моря.

А по каналам, по рекам, перерезающим город, сидели в лодках совбарышни, а за ними ухажер в кожаной куртке играл на гармонике, или на балалайке, или на гитаре.

И при виде их такое уныние овладевало петербургскими безумцами, что они бесслезно плакали, поднимали плечи, сжимали пальцы.

А поэт Троицын, возвращаясь после виденного в свою каморку, ложился на постель, повертывался к стене и вздрагивал, как бы от холода.

А Екатерина Ивановна, в своей нетопленной комнате, ходила со свертком на руках! Боже мой, как ей хотелось иметь от Александра Петровича ребенка, и вспоминала, как Александр Петрович подымался вместе с ней по уставленной зеркалами и кадками с деревьями лестнице и делал ей предложение и она ввела его в свою розовую, совсем розовую комнату. Как он читал ей стихи до глубокой ночи и как они потом сидели в светлой столовой. Вспомнила — скатерть была цветная и салфеточки были цветные. И отца вспомнила, видного чиновника одного из министерств. И мать, затянутую и натянутую. И лакея Григория в новой тужурке и белых перчатках.

И Ковалев, при виде лодок, вдруг старел душой и с ужасом вокруг осматривался и чувствовал, что время бежит, бежит, а он все еще не начал жить, и в нем что-то начинало кричать, что он больше не корнет, что он никогда не сядет на лошадь, не будет ездить по круговой верховой дорожке в Летнем саду, не будет отдавать честь, не будет раскланиваться с нарядными барышнями.

Тептелкин выписал кучу слов. Справился в египетской, на немецком языке, грамматике, разобрался во временах.

Все было готово, а ученик не приходил. Прошел час, другой. Тептелкин подошел к стене.

«Скоро шесть часов. Еще не скоро придет Марья Петровна. Сегодня мы пойдем к Константину Петровичу Ротикову слушать старинную музыку»,— подумал он с удовольствием.

Часы в комнате квартирной хозяйки пробили шесть часов, затем половину седьмого.

В комнате Сладкопевцевой сидели четыре ухажера, пили чай с блюдечек, блюдечки были все разные. Говорили о теории относительности, и, незаметно, то один под столом нажимал на ножку Сладкопевцевой, то другой. Иногда падала ложка или подымался с пола платок — и рука схватывала коленко Евдокии Ивановны.

Это были ученики Сладкопевцевой, а ученики, как известно, любят поухаживать за учительницей.

Пробило семь часов.

Евдокия Ивановна села за пьянино. Чибирячкин, самый широкий, самый высокий, сел рядом и стал чистить огромные ногти спичкой.

«Когда эта шантрапа уйдет,— посмотрел он через плечо на своих товарищей,— кобеля проклятые!»

Действительно один кобель, длинный двадцативосьмилетний парень с рыжей бородой, плотоядно смотрел на затылок Евдокии Ивановны. Другой, маленький, в высоких сапогах, скользил взором по бедрам. Третий, толстый, с бритой головой, сидел в кресле.

А хозяйка, играя чувствительный романс, думала:

«Эх, эх, как девственник меня волнует!»

В восемь часов в комнату Тептелкина вошла Муся Далматова. Тептелкин снял тюбетейку, закутал шею рыжеватым пуховым кашне, застегнул пальто на все пуговицы.

— Меня знобит,— сказал он. Надел мягкую шляпу, взял палку с японскими обезьянами. Муся взяла его под руку, и они отправились.

— Ах, если б вы знали,— говорил Тептелкин по дороге,— как прекрасен египетский язык классического периода! Он не так труден; всего надо знать каких-нибудь шестьсот знаков. Вот только жаль, что полного словаря египетского языка еще нигде на свете не существует.

— А по происхождению к какой группе принадлежит египетский язык? — спросила Муся Далматова.

— К семито-хамитской,— ответил Тептелкин.

— А откуда возникли колонны? — спросила Муся.

— Из стремления к вечности,— задумавшись, ответил Тептелкин.— Фу-ты,— спохватился он,— прототипом колонн являются стволы деревьев.

Перед домом, в одной из комнат которого жил Костя Ротиков, Муся сказала:

— В одном из музеев я видела удивительные египетские украшения: кольца из ляпис-лазури.

Они прошли во двор довольно смрадный. Кошки, при виде их, выглянули из открытой помойной ямы, выскочили и побежали одна за другой. Одна кошка, рыжая, перебежала дорогу.

Тептелкин почувствовал нечто нехорошее под ногой. Перед входом он долго вытирал ногу о пахучую ромашку, растущую кустами то тут, то там.

Поднялись по ступенькам, с выбоинами. Постояли. Постучали.

Дверь открыла жилица, тридцатипятилетняя рыжая девушка, с папиросой во рту, в синем платке с розами, мечтающая о ночном городе восьмых, десятых годов. Она всю жизнь о нем мечтать будет, и старушкой седенькой.

— К вам пришли,— сказала она, открывая дверь в комнату Кости Ротикова.

На диване сидели Костя Ротиков и неизвестный поэт по-турецки и пили из маленьких чашечек турецкий кофе. Одна стена доверху была увешана и уставлена безвкусицей. Всякие копилки в виде кукишей, пепельницы, пресс-папье в виде руки, скользящей по женской груди, всякие коробочки с «телодвижениями», всякие картинки в золотых рамах, на всякий случай завешанные малиновым бархатом. Книжки XVIII века, трактующие о соответствующих предметах и положениях, снабженные гравюрами.

Стена напротив дивана увешана и уставлена была причудливейшими произведениями барокко: табакерками, часами, гравюрами, сочинениями Гонгоры и Марино в пергаментных, в марокеновых зеленых и красных переплетах, а на великолепном раскоряченном столике лежали сонеты Шекспира.

— По всей Европе,— продолжал беседу Костя Ротиков,— появляется сейчас интерес к барокко, к этому вполне, как вы сказали, законченному в своей незаконченности, пышному и несколько безумному в себе самом стилю.

И они склонились над портретом Гонгоры.

— Каждое слово у Гонгоры многозначно,— поднял голову поэт,— оно употреблено у него и в одном плане, и в другом, и в третьем. Каждая строчка у Гонгоры — поэма Данта в миниатюре. А какой отчаяннейший и кричащий артистизм, старающийся скрыть душевное беспокойство; а эти щеки и шея возлюбленной, которые были некогда, в золотом веке, настоящими, живыми цветами — розами и лилиями. Для того чтобы понимать Гонгору, надо быть человеком с соответствующей устремленностью, с соответствующим эллинистическим складом ума, это сейчас ясно, но этого еще недавно не понимали.

Неизвестный поэт откинулся к стене.

В это-то время и вошли в комнату Муся Далматова и Тептелкин.

— Как у вас уютно,— сказал Тептелкин, не заме-

чая кукишей над головами друзей.— И сидите вы по-турецки, и пьете кофе турецкий. Но здесь накурено, разрешите, я открою окно.— Он подошел. Открыл форточку.— А то у Марьи Петровны голова заболит.

— Давно вы нас ждете? — спросил он.

— Мы со вчерашнего вечера сидим здесь над испанскими, английскими, итальянскими поэтами,— ответил Костя Ротиков,— и обмениваемся мыслями.

— А Аглая Николаевна пришла? — спросил Тептелкин.

— Мы ее с минуты на минуту ждем,— ответил Костя Ротиков.

Раздался стук в парадную. Костя Ротиков выскочил в переднюю. Через минуту вошла худая и извивающаяся как змея Аглая Николаевна. На плечах у нее лежал голубой песец. На груди сверкал большой изумруд, а в ушах ничего не было. Рядом с ней извивался Костя Ротиков, а с другой стороны прыгала собачка.

— Вечер старинной музыки состоится,— произнес на ухо Марье Петровне Далматовой Тептелкин.

Все прошли в соседнюю комнату.

Там уже сидели глухие старушки и старички с баками и с бородками, прыгающие барышни, пожилые молодые люди, картавящие, как в дни своей юности. По стенам висели портреты в круглых золотых рамах. Рояль раскрыт, задрожали клавиши и струны.

Аглая Николаевна раскланивалась.

Поднесли цветы — розы белые.

Она нюхала, раскланивалась, улыбалась.

Худенькие ручки старушек и старичков хлопали.

— Она совсем не изменилась за эти годы,— шептали они друг другу на ухо,— наша любимая Аглая Николаевна.

— Она была в 191... г. любовницей N,— шептал пожилой молодой человек другому пожилому молодому человеку.

— У нее удивительная собачка,— шептала одна прыгающая барышня другой прыгающей барышне.

Аглая Николаевна села.

Опять поднимались руки, опять опускались клавиши, опять как бабочка билась чистая музыка.

Две барышни поднесли лилии.

— Ах, Аглая Николаевна,— говорил Костя Ротиков,— вы сегодня нам доставили чистое наслаждение.

Столовая была залита светом. Уцелевшие фарфоровые с пейзажами и портретами тарелки императорского завода по стенам лучились позолотой. На столе вина в бутылках, водка в графинах, рюмки искрились. А вокруг нечто розовое, нечто красное, нечто белое, нечто голубое. Все было.

Но старички и пожилые молодые люди почувствовали, что это лишь копия, что настоящее умерло, что это как бы воспоминание, всегда менее яркое, чем действительность. Им вдруг стало тоскливо, тоскливо... Кроме того, они заметили, что для устройства этого вечера исчезли (были проданы) некоторые предметы из столовой.

— Принесите мою сумочку,— шепнула Муся Далматова на ухо Тептелкину,— она в комнате Константина Петровича.

Луна освещала комнату Константина Петровича. Ветер приподнимал бархат, прикрывавший некоторые изображения. И тут Тептелкин увидел то, чего видеть ему не надо было.

Он сжал сумочку в руках, открыл рот и сел.

«Что же это? — подумал он.— Что же это! Человек с таким тонким вкусом и вдруг...» Над ним то прикрывались бархатом, то вновь показывались десятки голых тел мужских и женских, во всевозможных положениях.

Он почувствовал, что в доме не все благополучно.

— Змеи,— вскричал он,— змеи! — и бросился вон из комнаты.

И за столом ему казалось, что наклоняются, откидываются, хохочут, говорят, склоняются, подносят вилки ко рту, с разноцветной едой, змеи с зелеными ручками и что только он и Марья Петровна живые.

Особенно его поразил неизвестный поэт. Он заметил, что поэт совершенно бел, что у него глаза зеленоватые, он уже совсем не молодой человек.

— Ешьте, ешьте,— бегали тетушки Кости Ротикова вокруг стола,— ешьте, ешьте.

И не хрусталь, а капельки света над головами — люстры были хрустальные.

Глава XVII

ПУТЕШЕСТВИЕ С АСФОДЕЛИЕВЫМ

Червонным золотом горели отдельные листочки на черных ветвях городских деревьев, и вдруг неожиданное тепло разлилось по городу под прозрачным голубым небом. В этом неожиданном возвращении лета мне кажется, что мои герои мнят себя частью некоего Филострата, осыпающегося вместе с последними осенними листьями, падающего вместе с домами на набережную, разрушающегося вместе с прежними людьми.

— Многим из нас мерещится прекрасный юноша,— произнес неизвестный поэт.

— Наконец-то я поймал вас. Все вы извращены,— раздался смех,— поэтому вас красивый мальчишка преследует.

Собутыльник неизвестного поэта повернул голову на бычьей шее, хлопнул круглой ладонью по коленку, улыбнулся полным лицом, поправил пенсне.

— Выпьем! — вскричал он.— Я только женщин люблю. Ни воображаемые, ни настоящие мальчишки меня не интересуют. А у женщин ручки-подушечки... Всю женщину я обсмаковать рад с макушки до пяточек.

— Вы, кажется, поэзией больше не занимаетесь? — спросил неизвестный поэт.

— Я теперь к одному издательству пристроился. Для детей программные сказки пишу,— ответил добродушный толстяк, поправляя пенсне.— Дураки за это деньги платят. Еще статейки в журналах под псевдонимом пописываю,— смакуя каждое слово, продолжал Асфоделиев.— Хвалю пролетлитературу, пишу, что ее расцвет не только будет, но уже есть. За это тоже деньги платят. Я теперь со всей пролетарской литературой на «ты», присяжным критиком считаюсь. Товарищ, еще бутылочку,— поймал он официанта за передник. Тот лениво пошел за пивом.

— Вот бы сейчас на «Поплавок» прокатиться...— умильно посмотрел в окно Асфоделиев.

Вышли.

Извозчик ехал шагом по Троицкой.

— Отчего вы критических статей не пишете? — спросил Асфоделиев.— Ведь это так легко.

— По глупости,— ответил неизвестный поэт,— и по

лени. Я ленив, идейно ленив и принципиально непрактичен.

— Барские замашки,— усмехнулся Асфоделиев.— Барские замашки в наше время бросить надо. Да вы все идиоты какие-то! — рассердился он.— Воли у вас к жизни совсем нет. Не хотите постоять за современность, не хотите деньги получать.

Неизвестный поэт положил руки на аметист:

— Ничего вы, мой друг, не понимаете, ползающее вы животное.

— Это я ползаю! — раздражился Асфоделиев.—Это вы на мои деньги напиваетесь и чушь городите! Жестокий вы человек, как не стыдно вам ругать меня.

Асфоделиев поднял плечи, стал вбирать воздух.

— Скука, пойду смотреть «Лебединое озеро».— Поднялся неизвестный поэт, быстро простился с Асфоделиевым, хотел спрыгнуть с подножки.

— Куда вы? — спросил Асфоделиев.

— В Академический театр оперы и балета,— ответил неизвестный поэт.

— Извозчик, к Мариинскому театру! — Поднялась туша в пенсне, снова села, обняла неизвестного поэта. Извозчик направился по улице Росси.

— И я предан был стихам,— плакался Асфоделиев.— Я, может быть, более всех на свете люблю стихи, но нет во мне таланта.— Он прижал неизвестного поэта к груди. Помолчали.

— Не понимаете вы в моих стихах ничего, и никто ничего не понимает! — усмехнулся неизвестный поэт.

— Что ж, вы нечто заумное? — удивился Асфоделиев.

— Заумье бывает разное,— ответил неизвестный поэт.— Я поведу вас как-нибудь к настоящим заумникам. Вы увидите, как они из-под колпачков слов новый смысл вытягивают.

— Это не те ли зеленые юноши в парчовых колпачках с кисточками, носящие странные фамилии? — удивился Асфоделиев.

— Поэзия — это особое занятие,— ответил неизвестный поэт.— Страшное зрелище и опасное, возьмешь несколько слов, необыкновенно сопоставишь и начнешь над ними ночь сидеть, другую, третью, все над сопоставленными словами думаешь. И замечаешь: протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова, и третье слово

руку подает, и поглощает тебя совершенно новый мир, раскрывающийся за словами.

И еще долго говорил неизвестный поэт. Но извозчик уже подъезжал к Академическому театру. Неизвестный поэт выскочил из коляски, за ним поднялась туша в пенсне и расплатилась с извозчиком.

В кармане у неизвестного поэта были: куча недописанных стихотворений, необыкновенный карандаш в бархатном мешочке и монетка с головой Гелиоса, какая-то старинная книжка в пергаментном переплете, кусок пожелтевших брюссельских кружев.

В ложе, почти против сцены, сидел Кандалыкин с Наташей Голубец и с компанией. Неизвестный поэт надел очки и с достоинством поклонился, посмотрел направо: в одном ряду с ним сидел Ротиков, немного далее — Котиков, в первом ряду — Тептелкин и философ с пушистыми усами.

«Сегодня весь наш синклит собрался,— подумал он,— профсоюзный день, все мы достали бесплатные билеты от наших почитателей и знакомых».

Оркестр лениво заиграл, лениво поднялся занавес, лениво прошел первый акт.

Глава XVIII

ТЕПТЕЛКИНУ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЗА НИМ ГОНЯТСЯ ЕГО ДРУЗЬЯ

Уже деревья не сохранили ни одного листка. Уже луна покрывала ложным снегом известняковые, асфальтовые панели, мостовые из досок, из восьмиугольных и четырехугольных деревянных шашек, из круглых и продолговатых черно-серых камней. Уже свет ее превращал в эфирные — тяжелые двухсотлетние здания с колоннами, с портиками, с фронтонами, с фризами. Уже во мраке вечеров, под прикрепленными к вывескам желтыми лампочками магазинов, ласкаясь или ругаясь, проплывали приапические пары, тройки и четверки по панели. Уже давно открылись зимние театры и дивертисментные театрики, и в клубах, и библиотеках, и школах привычно и неторопливо готовились к годовщине, уже полные и худые владельцы частных магазинов давно привыкли выставлять портреты вождей и украшать их посильно, уже торжество носило общенародный и непринужденный характер.

Но мои герои пытались по-прежнему усидеть в высокой башне гуманизма и оттуда созерцать и понимать эпоху. Правда, они уж не чувствовали себя героями, правда, постепенно чувство долга превращалось у них в привычку. Правда, уже давно кончились предвещания неизвестного поэта и уже Тептелкин все реже и все бесплоднее говорил о поддержке культуры. И философ все реже говорил о философии и все громче о своей юности; он больше не писал книг, ведь им все равно не суждено было появиться.

Наконец пошел настоящий снег белыми хлопьями.

Неизвестный поэт стоял с Костей Ротиковым во дворе строгановского особняка, смотрел на синий снег, слушал жужжание проводов, доносившееся с улицы.

— А, вот вы где, змеи! — ехидно прошипел Тептелкин, появляясь в воротах.

— Что с ним? — удивленно спросил Костя Ротиков,— на что он так разозлился?

Тептелкин выскочил из-под ворот и побежал, длинный, худой, рысцой, отталкиваясь от перил, по набережной Мойки.

«Что со мной? — думал он.— Что со мной?»

И спиной почувствовал, что за ним бегут друзья и пританцовывают, и притоптывают, и ручками машут, и издеваются.

«Что со всеми нами?» — прослезился он и нос к носу столкнулся с Марьей Петровной Далматовой. Мария Петровна шла в сиянии, в окружении снежных звезд, в Гостиный двор покупать туфельки. Тептелкин успокоился и пошел с ней в Гостиный двор туфельки выбирать.

— Идемте скорее,— заторопилась Муся,— скоро пять часов, скоро магазины закроют.

Гостиный двор был ярко освещен. Под аркадами из магазина в магазин Тептелкин за Марьей Петровной. Он видел высокую Петергофскую башню, видел себя, ждущего с цветами друзей. Как все было ясно тогда, как все было прекрасно! Какие мы были светлые!

Тру-ру, тру-ру.

— Ах, эти туфельки совсем не те,— стонала Марья Петровна.

Тру-ру, тру-ру, из магазина в магазин бегал за ней Тептелкин, как за звездой своей.

Отстал на секунду и видит: движется, шатается неизвестный поэт навстречу.

— Вы увидите,— поднял голову неизвестный поэт,— как живет лицо, создающее нас.

Глава XIX
МЕЖДУСЛОВИЕ

Я проснулся в комнате, выходящей ротондой на улицу. Тихо здесь, только по вечерам черт знает что происходит. То вынырнет из темноты какой-нибудь философствующий управдом с багровым носом, то пробежит похожая на волка собака, влача за собой человека. То двое прохожих, с поднятыми воротниками, остановятся у фонаря и, шатаясь, друг у друга прикурят. То вдруг благой мат осветит окрестность. То человек заснет у лестницы на собственной блевотине, как на ковре. А какой город был, какой чистый, какой праздничный! Почти не было людей. Колонны одами взлетали к стадам облаков, везде пахло травой и мятой. Во дворах щипали траву козы, бегали кролики, пели петухи.

Глава XX
ПОЯВЛЕНИЕ ФИГУРЫ

Вот я и закутался в китайский халат. Вот рассматриваю коллекцию безвкусицы. Вот держу палку с аметистом.

Как долго тянется время! Еще книжные лавки закрыты. Может быть, пока заняться нумизматикой или почитать трактат о связи опьянения с поэзией.

Завтра я приглашу моих героев на ужин. Я угощу их вином, зарытым в семнадцатом году мною во дворе под большой липой.

И снова я засыпаю, и во сне мне является неизвестный поэт, показывает на свою книжку, которую я держу в руках.

— Никто не подозревает, что эта книга возникла из сопоставления слов. Это не противоречит тому, что в детстве перед каждым художником нечто носится. Это основная антиномия (противоречие). Художнику нечто

задано вне языка, но он, раскидывая слова и сопоставляя их, создает, а затем познает свою душу. Таким образом в юности моей, сопоставляя слова, я познал вселенную и целый мир возник для меня в языке и поднялся от языка. И оказалось, что этот поднявшийся от языка мир совпал удивительным образом с действительностью. Но пора, пора...

И я просыпаюсь. Сейчас уже одиннадцать часов. Книжные лавки открыты, из районных библиотек туда свезли книги. Может быть, мне попадется Дант в одном из первых изданий или хотя бы энциклопедический словарь Бейля...

— Милости просим, милости просим,— запел книжник.— Вас уже три дня не было видно. Вот у нас книги для вас; не угодно ли — по лесенке.

— А эти шагающие римляне, рассуждающие греки, воркующие итальянцы? Нет ли у вас случайно Филострата «Жизнь Аполлона Тианского»?

— Выбирайте, выбирайте.

— А не дорого?

— Дешево, совсем дешево.

— А где у вас археология?

— Направо по лесенке. Позвольте, подставлю.

— У вас прекрасные экземпляры.

— Заботимся, заботимся, чтоб угодить покупателям.

— А давно у вас не был Тептелкин? высокого роста, почти прозрачный, с палкой японской.

— Как же, как же, знаю. Не заходил давно.

— А дама в шляпе с перьями?

— Вчера после обеда была.

— А высокий молодой человек?

— Интересующийся рисунками? третьего дня был.

— А не спрашивал ли молодой человек с голубыми глазами, со вздернутым носиком, книжек Заэвфратского?

Ночь. Внизу бело-синие снега, вверху звездно-синее небо.

Вот лопата. Я должен все приготовить для прихода моих превращающихся героев. Двор мой тих и светел. Лишенная листьев липа помнит, как мы сидели под ней много, много лет тому назад, белые, желтые, розовые,

и говорили о конце века. Тогда зубы у нас были все целы, волосы у нас тогда не падали, и мы держались прямо.

Место в двух шагах от ствола липы по направлению к моему освещенному окну. Здесь. Луна — за облаками, идет хлопьями снег, придется рыть в темноте.

Ничего...

Правильно ли я определил место?

Еще раз от липы два шага по направлению к окну.

Раз, два.

Тут, конечно тут! Глубже?

Наконец-то!

Надо засыпать и притоптать. Снег все покроет.

Я с ящиком и лопатой, как сомнамбула, поднялся по лестнице, повернул голову и осмотрел мрак: нет ли кого во дворе?

Никого не было.

Вино в бутылках я расставил на столе. Я привожу комнату в порядок для прихода моих друзей.

Первым пришел неизвестный поэт, прихрамывающий, с нависающим лбом, с почти атрофированной нижней частью лица, и пошел осматривать мои книги.

— Все мы любим книги,— сказал он тихо.— Филологическое образование и интересы — это то, что нас отличает от новых людей.

Я пригласил моего героя сесть.

— Я предполагаю,— начал он,— что остаткам гуманизма угрожает опасность не отсюда, а с нового континента. Что бывшие европейские колонии угрожают Европе. Любопытно то, что первоначально Америка появилась перед Европой как первобытная страна, затем как страна свободы, затем как страна деятельности.

Через час все мои герои собрались, и мы сели за стол.

— Знаете,— обратился я к неизвестному поэту,— я за вами и за Тептелкиным как-то следил ночью.

— Вы за нами всегда духовно следите,— прервал он и посмотрел на меня.

— Мы в Риме,— начал он.— Несомненно в Риме и в опьянении, я это чувствовал, и слова мне по ночам это говорят.

Он поднял апуллийский ритон.

— За Юлию Домну! — наклонил он голову и, стоя, выпил.

Ротиков элегантно поднялся: — За утонченное искусство!

Котиков подпрыгнул: — За литературную науку!

Троицын прослезился: — За милую Францию!

Тептелкин поднял кубок времен Возрождения. Все смолкло.

— Пью за гибель XV века,— прохрипел он, растопырил пальцы и выронил кубок.

Я роздал моим героям гравюры Пиранези.

Все погрузились в скорбь. Только Екатерина Ивановна не понимала.

— Что вы такие печальные,— вскрикивала она,— что вы такие невеселые!

Печь сверкала, выбрасывала искры. Я и мои герои сидели на ковре перед ней полукругом.

Яблоки возвышались на разбитом блюде.

Почти перед каждым пустые коробки из-под папирос и горы окурков. Ни я, ни мои герои не знали, продолжается ли ночь или наступило утро.

Ротиков встал.

— Начнемте круговую новеллу,— предложил он.

Я поднялся, зажег свечу.

— Начните,— сказал я.

— Меня с детства поражала,— сев в кресло, начал он,— безвкусица. Я уверен, что она имеет свои законы, свой стиль. Однажды мне сообщили, что одна бывшая тайная советница продает обстановку своей комнаты. Я поспешил. Вообразите бывшую курительную комнату в чиновничьем доме, турецкий диван, целый набор пепельниц, в виде раковин, ладоней, листочков, то на высоких, то на низких столиках, пуфы, неизвестно для чего оставшийся письменный стол. Стены, украшенные изображениями актрис парижских театров легкого жанра. Поклонившись, я вошел. На диване очаровательное создание пело и играло на гитаре. Его пышные синеватые прошлого века юбки, обшитые золотыми пчелами, его ноги в тупых атласных туфельках! «Вы удивительная тайная советница»,— сказал я поклонившись.— «О нет,— засмеялось оно,— я юноша! — И указало мне глазами на пуф рядом с диваном.— Вам не холодно?»

спросило оно и, не дожидаясь ответа, закутало меня в кашемировую шаль.

Опустив голову, оно стало рассматривать книжку с говорящими цветами: «Время прелестной Нана, дамы с камелиями, отошло,— прервало оно молчание и расправило свои пышные волосы.— Вы пытаетесь,— сказало оно,— возродить то ушедшее, легкомысленное и беспечное время».

Неизвестный поэт сел в кресло: — Оно все же было девушкой. Погруженное в снежную петербургскую ночь, оно провело свою раннюю юность на панели. Серебристые дома, лихачей, скрипачей в кафе и английскую военную песенку оно любило.

Неизвестный поэт улыбнулся, поднялся с кресла и подошел к огню.

Троицын сел в кресло, продолжал:

— Посмотрев на меня, оно раскрыло веер. Оно родилось недалеко от Киева в небольшом имении.

Троицын уступил место, Котиков важно сел в кресло:

— А по вечерам «оно» говорило о Париже, об Елисейских полях и о кабриолетах, и 16-ти лет оно убежало в Петербург с балетным артистом. Оно любило Петербург, как северный Париж.

Тептелкин встрепенулся.

— Петербург — центр гуманизма,— прервал он рассказ с места.

— Он центр эллинизма,— перебил неизвестный поэт.

Костя Ротиков перевернулся на ковре.

— Как интересно,— захлопала в ладоши Екатерина Ивановна,— какой получается фантастический рассказ!

Философ взял скрипку, сел в кресло и, вместо того чтобы продолжать рассказ, задумался на минуту. Затем встал, заиграл кафешантанный мотив, отбивая такт ногой.

Тептелкин, ужасаясь, раскрыл и без того огромные глаза свои и протянул руки к философу.

«Не надо, не надо»,— казалось, говорили руки.

И вдруг выбежал из комнаты и уткнулся лицом в кровать мою.

А философ, не замечая происшедшего, уже играл чистую, прекрасную мелодию, и круглое, с пушистыми усами, лицо его было многозначительно и печально.

Я подошел к зеркалу. Свечи догорали. В зеркале видны были мои герои, сидящие полукругом, и соседняя

комната, и стоящий в ней у окна Тептелкин, сморкающийся и смотрящий на нас.

Я поднял занавеси.

Наступило уже темное утро. Уже слышались фабричные гудки. И я вижу, как мои герои бледнеют и один за другим исчезают.

Глава XXI

МУЧЕНИЯ

Вернувшись домой, Тептелкин открыл резную шкатулку, вынул статуэтку пятнадцатого века, поставил ее на сундучок; оказывается, сундучок служил постаментом.

— Избавь меня от искушения, дай мне силу видеть мир прекрасным,— склонил он голову, а когда он поднял лицо, показалось ему, что не Елены Ставрогиной лицо у статуэтки, а Марьи Петровны Далматовой.

Всю ночь пробыл в задумчивости Тептелкин.

Уже кенарь пел в комнате Сладкопевцевой, уже Сладкопевцева, вернувшись с дружеской пирушки, искала воды попить. Уже шлепали ее туфли по комнатам, а Тептелкин все следил образ уходящего мира, когда он был юн, совершенно юн.

К утру гуманизм померк, и только образ Марии Петровны сиял и вел Тептелкина в дремучем лесу жизни.

К вечеру Тептелкин сидел у стола и испытывал некое мучение. Он вспомнил, что некоторые великие люди воздержались.

«Как же я,— думал Тептелкин,— поддамся соблазну и женюсь? А может быть, природа совсем не для того меня создала. Женюсь — и ослабеет моя память, исчезнут дивные и неясные грезы, исчезнут эти ясные утренние часы и спокойные ночи. Рядом со мной будет стареть женщина, и я замечу, что я старею. Да, трудный вопрос,— заходил Тептелкин по комнате.— А может быть, я не в силах буду жениться, может быть, я не мужчина. Может быть, тело у меня не созревшее. Что ж, женюсь, а потом ужас...»

Ему стало страшно, он машинально открыл дверь, но никто не вошел.

Тептелкин налил холодного чаю, выпил залпом.

«А может быть, вся моя мужская сила в ум перешла. Как быть, как быть? — закрыл он дверь.— Жениться хочу, а, может быть, тело мое не хочет. Но некоторые очень поздно созревают. Может быть, и я созрею когда-нибудь».

Еще быстрее заходил Тептелкин в темноте по комнате.

Внизу, в разрушенном подвале, работники варили мыло. Сквозь щели пола пробивался едкий пар. На улице за запертыми воротами дворник, на тумбе, читал «Тарзана», поднося книжку к глазам.

И тут-то появилась в комнате Тептелкина необыкновенная двадцатитрехлетняя девушка — Марья Петровна Далматова; в соломенной шляпке, казалось, она срывала цветы с красного дощатого пола, протягивала их Тептелкину. Тептелкин склонялся, подносил их к носу, набожно целовал. Затем она начала плясать, и Тептелкин услышал необыкновенные голоса и увидал, что у ней в руках дрожит стебелек и наливается бутон, распускается голубой цветок.

«О, как развращен мой мозг,— заходил Тептелкин по комнате».

В это время дежурный дворник докончил читать «Тарзана», походил перед домом, снова сел на тумбу и задремал...

Тептелкин появился в окне.

«Какие звезды,— подумал он.— И под таким звездным небом мне мерещатся такие гадости. Наверно, я самый скверный человек в мире».

Тептелкин вышел из дому. Окна домов изнутри освещены то резким, то сентиментальным, то безразличным светом. Тептелкин судорожно идет в своем осеннем пальто. В эту ночь испытает он, мужчина ли он или нет, и может ли он жениться, вступить в брак с Марьей Петровной Далматовой. Тептелкин идет, торопясь, от улицы Лассаля к Октябрьскому вокзалу. Иногда он посреди панели останавливается на мгновенье, иногда обгоняет прохожих и делает то, что он никогда до сих пор не делал,— заглядывает под шляпки.

Он ищет самую уродливую, чтоб не могло быть и речи о любви. Он останавливается, ему предлагают услуги почти дети, с похабным выражением глаз, со

скверной улыбочкой, с утрированными ребяческими движениями.

Он врастает в землю перед ними, и они, источив свое красноречие, покрывают его словами и спешат вдаль. Иногда Тептелкина обгоняет существо на стоптанных каблуках, с отсутствием румян на щеках, с невообразимо желтым горностаем вокруг шеи и, стараясь сохранить ушедшее достоинство, шепчет:

— Первые ворота направо.

Наконец он видит то, что ему надо было. Из пивной, недалеко от Лиговки, выходит женщина — широкая, крепкокостная, крупнозубая.

— Вы в Бога веруете? — обращается к ней Тептелкин.

— Конечно, верую! — женщина осеняет себя крестным знамением.

— Идемте, идемте,— энергично Тептелкин тащит ее вниз по Невскому.

— Меньше чем за три рубля не пойду! — угрюмо осматривая фигуру Тептелкина, заявляет она.

— Это все равно, это безразлично,— утверждает Тептелкин и тащит ее за рукав по Невскому.

— Куда ты тащишь меня? Я близко живу. А ты черт знает куда меня тащишь.

Останавливается женщина и выдергивает руку.

— Потом, потом, я пойду к вам, но сначала вы должны поклясться.

— Да что ты, пьян, что ли, какой клятвы тебе еще нужно?

И она с удивлением, почти с испугом уставилась в вибрирующее лицо Тептелкина.

— Все зависит от этой ночи,— не слыша, шептал Тептелкин.— Вся дальнейшая жизнь моя зависит от этой ночи! Жениться хочу,— стонало в Тептелкине.— Жениться! Испытание сегодня, на перекрестке я, на ужасном. Если я окажусь мужчиной, я женюсь на Марье Петровне, если нет — то евнухом, ужасным евнухом от науки буду!

— Да что ты шепчешь! — вскрикивает женщина.— Долго мы стоять на улице будем?

— Идемте, идемте,— заспешил Тептелкин,— идемте.

— Да ты, кажется, к собору меня ведешь? — раскрыла желтые глаза женщина.

Но Тептелкин уже тащил ее к стене, где мерцала икона.

— Поклянитесь, что вы не заражены,— остановился он перед иконой.— Поклянитесь! — провизжал он.

— Ах ты бес! — рассердилась женщина и, качая юбкой, скрылась в пролете.

Марья Петровна сидела в своей комнате с кисейными занавесками за столиком и гадала на картах. За окном была ночь, за спиной на стене карточка.

Вокруг стула, на котором сидела она, ходила кошка Золушка.

Марья Петровна кончила гадать и погрузилась в давно закрытую студию пения времен военного коммунизма. Не мечтала ли она стать великолепной певицей! Вот стоит она у рояля и поет, а там восторженная публика, двери ломятся от публики, стены раздвигаются от публики, подносят Марье Петровне конфеты, цветы и дорогие вещи. Задумалась, оперлась на локоть Марья Петровна и погрузилась в недавно оконченный университет с его аркадами, коридорами, с многочисленными аудиториями, с профессорами и студентами. Не мечтала ли она стать ученой женщиной, писать книги о литературе, говорить в кругу профессоров, внимательно слушающих?

Уже на улице пусто, и только милиционеры, аккуратно одетые, пересвистываются, а затем ходят по парам и беседуют.

Марья Петровна гадает на картах: кем она будет. Она видит Тептелкина, он стоит внизу, жалкий, озябший, смотрит на освещенное окно комнаты, где сидит она и гадает.

— Влюблен, конечно, влюблен! — Ей становится тепло и уютно.

Шелестят листья, летают летучие мыши, она и Тептелкин идут к морю, садятся на камне. Под серебряной луной, встав, она поет, как настоящая певица, приехавшая из-за границы на гастроли, а Тептелкин сидит и смотрит на море, слушает.

Она взглянула в окно: стоит ли Тептелкин? Стоит.

Кажется ей — ясное утро. Тептелкин сидит, работает, она стоит, гладит крахмальное белье для него. Взглянула Марья Петровна в окно: стоит ли Тептелкин? Стоит.

И показалось ей, что у него глаза жалобные.

«Но как же со свадьбой? — Вернувшись, он сел

на постели глубокой ночью. Одеяло лежало на полу, седеющие волосы стояли дыбом. Стена мерцала от лунного блеска. Вся комната была пронизана луной.— Если я честный человек, то я должен жениться на Марье Петровне Далматовой. Ведь нельзя девушку целый год водить за нос».

Он встал в рубашке; рубашка была длиннее спереди, короче сзади. Достал свечку из комода, зажег и ждал, когда же она разгорится. Наконец свеча просияла звездой.

«Надо отвлечься,— подумал он. Закутался в одеяло, сел к столу, стал сличать Пушкина с Андре Шенье.

Toujours ce souvenir m'attendrit et me touche [1].

Читал он и невольно отвлекся от сличения: тихие деревья, покрытые желтыми, красноватыми листьями, рябили над его головой. Марья Петровна сидела внизу. Вдали колыхалось море, и пел ветер.

К утру мерещился Тептелкину сад тишайший. Солнце внутри церквей, монахи, сморкающиеся в руку, олеандры цветущие, нежное, розовое море, кашляющие, как чахоточные при пробуждении, колокола, виноградная лоза, еще покрытая росой, и чаёк на блюдечке, и хрюканье валяющихся свиней за оградой. И казалось ему, что он верит в чертей и в искушенье. Хотел бы он уйти отсюда, сесть на высокую, величественную гору и смотреть на весь мир и наслаждаться. И казалось ему, что его там обязательно обступят бесы, а он отвернется и отринет — «не хочу,— скажет он,— идти с вами, не вашей я породы, всю жизнь с вами боролся». И взыграют и закричат ему бесы: «Эх ты, вечный юноша!» И еще увидел Тептелкин, будто впереди бесов выступал неизвестный поэт, а с ним рядом, по бокам, извивались — Костя Ротиков и Миша Котиков.

— Исчезните, проклятые! — вскочив, затопал Тептелкин: на столе кофе и хлеб с маслом, а у кровати стоит хозяйка.

— Во сне стонали вы, а утро-то какое!

Действительно, над геранью, стоявшей на подоконнике, виднелось, ослепляющее прозрачностью, зимнее небо.

— Вы юноша, совсем юноша,— помолчав, вздохнула хозяйка.— Несмотря на то, что седеете. Сейчас, когда

[1] Одно воспоминание меня всегда тревожит *(фр.)*.

я уйду, должно быть, опять вскочите, достанете с полки книжку и начнете восторгаться.

И шмыгнула в дверь, прошуршав платьем, как змея хвостом.

Глава XXII
ЖЕНИТЬБА

Тептелкин шел по мерзлому тротуару. Прошел мимо ночного трактира. Услышал музыку.

«Наверно, там сейчас играют авлетриды [1].— Он прошел мимо диктериад [2], довольно разнузданных, грузнотелых баб, ругающихся крылатыми словами.— Наречие притонов,— определил он,— интересно исследовать, откуда и как появилось это наречие».

Он унесся во Францию XIII века, когда создавалось арго. Вокруг Тептелкина кружились и падали ругательства...

По ступенькам вбегал в мутную дверь и выбегал народ, обросший запахом сапог, папирос «Сафо» и вина. В стороне человек бил тонконогую диктериаду кулаками, стараясь попасть в рыло, в грудь или в другое чувствительное место. Диктериада отбивалась, кричала: «милиционер, милиционер!»,— но милиционер показал спину и отошел осматривать свой участок.

Собралась улюлюкающая толпа. Слишком били, слишком шумели. Появились два конных милиционера на дрессированных лошадях. Врезались в толпу, и лошади начали танцевать, как в цирке, разгонять подвыпивших.

Тептелкин вошел в дом. Марья Петровна Далматова ждала его. Комнаты были прибраны, кисейные занавески белели. Старинный образ смотрел темными глазами. Тептелкин почувствовал трепет, входя в девичью комнату. Муся стояла. В первый раз заметил он, что у ней волосы пушистые, носик остренький, губы маленькие.

— Я пришел вам предложить... заниматься латинским языком,— сказал он.

— Зачем? — удивилась Муся и засмеялась.

[1] Флейтистки *(греч.)*.

[2] Мимические актрисы *(греч.)*.

— Чтобы лучше почувствовать город, в котором мы находимся,— ответил Тептелкин.

— Я и без латинского языка знаю город,— ответила Муся.— Но я вам рада. Вы такой славный, такой славный. Дайте шляпу и палку.

Они сели на старенький диван.

— Где ваш друг? — спросила она, чтобы начать разговор.

— Он очень занят,— ответил Тептелкин.— Я его давно не видел. Мне передавали, что...

— Нет, нет, я так спросила,— перебила Муся,— лучше расскажите, чем вы занимаетесь.

— Нет, нет, не будем говорить обо мне,— ответил Тептелкин. «Как сказать,— думал он,— как сказать о самом главном?»

— Моя мама скоро придет из церкви,— сказала Муся.— Мы напьемся чаю с вареньем.

«Как же сказать о самом главном,— сидел Тептелкин,— сказать такому невинному и светлому существу?»

Он побледнел.

— Извините, я очень спешу,— и, почти не попрощавшись, вышел.

— Живот у него, что ли, заболел! — рассердилась Муся. Ей стало скучно. Она подошла к клетке и, задумавшись, стала тыкать кенаря пальцем. Тот перелетал с жердочки на жердочку.

«Экая пакость,— подумала Муся,— все мои подруги выскочили, а я остаюсь. Скука-то какая!»

Она подошла к пьянино, стала играть «Экстазы» Скрябина.

Вошла мать.

— Убери книги со стола,— сказала она.

— Какие книги? — продолжая играть, повернула Муся голову.— Ах, должно быть, Тептелкин забыл.

Подошла к столу, стала перелистывать книги.

«Vita Nuova» [1],—

прочла вслух.

— Пустяками человек занимается,— заметила мамаша.

Из одной книги выпал листок. Муся подняла:

Мой бог гнилой, но юность сохранил.
И мне страшней всего упругий бюст и плечи,
И женское бедро, и кожи женской всхлип,

[1] «Новая Жизнь» *(ит.)*.

Впитавшей в муках муку страстной ночи.
И вот теперь брожу, как Ориген,
Смотрю закат холодный и просторный.
Не для меня, Мария, женский плен
И твой вопрос, встающий в зыби черной...

В страшном волнении Тептелкин вернулся домой и тут только заметил, что забыл книги.

— Боже мой! — почти закричал он.— Марья Петровна прочла.— Он сел на постель и запустил пальцы в свои седеющие волосы.

В это время раздался звонок.

— Это я,— ответил голос.

В комнату вошел неизвестный поэт.

— Не отчаивайтесь,— на прощанье сказал неизвестный поэт,— все устроится. Девушек никто не знает.

Муся прочла поднятый листок и задумалась. Быстро выпила чашку чая. Сказала, что голова болит, легла в постель.

— Какой славный Тептелкин! Значит, правда, что он девственник. Боже мой, как интересно! Это удивительный человек в нашем городе. Скотов ведь сколько угодно. Как грустно жить ему, должно быть... Обязательно выйду за него замуж. Мы будем жить как брат с сестрой. Удивительной жизнь будет наша.

Утром неизвестный поэт вошел в Мусину комнату.

— Я пришел за книгами Тептелкина,— сказал он.— Тептелкин в ужасе, что вчера он так неожиданно ушел. Вы просматривали книги? — спросил неизвестный поэт.

— Нет,— ответила девушка.— Я итальянскому языку не обучалась.

— Тептелкин очень любит вас и страшно идеализирует,— заметил как бы про себя неизвестный поэт.

— Я тоже люблю Тептелкина,— заметила тоже как бы про себя девушка.

— Вы составили бы счастливую пару,— отходя к окну, как бы в пространство, сказал неизвестный поэт.

Увидев, что девушка покраснела, он попрощался и вышел, унося книги.

— Они самоотверженные существа,— проговорил неизвестный поэт, входя в комнату Тептелкина.— Я сказал, что вы ее любите и просите ее руки.

Пели певчие. На розовом атласе стояли Марья Петровна и Тептелкин. Над их головами легкие венцы с поддельными камнями. Марья Петровна в белом платье, Тептелкин в черном костюме. Позади любопытствующие инвалиды и папиросницы, старушки от Моссельпрома. Брак совершался тайно.

После свадьбы долго стоял Тептелкин на балконе, смотрел вниз на город, но не видел пятиэтажных и трехэтажных домов, а видел тонкие аллеи подстриженных акаций и на дорожке Филострата. Высокий юноша с огромными глазами, осененными крылами ресниц, шел, фонтаны глотали воду, внизу дрожали лунные дуги, а наверху дворец простирал свои крылья, а там, за аллеей фонтанов, море и рядом с юношей, почтительно согнувшись, идет он — Тептелкин.

Глава XXIII

НОЧНОЕ БЛУЖДАНИЕ КОВАЛЕВА

Зимой Наташе стало легче. Ей показалось, что Кандалыкин должен полюбить ее. Она решила, что пора бросить глупости и выйти замуж.

Прошел месяц.

В декабрьский вечер, по мягкому снегу, Кандалыкин пришел. Это был техник.

— Мускулы-то, мускулы-то какие,— говорил он после чая.— Я настоящий мужчина, не то что расслабленная интеллигенция. Мой отец швейцар, а я в люди вышел. Я теперь могу для вас обстановку создать, можно сказать, золотую клетку. Вам работать не придется; я, можно сказать, человек стал, но мне нужна жена, о которой заботиться надо. У всех моих товарищей жены — что надо, высшие существа.

— Я не девушка,— скромно потупила глаза Наташа.

— Вот удивила,— ответил Кандалыкин,— девушки за последние годы в тираж вышли. Девушек в нашем городе вообще нет. Мне надо дом на хорошую ногу поставить, с вазочками, с цветами, с портьерами. Я хороший оклад получаю. А девушка мне на что. А вы и наук понюхали, и платья носить умеете. Мне нужна образованная жена, чтоб перед товарищами стыдно не было. Вы у меня салон устроите. Я человек с запросами. Мы за границу попутешествовать поедем. Я англий-

скому языку обучаюсь. Я энциклопедию купил, я сыну француженку нанял. У меня две прислуги, я не кто-нибудь, я — техник.

Миша Ковалев за этот год ничего не добился. Изредка работал на поденной. В такие дни вставал он в шесть часов утра, застегивал прожженную шинель, отправлялся носить кирпичи, ломать разрушающиеся здания, возил щебень на барки. Только к концу года добился он постоянной работы, прошел в профсоюз, стал старшим рабочим по бетону. Все чаще подумывал он о женитьбе. Начал копить деньги. Решил в первый пасхальный день просить руки Наташи.

Утром в первый день Пасхи, как всегда в этот день, он вытащил китель с бомбочками из глубины шкафа, достал из-под половицы погоны с зигзагами и вензелями, осмотрел китель, покачал головой, осмотрел чакчиры и еще более задумался. Они были изрядно поедены молью. Достал иголки, нитки; привел свое достояние, насколько мог, в порядок, оделся, вымыл руки дешевым одеколоном, качая головой, смотрел на свои поредевшие волосы, застегнул поношенное, купленное по случаю статское пальто и, махнув рукою, вышел.

Он даже нанял извозчика, ехал и думал: вот опять он взбежит по лестнице, ему, как всегда в этот день, откроет дверь Наташа, он вскочит в комнату, похристосуется, «извините»,— скажет он, сбросит пальто, наденет шпоры. Затем они опять споют вместе «Ах, увяли давно хризантемы», затем он один споет «Пупсика», затем он скажет, что получил постоянное место, и предложит ей руку и сердце.

Извозчик остановился. Михаил Ковалев расплатился и быстро побежал вверх. Долго стучал он. Наконец ему открыла бывшее ее превосходительство. Он прошел в переднюю, поцеловал мягкую руку, поздравил, сказал: «Простите, Евдокия Александровна, я сейчас». Надел шпоры, снял пальто, повесил. Вошел в комнату. Генеральша тщательно за ним заперла дверь.

— Какое идиотство,— вскричал, быстро вставая, генерал Голубец вместо приветствия,— на седьмом году революции щеголять в форме. Вы еще нас подведете. Не смейте являться ко мне в форме!

Выходя, рассерженно хлопнул дверью.

— Где Наташа? — спросил растерянно Ковалев.

— Наташа вышла замуж,— ответила рыночная торговка.

«Как же я? — подумал Миша Ковалев.— Что же мне теперь делать!»

Постоял, постоял.

— Вам лучше уйти,— тихо сказала рыночная торговка. И поднесла платок к глазам.— Иван Абрамович сердится.

Протянула руку.

Долго возился Миша в полутемной передней, чуть не позабыл снять шпоры, застегнул пальто, поднял воротник, надел мягкую летнюю шляпу.

— Что будет, что будет?

Вспомнил присмотренную комнату для совместной жизни. Вспомнил, как на прошлой неделе приценялся к столику, двум венским стульям, потрепанному дивану.

Прислонился к перилам. Летняя шляпа полетела вниз. Он сошел по ступеням, поднял ее, вышел из дома, остановился, посмотрел на освещенное окно в верхнем этаже. Никогда, никогда не войдет он больше туда. Никто его ласково не встретит, и нет у него жены, и нет у него формы, никогда он больше ее не наденет.

«Какая страшная жизнь»,— подумал он.

Всю ночь блуждает Ковалев перед темной массой зданий женской гимназии. Погасли все огни, забылся тяжелым сном город.

Сквозь тяжелую дрему пришли к Ковалеву кавалеры и дамы. Кавалер юнкер крутит усы и танцует мазурку. Как он быстро опускается на одно колено! Как барышня несется вокруг него!

Фонари маскарадные горят — все в полумасках, у всех дам бутоньерки. И взвивается серпантин вокруг люстр и, цветной, падает.

«Как быстро пала империя,— думает Ковалев.— Отреклись от нас отцы наши. Я не ругал последнего императора, как ругал отец мой, как ругали почти все оставшиеся в городе штаб-офицеры».

— Да будет ли он любить ее так, как я? — прислонился он головой к женской гимназии.

— Как она несчастна! — почти плакал он.

И все искал по городу успокоения.

И опять возвращался к женской гимназии, и стоял, и грустно крутил гусарские усики.

Наташа распоряжалась. Стол ломился от закусок. В хрустальных графинах стояло 30° вино. Мерцали бокалы, купленные по дорогой цене у одного разорившегося семейства. Огромная пальма осеняла своими листьями Кандалыкина, сидевшего посредине. Вокруг сидели подвыпившие друзья Кандалыкина.

После ужина пела знакомая певица из Академического театра. Длинноволосый поэт читал стихи, в которых повествовалось о цветах нашей жизни — детях. Затем он читал о свободе любви, затем зашел разговор о последних новостях на заводе, об очередной растрате. Затем Н. Н. подрался с М. Н. и долго и упорно били друг друга по морде. А потом заплакали, помирились.

Под утро длинноволосый поэт говорил Наташе о необходимости бороться с порнографией.

— Подумать только,— высказывал он новые и оригинальные мысли,— скоро, чего доброго, у нас появится новая Вербицкая. И чего это цензура смотрит. У нас должна быть жесткая и неумолимая цензура. Никакой поблажки порнографам.

— Но вы ведь пишете о свободной любви,— задумчиво вращая кольцом с бриллиантиком, сказала Наташа.

Молодой поэт стал играть носком желтого ботинка.

Глава XXIV
ПОД ТОПОЛЯМИ

Снова весна. Снова ночные встречи у барочных, неоримских, неогреческих архитектурных островов (зданий). Толщенные деревья Летнего сада, молодые деревца на площади Жертв Революции, кустики Екатерининского сквера напоминают о времени года рассеянному или погруженному в сутолоку жизни. Пробежит какая-нибудь барышня, посмотрит на деревцо: «а ведь весна-то...», и станет ей грустно. Пробежит какая-нибудь другая барышня, посмотрит на деревца: «а ведь весна-то!», и станет ей весело. Или посидит какой-нибудь инвалит на скамеечке, бывший полковник, получающий государственную пенсию, и вспомнит: «здесь я

ребенком в песок играл», или: «там в экипаже ездил». И вздохнет и задумается, вытащит пыльный платок, издающий целую серию запахов: черного хлеба, котлет, табаку, супа, и отчаянно высморкается. Спрячет платок — и нет в воздухе целой серии запахов.

Или пройдут по аллейке — ученик трудовой школы, нежно обнявшись с ученицей трудовой школы, и сядут рядом со старичком, и начнет ученица щебетать, и длинношеий ученик на ее макушку петушком посматривать и кукурекать. Или опять появится Миша Котиков, известный биограф, и сядет вот на ту скамеечку у небольшого кустика и начнет пробивающуюся бородку пощипывать, раскроет записную книжечку, опустит голубенькие глазки и примется список оставшихся знакомых Заэвфратского просматривать.

Неизвестный поэт за последние годы привык к опустошенному городу, к безжизненным улицам, к ясному голубому небу. Он не замечал, что окружающее изменяется. Он прожил два последних года в оформлении и осознании, как ему казалось, действительности в гигантских образах, но постепенно беспокойство накапливалось в его душе.

Однажды он почувствовал, что солгали ему — и опьянение и сопоставление слов.

И на берегу Невы, на фоне наполняющегося города, он повернулся и выронил листки.

И вновь закачались высокие пальмы.

Неизвестный поэт опустил лицо, почувствовал, что и город никогда не был таким, каким ему представлялся, и тихо открыл подсознание.

«Нет, рано еще, может быть, я ошибаюсь,» — и как тень задвигался по улице.

«Я должен сойти с ума»,— размышлял неизвестный поэт, двигаясь под шелестящими липами по набережной канала Грибоедова.

«Правда, в безумии для меня теперь уж нет того очарования,— он остановился, склонился, поднял лист,— которое было в ранней юности, я не вижу в нем высшего бытия, но вся жизнь моя этого требует, и я спокойно сойду с ума».

Он двинулся дальше.

— Для этого надо уничтожить волю с помощью воли. Надо уничтожить границу между сознательным

и подсознательным. Впустить подсознательное, дать ему возможность затопить светящееся сознание.»

Он остановился, облокотился на палку с большим аметистом.

«Придется навсегда расстаться с самим собой, с друзьями, с городом, со всеми собраниями.»

В это время к нему подбежал Костя Ротиков.

— Я вас ищу,— сказал он.— Мне про вас сообщили ужасную новость. Мне сказали, что вы сошли с ума.

— Это неправда,— ответил неизвестный поэт,— вы видите, уме я в здравом, но я добиваюсь этого. Но не думайте, что я занят своей биографией; до биографии мне дела нет, это суетное дело. Я исполняю законы природы; если б я не захотел, я бы не сошел с ума. Я хочу — значит, я должен.

Начинается страшная ночь для меня.

Оставьте меня одного.

Ибо человек перед раскрывшейся бездной должен стоять один, никто не должен присутствовать при кончине его сознания, всякое присутствие унижает, тогда и дружба кажется враждой. Я должен быть один и унестись в свое детство. Пусть явится мне в последний раз большой дом моего детства, с многочисленностью своих разностильных комнат, пусть тихо засияет лампа над письменным столом, пусть город примет маску и наденет ее на свое ужасное лицо. Пусть моя мать снова играет по вечерам «Молитву Девы», ведь в этом нет ничего ужасного, это только показывает контраст ее девических мечтаний с реальной обстановкой, пусть в кабинете моего отца снова находятся только классики, несносные беллетристы и псевдонаучные книги,— в конце концов, не все обязаны любить изощренность и напрягать свой мозг.

— Но что будет с гуманизмом? — трогая остренькую бородку, прошептал Костя Ротиков,— если вы сойдете с ума, если Тептелкин женится, если философ займется конторским трудом, если Троицын станет писать о Фекле, я брошу изучать барокко,—мы последние гуманисты, мы должны донести огни. Нам нет дела до политики, мы не управляем, мы отставлены от управления, но мы ведь и при каком угодно режиме все равно были бы заняты или науками, или искусствами. Нам никто не может бросить упрек, что мы от нечего делать взялись за искусство, за науки. Мы, я уверен, для этого, а не для чего иного и рождены. Правда, в пят-

надцатом, в шестнадцатом веках гуманисты были государственными людьми, но ведь то время прошло.

И Костя Ротиков повернул свои огромные плечи к каналу.

Тихо качались липы. По Львиному мостику молодые люди прошли на Подьяческую и принялись блуждать по городу.

«Восемь лет тому назад,— думал неизвестный поэт,— я так же блуждал с Сергеем К.».

— Но теперь пора,— сказал он,— я пойду спать.

Но лишь только Костя Ротиков скрылся, лицо у неизвестного поэта исказилось.

— О-о...— сказал он,— как трудно мне было притворяться спокойным. Он говорил о гуманизме, а мне надо было побыть одному и собраться с мыслями. Он был жесток, я должен был пережить снова всю мою жизнь в последний раз, в ее мельчайших подробностях.

Неизвестный поэт вошел в дом, раскрыл окно:

— Хоп-хоп,— подпрыгнул он,— какая дивная ночь.

— Хоп-хоп! — далеко до ближайшей звезды.

Лети в бесконечность,
В земле растворись,
Звездами рассыпься,
В воде растопись.

— Чур меня, чур меня, нет меня,— он подскочил.

Лети, как цветок в безоглядную ночь,
Высокая лира, кружащая песнь.
На лире, я, точно цветок восковой,
Сижу и пою над ушедшей толпой.

— Голос, по-видимому, из-под пола,— склонился он.— Дым, дым, голубой дым. Это ты поешь? — склонился он над дымом.

Я Филострат, ты часть моя.
Соединиться нам пора.

— Кто это говорит? — отскочил он.

Пусть тело ходит, ест и пьет —
Твоя душа ко мне идет.

Ему казалось, что он слышит звуки систр, видит нечто, идущее в белом, в венке, с туманным, но прекрасным лицом. Затем он почувствовал, что изо рта его вынимают душу; это было мучительно и сладко. Он приподнял веко и хитро посмотрел на открывающийся город. Улицы были затоплены людьми, портики блестели, колесницы неслись.

— Вот как! — встал он.— Я, кажется, пробуждаюсь. Мне снился какой-то страшный сон.

— Куда вы, куда вы, Аполлоний! — услышал он голос.

— Останься здесь,— качаясь, выпрямился неизвестный поэт.— Я сейчас вернусь, мне надо посоветоваться о путешествии в Александрию.

Он вышел из дому и, шлепая туфлями, шел по тротуару.

Поминутно он раскланивался с воображаемыми знакомыми.

— Ах, это вы,— обратился он к прохожему, принимая его за Сергея К.— Как это любезно с вашей стороны, что вы воскресли! — хотел он сказать, но не смог.

«Я не владею больше человеческим языком,— подумал неизвестный поэт,— я часть Феникса, когда он сгорает на костре».

Он услышал музыку, исходившую от природы, жалобную как осенняя ночь. Услышал плач, возникающий в воздухе, и голос.

Неизвестный поэт сел на тумбу, закрыл лицо руками.

Встал, выпрямился, посмотрел вдаль.

Утром неизвестный поэт совершенно белый сидел на тумбе, втянув голову в плечи, бессмысленные глаза его бегали по сторонам. Воробьи кричали, чирикали, кралась кошка, открылось окно, и голый мужчина сел на подоконник спиной к солнцу. Затем открылись другие окна, запели кенари. Послышалось плескание воды, появилась рука, поливающая цветы, появились две руки, развешивающие пеленки, появился человек и поспешил, другой человек появился и тоже поспешил.

Глава XXV

МЕЖДУСЛОВИЕ

Собственно, идея башни была присуща всем моим героям. Это не было специфической чертой Тептелкина. Все они охотно бы затворились в Петергофской башне.

Неизвестный поэт занимался бы в ней словогаданием. Костя Ротиков не отказался бы от нее как от явной безвкусицы.

Пока я пишу, летит ненавистное время. В великом рассеянии живут мои герои по лицу Петербурга. Они не встречаются больше, не совещаются. И хотя уже весна, восторженный Тептелкин не ходит по парку, не срывает цветов, не ждет друзей... К нему друзья не приедут. Не встанет он рано утром, не будет читать сегодня одну книгу, завтра другую.

Не будут они говорить в спящем парке, что хотят их очаровать, что они представители высокой культуры.

Глава XXVI

МАРЬЯ ПЕТРОВНА И ТЕПТЁЛКИН

Прошло два года.

Уже Тептелкину было тридцать семь лет. Уже он был лыс и страдал артеросклерозом, но все же он любил читать Ронсара и, возвращаясь со службы из Губоно домой и пообедав, он сидел, окруженный Петраркой и петраркистами и Плеядой, и совсем близко от него стоял нежный и ученый Полициано.

Марья Петровна сидела у Тептелкина на коленях и целовала его в шею и, вращаясь, целовала в затылок и изредка радостно подвизгивала.

— Да,— философствовал Тептелкин,— конечно, Марья Петровна не Лаура, но ведь и я не Петрарка.

В тихой квартире его,— квартира состояла из двух комнат,— пахло обезьянами — уборная была недалеко — и кислой капустой — Марья Петровна была хозяйственная натура. У окон стояли двухлетние виноградные кусты, чахлые и прозрачные. Над головами супругов горела электрическая лампочка.

Уже не было у Тептелкина никаких мыслей о Возрождении. Погруженный в семейный уют или в то, что казалось ему уютом, и поздно узнанную физическую любовь, он пребывал в некоторой спячке, все время усиливающейся от прикосновений Марьи Петровны. Нельзя сказать, что он не замечал недостатков Марьи Петровны, но он любил ее, как старая вдовушка любит портрет своего мужа, изображающий то время, когда исчезнувший был еще женихом. Целуя Марью Петровну, он чувствовал, что в ней живет прекрасная мечта о невозможной братской любви и что, как только она начнет говорить об этой любви, выходит глупо.

Давно он расстался со всеми надеждами, отрекся от них, как от иллюзии неуравновешенной молодости. Все это были инфантильные мечты,— между прочим, иногда, говорил он Марье Петровне.

Уже был у него в кармане чистый носовой платок и вокруг шеи заботливо выстиранный воротничок, и часто к нему заходил изящно одетый Кандалыкин и говорил о новом быте, о том, что заводы строятся, о том, что в деревнях не только электричество, но и радио, о том, что развертывается жизнь более красочная, чем Эйфелева башня, что на юге строится элеватор, второй в мире, после нью-йоркского, что копошатся тысячи людей — инженеров, рабочих, моряков, штейгеров, грузчиков, кооператоров, извозчиков, десятников, сторожей, механиков.

«Пусть,— думал Тептелкин,— ярко освещены электричеством деревни, пусть мычат коровы в примерных совхозах, пусть сельскохозяйственные машины работают на лугах, пусть развертывается жизнь более красочная, чем Эйфелева башня,— чего-то нет в новой жизни».

Марья Петровна разливала чай в недорогие, но приятные чашки с мускулистыми фигурами. На прощанье, склоняясь, Кандалыкин целовал нежно руку Марьи Петровны и просил зайти Тептелкина и Марью Петровну провести вечерок.

Но все же тихой музыкой билось сердце Тептелкина, все же в глубине души он верил в наступающие мир и тишину, грядущее сотрудничество народов.

Под руку с Марьей Петровной Тептелкин идет к Кандалыкиным. Идут они по проспекту 25-го Октября.

Идут они, лысый и маленькая, а вокруг магазины правительственные. Если поднять глаза — дома крашеные. Нога чувствует панели ровные.

Ласково встретил Кандалыкин супругов.

— Ну как? — обратился он к Тептелкину.— Как ваши лекции? Легче вам теперь материально? Жаль мне было, что такой человек пропадал.

— Да, он совсем увлечен ими,— ответила за Тептелкина Марья Петровна.— Он вам благодарен, он изучает социальные перевороты от Египта до наших дней.

— Помните,— прохаживается по комнате Кандалыкин,— как я несколько лет тому назад случайно попал

на вашу лекцию? Я тогда понял, что вы человек превосходный. Хотя вы читали тогда Бог знает какую ерунду.

— Не ерунду я читал,— оправдывается Тептелкин,— только все ерундой какой-то вышло.

Весна не наступала. Вода из-под почвы била и брызгала, когда кто-либо из ранних дачников или из двухнедельных обитателей домов отдыха и здравниц пускался в поле. Деревья стояли омерзительно голые, и на фоне их дрались петухи, лаяли собаки на прохожих, и дети, засунув палец в рот, созерцали провода.

Тептелкин был печален. Он шел домой и думал о том, что вот и палец можно истолковать по Фрейду, он думал о том, что вот омерзительная концепция создалась столь недавно.

Читал ли он философское стихотворение, вдруг фраза приковывала его внимание и даже любимое стихотворение Владимира Соловьева:

Нет вопросов давно, и не нужно речей.
Я стремлюся к тебе, словно к морю ручей,—

приобрело для него омерзительнейший смысл.

Он чувствовал себя свиньей, валяющейся в грязи. Он, вытянув губы трубой, стоял в задумчивости.

Молочница возвращалась из города, громыхая пустыми бидонами из-под молока.

«Да, продает с водой»,— подумал он и еще сильней вытянул губы.

Молочница взглянула на худощавого человека с вытянутыми губами в виде трубы и прошла мимо.

Небо опять потемнело, небольшое легкое пространство скрылось, пошел мелкий дождь.

Тептелкину было все равно, он только надел шляпу и закрыл глаза. «Надо идти».

— Пришел,— встретила Марья Петровна Тептелкина,— что же ты по дождю шляешься? Это неостроумно. Повестка тебе, твоя книга идет вторым изданием.

— Биография! — воскликнул Тептелкин,— всякую дрянь печатают. Чем хуже напишешь, тем с большей радостью принимают.

— Да что ты ругаешься, не хочешь писать — не пиши, никто тебя за язык не тянет,— рассердилась Марья Петровна.

— Эпоха, гнусная эпоха меня сломила,— сказал Тептелкин и вдруг прослезился.

— Точно с бабой живу,— подпрыгнула Марья Петровна,— вечные истерики!

Тептелкин ходил по саду, яблоня, обглоданная козами, стояла направо, куст сирени с миниатюрными листьями — налево. Он ходил по саду в галошах, в пенсне, в фетровой шляпе.

— Никто не носит теперь пенсне! — кричала из окна Марья Петровна, чтобы его позлить.— Теперь очки носят!

— Плевать! — кричал снизу Тептелкин,— я человек старого мира, я буду носить пенсне, с новой гадостью я ничего общего не имею.

— Да что ты ходишь по дождю! — кричало сверху.

— Хочу и хожу и буду ходить! — кричало снизу.

Глава XXVII
КОСТЯ РОТИКОВ

Особой зловещей тихостью и особой нищенской живописностью полн Обводный канал, хотя его прорезают два проспекта и много мостов над ним, из которых один даже железнодорожный, и хотя на него выходят два вокзала, все же он нисколько не похож на одетые гранитом каналы центра, тмин и бузина и какие-то несносные листья поднимаются от самой воды и по косой линии доходят до деревянных барьеров. Железные уборные времен царизма стоят на ножках, но вместо них постепенно появляются домики с отоплением, того же назначения, но более уютные, с деревцами вокруг. По-прежнему надписи в них нецензурны и оскорбительны, и как испокон веков, стены мест подобного назначения покрыты подпольной политической литературой и карикатурами.

Некоторые молодые люди вынимают здесь записные книжечки из кармана и внимательно смотрят на стены и, тихо ржа, записывают в книжечки «изречения народа».

В один ясный весенний день можно было видеть молодого человека, идущего с семью фокстерьерами вдоль стены по Обводному каналу. По палочке с кошачьим глазом, по походке, по трухлявому амуру в петлице, по тому, как лицо молодого человека сияло, каждый бы из моих героев узнал Костю Ротикова.

— Милые мои цыплята,— остановился Костя Ротиков,— вы пока побегайте, а я спишу некоторые надписи.— Он сломался, похлопал Екатерину Сфорца по собачьему плечу, пожал лапку Марии-Антуанетте, покомкал уши королеве Виктории, приказал всем вести себя скромно; скрылся в уборную.

В то время как он с карандашом стоял и списывал надписи, собачки бегали, резвились, нюхали углы здания, некоторые, скосив морду, жевали прошлогоднюю травку.

Костя Ротиков вышел, позвал своих собачек, спрятал записную книжечку и направился далее, к следующей уборной.

В воскресные дни он обычно совершал обход и пополнял книжечку.

Возвратившись домой, в глухую квартиру на окраине, он зажег свет, собаки прыгали вокруг него, лизали руки, подскакивали, лизали шею друг другу и ему, а Виктория, подскочив, лизнула его в губы. Он поднял Викторию и поцеловал ее в живот. Он был почти влюблен в песиков, они казались ему нежными и хрупкими созданиями, он строго охранял их девственность и ни одного кобеля не подпускал близко. Тщетно плакали весной его собачки, тщетно они катались по полу и визжали, лезли на предметы,— он был непреклонен.

Наиболее визжащую он брал на руки и ходил с ней по комнате и убаюкивал, как малого ребенка.

Сегодня вечером, после возвращения с прогулки, его фокстерьеры визжали и бились в судорогах, разевали жалобно рты, только Виктория ходила спокойно, то есть страшно спокойно.

Тщетно Костя Ротиков, спрятав книжку в письменный стол, предлагал им кусочки белоснежного сахара, они визжали и жалобно смотрели на него.

Тогда он стал кричать на них.

Как побитые — они успокоились.

Засыпая вместе с ними, он стал думать о своем романе.

Эта рыжая дама думает, что он влюблен в нее.

Утром он перечел то, что он называл мудростью народа. Покормил временно успокоившихся собачек и отправился на службу.

Там под люстрами, фарфоровыми с букетцами, хрустальными с капельками, металлическими с пуговками и цепочками, ходил он, улыбаясь, расставлял, определял

и расценивал предназначенные на аукцион предметы. Там сидел он на разноспинной мебели и беседовал с другими молодыми людьми, внимательно его слушающими, нажав на мокрую губку, наклеивал этикетки на подносимые ему фигурки.

Иногда ему становилось скучно. Тогда он просил какого-либо молодого человека, благоговевшего перед его познаниями и веселостью, завести музыку.

Ах, мейн либер Аугустхен, Аугустхен, Аугустхен...[1] —

или венский вальс, или «На сопках Маньчжурии», или «О клэр де ла люн»[2].

Костя Ротиков слушал внимательно.

В комнате направо группами помещалось пять гостиных, в комнате налево — три спальни.

В то время как Костя Ротиков, в невозможной позе сидя в кресле, окруженный молодыми людьми, рассматривал предметы и объяснял, в зал вошел человек с желтым чемоданом, в желтых сапогах, в пятнистых носках, спец по рынкам. Затем вкатился круглый человек с гитарой под мышкой, затем вбежали две барышни и стали бегать от предмета к предмету, затем пришел заведующий в чечунчовом костюме.

В понедельник 18-го апреля Константин Петрович Ротиков поздно ночью пришел с пирушки научных сотрудников.

Блаженно улыбаясь, Костя Ротиков раздевается, ложится на диван, сильно потертый, поворачивается к стене, успокаивается. Он видит пятнадцать новооткрытых комнат, выходящих на Неву. Все они уставлены коллекциями. Это безвкусица, пожертвованная им.

В апартаментах толпятся иностранные ученые, и путешественники, и отечественные профессора, и научные сотрудники.

Он со всеми раскланивается и объясняет.

Свистит носом Костя Ротиков со сна.

Туманные пятна, зеленые, красные, фиолетовые. Появляется банкет.

Костя Ротиков сидит, седой, в кругу своих почитателей, ему читают адреса и приносят телеграммы.

---

[1] Ах, мой милый Августин, Августин, Августин... *(нем.)*
[2] «О, свет луны» *(фр.)*.

Вот поднимается хранитель Эрмитажа:

— Уважаемые коллеги, мы приветствуем Константина Петровича суб-люце-этерна (sub luce aeterna). Открыть новую область в искусстве не так легко. Для этого надо быть гениальным,— и, упираясь двумя пальцами в стол, он, помолчав, продолжает: — Константин Петрович Ротиков почти с самого нежного возраста, когда обычно другие дети заняты беготней или восторгаются и прыгают на перроне перед паровозом, уже чувствовал беспокойство настоящего ученого. Тщетно его звали погулять, тщетно ему приказывали прокатиться в шарабане — он изучал искусствоведческие книги. В семь лет, когда ему еще повязывали салфетку вокруг шеи, он уже знал все картины Эрмитажа и, по репродукциям,— Лувра и Дрездена. К десяти годам он уже побывал в главнейших музеях Европы и, как взрослый, присутствовал на аукционах.

«И когда все было изучено, только тогда он приступил к труду своей жизни.

«— От лица эрмитажных работников позвольте вас, Константин Петрович, приветствовать и благодарить за открытую область искусства и за пожертвованные в наше хранилище экспонаты.»

Тогда подымается неизвестный поэт, уже достигший всеевропейской известности. Седые волосы падают ему на плечи. Золотые драхмы с головами Гелиоса сверкают на его манжетах.

«— Наше поколение не было бесплодно,— раскланивается он на аплодисменты,— и в невообразимо трудную годину мы сплотились и продолжали заниматься нашим делом. Ни развлечения, ни насмешки, ни отсутствие денежных средств не заставили нас бросить наше призвание. В лице Константина Петровича я приветствую своего дорогого соратника и милого друга. Расцвет, который мы наблюдаем теперь, был бы невозможен, если бы в свое время наше поколение дрогнуло.»

Все встают и аплодируют седым друзьям.

Подымается с бокалом известный общественный деятель — Тептелкин, высохший старик, с прекрасными глазами. Голова его окружена сиянием седых волос, слезы восторга текут по щекам.

«— Я помню как сейчас, дорогой Константин Петрович, ясный осенний день, когда все мы собрались в башне, в старой развалившейся купеческой даче...»

Тоска охватила Костю Ротикова. Он проснулся. Облокотился на подушку. Смотрит... падают хлопья снега, похожие на рождественские.

«Рано,— думает,— зима».

«Страна страшно бедна,— все же встает он.— У нее сейчас только насущные потребности, никакую умственную роскошь она себе позволить не может. Допустим даже, что мою книгу все одобрили бы. Но кто в силах издать огромный том, рассчитанный на небольшой круг читателей?»

Сколько лет провел он в библиотеках, рассматривая порнографические книжки и репродукции, как часто посещал он недоступные для публики отделения музеев и изучал изображения в мраморе, слоновой кости, воске и дереве... Сколько картин, гравюр, набросков, скульптур теснилось в его воображении...

Порнографический театр времен Возрождения (субстрат античность), порнографический театр восемнадцатого века (субстрат народность). Но все же в этой области у него были предшественники, а на Западе были соответствующие труды, но в области изучения безвкусицы — никого. Здесь он начинатель. Это дело более трудное, более ответственное. Здесь надо начинать с азов, с примитивнейшего собирания материала.

В это синее утро, как некогда, Костя Ротиков видел весь мир с его необъятными, несмотря на все порубки, лесами, с его океанами пустынь, несмотря на железные дороги, с его взнесенными железобетонными городами и городами бумажными, с его кирпичными селениями и селениями деревянными. Мимо него дефилировали расы, племена, отдельные уцелевшие роды. «Если легко определить безвкусицу, стоя посреди комнаты,— думает Костя Ротиков,— определить элементы безвкусицы в западноевропейском искусстве, то куда трудней определить в китайском, японском и почти невозможно в столь мало изученном, несмотря на огромный интерес к нему, появившийся в последние годы,— в негрском искусстве. Но если обратиться к искусству, возвращенному археологией, к искусству египетскому, шумероаккадийскому, вавилонскому, ассирийскому, критскому и другим, то здесь вопрос становится еще более сложным и проблематичным.»

В наступающем дне у Кости Ротикова опустились руки; спина согнулась, он испытывал настоящие муки. Внезапно он вспомнил, что все изменилось.

Его друг, неизвестный поэт, скрывается, переехал, нигде не показывается, быть может, уехал.

Тептелкин, по слухам, женился и обзавелся новым кругом друзей.

Он, Константин Петрович, теперь научный сотрудник, но это для души.

Константин Петрович отправился в институт, помещавшийся на набережной. Он поздоровался с привратницей Еленой Степановной, сидящей в кресле рядом с камином.

— Как ваше здоровье, Елена Степановна? — спросил он.

— Зябну,— ответила та,— зябну.

Он поднялся по лестнице, вошел в прихожую, там ему пожал руку вахтер и ласково подвел его к стенной газете.

— Продернули вас.

И действительно, на стене в кругу профессоров и научных сотрудников он увидел себя сидящим и демонстрирующим, с ученым видом, уриналы. Он поднялся в библиотеку. Поднял голову от книги, стал рассматривать находившихся в ней.

Весь мир незаметно превращался для Кости Ротикова в безвкусицу, уже ему больше доставляли эстетических переживаний изображения Кармен на конфетной бумажке, коробке, нежели картины венецианской школы, и собачки на часах, время от время высовывающие язык, чем Фаусты в литературе.

И театр для него стал ценен, значителен и интересен, когда в нем проявлялась безвкусица. Какая-нибудь женщина с обнаженной грудью в платье времен его матушки, на фоне дорических колонн, пляшущая и сыплющая цветы на танцующих амуров, уже не в шутку нравилась ему. Глухие кинематографы с изрезанными, из кусочков составленными, лентами волновали его и приводили в восторг безвкусностью своей композиции. Рецензийки, написанные заезжим провинциалом, в которых проявлялся дурной вкус, безграмотность и нахальство, заставляли его смеяться до слез, до возвышеннейшего и чистейшего восторга. Он ходил на все собрания и тщательно подмечал во всем безвкусицу. Он получал восторженные письма от молодых людей, зараженных, как и он, страстью к безвкусице. Иногда ему казалось, что он открыл философский камень, с помощью которого можно сде-

лать жизнь интересной, полной переживаний и восторга. Действительно, весь мир стал для него донельзя ярким, донельзя привлекательным. В его знакомых для него открылась бездна любопытных черточек, для него привлекательных по-новому. В их речах он открывал тайную безвкусицу, не подозреваемую ими. И тут он стал получать письма из провинции. Провинциальная молодежь, до которой неведомо какими путями дошли слухи об его занятиях, просыпалась, уже в медвежьих углах начали собирать безвкусицу, чтоб исцелиться от скуки.

Глава XXVIII
ЧЕРНАЯ ВЕСНА

На Карповке, в двухэтажном доме, бывшем особняке, похожем на серый ящик с дырками, увенчанный фронтоном и гербом со сбитой короной, по-прежнему жил философ. В доме, кроме него, жили китайцы, приехавшие из провинции Шандунь, делающие бумажные веера, которыми кустари украшают ту стену, у которой стоит зеркало.

Андрей Иванович ясно чувствовал, что он освещает вопросы философии и методологии совсем не перед той аудиторией, перед которой разрешать их должно, что, в общем, это какая-то дикая забава. К чему методология литературы его вечному спутнику фармацевту? Зачем он читает свои трактаты вечно подвижным и практическим людям? Но все же философ стал готовиться к лекции. Некоторые положения уже давно были набросаны, надо было развить их.

Он смотрел вниз на вечерний город, на движущиеся толпы с иными движениями, с размашистой походкой, с трубками во рту.

Колокольный звон донесся со стороны.

— Здесь я сотрудничал в специальных философских журналах, которых было почти достаточно. Здесь напечатана была моя работа, в свое время известная, здесь я защищал ее на звание профессора.

Философ прошелся по большой комнате, оклеенной дорогими, но выцветшими обоями.

Он увидел гостиную в ее прежнем виде.

Услышал философские и литературно-философские разговоры.

Вот едет он в поезде. Против него сидит Петр Константинович Ротиков. Он вспомнил первую встречу с женой в имении под Москвой, где он гостил у одного из приятелей.

Снова он чувствовал легкую прогулку среди высоких, золотых полей.

Она идет с ним рядом в длинном платье, в соломенной шляпке, под светлым зонтиком и радостно смеется.

Сложив зонтик, бросается бежать по дороге и, обернувшись, предлагает поймать ее, и он, поймав, долго держит ее за руки, она стоит, не говоря ни слова.

После этого происшествия они почувствовали, что они близки друг другу и дороги.

Философ прошелся, наткнулся на стул, расхлябанный стул с золоченой спинкой — стул из спальни жены.

За дверью кто-то царапался.

Вошла четырехлетняя босоногая малютка и стала шагать рядом с философом, напевать и хлопать в ладоши.

— Я русська, я русська.

За стеной завздыхала гитара.

Мимо дверей прошла метельщица, одноглазая, с косым ртом.

Он остановился. Ребенок остановился тоже. Он посмотрел вниз. Рядом с ним крохотная девчурка — дочь соседа китайца и метельщицы.

— Детка, уйди,— сказал он,— дяде надо побыть одному.

Но ребенок сосал палец и не уходил. Он вывел девочку и запер дверь. Сел в кожаное кресло — кресло из кабинета,— развернул лежавший на столе пакетец, нарезал сыру, сделал бутерброды.

«Не пойду,— подумал он,— не пойду, на кой черт им всем мои лекции!»

На салфетку, заткнутую за ворот, сыпались крошки, но все же через час он вышел. На набережной он столкнулся нос к носу с фармацевтом.

— А я за вами! — радостно произнес фармацевт.

Дом на Шпалерной был освещен.

Лифт действовал.

Дом был построен в модернистическом стиле. Бесконечное число пузатых балкончиков, несимметрично расположенных, лепилось то тут, то там.

Ряды окон, из которых каждое было причудливо но-

своему, были освещены. Кафельные изображения женщин с распущенными волосами на золотом фоне были реставрированы.

Он нажал на металлическую ручку двери с гофрированными стеклами, на которых изнутри были освещены лилии.

По главной парадной он поднялся в первый этаж, в просторные палаты, занимаемые семьей путешествующего инженера N.

Фармацевт следовал за ним.

После лекции должно бы было начаться обсуждение.

— Позвольте вам, Андрей Иванович, передать варенье,— сказала молоденькая жена инженера.

Комик из соседнего театра с презреньем ел печенье.

— Ну что, Валечка, развлеклась? — после ухода философа спросил инженер.

Китаец, скопив деньжат или, может быть, вызванный событиями, уехал на родину.

В тот же вечер метельщица сошлась с другим китайцем.

Через два месяца она умерла от неудачного аборта.

Русська устроилась в уголке, в комнате философа, на положении кошки. Иногда он покупал ей молока.

Сам выпускал ее во двор и видел, как она бегает вокруг дерева.

Это не было актом милосердия. Он просто знал, что ей некуда деться.

Он даже ей купил как-то игрушку и смотрел, как она с игрушкой возится.

Постепенно появилось в углу нечто вроде постели, а на ребенке ситцевое платьице и туфельки.

В эту весну Екатерина Ивановна сильно грустила. Когда Заэвфратский был жив, ей ребенок не нужен был. Она сама себя чувствовала девочкой рядом с этим большим, путешествующим человеком.

Все чаще ночью охватывал ее ужас нищеты и улицы. Иногда, ночью, она вставала, подходила в одной рубашке к окну и, широко, как окна, растворив глаза, смотрела вниз. Напротив шумел и блестел ночной клуб, безобразные сцены разыгрывались у входа.

«Был Миша Котиков,— иногда вечером вспоминала Екатерина Ивановна,— но и он исчез, а с ним можно было поговорить об Александре Петровиче».— Она доставала портрет Александра Петровича.

«Миша Котиков просил меня подарить ему какую-нибудь рукопись,— вспомнила она.— Но у меня нет ничего, все друзья Александра Петровича взяли. Вот разве альбом с пейзажами».

Днем во дворе заиграл шарманщик, с дрожавшим и нахохлившимся зеленым попугаем, по-прежнему вынимавшим счастье. Со двора нечувствительно повеяло возвращением с дачи или из-за границы; черная весна похожа на осень.

«Хорошо было бы пойти в балет»,— встала она в классическую позу.

Закружилась.

«Хотя ведь балет устарел.

Михаил Петрович давно говорил, что он устарел».

Она остановилась, села на постель и заплакала.

«Все, что я люблю, давно устарело...

Никто меня не понимает...

Да понимал ли меня Александр Петрович, такой умный, такой умный!

Может быть, он всегда меня несколько презирал?

Ведь мужчины на меня всегда свысока смотрят...».

Мокрое от слез лицо она подняла и, как вполне взрослый человек, устремила в пространство.

В дверь постучали и передали письмо.

«Дорогая Екатерина Ивановна, мне удалось для вас выхлопотать пенсию. Извините, что раньше я ничего не писал вам. Это было очень трудно и до последнего момента...»

Письмо было от дореволюционного друга Александра Петровича из Москвы.

Это было так неожиданно, что Екатерина Ивановна вдруг почувствовала, что она постарела.

Она подошла к зеркалу.

Морщинки бежали вокруг глаз и вокруг рта. Волосы были редкие. Ей захотелось быть снова молоденькой.

Она надела шляпу и светлую жакетку, еще раз посмотрела в зеркало и подкрасила губки, бледные и слабые.

Пошла в особняк Заэвфратского.

Екатерина Ивановна поднялась по мраморной лестнице, уставленной всевозможными восточными уродинами, еще не убранными.

Сейчас здесь был Домпросвет.

Был час занятий, и девушки в красных платочках бегали по лестнице туда и сюда и звали других девушек и юношей на собрание. Молодые люди в пальто ходили по всем комнатам. Садились на скамейки слушать лекции.

Гостиная, где некогда беседовал Заэвфратский, была превращена в зал для собраний и украшена плакатами.

Открыв дверь в спальню Заэвфратского, Екатерина Ивановна увидела Тептелкина. Склонившись над кафедрой, он старательно читал краткую историю всемирной литературы.

Она села на заднюю скамью и стала рассматривать его.

«Как он обрюзг»,— подумала она.

Воробей залетел в окрытую форточку, посидел на раме и принялся летать по комнате. Ученики и ученицы поднялись со скамеек и принялись выгонять воробья. Тептелкин стоял у кафедры и ждал. Грузноватой походкой Екатерина Ивановна подошла к нему.

— Екатерина Ивановна?! — удивился Тептелкин.— Вот встреча-то!

— Я не знала, что вы здесь читаете,— стала строить глазки Екатерина Ивановна.

— В этом ничего удивительного нет...

Но вдруг молодость захлестнула Тептелкина, и он почувствовал, что снова вступает в ночь на высокую башню, а затем — он, Тептелкин,— заурядный преподаватель, лектор при различных клубах.

Воробей был изгнан, и лекция возобновилась.

Екатерина Ивановна, одна, возвращалась из Домпросвета. Ветер рвал ее юбочку. Посидев в скверике под весенними снежными хлопьями, она вернулась домой.

«Милый Михаил Петрович,— писала она Мише Котикову,— дорогой друг мой, не согласитесь ли вы зайти ко мне, поговорить. Я для вас нашла альбом Александра Петровича. Мы поговорим об его стихах. Надеюсь, что вы не откажете зайти».

Глава XXIX
АГАФОНОВ

Бывший неизвестный поэт ходил по комнате. Дом двухэтажный, широкий, построенный в 20-х годах прошлого столетия французским эмигрантом, до войны предназначался на слом. Теперь в нем отдыхал, сидя во дво-

ре, почтальон с курносым семейством; шитьем существовало разноносое, разноволосое семейство бывшего камергера, обслуживаемое натурщиком; смеялась и скакала по лестницам женщина, гуляющая с матросами по кинематографам и по набережным, и беседовал старичок — бывший владелец винного магазина Бауэр, теперь служащий в винном магазине «Конкордия», у которого по средам и по воскресеньям собирались винтящие старички, бухгалтера и бывшие графы.

Неизвестный поэт снимал светлую продолговатую комнату у этого винтящего старичка. У этого кооперативного служащего была супруга с подрумяненными щечками и старшая сестра, 80-летняя дистенге [1]. Старичок некогда был испанским консулом.

Уютна была некогда квартира, принадлежавшая испанскому консулу Генриху Марии Бауэру. В гостиной, освещенной газом, в столовой тяжелой и дубовой, украшенной птицами из папье-маше, на тарелочках, литографиями в рамах черного дерева, с чучелами птиц по стенам, с круглым дубовым столом на круглой ноге и с 8-ю вспомогательными ножками, было приятно бывать. Испанский консул чувствовал себя лицом официальным, в гостиной стояла мебель красного дерева, в кабинете были диваны и портреты монархов: германского императора, российского самодержца, испанского короля. И гальванопластические изображения Лютера и апостолов. На бархатном столике лежал огромный фольянт на немецком языке — «Фауст» Гете, с иллюстрациями в красках. На кухне необыкновенной чистоты стояли Гретхены, Иоганхены, Амальхены, пузатенькие, со всевозможными ручками, со всевозможными горлышками. Испанский консул не говорил по-испански. По вечерам он отправлялся в немецкий клуб, Шустер-Клуб. Там, в особой комнате, так называемой немецкой, пил он пиво из кружки, и все другие пили пиво из кружек, по стенам не было никаких украшений, только висел огромный, в тяжелой золотой раме — портрет Вильгельма II во весь рост.

Третий год жил бывший неизвестный поэт в семье винтящего старичка, наблюдал по средам и воскресеньям за игрою.

Венгерский граф играл с достоинством, иногда он мягким движением расправлял свои бакенбарды. Какая-то

[1] Здесь: аристократка (от *фр.* distinguée изысканная).

неуловимая мягкость была в его движениях. На нем великолепно сидел жакет, шитый в первый год революции. Граф великолепно говорил по-французски. Рядом с ним сидела его супруга, похожая на маркизу в белоснежном высоком парике, вся в черном, и говорила тоже по-французски. Дальше сидел бывший пограничник с лихими усами, с явными армейскими движениями, затем бухгалтер со сказочными доходами. Никогда здесь не говорили о современности. Разговор всегда шел или о дворе, или о гвардии и армии, или о придворных торжествах в Петергофе при приезде французского президента, или об ухищрениях контрабандистов.

Лысеющий молодой человек пил чай со старичками. Разговор все время возвращался к концу XIX века и к началу XX. Старичок, сюсюкая, рассказав анекдот, начал засыпать, убаюканный воспоминаниями, и даже похрапывать. Восьмидесятилетняя дистенге посмотрела на часы.

Все встали из-за стола.

Наступила тишина.

Вычищенные гущей и песком, на кухне блестели Иоганхены, Вильгельмхены, Гретхены — кухонная посуда на полках.

Утром бывший неизвестный поэт, высунувшись из окна, позвал татарина, ходившего по двору с поднятым лицом и кричавшего.

— Вот что, друг,— сказал он, когда татарин с пустым мешком под мышкой появился в комнате,— у меня накопилось много дряни, хочешь вазочку, пепельницу, книги, вот горсточка старинных монет.— Татарин хмуро ходил по запущенной комнате, где стояла вечно не прибранная постель, где книги валялись на полу, где денежки Василия Темного лежали на тарелочке вместе с раскатавшимся куском мыла, а стекла были до того мутны, что еле-еле пропускали пыльный луч.

Татарин опытной рукой, подойдя к постели, пощупал одеяло, подошел к столику, постучал, посмотрел, не проели ли столик черви.

— Не годится,— сказал он.— Пальто есть? Брюки есть? Пальто, брюки куплю.

— Да что ты, я тебе уже все давно продал! — рассердился бывший неизвестный поэт.

— Зачем неправда говоришь, в шкапу что? — татарин, подойдя, распахнул дверцы.

— К чему тебе? потом новые купишь! — Он стал рассматривать брюки.

— Да вот ковер в углу,— согласился хозяин комнаты.

— Кровать продаешь? — спросил татарин.

Походив вечером по комнате, бывший поэт отправился в достопримечательнейшее здание.

Он поднялся по лестнице. Согнувшись, уплатил мзду.

— Ах, Агафонов,— протянул ему руку Асфоделиев,— где вы пропадаете?

— Я занят.

— Чем же вы заняты? — удивился Асфоделиев.

— Не будем об этом говорить,— уклонился лысеющий молодой человек,— я пришел сюда поразвлечься, а не говорить о занятиях.

Асфоделиев посмотрел на него. «Нервничает»,— подумал он.

— Прекрасна жизнь,— начал философствовать Асфоделиев.— Надо брать от жизни все то, что она дает. Посмотрите на эти прекрасные пальмы,— и плавным движением Асфоделиев указал на чахлые растения: — слышите, музыка!

Он подошел с Агафоновым к стеклянным дверям. Оттуда неслась шансонетка.

— Взгляните на лица, дышащие азартом, посмотрите, как горят у них глаза, как скребут игроки ногтями сукно.

Но всего этого бывший поэт не видел. Он видел, что крупье опускают с каждого круга десять процентов в разрез стола на нужды народного просвещения, а всякую подачку прячут в жилетный карман, говоря: мерси. Что все они лысы, упитанны, одеты по последней моде, что растратчики и взяточники толпятся у столов и проигрывают деньги на нужды народного просвещения, что они, присвоив деньги в одном ведомстве, добровольно отдают их другому.

— Вы романтик,— обернулся бывший неизвестный поэт к Асфоделиеву,— вы скверный, большой ребенок, неужели вы не чувствуете огромной серости мира. Я прихожу сюда, потому что мне нечего делать, потому что после того, как я не сошел с ума, я чувствую себя кукишем.

— А вы пытались сойти с ума? Какой вы романтик! — уязвил бывшего поэта Асфоделиев.

— Конечно, я не пытался,— пошел на попятную,— я это к слову сказал. Что вы, в самом деле считаете меня дураком?

— Бросьте,— сказал Асфоделиев.— Никто так не уважает вас, как я, и никто не любит так ваших писаний. Человеку нужна мечта, вы даете мечту — чего же боле?

— Никакой никогда мечты я не давал,— отвечал Агафонов.

Уже несколько часов сидели прибывшие в ресторане при клубе. Уже было выпито около дюжины пива и отдельные рюмочки скверного коньяку, и уже приступили к красному вину. И на эстраде появился хор цыганок и запел свои старые песни, и ходил цыган с гитарой и, топая, аккомпанировал, и отделились от толпы две цыганки в своих пестрых платьях, обутые в красные туфельки, и началось трепетание.

— Ерунда, какая ерунда,— пробормотал Агафонов и прошел в игорный зал, сел на освободившееся место.

Две цирцеи встали позади него.

Чувствуя, что на его плечи облокачиваются, Агафонов повернул голову.

— Не мешайте,— оттолкнул он,— прошу вас!

Те, вздернув носики, отошли.

Агафонову стало неприятно: «раньше я совсем иначе относился к ним».

К вставшему крупье подлетели два игрока и стали извиняться и упрашивать дать в долг. Тот отходил, отказывая, они следовали за ним по пятам. Асфоделиев и Агафонов уходили. За ними шли две цирцеи, затем цирцеи отстали.

— Прелестно,— говорил Асфоделиев,— прелестно...

— Вот что,— прервал Агафонов Асфоделиева,— не смогу ли я у вас переночевать?

В кабинете у Асфоделиева горела фарфоровая люстра.

Огромный, александровского времени, письменный стол, с канделябрами в виде сфинксов, стоял против дверей. На нем до середины высоты комнаты пирамидами возвышались недавно вышедшие книги, книжки и книжечки, все аккуратно разрезанные и снабженные бумажными закладками. На шкафах красного дерева, недавно доставленных, стоял Гете на немецком языке и Пушкин в брокгаузовском издании. На столах лежали иллюстрированные «Евгений Онегин» и «Горе от ума» в издании Голике и Вильборг.

— Извините,— сказал Асфоделиев,— моя жена спит.

Поставил бутылку водки и огурцы.

До глубокой ночи Агафонов произносил свои стихи.

— Как это глупо,— прервал он себя,— ничего я не слышал.

В три часа ночи он встал:

— Какое идиотство считать вино средством познания.

Он увидел себя блуждающим:

— Что я для города и что он для меня?

— Утро! — подошел он к окну. Сел на диван и раскрыл рот.

Лучи чуть теплого солнца осветили заметную лысину. Агафонов лежал на диване. Одна нога в фиолетовом носке высовывалась из-под одеяла.

Лучи спустились и осветили плечи, затем чуть-чуть вспыхнула рюмка у пустой бутылки.

Агафонов проснулся — его трогали за плечо.

— Извините, милый мой,— сказал Асфоделиев.— Мне привезли шкаф маркетри.

За Асфоделиевым стоял шкаф; два носильщика курили махорку.

Вечером Агафонов, ища ночлега, пошел в мало знакомое ему семейство.

После чая молодые люди и барышни сели в уголок и стали рассказывать друг другу анекдоты. Девушка с волосами, обесцвеченными перекисью водорода, первая начала:

— Один глупый молодой человек любил ездить верхом. Мы жили тогда на даче, на Лахте. Он жил в городе и ездил в манеже и по Островам. Однажды, войдя на веранду, где мы пили чай, он вместо того, чтобы поздороваться, сияя проговорил: «Все кобылы, на которых я езжу, забеременели». Мы прыснули от восторга и побежали поговорить об его глупости, но наш отец нашелся. «А что,— сказал он,— как ты думаешь, жеребята будут похожи на тебя?»

— Однажды в бане произошел следующий случай,— трогая ногу соседки, стал рассказывать журналист.— Один моющийся облил моего соседа ушатом холодной воды; тот подлетел к нему с поднятыми кулаками. «Извиняюсь,— сказал обливший,— я думал, что вы Рабинович». Облитый стал ругаться. «Экий,— пожал плечами обливший,— защитник Рабиновича нашелся».

— Во время империалистической войны,— зажигая

взятую у журналиста папироску, возвысил голос Ковалев,— одному корнету, состоявшему при особых поручениях, захотелось покурить. Офицеры стояли на свежем воздухе, в присутствии только что приехавшего командующего армией. Корнет отошел в сторону и закурил, пряча папиросу в рукав пальто. «Корнет, кто разрешил вам курить! Черт знает что! Дисциплина падает!» — закричал командующий армией. «Виноват, ваше высокопревосходительство,— прикладывая руку к козырьку, пролепетал корнет, не зная, что ответить,— я думал, что на свежем воздухе...» — «Вы забываетесь, корнет,— заорал генерал,— там, где я, нет свежего воздуха!» — Окончив анекдот, Ковалев, довольный своим остроумием, улыбнулся.

Посередине комнаты играли в кошки-мышки. Барышни, дамы и мужчины носились.

Идя оттуда, Агафонов столкнулся с Костей Ротиковым. Они до того растрогались встречей, что стали провожать друг друга. Они не замечали ни ночного холода, ни того, что улицы пустели. Уже третий раз довел Костя Ротиков Агафонова до ворот его дома, уже третий раз Агафонов довел Костю Ротикова до ворот дома Кости Ротикова, и тут Агафонов оказался в комнате Кости Ротикова.

Они сели на огромный диван; но тетушка не принесла им чая на подносе, ситного, нарезанного ломтиками; во втором часу ночи, приоткрыв дверь, не заглянул в комнату отец Константина Петровича, маленький старичок, и не посоветовал лечь спать, напоминая, что завтра Константину Петровичу надо будет преподавать английский язык старушкам, и Костя Ротиков и неизвестный поэт не улыбнулись радостно в ответ и не продолжали наслаждаться метафизическим поэтом.

Но, взволнованные неожиданной встречей, они разговорились. Снова луна им казалась не луной, а дирижаблем, а комната не комнатой, а гондолой, в которой они неслись над бесконечным пространством всемирной литературы и над всеми областями искусства. Уже Константин Петрович в забывчивости протянул руку к полке, чтобы достать поэму о сифилисе Фракастора, чтобы сравнить ее с поэмой о сифилисе Бартелеми, рекламной поэмой середины XIX века, в которой говорилось о Наполеоне, что, собственно, не он виноват, что теперь французы маленького роста, а усвоенный

и переработанный нацией сифилис. Но его рука повисла в воздухе, потому что в окне появилась палка приехавшего в Россию ирландского поэта и плечо немецкого студента Миллера, а затем к стеклу прильнули физиономии — одна, снабженная поэтической английской бородой, другая — бритая, улыбающаяся, в поднятом воротнике, истинное личико. Затем, поднявшись на плечи друзей, в комнату заглянуло лицо.

Через несколько минут из-под ворот вышла на улицу процессия.

Впереди шло существо с прелестным лицом. Оно одето было в тулупчик, до бедер — замшевый, от бедер — меховой, на ножках существа сияли удивительно маленькие лаковые туфельки, а на головке шапочка.

За существом шел ирландский поэт в кожухе до земли.

За ним — Агафонов в осеннем пальто.

За ним — немецкий студент в летнем пальто.

Процессию замыкал Костя Ротиков в шубе на енотовом меху. На перекрестке, окружив существо в тулупчике, вышедшие стали совещаться о способах передвижения:

— Дас ист ганц эйнфах,[1] — заметил немец,— мы поедем на автомобиле.

Он быстро побежал на перекресток и стал торговаться.

Они понеслись в бар.

— Я вас очень люблю,— сказал ирландский поэт.— Все здесь странно, я останусь, здесь можно жить поэту! Здесь — мировые вопросы. Здесь ходишь в чем тебе угодно — и никто не обращает внимания. А у нас в газетах: у вас все разрушено, голод, трава на улицах. За поэзию! — чокнулся он с Агафоновым.

— У вас Толстой, Горький,— подтвердил немец.

Собственно, разговор уже велся не на одном языке, а на всех языках одновременно: вдруг вспыхивало греческое καί, то вместо гимназии ἡ παλαίστρα[2], то почему-то раздавалось — urbs[3], то ἄστυ[4], то лились итальянские звуки, то произносились в нос французские. У дверей бара седая сухая нищенка пела.

---

[1] Это очень просто *(нем.)*.
[2] палестра *(греч.)*.
[3] город *(лат.)*.
[4] город *(греч.)*.

Теперь, сидя за столиком перед бутылками, мучился пьяный Агафонов. Ему казалось, что вся поэзия его, пользовавшаяся таким успехом среди друзей, не что иное, как плод ядовитых грез, порождение яда. Он вспоминал тот день, когда впервые он приступил к опыту, т. е. в точности он дня не мог вспомнить, но ему казалось, что это было в солнечный осенний день, после летних каникул, что его друг Андрей и он стояли на лестнице гимназии, освещенные солнцем, у огромного окна недалеко от учительской, что внизу проходили преподаватели в форменных сюртуках с блестящими пуговицами, что в коридорах стояли надзиратели, Спицын и барон, что в учительской беседовали классные наставники и преподаватели, что над ними на лестнице стоял директор, а совсем внизу в прихожей, между многочисленных вешалок, сидел швейцар Андрей Николаевич.

Тщетно напивался Агафонов. И в опьяненье он чувствовал свое ничтожество, никакая великая идея не осеняла его, никакие бледные розовые лепестки не складывались в венок, никакой пьедестал не появлялся под его ногами. Уже не чисто он подходил к вину, не с самоуважением, не с сознанием того, что он делает великое дело, не с предчувствием того, что он раскроет нечто такое прекрасное, что поразится мир, и вино теперь раскрывало ему собственное его творческое бессилие, собственную его душевную мерзость и духовное запустение, и в нем было дико и страшно, и вокруг него было дико и страшно, и хотя он ненавидел вино, его тянуло к вину.

Пешком возвращался Агафонов. Он выбирал самые узкие темные улицы, самые бедные. Он хотел снова почувствовать себя в 1917, 1920 годах. Он снова готов был прибегнуть к какому угодно ядовитому веществу, чтоб перед ним появилось видение. В нем нарастала жажда опьянения. Он не выдержал, сел на трамвай и доехал до Пушкинской улицы. Но она изменилась за эти годы. Стаи бродяг уже не бродили по мостовой. Условный свист не раздался при его появлении. Не было Лиды, стоящей в подворотне, курящей папироску. Он вспомнил: здесь она взяла у него палку и кольцо поносить и через два часа принесла их. Здесь она ругала своих подруг, а он упрашивал ее не ругаться, потому что ругаются только ломовые извозчики. В этом зеленом доме он стоял у окна, а она сидела на сквер-

ной постели и бессмысленно качала головой. Вскочила и хотела выброситься из окна. Там, на перекрестке, в последний раз он встретился с ней, ее уводили в концентрационный лагерь, а он стоял как парализованный. Он знает здесь каждую подворотню, но теперь нет ни одного знакомого лица.

Поздно ночью фиалковые глаза блеснули из пролета.

— Лида,— вскричал Агафонов, просияв, и побежал.

К нему повернулось совсем юное лицо.

— Лида,— вскричал он в отчаянии,— мы еще страшно молоды! — И бежал за ней, спотыкаясь.

И вдруг остановилась одна фигура, раздался звук пощечины, повторенной эхом запертых ворот, а затем послышались быстрые шаги, тоже повторенные эхом, на месте остался стоять человек с палкой, украшенной аметистом. И на небе были звезды, голубые, желтые, красные, но дома не стремились вверх и не падали, и не падал хлопьями снег, и не остались лежать карты, забытые на подъезде.

Глава XXX
МИША КОТИКОВ

Миша Котиков поднял кресло с пациентом. Электрическая машина загудела, и на резиновой трубочке игла с зубчатым утолщением завращалась; электрический свет освещал потолок и мягко падал вниз; лицо пациента было пронзительно освещено подвижной лампочкой. Через полчаса корень был вычищен и можно было надеть коронку.

Миша Котиков достал флакончик, зачерпнул немного жидкости стальным инструментиком, насыпал из двух флакончиков две кучки на толстое матовое стекло.

Он приготовлял пасту, и тут появились рифмы.

Но быстро сохнущая паста не позволяла ему на них сосредоточиться и требовала к себе внимания.

Михаил Петрович заполнил зуб пациента предохраняющим веществом, наполнил золотую коронку пастой и ловким движением надел ее на еле видные стенки зуба.

Стал держать двумя пальцами и смотреть в окно.

Теперь он на некоторое время свободен.

Котиков долго искал темы. «Нет для этого внешнего

толчка»,— вздохнул он. «Сейчас»,— сказал он и вынул руку. Заглянул в рот. Коронка сверкала, как плоскогорье из чистого золота.

Обрадовался Миша Котиков и опустил кресло с пациентом.

Миша Котиков в восторге подошел к окну.

— Вот что мне надо было: золотое плоскогорье, один момент есть для стихотворения.

— Следующий,— приоткрыл он дверь.

Вошла домашняя хозяйка и стала охать.

— Какой зуб у вас болит?

— Передний, сынок,— раздалось из глубины кресла.

— Запущен,— внезапно пробасил Миша Котиков.— Придется удалить. Что ж вы раньше не пришли?

— Денег не было, только вчера племянник из Китая возвратился.

— Из Китая? — удивился Миша Котиков.

Миша Котиков мыл руки. Только что ушел, не закрывая рта, молодой человек с серебряной пломбой. Миша Котиков достал афишу из кармана:

«Сегодня в 8 часов Академии Наук состоится лекция профессора Шмидта: «На островах Лиу-Киу».

— Черт знает, какое поразительное сочетание,— удивился Миша Котиков.— Вот то, что я ищу. Вроде пения соловья и мяуканья кошки. Вот бы в стихотворение вставить.

Он перетер инструменты, положил их в стеклянный шкафик на стеклянную полочку и отправился домой переодеться.

Он надел единственные шелковые розовые кальсоны и носки в полоску, постукал себя по молодой груди, подошел к зеркалу.

— Я джентльмен,— осмотрел он себя,— меня зовут, меня хотят, я должен идти.

Он перечел письмо Екатерины Ивановны.

— Ну да, я знаю женщин,— снисходительно улыбнулся он.

По пути разразился весенний ливень. Михаил Петрович принужден был скрыться в первый попавшийся подъезд. Там он встретился с Троицыным.

Троицын, сияя, перечитывал измокшую записку. Миша Котиков похлопал его по плечу.

— Меня преследуют женщины,— обратился Троицын к Мише Котикову,— просто я нарасхват.

— Должно быть, последствие войны,— объяснил Миша Котиков.— Мы, мужчины, теперь нарасхват.

Они, взяв друг друга под руку, прислонились к стене.

— Да, нас, мужчин, теперь мало,— растрогался Троицын.— А жаль, сколько прекрасных убито!

— А знаете, Александр Петрович считал женщин низшими существами,— высунулась на улицу голова Троицына.

— Как мне не знать этого! — выскочил на улицу Миша Котиков.— Слава Богу, я жизнь Александра Петровича подробно изучил.

Подставил руку под дождь.

Голова Троицына снова высунулась на улицу.

И вдруг, без перехода, молодые люди стали хвалить стихи друг друга. Причем Троицын хвалил неумеренно, Миша Котиков — умеренно.

— В ваших стихах дышит Африка,— говорил Троицын.

— Ну и ваши стихи прелестны,— отвечал снисходительно Котиков.— Они красивы,— как бы размышляя, продолжал он.

Дождь, хотя и мелкий, шел. Миша Котиков снова вошел в парадную. Но несмотря на то, что голова Троицына и фигура Миши Котикова пробыли под дождем недолго, их заметил стоящий в соседнем подъезде член коллегии правозаступников, выучивший некогда Петискуса наизусть и до сих пор писавший мифологические стихи. Он поправил воротничок и галстух, взял палку под мышку и перебежал в парадную, где укрывались настоящие поэты. Подобострастно он подошел к ним.

— Ах,— сказал он,— как мы давно не встречались! Я занят совершенно никчемными делами. Сегодня я защищал своего управдома. Почитаемте стихи, пока идет дождь.

Все трое стали, поочередно, читать стихи.

Троицын подвывал восторженно.

Михаил Петрович читал голосом Александра Петровича.

Правозаступник — с ораторскими жестами.

Дождь перестал. Проглянуло солнце. Поэты отправились в ближайшую пивную. Там завязалась жаркая беседа.

— Вы ведь читали, если не ошибаюсь, свои старые стихи? — заметил член коллегии правозаступников Троицыну.

— Я моих новых стихов никому не читаю,— обиделся Троицын.— Не поймет моих новых стихов современность. Я теперь сам для себя пишу стихи. Одни стихи для себя и для потомков, настоящие, романтические стихи, другие — для современников.

— Я вижу,— гордо заметил Миша Котиков,— что только я пишу новые стихи и читаю их всем, кому угодно.

Он с удовлетворением посмотрел на лысеющие головы своих приятелей. Затем он сказал, что спешит, извинился, уплатил за пиво и вышел.

Троицын взял правозаступника под руку, они сели в трамвай, решив продолжать свою беседу в более романтической обстановке.

На Островах уже цвели подснежники и мать-мачеха.

— Да,— говорил Троицын, идя по дорожке вдоль моря.— В ваших стихах есть неровность, свойственная молодости.

— Позвольте,— перебил юрист,— я совсем не молодой, мы с вами вместе начали литературную карьеру.

— Я не в том смысле,— поправился Троицын.— Я хотел сказать, что у вас малая техника.

— И с этим я не согласен,— возразил юрист.

Но тут Троицын увидел барышень, сидящих на зеленой скамейке. Барышни подталкивали друг друга плечами и пересмеивались.

— Славные девочки,— остановился юрист.

— Я сам думаю о том же,— склонился Троицын.

Они подсели с разных сторон. Юрист снял черную перчатку и обмахнул сапог.

Троицын спросил:

— А как вы относитесь к театру Мейерхольда?

Все ближе и ближе подвигались лысеющие молодые люди к барышням. Девушки заливались смехом.

Троицын, как бы случайно, поцеловал плечо своей соседки.

Юрист, как бы невзначай, подставил свой сапог под туфельки барышни.

Уже, болтая ногами и приготовляя анекдот, шел правозаступник, уже, изогнувшись, шел Троицын, уходили попарно по траве молодые люди. На Стрелке по-

явился Тептелкин с Марьей Петровной, они шли медленно и важно.

Тептелкин сел на скамейку. Марья Петровна подошла к морю, стала петь арию из оперы «Руслан и Людмила».

Тептелкин сидел в задумчивости и считал воробьев.

— Марья Петровна,— обратился он к ней, когда она кончила петь,— где у нас бутерброды?

Глава XXXI

МАТЕРИАЛЫ

Уже давно Миша Котиков подумывал о том, чтобы отправить собранные им материалы в Тихое Убежище, но сегодня, вернувшись от Екатерины Ивановны, решил окончательно.

До глубокой ночи он в хронологическом порядке складывал карточки и перевязывал их бечевками. На обратных сторонах карточек были пейзажи с избами и гармонистами и девушками и части географических карт. Лицевые стороны карточек были разлинованы и заполнены почерком Заэвфратского, усвоенным Михаилом Петровичем.

Когда все было перевязано, остались дублеты, Михаил Петрович придвинул лампу и на фоне пакетов перечел:

1908 г. Мая 15-го. Среда. В 3 часа дня. Александр Петрович обедал в Европейской гостинице. В 5 часов дня из Европейской гостиницы Александр Петрович отправился в Гостиный двор с Евгенией Семеновной Слепцовой (балерина). Купил ей лайковые перчатки, кольцо с сапфиром.

Сейчас (1925 г. 5 января 6 ч. дня) Слепцова — хорошо сохранившаяся брюнетка. Груди у нее небольшие, плечи шире бедер, ноги, как у всех балетных, мускулистые. По собранным сведениям, в свое время она была удивительна. Из ее слов я мог заключить, что А. П. отличался необыкновенной мужской силой. Из ее слов я также мог заключить, что из Гостиного двора А. П. поехал к ней.

1912 г. Апрель 12, пятница. С 8-ми до 10-ти часов вечера А. П. читал лекцию в своем Особняке. Точно установить тему лекции не удалось, не то о Леконте де Лиле, не то об аббате де Лиле. После лекции лакей подошел к А. П. Гюнтер и доложил, что А. П. просит ее пожаловать в кабинет, по поводу ее стихов об Индии.

Удалось установить, что небольшой столик красного дерева был сервирован, что пили шампанское, что А. П. рассказывал, как он путешествовал по Индии.

P. S. Гюнтер маленькая блондиночка. Сейчас (1926 г. февраль 15) преждевременно состарившаяся. Теперь она не пишет стихов. Вспоминает об А. П. с благодарностью, как о первом наставнике. Говорит, что это был самый интересный мужчина.

1917 г. Зима. Вечером, перед отъездом (куда — неизвестно), час неизвестен. Связь с маникюршей Александрой Леонтьевной Птичкиной. Птичкина говорит, что она никаких подробностей не помнит. Глупая, необразованная натура. Говорит, что А. П. был как все мужчины.

Но тут Михаил Петрович посмотрел на часы:

— Какое весеннее утро. Подумать только, что я вызываю из небытия жизнь Александра Петровича.

Утром, перед уходом в лечебницу, еще не совсем одетый, Михаил Петрович сел. Стал творить почерком Заэвфратского стихи об Индии. В них была и безукоризненная парнасская рифма, и экзотические слова (Лиу-Киу), и многоблещущие географические названия и джунгли, и золотое, отражающее солнце плоскогорие, и весеннее празднество в Бенаресе, и леопарды, и тамплиеры Азии, и голод, и чума.

Стихи были металлические.

Голос был металлический.

Ни одного ассонанса, никакой метафизики, никакой символики.

Все в них было, только Михаила Петровича в них не было.

Если б их, в свое время, написал Александр Петрович, то одни бы нашли, что это стихи замечательные, что в них проявляется стремление культурного человека в экзотические страны, от повседневной серости, от

фабрик, заводов, библиотек, в загадочную, разнообразную жизнь, другие, что в Александре Петровиче жил дух открывателей, что в старые времена он был бы великим путешественником и, кто знает, может быть, вторым Колумбом. А третьи бы говорили, что в стихах проявилась наконец совершенно ясно полная чуждость Александра Петровича традициям русской литературы и что, собственно, это не русские стихи, а французские, что они находятся по ту сторону русской поэзии.

Окончив стихотворение, устремил глаза Миша Котиков на портрет Заэвфратского.

Заэвфратский был изображен на фоне гор между кактусов.

«Крепкий старик»,— подумал он.

Михаил Петрович вспомнил, что пора идти, что его ждут, что, должно быть, скопилось много больных, что опять придется запускать пальцы в раскрытые рты и ощупывать десны.

Михаил Петрович взял палку, за ним щелкнул американский замок.

По лестнице поднималась девушка, остановилась на площадке, прочла на металлической дощечке «Зубной врач Михаил Петрович Котиков. Прием с 3—6 ч.». Позвонила.

Весенний вечер. Ни малейшего ветерка. Дым из труб поднимается к небесным красноватым барашкам и незаметно растворяется.

Внизу выходит Михаил Петрович из частной лечебницы и, остановившись, любуется на небо.

Ему хочется погулять.

Затем он вспоминает, что сегодня условился встретиться с Екатериной Ивановной. Он садится в трамвай; на Театральной площади он выходит и направляется к Новой Голландии.

Дойдя до крайнего пункта набережной, он садится на скамью, смотрит на уголок моря.

Там виднеется здание Горного института.

Сегодня он выбрал это место для встречи.

Часто молодой зубной врач мечтал здесь о далеких морях, о безграничных океанах. В течение шести лет ему являлся корабль, огромный, европейский корабль. На нем он и видел себя отъезжающим.

Но теперь, когда материалы собраны и отправлены, когда он чувствует себя заурядным врачом, он понимает, что он никуда не уедет, что он никогда не пойдет по

пути Александра Петровича, что только в зоологическом саду его ждет экзотика: облезлый лев, прохаживающийся за решеткой.

Или цирк, где беззубые звери делают то, что они никогда не делают на родине.

Мечта о путешествиях догорела и погасла.

Вчера он получил бронзовую настольную медаль от Тихого Убежища. Вот и все воздаяние за шестилетние труды! А стихи его разве печатают! Все только смеются. Правда, он член Союза поэтов, но какие же там поэты! Как только начнешь читать стихи, говорят — это не вы, а Александр Петрович.

Но он женится на Екатерине Ивановне. Правда, она глупа, но ведь Александр Петрович на ней женился в свое время,— значит, и он, Михаил Петрович, должен на ней жениться.

Уже несколько минут стояла Екатерина Ивановна и смотрела на юный затылок Миши Котикова. Шляпу он держал на коленях. Затем подскочила, закрыла ему глаза руками и села рядом.

— О чем вы мечтаете здесь, Михаил Петрович? — спросила она, отнимая руки.— Я получила письмо. Я согласна.

Миша Котиков смотрел на море.

— Я вас давно люблю,— продолжала Екатерина Ивановна,— но вы только за последние два месяца стали опять появляться.

— Дорогая Екатерина Ивановна,— как бы пробуждаясь, встал Миша Котиков.— Согласны? — грассируя спросил он.— Теперь начнутся мои обывательские дни! — вздохнул он.— Но вы свяжете меня с моим прошлым, с романтическим периодом моей жизни.

Екатерина Ивановна сидела рядом с Мишей Котиковым и теребила сумочку. В сумочке был батистовый платок, зеркальце и пудра в маленькой папочной коробочке, и карманный карандаш для губ. Она достала зеркальце, поднесла карандаш к неаккуратно окрашенным губам.

«Ей за тридцать лет»,— повернулся Миша Котиков.

— Я считал вас глупой,— сказал он, улыбаясь.— Но за последние годы я столько знал женщин.

— Во мне есть детскость,— засмеялось личико Екатерины Ивановны.— А детскость мужчин привлекает. Я совсем не глупая, я рада, что вы это поняли.

Миша Котиков, склонившись, поцеловал ее в лоб.

— Так, значит,— спросил Миша Котиков,— решено?

— Решено,— ответила Екатерина Ивановна.

Через час в другой части города они поднимались по мраморной лестнице Тихого Убежища.

— Здесь,— повернулся Миша Котиков,— хранятся собранные мной материалы о жизни Александра Петровича, мои записи и дневники.

Тоненький старичок сверху, увидев поднимавшихся по лестнице, стал спускаться.

— Ах, какое вы нам всем доставили удовольствие! — поздоровавшись с Екатериной Ивановной, затряс он руку Михаилу Петровичу.— Ваши материалы о жизни Александра Петровича удивительны, но в них есть какая-то странность, но это ничего — это молодость. Как жаль, что во времена нашего солнца не существовал молодой человек, подобный вам. Как бы это было интересно — день за днем, час за часом проследить жизнь гения.

Старичок восторженно посмотрел на портрет.

Старичка позвали. Он исчез в покоях.

Заседание еще не началось. И Михаил Петрович с Екатериной Ивановной остановились в комнате, где хранилась библиотека великого писателя.

На площади перед домом было тихо. Направо пахло молодыми почками, налево — догнивали гипсовые императорские бюсты, свезенные из окружающих учреждений.

С Невы, как человек, дул ветер. Там гуляли. Гуляли у университета, и у Биржи Томона, и у Этнографического музея, и заслоненного домами Адмиралтейства, и у всадника, воздвигнутого Екатериной II.

Екатерина Ивановна и Миша Котиков подошли к окну.

— Как я рада, теперь мы всегда будем говорить об Александре Петровиче,— пробудилась Екатерина Ивановна, облокачиваясь на спинку кресла.— Не правда ли, этот костюм ко мне идет? — И понюхала букетик фиалок.

Бородатые сотрудники Тихого Убежища суетились. Они как муравьи оберегали Тихое Убежище, пополняли

его, смахивали пыль, с достоинством показывали приходящим, благоговели перед каждым, кто оказывал какое-либо покровительство или услугу Тихому Убежищу. Здесь возносились хвалы кульминационному пункту поэзии, недостижимому в последующие времена.

За Агафоновым шли влюбленные пары, в различных направлениях, и улыбались, и возвращались, и стояли над Невой, и опять ходили, и опять возвращались. Они улыбались и солнцу, догоравшему на воде, и последним воробьям, скакавшим по мостовой, выклевывавшим овес и победно его поднимавшим.

Агафонов, не чувствуя себя, сел на гранитную скамью, вынул листок и карандаш и стал сочетать, как некогда, первые приходившие ему в голову слова. Получилась первая строка. Он сидел над ней и ее осмыслял, затем стал удалять столкновение звуков, затем синтаксически упорядочивать и добавлять вторую строку. Снова, как коробочки, для него раскрывались слова. Он входил в каждую коробочку, в которой дна не оказывалось, и выходил на простор, и оказывался во храме сидящим на треножнике, одновременно и изрекающим, и записывающим, и упорядочивающим свои записи в стих.

Гордый, как бес, он вернулся на набережную. Пошел к Летнему саду.

«Я одарен познаниями,— снова думал он.— Я связан с Римом. Я знаю будущее. Меня часто вообще нет, часто я сливаюсь со всей природой, а затем выступаю в качестве человека».

Гордо, и даже слегка нахально, он прошелся по главной аллее Летнего сада. Статуи смотрели на него со всех сторон. Они казались ему розовыми, с зелеными глазами, слегка окрашенными волосами.

Цветы на склонах пруда, гранитные вазы, Инженерный замок на мгновение привлекли его внимание, но он повернул обратно и на скамейке заметил философа, сидящего с полукитайским ребенком. На девочке было светленькое, полукоротенькое пальто и соломенная шляпка. На ногах носочки с цветной каемочкой. На философе было недорогое пальто и недорогая фетровая шляпа. Девочка сосала шоколадку. Философ читал какую-то книгу.

Агафонов медленно прошел мимо. Он боялся, что-

бы кто-нибудь не помешал ему, чтобы что-либо не прервало его состояния.

Там, где были некогда сады и бульвары, он чувствовал их и сейчас.

Весь день проходил он.

Наступившая белая ночь, дрожащая, похожая на испарение эфира, все более опьяняла его. Фигуры, достаточно отчетливые, шли по панели. Изредка проносились автомобили с нарядными существами. Затем все смолкло. В окнах некоторых ювелирных магазинов часы показывали точное время. О том, что это точное время, гласили горделивые надписи.

Он вошел в гостиницу.

Глава XXXII
ТРОИЦЫН

Шел Троицын, прослезился. Он очень любил Петербург. Для него некогда город был Сирином Райской Птицей, звал его город своими огнями.

Раньше Троицын чувствовал Петербург сказочным городом, русским городом. Чем же Успенский собор в Москве не русский, хотя строил его иностранец? Или св. Софии в Киеве? В Петербурге русские Манон Леско, дамы с камелиями выходили любоваться на Неву, на плывущие жемчуга.

Здесь сказки Перро и богемная жизнь с гитарами и балалайками. Здесь были маскарады с огнями, подобными яхонтам. Пусть теперь Троицын танцует на балах, пусть он читает на рассвете старые стихи свои подстриженным девушкам и дамам, пусть, подходя к зеркалу и гарцуя, он самодовольно улыбается, но, незаметно для всех, в нем умерла Сирин Птица.

Хотя барышня смеялась на балу над Троицыным, она на улице все же согласилась и пошла с ним. Не потому, что он поэт, и не потому, что ее бросил кто-либо, а потому, что — почему же не пойти.

У ней были как пакля волосы, вишневые губки и голубенькие глазки. На ее тощей фигурке болталось коротенькое платье с парчовой грудкой, а на мизинце бутылочным стеклом пустел хризолит.

Троицын не угощал барышень вином, он их не опаивал. Приведет в свою комнату, достанет шкатулку и начнет показывать всякие поэтические предметы. Так было и на этот раз, но все же в комнате было уютно. Во дворе белая ночь, тихая, тихая. По стенам снимки с Кремля, и Манон Леско, и гравюра блудного сына. А на постели сидя целует Троицын барышню, и сапоги его стоят у стула, рядом с туфельками барышни.

И заря осветит их головы рядом на подушке с открытыми ртами, тихо похрапывающих в разные стороны и держащих друг друга за руки. И может быть, во сне она увидит свою семейную жизнь, а он — поля, небольшую речку и себя гимназистом.

В эту ночь смотрел Агафонов из окна гостиницы на просторный проспект, на белую петербургскую ночь. Сел за столик, выпил пивца, положил листок и стал читать свои последние стихи вслух. А когда прочел, то ясно увидел, что стихи плохи, что юношеский расцвет его кончился, что с падением его мечты кончилась его жизнь. Он пососал, неизвестно для чего, дуло револьвера, отошел в уголок комнаты и выстрелил в висок.

Троицын спал в постели с барышней, когда Миша Котиков, бросив все дела, прибежал стучаться. Троицын в наскоро натянутых брючках вышел в прихожую.

— Ах, какое потрясающее происшествие! Сегодня ночью в гостинице Бристоль застрелился последний лирик.

И вдруг заплакал Троицын.

— Всех нас ждет такая же участь. Я ведь тоже последний лирик.

Забыв о барышне, он отправился вместе с Мишей Котиковым в гостиницу.

Поцеловали они покойника в лоб и заплакали, и, сморкаясь, незаметно стянул Троицын галстух и положил в карман, а Миша Котиков вынул из манжет голубенькие эмалированные запонки покойного и спрятал их в портсигар, и, спрятав, они переглянулись и почувствовали себя несколько удовлетворенными и успокоенными.

И тогда Троицын вспомнил о своей барышне и побежал домой и стал извиняться.

— Какое же это уважение,— сердилась барышня,— оставлять женщину одну?

Но когда узнала и увидела Троицына плачущим и рассматривающим галстух, то тоже заплакала.

Воскресный день. Утро.

— У меня экзотическая профессия,— говорит Миша Котиков, идя рядом с Екатериной Ивановной по шумящему парку.— Все время приходится возиться с золотом и серебром и даже с жидким серебром. Стоишь и видишь внизу перстень на пальце — изумруд какой-нибудь — и видишь какую-нибудь страну, где все увешано изумрудами,— танец живота возникает. Или придет молодой человек с бирюзой на мизинце, подбираешь ему по цвету зубы, а сам думаешь о Персии, о знойных движениях. Я моей мечтой создаю здесь Африку. Не правда ли, я сильный человек, Екатерина Ивановна?

— Только зачем же вы избрали эту профессию?

— Не я ее избрал, она меня выбрала,— покачал головой Миша Котиков.— Думал я сначала, что это все так, пустяки, временный заработок, вечерние курсы, а потом зубным врачом оказался.

— Мой брат вот сапожник, а какой он сапожник, когда он кавалергард.

И тихо, тихо по парку идут Миша Котиков и Екатерина Ивановна.

Дорожки Павловского парка тихи и безлюдны. Здесь Миша Котиков когда-то ездил на трехколесном высоком велосипеде.

— Мы, конечно, были угнетатели,— говорит он и чувствует, что распропагандирован.

И тихо, тихо идут они.

Полдень.

В оживившемся центре города вздыхает Троицын о великой любви Дон-Жуана, смотря на прибывшую весну во двор. Прыгают дети, обрадованные весной.

Он видит, как открываются форточки и высовываются сырые детские головы со слабыми волосиками, а затем скрываются. Ручки дверей шевелятся, появляются на нетвердых ногах дети.

День.

Над каналом, против Домпросвета ходит Костя Ротиков по аукционному залу и читает сонник. Две-три фигуры неторопливо прохаживаются и осматривают выставленные вещи.

Листья шумят за стеклом. Белесое небо постепенно темнеет.

Костя Ротиков взглянул на часы — пора закрывать.

Запоздавшие спускаются по лестнице.

Он сходит вниз.

Что-то говорит привратнице.

Он едет в трамвае и думает о том, что жизнь прекрасна, что, в общем, его работа не тяжела, что, в общем, даже интересно покупать дешево фарфор и картины, а затем выставлять их в аукционном зале, что случайно им купленная и перепроданная чашечка дает возможность жить.

Он входит в дом и осматривает вещи. Хозяйка, некогда присвоившая фарфор исчезнувших господ, выходит замуж, уезжает, все продает.

«Ну с этой стесняться нечего»,— думает Костя Ротиков и покупает несколько безделушек за бесценок.

Ему хочется рассмотреть свою покупку, нюх у него тонкий, он знает, что купил уважаемые всеми вещи. Кладбище недалеко, он расставляет там чашечки и фигурки на скамейке, садится на корточки. «Дорогой сакс»,— бормочет он.

Птицы заливаются на деревьях.

Он упаковывает. Принимается читать сонник.

Чудно опускает он книжечку на колени и поднимает глаза к птицам, тепло мещаночки поют.

Затем он начинает гулять и рассматривать надгробные памятники и читает эпитафии.

Перед одной он начинает прыгать и ржать.

Твоя любовь была ко мне безмерна,
Я ею наслаждался как супруг.

Вынимает книжечку и записывает.

Вечер..

Ковалев идет с молодой женой в оперетку.

Вчера он встретил Наташу. Наташа уезжала за границу на два месяца.

«Да,— подумал,— она устроилась».

По вечерам Миша Котиков рисовал — ведь рисовал в свое время Александр Петрович. Старался Миша Котиков брать те же краски, писать теми же тонами, по возможности теми же кистями. Они нашлись в комоде Екатерины Ивановны. Кроме того, он добывал заграничные краски у бывших любителей, детей богатых семейств, и по вечерам он сидел с кистью в руке перед мольбертом, а когда уставал рисовать, читал книжки, которые любил читать Заэвфратский. Вся жизнь для него была в образе Заэвфратского.

Чудный вечер.

Солнце садится.

Марья Петровна в избушке на примусе кипятит молоко.

Стрекочут кузнечики. Переливается озеро.

— Нет, хорошо в деревне летом.

Тептелкин с открытым воротом, широкогрудый, сидит в туфлях перед избушкой и чертит палочкой с рукояткой, украшенной обезьянами, на песке какие-то фигуры.

Глава XXXIII

МЕЖДУСЛОВИЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ АВТОРА

Я дописал свой роман, поднял остроконечную голову с глазами, полузакрытыми желтыми перепонками, посмотрел на свои уродливые от рождения руки: на правой руке три пальца, на левой — четыре.

Затем взял роман и поехал в Петергоф перечитывать его, размышлять, блуждать, чувствовать себя в обществе моих героев.

От вокзала Старого Петергофа я прошел к башне, присмотренной мной и описанной. Башни уже не было.

Во мне, под влиянием неблеклых цветов и травы, снова проснулась огромная птица, которую сознательно или бессознательно чувствовали мои герои. Я вижу своих героев стоящими вокруг меня в воздухе, я иду в сопровождении толпы в Новый Петергоф, сажусь у моря, и, в то время как мои герои стоят над морем в воздухе, пронизанные солнцем, я начинаю перелистывать рукопись и беседовать с ними.

Возвратившись в город, я хочу распасться, исчезнуть, и, остановившись у печки, я начинаю бросать в нее листы рукописи и поджигать их.

Жара.

Я медленно раздеваюсь, голый подхожу к столу, раскрываю окно, рассматриваю прохожих и город и начинаю писать. Я пишу и наблюдаю походку управдома, и как идет нэпманша, и как торопится вузовка. Забавляет меня то, что я сижу голый перед окном, и то, что на столе у меня стоит лавр с мизинец и кустик мирта. А между ними чернильница с пупырышками и книги, всякие завоевания Мексики и Перу, всякие грамматики.

«Я добр,— размышляю я,— я по-тептелкински прекраснодушен. Я обладаю тончайшим вкусом Кости Ротикова, концепцией неизвестного поэта, простоватостью Троицына. Я сделан из теста моих героев»,— и я тут же на столе принимаюсь варить шоколад на примусе — я сладкоежка.

В своей квартире из двух комнат я хожу весь день голый (аттические воспоминания) или в одной рубашке, туфли ношу монастырские, бархатные, тканные золотом.

Кончив варить и напившись, я перетираю книги и, перетирая, между прочим, читаю их, сегодня одну, завтра — другую. Сейчас десять строчек из одной, через несколько минут — несколько строчек из другой. Сейчас из политики по-французски, затем какое-нибудь стихотворение по-итальянски, потом отрывок из какого-нибудь путешествия по-испански, наконец какое-нибудь изречение или фрагмент по-латыни,— это я называю перебежкой из одной культуры в другую.

Я полагаю, что по всей Европе немало найдется таких чудаков. В общем, я доволен новой жизнью, я живу в героической стране, в героическое время, я с любопытством слежу за событиями в Китае.

Если Китай соединится с Индией и СССР, несдобровать старому миру, несдобровать.

Иногда я смотрю на свои уродливые пальцы и удовлетворенно смеюсь:

— Ведь вот, какая я уродина!

Руки мои всегда влажны, изо рта пахнет малиной. Ношу я толстовку, длинные немодные брюки, на пальце кольцо с бирюзой, люблю я это кольцо как безвкуси-

цу. Иногда я ношу модный костюм, желтые ботинки и часы с браслеткой.

Я люблю также пряники с сахарными, в коротеньких юбочках фигурами, реминисценции классического балета, у меня на письменном столе всегда лежит такой пряник с балериной рядом с чернильницей в пупырышках и какой-то голой женщиной, изображающей Венеру, у подножия ее стоит тарелочка с остатками танагрских статуэток. Тут же дремлет бутылка коньяку и наклоненный сверток с цветными мятными пряниками в виде рыбок, барашков, колец, коньков, которыми я заедаю коньяк.

Моя голая фигура, сидящая на стуле перед столом, пьющая коньяк и заедающая мятными пряниками, уморительна. В жизни я оптимистически настроен. Я полагаю, что писание — нечто вроде физиологического процесса, своеобразного очищения организма. Я не люблю того, что я пишу, потому что ясно вижу, что пишу с претензией, с метафорой, с поэтическим кокетством, чего бы не позволил себе настоящий писатель.

То, что моих произведений почти не печатают, меня нисколько не смущает. В прежние времена меня тоже бы не печатали.

Ведь вот возьмем Англию,— углубляюсь я в вопрос,— там настоящих писателей тоже не печатают, разве два-три друга издадут изящную книжечку в 200 экземпляров со всякими намеками на неизвестные тексты, да ее тоже никто не читает. Все заняты фокстротами и чтением эфемерных романов.

Я мог бы жить неплохо на средства, получаемые от разных профессий, если б не мое любопытство. Люблю я походить, посетить театры и зрелища, клубы, послушать музыку на концертах, поездить по окрестностям, профокстротировать, усадить девушку на диван, почитать ей свои отрывки, не потому, что считаю, что мои отрывки прекрасны, а потому, что считаю, что лучших произведений в городе не существует, и потому что мне кажется, что девушка в них ничего не поймет, потому что мне приятно быть непонятым, а затем отправиться с ней куда-нибудь, присоединиться вместе с ней к другой девушке, почитать им вместе мои отрывки.

На сон грядущий, каждый вечер, когда я бываю дома, я читаю или перечитываю какой-либо пасторальный роман в древнем французском переводе, ибо мне

иногда кажется, особенно по вечерам, что я мыслю не по-русски, а по-французски, хотя ни на одном языке, кроме русского, я не говорю, иногда я загибаю такую душевную изящность, такую развиваю тонкую философскую мысль, что сам себе удивляюсь.

Я это написал или не я? И вдруг подношу свою руку к губам и целую. Драгоценная у меня рука. Сам себя хвалю я. В кого я уродился, никто в моей семье талантлив не был.

Глава XXXIV
ПОРТФЕЛЬ

Еще зимой в определенный день, в определенный час состоялось собрание членов Жакта на квартире у железнодорожного служащего; в определенный час явился районный инструктор.

Тептелкин предчувствовал несчастье и не хотел идти. Но его так долго уговаривали интеллигентные жильцы дома, что он решил пожертвовать собой, пойти и на все согласиться.

Уже задолго до дня собрания население дома шушукалось по квартирам и под воротами. Тептелкина надо выбрать председателем, он культурный человек, он не вор.

До глубокой ночи затянулось собрание. Долго Тептелкин отказывался, охваченный тоской. Наконец портфели были распределены. Портфель председателя был вручен Тептелкину, затем перешли к пожеланиям. Все пожелали, чтоб при доме был устроен красный уголок, и стали спорить о квартире, где он должен быть устроен. Выделить ли комнату рядом с дворницкой или устроить в одной из коммунальных квартир. Не могли доспориться и занесли в протокол как пожелание. Все время районный инструктор, бывший военмор, разъяснял, пояснял и был доволен. Он был доволен, что его слушают и ему доверяют, и жильцы дома были довольны, что их слушают и им доверяют. Ушел инструктор в самом лучшем настроении, и жильцы расходились в самом лучшем настроении. Они спускались по лестнице. Впереди шел официант, новый секретарь правления; за ним члены новой ревизионной комиссии — швейцар при одной иностранной фирме, счетовод

и доктор. Позади них шел народ, позади народа Марья Петровна и поправляющий пенсне Тептелкин. Во дворе все стали прощаться друг с другом: некоторые целовали ручки дамам, другие пожимали, третьи, приподняв шляпу, спешили. Вокруг кричали кошки, а сверху небольшая луна освещала широкий двор.

Еще в последних числах июня, сидя в садике, устроенном им вместе с Марьей Петровной, Тептелкин чувствовал, что вся всемирная история не что иное, как его история. Садик был прекрасен. Он занимал небольшое пространство во дворе у красной кирпичной стены и был создан руками супругов. В прошлом году весной подрезали деревья недалеко от зоологического сада, и, увидев это, Марья Петровна вспомнила, что если ветви, только что срезанные, посадить, то они пустят корни.

Вместе с Тептелкиным она взяла две большие ветви, Тептелкин был уже председателем домового управления. Ветви принялись. Супруги соорудили небольшой забор из деревянных перекладин, сами его покрасили масляной краской в зеленый цвет, утоптали малюсенькие дорожки, разрыхлили землю и обложили ее дерном. Для этого они специально ездили за город. Поставили столик и скамейку, посадили незабудки, анютины глазки, устроили даже миниатюрный газон. Один ключ от садика находился у Тептелкина, другой у управдома или дворника, чтобы жильцы, когда пожелают, могли посидеть в садике. Но тихие жильцы того дома, уважая чужой труд или, может быть, презирая такой малюсенький садик, более похожий на террариум, никогда не входили в него.

Марья Петровна с лейкой каждое утро спускалась и поливала цветы, Тептелкин вечерком сидел в нем без шляпы, иногда они даже обедали в нем. Тогда Тептелкин сидел за столиком, накрытым белой скатертью, а Марья Петровна спешила сверху по лестнице с дымящейся миской, и играющие во дворе дети с любопытством смотрели. Теперь Тептелкин уже совсем умиротворился и прогуливался по садику, если можно так выразиться,— собственно, он мог в нем еле-еле повернуться.

Так наступила самая страшная ночь для Тептелкина, когда он почувствовал, что культура, которую он защищал, была не его, что он не принадлежал к этой культуре, что он не принадлежал к миру светлых духов,

к которым он причислял себя до сих пор, что ничего ему не дано сделать в мире, что пройдет он как тень и не оставит по себе никакой памяти или оставит самую дурную. Что все конторщики так же чувствуют мир, лишь различно варьируя, что нет бездны меж ним и бухгалтером, что все они, в общем, говорят о культуре, к которой они не принадлежат. И на каком-нибудь концерте заезжего дирижера нечто мутное струилось по щекам Тептелкина, но не от музыки он плакал. Хотел бы он навсегда остаться юношей и смотреть на мир в удивленье. И когда казалось ему, что нет разницы между ним и скулящим обывателем, тогда он делался сам себе противен и, тогда тошнило его, и он беспричинно злился на Марью Петровну и даже иногда бил тарелки.

Марья Петровна страшно заботилась о Тептелкине. Она следила, чтобы он вел только нужные знакомства.

— Мы ведем только нужные знакомства,— иногда говорила она.— Ведь ненужные — не нужны. Не правда ли?

И Тептелкин, помолчав, отвечал обычно, шевельнув губами:

— Да, ненужное — не нужно, конечно.

И хотя почти не верил в загробное существование Тептелкин, сон Сципиона был для него пленителен; музыка пела и рвалась и падала каскадами, и хотя он чувствовал, что его любовь к Возрождению смешна и необоснованна, он никак не мог расстаться, порвать с широтой горизонта.

Спешит лысый в книжный магазин, как за водой живой.

— Не правда ли, Марья Петровна, мы не можем жить без Цицерона,— говорит он и греет ноги у кафельной печки. А огонь трещит, трещит.

Когда уходила в гости Марья Петровна, Тептелкин страшно волновался: а вдруг она под трамвай попадет. А вдруг она почему-либо раньше из гостей уйдет и на нее нападут грабители. Ведь у нее сердце слабое, очень слабое.

Не только по вечерам, но и днем волновался Тептелкин. Стоит у окна, стоит и ждет. Иногда даже доставал старенький бинокль из высокого черного комода и смотрел из окна вниз на улицу, даже толпу глазами прощупывал, не идет ли за толпой Марья Петровна. Все беспокоится. Видит, Марья Пет-

ровна торопится, а у ней какой-нибудь сверток под мышкой.

И вот на лестнице уже слышны шаги, топ, топ, и газета в руках, плохая, конечно, газета, с ругательствами, да и везде вообще теперь на свете плохие газеты. И начнет Тептелкин газету читать, и взгрустнется ему, что в Мексике, когда генерала вешали, военный оркестр играл, а другие генералы и народ мороженое кушали. И не потому только, что генерала вешали, а потому что вешанье сопровождалось музыкой, гуляньем народным и едой мороженого. Или еще прочтет, что Авиахим организует антимушиную кампанию, и поразится бедности человеческих дел. Или что завтра открывается трехдневная выставка и конкурс пения кенарей, или что в какой-то провинциальный кооператив привезли вуаль к зимнему сезону вместо мануфактуры. Забудет Тептелкин, что вся жизнь его сплошная неурядица, беспокойство и метанье, погрузится в вечный вопрос о соотношении великого и малого, но уже готов обед, скромный обед, и уже в кастрюле суп подается, и уже Марья Петровна хлопочет, и суповую ложку опускает, и тарелки перетирает. Садится и спрашивает: «Вкусно?» — и дует на ложку и улыбается.

— Корешки-то я поджарила,— говорит она, — смотри, какой цвет у бульона!

Но сегодня обед был великолепен. На второе была уточка с брусничным вареньем, а на третье — печеные яблоки. А после обеда встала Марья Петровна и говорит:

— Что я для тебя достала! Иду по рынку и вижу — книжечка «Поль и Виргиния» с гравюрами.

И садятся они рядом, пьют чай и рассматривают гравюры.

Первое детство. Сидят две матери с грудными младенцами, между двух хижин. Верная собака лежит у колыбели, а вдали пальмы и горы.

Второе детство. Маленькие дети идут под дождем, накрывшись юбкой, а к ним спешит молодой человек, босой, элегантный, в широкополой шляпе.

Вот плантатор бьет раба палками, а Поль и Виргиния умоляют не бить.

И вспоминает Тептелкин статью добряка Маколея о неграх, еще в детстве прочитанную. И чувствует он,

что в прошлом у него были высокие порывы, и возвышенное празднество духа, и стремление к чему-то донельзя прекрасному; и опять идут картинки.

Тептелкин сидел в своем кабинете-садике. Небо ли слишком ясное, или Марья Петровна, выпустившая из дровяного сарая коз погулять во двор, или иное какое-либо явление, или какой-либо разговор, бывший у него с Марьей Петровной, до ее появления во дворе, но только Тептелкин сидел в своем кабинете-садике, опустив книгу, и не мог сосредоточиться. Трудно сказать, думал ли в этот момент Тептелкин. Если б его в этот момент спросили, то он не сразу бы ответил, а подумал бы, о чем, собственно, он думает, и с горечью должен был бы констатировать, что ни о чем он не думает. Ассоциации сменялись ассоциациями, то солнце ему напоминало арбуз, то цветы на кофточке Марьи Петровны напоминали ему пароход, то козел, бодавший кирпичную стену, вызывал в нем неотчетливое представление о другом козле. И Тептелкин время от времени вставал со скамеечки, опирался на забор, поводил носом и шевелил губами:

— Я нечто предчувствую.

И с сознанием собственного достоинства, многозначительно смотрел на проходивших мимо садика. И Марья Петровна, обняв козла, бежала с козлом по двору к садику, и Тептелкин, несколько отойдя от своих возвышенных переживаний и от растворения в природе, от поглощения космосом, выходил из садика и, перекинувшись двумя-тремя словами с Марьей Петровной, выходил за ворота на улицу.

Выйдя из подобного состояния, ощущал Тептелкин сладчайшую прелесть мира. Ему казалось, что и солнце светит ярче, да и все в мире более ярко, да и он сам человек возвышенный, достойный во всех отношениях. И тогда сострадание к живым существам охватывало его, и он прощал недостатки всем другим, и безграничная любовь его к Марье Петровне пылала, и он говорил: «Марья Петровна, не пойти ли нам поискать игрушек!» И тогда важно он шел по улице с Марьей Петровной, подходили они к витринам игрушечных магазинов, и, остановившись, Марья Петровна прикладывала носик к стеклу, и входили они в магазин.

— Вам для какого возраста? — спрашивал приказчик.

— Нам нужны художественные игрушки,— отвечал Тептелкин.

И, склонившись над прилавком, Марья Петровна и Тептелкин начинали выбирать игрушки.

— А нет ли деревянной птички? — спрашивала Марья Петровна.— Или деревянного льва с условной гривой?

— А что ж я не вижу у вас матрешек? — перебивал Тептелкин.

И принеся игрушки домой, супруги сообща любовались ими.

Но иногда Тептелкин, сидя в садике, замечал, что Марья Петровна стареет, что у нее уже не такой чистый цвет лица, что ей совсем не хочется гулять. Что она говорит: «Ты уж один пройдись, подыши чистым воздухом, а я тем временем обед для тебя приготовлю. Хочешь, раковый суп я для тебя приготовлю?»

И тогда Тептелкин привлекал к себе Марью Петровну и, приложив нос к носу, смотрел в ее глаза, и Марья Петровна, молоденькая, совсем молоденькая, шла по парку, как Диана, совсем как Диана.

Глава XXXV

СМЕРТЬ МАРЬИ ПЕТРОВНЫ

Марья Петровна вышла из дверей огромного, изнутри освещенного люстрами, лампадами и свечами здания, похожего не то на перечницу, не то на письменный прибор, расстегнула жакетку и вынула сплющенный китайский фонарик, расправила его, встала между колонн и, защищая огонь от ветра, вставила свечку в фонарик.

Часть толпы направилась к проспекту 25-го Октября, часть пошла по проспекту Майорова. Некоторые, в том числе Марья Петровна и Тептелкин, направились по Галерной к мосту лейтенанта Шмидта. Высохшие от морозца улицы отражали звездное небо, с крышки чернильницы доносился колокольный звон, дрожащие огни свечечек освещали лица, руки, улицы, улички и переулки, и Марье Петровне, утратившей религиозное

чувство, казалось, что она участвует в карнавальном шествии. Не будучи уже христианкой, она любила церковь за обряды, как архаический театр и условное представление. По тем же соображениям она предпочитала церковь Тихона Живой церкви. Она считала, что возвышенное представление требует особого языка и некоторой непонятности, в то время как Живая церковь, не поняв этого, стремилась к опрощенству, тем самым уничтожая психическую рамку, низводила высокое действие на степень быта. В искусстве должен быть момент иррационального. Так думала Марья Петровна, идя со своим мужем по мосту лейтенанта Шмидта и держа фонарик, как участница возвышенного театрального действа.

Тептелкин тоже нес зажженную свечку в картузе из вчерашней вечерней «Красной газеты». И, расплываясь в мечтах, уносился в свое детство. Он видел себя в гигиенической комнате, окрашенной масляной краской, икону св. Пантелеймона с малиновой многогранной лампадкой. Охраняя огонек, свернул Тептелкин на 1-ю линию Васильевского острова, а Марья Петровна, смотря в фонарик и приняв чужую спину за спину своего мужа, свернула в другую сторону. И вдруг почувствовала, что кричать надо. Изнутри тянуло, качало, вокруг было жарко, веки не размыкались, и, удерживая тошноту, услышала голоса:

— Топай в аптечку, доложи штурману — человек за бортом был.

И в отдалении другой голос:

— Только что вошел по трапу на палубу, слышу крик што ли, смотрю — человек за бортом, я сиганул в воду, зюдвестку побоку, дождевик тож, а вода-то, мать честна, холодна. Насилу выбрался, груз-то велик, может, она и мало весит, да знатна, судорога прихватила.

— Сидим мы, это самое, скучаем, как бы бутылочку раздавить одну, другую. Сережка бултыхается, смотрю и думаю — тащить надо. Смотрю, за волосы бабу волокет, рыбу-кит тащит. Ой, пожива, думаю, во Христово Воскресение; саданул стаканчик водки, пыхтеть начал, зарумянился, поди, что святое крещение принял, иорданское.

Марья Петровна приподняла тяжелую голову и обвела глазами. Два человека, баня, остальные в дверях, в полосатых тельняшках, иллюминатор сверху втягивает

воздух, какой-то человек фонарь идет заправить на корму.

— Вишь, гляделки открыла, отдрай иллюминатор; вирай ее на воздух.

Закутали они Марью Петровну. Матросы хотели проводить ее, но она пошла одна. И, уходя, слышала:

— Кипяточку наладили, в камбузе чайку подзаварили, напоили бабаньку, отойдет чего, бывают в жизни огорченья, похрипит, покашляет, воспрянет.

Тептелкин между тем то бегал по улице, то забегал домой. Марьи Петровны все не было. Он уж раз пятнадцать сбегал к Исаакиевскому собору, уж много раз стоял то на одном конце моста лейтенанта Шмидта, то на другом, иногда останавливался у двух сфинксов, смотрел на черную полоску воды между берегом и льдом, предчувствие сжимало его сердце.

«Боже мой, где же она? Где же?» — плакала его душа.

И скакал он и торопился по снегу, и когда совсем рассвело, в двадцатый раз побежал он по лестнице к своим дверям, увидел: Марья Петровна с повязкой на голове сидит на ступеньке и дрожит в лихорадке. У ней не было цветного фонарика в руках и лицо было страшно бледное, а на голове странно сидела шляпа.

— Деточка,— вскричал он,— что с тобой? — и обхватил за плечи, ввел в квартиру.

Марья Петровна разрыдалась.

Градусник торчал из-под мышки, Марья Петровна лежала на постели. Тептелкин, грустный и сосредоточенный, ходил по комнате. Небритое лицо его дрожало.

«Как быстро уходит семейное счастье,— думал он,— какой-нибудь пустяк, случай, может разрушить его». Ему жалко было, что вот молодая жизнь уходит так бесцельно.

— Марья Петровна,— садился он на стул и брал ручку Марьи Петровны.

— Сокровище мое,— раскрывала глаза Марья Петровна, — милое сокровище мое, ухожу я от тебя.— И что совсем странно было — она действительно ушла.

Это сопровождалось странными явлениями. Она просила, чтоб Тептелкин на руках носил ее по комнате. Он подносил ее к каждой вещи, и она, одной рукой обняв его за шею, другой ощупывала предметы, ножечки для разрезания книг, книжечки, спинки стульев, цветы на окошке, занавеску, пепельницу с цветочками, затем она требовала, чтобы он вращал ее, ей не хватало воздуха. Тептелкин был бледен; он исполнял ее требования, вращал ее и вращался сам. Напротив из двух труб, прикрепленных к балкону, неслась радиогазета, что было затем, Тептелкин потом никак вспомнить не мог, потому что он заметил, что Марья Петровна успокаивается. Он осторожно уложил ее в постель, и сел рядом, и стал смотреть на скляночки, на абажур лампы, на освещенное личико, заметил, что пыль осела на скляночках, и стал перетирать скляночки, лампу со всех сторон окружил бумагой, оставил только узенькую щель, чтобы свет падал в сторону. Поцеловал Марью Петровну в лоб и сел на подоконнике. И стал смотреть на свой садик во дворе, покрытый хлопьями снега. В дремоте ужасало Тептелкина то, что все говорят о гниении, а никто не говорит о возрождении. Ночью он поднялся со стула, сел на подоконник. Вселенная, чуткий сад, где бродят Данте и Беатриче, не является ли некая жена путеводной звездой для человека, и не открываем ли мы своей жене некий образ, явившийся нам в детстве, удивительно гармонический? Еще размышлял Тептелкин, что жизнь супругов была бы невозможна, и на цыпочках, огромный и печальный, прошел он в соседнюю комнату и стал читать свою рукопись. И начало его мучить несоответствие его фигуры идеальному образу, худоба мучила его — по его мнению, она мешала ему стать героическим.

«Что бы было,— думал он,— если б у меня были мускулы, и если б затем у меня было аскетическое лицо, и если б я носил вериги.— И, освещенный луной, Тептелкин возвел горе очи, и еще большая печаль овладела им.— Что бы было,— подумал он,— если б моя фамилия была бы не Тептелкин, а совсем иная. Два слога «теп-тел» несомненная ономатопея, слово «кин» могло бы быть зловещим вроде «кинг», но этому мешает консонантная «л», а если б здесь было слоговое «л», то получилось бы Тептеолкин, это было бы страшно заунывно. Господи,— выпрямился Тептелкин, опуская

книжечку.— Никто не думал о Возрождении, только я. За что же такая мука!» И опять он провалился в реальность.

Он вспомнил, что та ночь была донельзя тихая, что, ища Марью Петровну, он оказался у сфинксов, что феерические чудовища напоминали ему другие ночи — египетские, даже тогда. И положив книгу, он вошел в соседнюю комнату. Марьи Петровны не было в постели. Он огляделся. Марья Петровна без посторонней помощи двигалась ощупью по комнате и садилась на все, на чем посидеть можно. Она садилась и на стулья, и на стол, и на подоконник, и на сундучок, прикрытый зеленой плюшевой скатертью.

— Марья Петровна,— бросился к ней Тептелкин.— Не покидай.

Заплакала и закашлялась Марья Петровна в его руках. И чувствовал Тептелкин, как она хрипит все тише и тише, и почувствовал он, что в руках у него тяжелое и еще чуть теплое тело. И, не удержавшись, сел на стул, но не выдержал стул тройной тяжести, и сел он (Тептелкин) на пол.

Уже розовый румянец играл на щеках того, что было Марьей Петровной, а руки бессильно болтались и остановившиеся глаза смотрели в потолок, а нижняя челюсть отвисала, и белое лицо Тептелкина смотрело в окошко. Как корнет Ковалев, почувствовал он, что действительно мир ужасен и что он один, совершенно один в нем.

Когда поздно ночью, как обычно, пришел доктор, он нашел розовую покойницу в белом платье на постели и Тептелкина с шляпой и с чемоданом в руках.

Когда шел в предрассветной тоске Тептелкин, ему улыбнулся голубь, белая птица с подпалинами повернула шейку и посмотрела круглым глазом на него.

— Ах ты мой голубь,— остановился Тептелкин,— мой милый голубь,— и пошел за голубем, и голубь, важно ступая, шел по мостовой, и Тептелкин следовал за ним,— вот вы вернулись опять сюда, мирные птицы. А я другой уже, совсем другой человек. Нет больше того, кто думал озарить любовью город, другой среди вас стоит, милые птицы.

И голуби, полагая, что он сейчас начнет кормить их, слетали с карнизов, и собирались стайками, и друг с другом беседовали.

И освещенный солнцем Казанский собор, и небольшой скверик с одинокими фигурами, слегка озябшими, и еще сырые от росы скамейки звали Тептелкина растянуться и, подложив руки под голову, вздремнуть среди прохаживающихся птиц. И небо, сладчайшее петербургское небо, бледненькое, голубенькое, слабенькое, куполом опускалось над Тептелкиным, забывшим и то, что он уж лыс, и то, что он уж совсем одинок.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Автор все время пытался спасти Тептелкина, но спасти Тептелкина ему не удалось. Совсем не в бедности после отречения жил Тептелкин. Совсем не малое место занял он в жизни, никогда его не охватывало сомненье в самом себе, никогда Тептелкин не думал, что он не принадлежит к высокой культуре, не себя, а свою мечту счел он ложью.

Совсем не бедным клубным работником стал Тептелкин, а видным, но глупым чиновником. И никакого садика во дворе не разводил Тептелкин, а, напротив,— он кричал на бедных чиновников и был страшно речист и горд достигнутым положением.

Но пора опустить занавес. Кончилось представление. Смутно и тихо на сцене. Где обещанная любовь, где обещанный героизм? Где обещанное искусство?

И печальный трехпалый автор выходит со своими героями на сцену и раскланивается.

— Смотри, Митька, какие уроды,— говорит зритель, — ну и ну, экий прохвост, какую похабщину загнул.

— Ах ты ужас какой, неужели все такие люди? Знаете, Иван Матвеевич, в вас есть нечто тептелкинское.

— Уж я разделаюсь завтра с ним. Уж я подведу под него мину. Уж я...

Автор машет рукой,— типографщики начинают набирать книгу.

— Спасибо, спасибо,— целуется автор с актерами.

Снимает перчатки, разгримировывается. Актеры и актрисы выпрямляются и тут же на сцене стирают грим.

И автор со своими актерами едет в дешевый кабачок. Там они пируют среди бутылок и опустошаемых стаканов. Автор обсуждает со своими актерами план новой пьесы, и они спорят и горячатся и произносят тосты за высокое искусство, не боящееся позора, преступления и духовной смерти.

Уже наборщики набрали половину «Козлиной песни» и автор со своими настоящими друзьями выходит из кабачка в прелестную петербургскую весеннюю ночь, взметающую души над Невой, над дворцами, над соборами, ночь шелестящую, как сад, поющую, как молодость, и летящую, как стрела, для них уже пролетевшую.

⟨*1926—1928*⟩

ТРУДЫ И ДНИ СВИСТОНОВА

Глава первая
ТИШИНА

Жена, сняв платье и захватив мохнатое полотенце, как всегда вечером, мылась на кухне. Она брызгалась и, зажимая одну ноздрю, чихала другой. Она, подставив горсти под кран, опускала голову, терла мокрыми ладонями лицо, запускала пальцы в бледные уши, мылила шею, часть спины, затем проводила одной рукой по другой до плеча.

В окне виднелись: домик с освещенными квадратными окнами, который они называли коттеджем, окруженный покрытыми снегом деревьями, недавно окрашенный в белый цвет; две стены консерватории и часть песочного здания Академического театра с сияющими по вечерам длинными окнами; за всем этим, немного вправо, мост и прямая улица, где помещался Молокосоюз, и красовалась аптека, и мутнела Пряжка, впадавшая в канал Грибоедова недалеко от моря. На Пряжку выходило большое здание с садом.

Свистонов смотрел из окна на этот район, где встретились театр, Молокосоюз и аптека.

Канал протекал позади дома, в котором жил Свистонов. Весной на канале появлялись грязечерпалки, летом — лодки, осенью — молодые утопленницы.

Позади канала шли улицы с трактирами, с выглядывающими из-за углов пьяными женщинами с поврежденными лицами, глотками, издающими хрипы.

Свистонову хотелось вновь надеть студенческую фуражку с голубым околышем, галоши и выйти в ночной город, где было Адмиралтейство со своим шпилем, Главный штаб, арка, церковь св. Екатерины, Городская дума, здание Публичной библиотеки. Ему хотелось молодости.

За окном все уже давно скрылось, в квартире было тихо, только часы, пережившие всевозможные переезды, но лишившиеся боя, в столовой тикали.

Свистонову снился сон:

Человек спешит по улице. Свистонов в нем узнает себя. Стены домов полупрозрачны, некоторых домов нет, другие — в развалинах, за прозрачными стенами тихие люди. Вот там еще пьют, за столом, накрытым клеенкой, и глава семьи — кустарь, отодвинув стул от стола, смотря на собственное лицо, удлиненное самоваром, щиплет гитару, а дети, встав коленками на стул и подперев кулачками голову, часами глядят то на лампу, то на печку, то на уголок пола. Это отдых после трудового дня.

А за другой прозрачной стеной сидит конторщик, курит трубку, придает лицу американское выражение и часами смотрит, как дым вьется, как полусонная муха ползает по подоконнику или напротив, в окне, через двор, человек газету гложет и ищет, нет ли еще какого-нибудь занимательного убийства.

А там, через улицу, все вдовы собрались и судачат об интимных подробностях своей прерванной брачной жизни.

Видит Свистонов, что он, Свистонов, уже днем за всеми, как за диковинной дичью, гонится; то нагнется и в подвал, точно охотник в волчью яму, заглянет — а нет ли там человека, то в садике посидит и с читающим газету гражданином поговорит, то остановит на улице ребенка и об его родителях, давая конфетки, начнет расспрашивать, то в мелочную лавочку тихо зайдет, осмотрит и с торговцем о политике побеседует, то, прикинувшись человеком сострадательным, нищему гривенник подаст и его враньем насладится, то, выдавая себя за графолога, всех известных в городе лиц объездит.

Утром, посмотрев на часы, Свистонов все позабыл. Стараясь не будить жены, полуодевшись, сел за редактуру. Что-то такое исправил, что-то такое поправил, поспешил в писательский клуб. Там уже сидели в шляпах и кепках и друг другу сплетни передавали и последние происшествия. Редакторша курила, румяная и полная, за обветренным письменным столом и, читая рукопись, время от времени вздыхала и смотрела из-за рукописи в сторону. Ей интересны были все эти разговоры, подчас веселые, но шум шагов и раскатистый смех мешали ей работать. Свистонов поздоровался с редакторшей и с присутствовавшими. Она подала ему руку и углубилась в чтение.

Посидели писатели, беседуя часа четыре, кого-то

поджидая, ожидая, кто первый встанет. Посидев, как все, насладившись, как все, разговорами, Свистонов исчез в лифте и очутился на проспекте 25 Октября. Было уже довольно поздно, и писатели и журналисты фланировали от издательства к Дому печати и обратно. Согретые весенним солнцем, они беседовали о том, что Круглов пишет как Честертон, что хорошо поехать в Крым, что хорошо этакую книжку загнуть, чтоб она ежегодно выходила. Они спускались в Московское акционерное общество, ели жареные пирожки, читали вечернюю «Красную газету», искали, нет ли о них чего-нибудь в хронике, покупали московские журналы и тоже справлялись — не пишут ли о них. Когда находили — то смеялись. Чушь пишут! Иногда к ним подбегал хроникер из студентов и спрашивал, над чем они работают. Тогда писатели врали.

Это был нелегкий труд — просидеть в редакции часа четыре, а то и пять. К пяти часам у писателей разбаливались головы. Придя домой и пообедав, утомленные, ложились поспать на часок. К вечеру, убедившись, что день прошел и что уже сегодня они не смогут работать, шли с женами к знакомым на чашку чая.

Вечером Свистонов лег в постель и подумал: о чем бы почитать: о старинной ли русской утвари, которая может пригодиться для его нового рассказа, или не взять ли путешествие в восточные страны Вильгельма де Рубрук в лето благости 1253, именно главу о прорицателях и колдунах у татар, как они выливают новый кумыс на землю, или том из «Collection de l'Histoire par le Bibelot»[1].

Но поленился Свистонов надеть туфли, сшитые им из бобрика во времена нехватки всего и голода. Не вылез из-под одеяла, не поднялся на стул, быстро не достал книг. Вместо этого повернулся к жене и стал беседовать с ней об услышанных в редакции новостях.

— Леночка,— сказал он, закуривая.

Леночка опустила записки Панаевой на одеяло и, облокотившись на локоть, стала смотреть на своего мужа.

— Граф Экеспар,— вяло тянул Свистонов,— свою любовницу цыганку называл Дульцинеей. Разделил свои владения на сатрапии и поставил во главе каждой сатрапии сатрапа. Выдавал своим солдатам чингисхан-

[1] «История по безделушкам» *(фр.)*.

ский паек — трех баранов в месяц, а офицерам — двух баранов.

— Неужели? — спросила Леночка.

— Он мечтал образовать панмонгольскую империю с немецким государственным языком и двинуть цветные полчища на запад.

— Вот бы тебе взять такую тему. Можно было бы написать интересную повесть.

— Я тебе еще не сказал,— оживился Свистонов,— что он объявил себя Буддой, состоял в переписке с китайскими генералами, нашел даже претендента на императорский престол, какого-то энглинизированного китайского принца, проживающего в Америке и краснеющего, когда его называют китайцем.

Свистонов, вытянувшись под одеялом, курил, смотрел в потолок, затем он повернулся и стал смотреть на стену.

— Эх, жалко,— сказал он,— что никогда я, Леночка, не был в Монголии. Монастыри — дыхание этой страны. По немецким сказкам дыхания не создашь. Пристроиться, что ли, к экспедиции Козлова, взять командировку от вечерней «Красной»,— и уж закрыл глаза и стал засыпать, когда где-то сбоку появилась мысль об охоте и охотниках.

Ему захотелось писать. Он взял книгу и стал читать. Свистонов творил не планомерно, не вдруг перед ним появлялся образ мира, не вдруг все становилось ясно, и не тогда он писал. Напротив, все его вещи возникали из безобразных заметок на полях книг, из украденных сравнений, из умело переписанных страниц, из подслушанных разговоров, из повернутых сплетен.

Свистонов лежал в постели и читал, т. е. писал, так как для него это было одно и то же. Он отмечал красным карандашом абзац, черным — в переделанном виде заносил в свою рукопись, он не заботился о смысле целого и связности всего. Связность и смысл появятся потом.

Читал Свистонов:	Писал Свистонов:
В виноградной долине реки Алазани среди множества садов, ее охвативших, стоит город Телав,	Чавчавадзе сидел в кахетинском погребке и пел песни о виноградной долине реки Алазани, о городе

некогда бывший столицей Кахетинского царства.	Телаве, бывшем некогда столицей Кахетинского царства. Чавчавадзе был неглуп и любил свою родину. Его дед был ротмистром русской службы, но нет, нет, надо вернуться к своему народу. Чавчавадзе с отвращением посмотрел на сидевшего рядом купца, певшего песню Шамиля и игравшего на гитаре. «Торгаш,— пробормотал Чавчавадзе,— подлое племя, лакей». Купец жалобно посмотрел на него: «Не обижай, я хороший человек».

Написав этот отрывок, Свистонов отложил листок. «Чавчавадзе,— повторил он,— князь Чавчавадзе. Что же думает инженер Чавчавадзе о Москве? Ладно»,— решил он и продолжал читать о смерти царя Ираклия и о горе его жены Дарьи.

На низких диванах сидели жены сановников, закутанные с ног до головы в длинные белые покрывала, и, ударяя себя в грудь, громко оплакивали кончину царя. Против женщин, с правой стороны трона, разместились государственные чиновники, по старшинству, в безмолвии и с печальными лицами. Выше всех сидели старшие министры, за ними церемониймейстеры с переломленными жезлами. Из окна комнаты виден был любимый царский конь, стоящий у дворцовых ворот, оседланный наизнанку. Подле коня сидел на земле чиновник с непокрытой головой.

«Великолепно,— подумал Свистонов.— Чавчавадзе — грузинский посол при Павле I, граф Экеспар, потомок тевтонского рыцарства. Но может быть, и не тевтонского... Надо проверить...»

Какие-то дали будущего произведения замерещились

Свистонову. «Поляка,— подумал он.— Надо бы еще поляка. Да еще бы изобрести незаконного сына, одного из Бонапартов, командовавшего в 80-х годах русским полком».

Влюбленные глаза Польши, устремленные на Францию, Генрих III убежал, Бонапарт на острове Св. Елены. Наполеон III, восстание не удалось. Сейчас опять Франция и Польша — две культурные рыцарственные сестры,— подумал Пшешмыцкий, идя мимо Собора Парижской Богоматери,— и третий рыцарь смотрит на нас — Грузия.

Написав это, Свистонов сел на постели: «И Париж прихватим,— посмотрел он на пол.— Завтра надо пойти к букинистам». И Свистонов, завернувшись в одеяло, захрапел.

Утром, побывав в редакции, он отправился на проспект Володарского, стал заходить с портфелем в книжные лавки, как дама в Гостиный двор с ридикюлем.

Хозяева и приказчики спрашивали об его новом романе, говорили о том, что интересно будет почитать, что вот есть любопытная книжечка и что, может быть, он посоветует кому-нибудь из своих знакомых вот эту книжку.

Книжная вакханалия кончилась, и редкие книги стали снова редкими. Дела книгопродавцев, в общем, шли плохо. Библиотеки не продавали им больше книг по 1 р. 20 к. за пуд.

Свистонов рылся и искал польских эмигрантских книг, искал книг по Грузии, по Остзейскому краю. Книжники, отходя в уголок, пили водку, беседовали с постоянными покупателями, смотрели издали на улицу.

Довольный Свистонов вернулся домой. Он нашел:

1) Recveil de diverses pieces, servans a l'histoire de Henry III roy de France et la Pologne. A Cologne, chez Pierre du Marteau, MDCLXII [1]. На этой книге был перечеркнутый экслибрис с гербом Д. А. Бенкендорфа; на гербе был девиз: Avec Honneur [2].

[1] Сборник различных документов к истории Генриха III, короля Франции и Польши. Кельн, у Пьера Марто, 1662 г. *(фр.)*.

[2] С честью *(фр.)*.

2) Русское Балтийское поморье, вып. I, издание Ю. Самарина. Прага. 1868.

3) Essai critique sur l'Histoire de la Livonie... par C. C. D. B. M. D. C. C. XVII [1].

И еще много других в нежных свиных и телячьих переплетах.

Свистонов не любил электричества, поэтому в его квартире уже горели свечи. Леночка сидела за столом и читала:

> ...лег я на драгоценную постелю и спал часа четыре очень спокойно, а проснувшись, увидел лежащую на окне флейту, которую я, взяв, заиграл в честь видимой на портрете красавицы арию, не зная, что сия флейта сделана чудною хитростию, ибо как скоро я заиграл, то в ту минуту все фонтаны с великим шумом пустили воды, а бывшие в саду разных родов птицы, каждая по своей природе, запели громогласные песни, отчего многие древа плоды свои с себя побросали. Я пришел от сей странности в великий страх, тотчас играть перестал, боясь, чтоб на сей шум кто ко мне не пришел и не убил бы меня за мое дерзновение до смерти. А как между тем день уже склонялся к вечеру, то я и не рассудил никуда из оного прекрасного места идти, но остался в этой беседке ночевать и на другой день до половины дня тут пробыл, но, видя, что в саду ни одного человека нет...

Эту затрепанную и презираемую книжку Свистонов купил на вербе среди прочего барахла, несколько лет тому назад, когда он интересовался литературными стилями.

Леночка сидела при свечах. Она скучала над этим романом. Все же он был куда менее интересен, чем Уолтер Патер. Она проголодалась, но ждала Свистонова, чтобы вместе пообедать. Она подошла к среднему окну и посмотрела, не идет ли Свистонов.

Вернулась и стала дочитывать, но вспомнила, что она сегодня еще не вытирала пыли. Прошла в соседнюю комнату, приставила коричневую лестницу и принялась перетирать свистоновские книги. «Как давно

---

[1] Критический опыт по истории Ливонии... 1717 г. *(фр.)*.

Андрюша не пишет стихов»,— подумала она и, передвинув лестницу, достала свистоновские тетрадки и застыла с тряпочкой на лестнице.

Она перелистывала свистоновские тетрадки со стихами, когда-то считавшимися непонятными, а потом ставшими слишком понятными, нашла в них свой локон, засохшие цветочки; стихи поблекли, выцвели от времени, но для нее всё еще они горели.

Леночка провела тряпочкой по корешкам книг. Теперь здесь так много книг, но, Боже мой, каких книг: рукописные дневники неизвестных чиновников, книжки «на каждый день» похотливых студентов, переписка какого-то мужа с женой, по-видимому, железнодорожного служащего, тоненькие брошюрки, изданные графоманами, философские книги, с кондачка написанные актерами, длинненькие, в кожаных переплетах, альбомы восторженных подростков, Санкт-Петербургский календарь на лето от Рождества Христова 1754. С записями: «6. Пускал кровь из ноги; 19. Шол снег; 28. Куплено соломы». Косметики от «Gli ornamenti delle» donne Giovanni Marinello [1] (1562 г.) до самых новейших. Кулинарные книги, лечебники, книги, посвященные давно уже не существующим танцам, карточным играм, и полочки с классиками, и томы и пачки кое-как поставленных и положенных книг.

Сев на лестницу, Леночка стала читать стихи. Она читала и вспоминала, где и когда каждое писал Андрюша, как был одет тогда Андрюша и как она. Но тут раздался звонок, и Леночка, убрав лестницу и бросив пыльную тряпку, открыла дверь.

Свистонов, читая газеты, обводил красным карандашом фразы, которые Леночка должна была вырезать и наклеить на листы.

Суп остывал.

— Потом бы ты почитал! — говорила Леночка.— Расскажи что-нибудь.

— Что же тебе рассказать? — отвечал Свистонов и продолжал читать.

— Скажи хоть, какая сегодня погода,— попыталась завязать разговор Леночка.— Распустились ли почки и куда мы поедем на лето?

---

[1] Джованни Маринелло, «Дамские украшения» *(ит.)*.

— В Токсово, должно быть,— лениво пробормотал Свистонов, вставая.— Там прекрасный воздух.

Пошел в комнату полежать. За обедом он выпил немного вина и поэтому не мог читать и писать. Лежа на диване, он рассматривал Леночку, следил, как она ходит по комнате и роется в книгах.

— Леночка, почитай вырезки,— сказал он.

Леночка достала листы, покрытые газетными вырезками, и, сев поближе к свечам, стала читать.

Ноябрь, 1914 год.

По словам раненых немцев, настроение у солдат весьма подавленное. Офицеры все время говорят им о победах, но солдаты больше уже не верят этим рассказам.

21 июня 1913 года.

«ОСМАН».

Пример и совершенство!..
Курить его одно блаженство,
Как папироса «extra fin» [1] —
Даст наслаждение «en plein» [2]!!!
Товарам «Шапошников» слава,
Crez, messieurs [3], им фора, браво!!!

Дядя Михей.

29 июля 1913 года.

БАЛ АМЕРИКАНСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ

...большинство дам явилось на бал либо в простых деревенских платьях, либо в костюмах героинь популярных детских сказок. Этим они желали подчеркнуть свое критическое отношение к воинствующим СУФРАЖИСТКАМ.

[1] «высший сорт» *(фр.)*.
[2] полностью *(фр.)*.
[3] Кричите, господа *(фр.)*.

НАШЕСТВИЕ БЛОХ

В городе развелось неимоверное количество блох. Дома, гостиницы, театры, кино — жалуются, что у них появилась масса блох. Плохая очистка помещений летом благоприятствует быстрому распространению блох. В бюро «Рабочее Оздоровление» обращаются целые дома с просьбой очистить квартиры от блох. Очистка производится при помощи газов и обходится очень недорого.

Некоторые гостиницы обратились с просьбой избавить их от клопов. Эта работа производится тоже в ударном порядке...

Горячие речи против немецкого засилья...

— Леночка, сколько раз я тебя просил собрать все вырезки и переклеить в хронологическом порядке. Ведь это, я думаю, не так трудно! К тому же, сколько раз я тебя просил на всех, даже самых незначительных вырезках помещать дату, название газеты. Ведь это сильно облегчало бы работу.

Леночка перебирала вырезки, смотрела на своего героя.

— Хорошо, хорошо,— успокаивала она его,— обязательно буду ставить.

— И месяц, и число, и название,— твердил Свистонов.

Но в общем он был доволен чтением. Оно растолкало его воображение.

Леночка взяла деревянный гриб, носки и стала штопать. Свечи в алебастровых, в виде виноградных листьев, подсвечниках потрескивали. Свистонову стало скучно.

— Леночка,— сказал он,— почитай новеллы.

Новеллами он называл другие газетные вырезки.

Леночка встала с кресла, достала томик в сафьяновом переплете и стала перелистывать.

— О портном,— попросил Свистонов.

Это была новелла тридцать третья.

Новелла тридцать третья

«РОМАНИСТ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОР»

— Прежде чем написать что-либо, нужно самому пережить описываемое явление.

Этот принцип исповедует... портной Дмитрий Щелин. Он уже около двух лет пишет какой-то «роман из современной жизни», со всеми ее ужасами.

Два месяца тому назад Щелину потребовалось закончить главу его романа покушением на самоубийство героя, отравившегося ядом.

С этой целью Щелин пожелал сам испытать страдания, которые обычно испытывают самоубийцы.

Он достал яд, принял его, а затем лишился сознания. С квартиры Щелина доставили в больницу Марии Магдалины. Здесь он провел около двух месяцев.

Поправившись, Щелин опять стал продолжать «роман».

Теперь герою потребовалось испытать ощущение самоубийцы, пытавшегося утонуть.

В два часа ночи на сегодня Щелин бросился с Тучкова моста в Малую Неву.

Утопавшего вовремя заметил речной городовой и сторожа моста. На шлюпке они подплыли к Щелину и вытащили его из воды.

В бессознательном состоянии «романист-экспериментатор» был доставлен в ту же больницу Марии Магдалины. Утром он был приведен в сознание.

Это еще не все. Теперь нужно испытать, как бросаются под поезд. Тогда только все явления моего романа будут и реальны и чувствительны.

Положение романиста-портного — тяжелое.

— Читать дальше? — спросила Леночка.
Свистонов кивнул головой и закрыл глаза.

Новелла тридцать четвертая

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Оно, конечно, в суде иногда бывают странные истории. До того странные, что хочется смеяться до коликов в животе, а иногда плакать. Например, один из

последних номеров ленинградского журнала «Суд идет» рассказывает о таком веселом случае из практики Ахтюбинского губсуда.

В прокуратуру поступило заявление некоего гражданина о том, что какой-то парень изнасиловал корову.

По предложению прокурора, следователь приступил к расследованию этого изумительного преступления.

Велось следствие. Дело росло и пухло. «Насильнику» было предъявлено обвинение, и, наконец, дело с обвинительным заключением поступило по подсудности в губернский суд.

Но в нашем уголовном кодексе нет статьи, по которой можно было бы судить за подобное преступление, и Ахтюбинский суд очутился в тупике.

Как быть? Как прекратить это дело?

Из этого пикового положения губсуд вышел весьма остроумно. Для возбуждения дела об изнасиловании необходимо заявление потерпевшей — так сказано в законе.

И знаете, что сделал губсуд?! Он прекратил дело «ввиду отсутствия заявления потерпевшей об изнасиловании»...

Леночка продолжала:

Новелла тридцать пятая

ТАТУИРОВАННЫЙ

На основании 846-й, 847-й, 848-й и 851-й ст. ст. Устава уголовного судопроизводства, по определению Асхабадского окружного суда, от 3-го декабря 1910 года, разыскивается Иван Григорьев Бодров, происходящий из крестьян села Чернышева Николо-Китской волости, Каренского уезда, Пензенской губернии, обвиняемый по 1, 13 и 1 ст. улож. о наказ.

Приметы обвиняемого: 29 л., полного среднего роста, среднего телосложения, статен, глаза серые, на теле следующая татуировка: 1) на груди между сосками нарисовано распятие с надписью на кресте «I.Н.К.I.», по бокам такового нарисованы цветы: с правого соска — из породы лилий, с левого соска — неопределенной породы; 2) под распятием справа и слева на грудной

клетке нарисованы двуглавые орлы, на правой половине грудной клетки копия российского государственного герба, в середине косы стоит буква Н., с левой стороны грудной клетки двуглавый орел, не похожий на герб... 3) на брюшной части выше пупка и немного правее изображен лев с гривой и поднятым хвостом. Лев этот стоит на стреле, которая острием своим обращена также вправо; 4) по правую сторону льва и на одной высоте с ним изображен св. Георгий-победоносец на коне, побеждающий дракона; 5) по левую сторону льва и на одной с ним высоте изображена женщина (амазонка), сидящая на лошади. Голова лошади обращена в сторону льва; 6) на левой руке с передней ее стороны повыше локтя изображена женщина, поднявшая подол; 7) на той же руке, ниже локтя, на передней ее стороне изображаются неизвестные цветы и ниже их — лилия; ... 10) почти на самом локте, немного пониже изображена бабочка, головкой обращенная к выше описанным цветам; 11) на правой руке повыше локтя, на передней стороне руки, изображена женщина, завернувшая юбку и открывшая одну ногу до бедра; 12) ниже локтя, на стороне руки, обращенной к телу, изображается сердце, пронзенное стрелой, якорь и крест; 13) как раз под якорем, сердцем и крестом изображается голая женщина, стоящая на какой-то голове и поднявшая левой рукой меч; 14) правее голой женщины с мечом изображена другая женщина, полуголая и больше по своим размерам, правую руку заложила на затылок; 15) правее последней еще женщина, полуголая, держащая позади головы развернутый веер; 16) левее женщины с мечом изображена сирена с мечом; 17) на правой ноге, почти на бедре, на передней ее стороне, изображена женщина, с курчавыми волосами, с ожерельем на шее, без ног, туловище заканчивается непонятным рисунком;

Леночка покраснела.
Свистонов взял книжку и дочитал сам:

....
....
....

Всякий, кому известно местопребывание разыскиваемого, обязан указать суду, где он находится. Уста-

новления же, в ведомстве коих окажется имущество обвиняемого, обязаны немедленно отдать его в опекунское правление.

Свистонов чувствовал, что скоро можно будет приступить к работе. Новелла о портном уколола его как неотчетливое оскорбление. Вторую он пропустил мимо ушей. Третья показалась ему достойной внимания. Над ней можно было подумать. И, передав обратно книжечку Леночке и уже не слушая, что дальше читает жена, представил в виде картины тридцать пятую новеллу.

— Черт знает что,— пробормотал он.

Жена прервала чтение и посмотрела на него.

— Андрюшенька,— сказала она,— ты опять выпил лишнее. Тебе плохо? — Подошла к постели.

— Скорей листок,— сказал Свистонов.— Дай карандаш,— сказал он.

Взял бумагу, стал рисовать на ней голого человека.

Свистонов начал с ног, больших и мускулистых, стоящих на дощатом полу, повел карандашом вверх, нарисовал крепкое туловище и руки с лопатообразными ногтями и увенчал все это приятной головкой с небольшими лихо закрученными усами.

— Нет ли у тебя акварели? — спросил он.

— Я думаю, найдется,— ответила Леночка и, поискав, принесла.

Свистонов покрыл все изображение ровной розовой краской и, взяв тридцать пятую новеллу, приступил к самому главному.

Выбрав и послюнив тоненькую кисточку, все время заглядывая в новеллу, он стал наносить знаки разными красками. На груди между сосками он поместил серебряное распятие, по бокам — белую лилию, под распятием нарисовал герб и орла, на брюшной части, повыше пупка, вывел сочного льва с гривой и поднятым хвостом. Юбки он изобразил ситцевыми, женщине с веером придал нечто цирковое, собаку передал сладострастной, змею веселенькой зелененькой, а надпись «Боже меня храни» над непристойным местом вывел золотыми буквами...

Фон покрыл черной краской.

Свистонов, поднявшись на постели и выплюнув муху, попавшую ему в рот, стал искать книжку наверху — на полке, потом внизу — в ночном столике. Он зажег несколько свечей, вставленных в бронзовые ампирные

подсвечники. Вынул из ночного столика зеркало для бритья.

— Леночка, поставь воды,— сказал он.

Пока Леночка кипятила воду, Свистонов курил, задумчиво рассматривал рисунок, поставленный между свечами и зеркалом. Черный фон почти не пропускал света, и розовый человек выступал из коридора. Так забавлялся Свистонов. Затем, отложив рисунок, стал бриться и думать о том, куда пойти и с кем бы познакомиться.

Свистонов вошел в Дом печати. Был литературный вечер. Молодая писательница выступала. После семи лет своей литературной деятельности, действительно славной, приковавшей к ее деятельности и к ней самой сердца лучшей части общества, она выкинула трюк, настолько непозволительный и циничный, что все как-то опустили глаза и почувствовали неприятную душевную пустоту. Сначала вышел мужнина, ведя за собой игрушечную лошадку, затем прошелся какой-то юноша колесом, затем тот же юноша в одних трусиках проехался по зрительному залу на детском зеленом трехколесном велосипеде,— за ним появилась Марья Степановна.

— Стыдно вам, Марья Степановна! — кричали ей из первых рядов. — Что вы с нами делаете?

Не зная, зачем,собственно,она выступает, Марья Степановна ровным голосом, как будто ничего не произошло, прочла свои стихи.

Свистонов сидел в соседней комнате в кресле, откинувшись на цветную спинку с черными кариатидами, и прислушивался к голосам.

Голос в серой кепке говорил о том, что можно было бы взять Авеля и Каина в ироническом роде.

Голос в синей рассказывал о том, что он пишет книгу смертей, которая будет посвящена Пушкину, Лермонтову, Есенину и другим.

Голос в очках басил, что путают литературную критику с административными мерами.

Пьющий чай в третьей комнате крикнул: «Получите, пожалуйста».

Сидящий со шляпой в руке острил: «Мертвый локтей не раздвигает».

В антракте Свистонов пробился сквозь шумевшую толпу в зрительный зал.

Публика негодовала на представление.

— Итак, вы на меня не сердитесь? — спросил Свистонов у выходившего Валявкина.

— Я понимаю, конечно, что искусство, но зачем же обязательно гильотина,— развел тот руками.

Протолкались в столовую, сели за столик у камина.

Свистонов рассматривал стекло поднятого им в воздух стакана.

— Выпьемте,— чокнулся он,— за ваше будущее выступление, за ваше исполнение. Эким талантом вас природа наградила!

Спустя немного, к столику подсели еще литераторы, и скоро образовалось непринужденное и веселое общество. Анекдоты перемежались пивом, только что написанные стихи — облаиваньем рецензентов, разговоры о недавно вышедших книгах — смехотворными черточками их авторов.

Между тем заезжий писатель Валявкин то оживлялся, то опять становился печален.

Он обводил глазами столовую.

Он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, а между тем, точно нарочно, на него не обращали никакого внимания.

— Да, там известно. В Москве чтецы,— искоса посматривая в сторону москвича, нервически рассмеялся человек за соседним столиком,— выйдет на эстраду, грудь колесом, полосатые чулочки выглянут, рука простретcя, и начнет прославляться: «Я и Шекспир». Или еще начнет перечислять предметы на все голоса и думает, что это стихи. Вы там в Москве живете, как канареечки, тесновато, а у нас здесь просторные палаты,— открыто обратился говоривший к москвичу. Но его перебил другой молодой человек — агент по объявлениям:

— Наши литераторы свежим воздухом дышат, в Детском Селе живут, поближе к пушкинским пенатам! Мы здесь работаем по-настоящему, а у вас там в Москве лодыри.

— Бросьте, не стоит ссориться,— успокаивал секретарь месткома,— и Москва имеет свои достоинства, и Ленинград их не лишен. Мы, действительно, работаем здесь в тиши, а они там волнуются, а еще неизвестно, что лучше — спокойствие или волнение.

Куку, сидевшему за другим столиком, хотелось туда, где играло пьянино, Куку влекла девушка с огром-

ным ртом, с угреватым, грустным носом, с волосами, которые начинались почти у бровей и сильно поредели от абортов. Она с псевдоизяществом ударяла по клавишам и пела:

До свиданья, друг мой, до свиданья...

Казалась комната Куку тихой, а девушка желанной. Но так как еще не наступила весна, то девушка влекла его не достаточно сильно. Ему, правда, нравилась линия ее плеч, плеч сильно покатых, и то, как поющая трясет в воздухе кистями рук, а затем выделывает пальцами фигуры на клавиатуре.

Хотя Куку был всем известен, но до сих пор Свистонов не обращал на него внимания. Тут же, в погоне за материалом, он решил с ним познакомиться.

Свистонов допил стакан и последовал за Куку туда, где играло пьянино и девушка пела. Свистонова окружила толпа смеющихся молодых людей.

— Познакомьте меня с Куку,— сказал он,— мне он нужен для моего нового героя.— Часть молодежи отделилась и побежала.

Иван Иванович Куку страдал странной страстью писать письма. Это был толстый сорокалетний человек, великолепно сохранившийся. Его лицо, украшенное баками, его чело, увенчанное каштановой короной волос, его проникновенный голос вызывали сначала во всех знакомящихся с ним почтение. «Такое умное лицо,— говорили они,— такие баки, такие вдумчивые глаза. Несомненно, Иван Иванович — человек значительный». Иван Иванович это чувствовал. Он старался холить как нельзя лучше свои баки. Он стремился к тому, чтобы глаза его постоянно светились вдохновением, чтобы лицо его всегда ласково улыбалось, чтобы все чувствовали, что он всегда думает о высоком и прекрасном. Все он совершал с величием. Брился он величаво, курил — пленительно, произносил ослепительно даже пустячок: «Я бы съел сегодня бифштекс».

«Несомненно, я похож на великого человека»,— останавливался он иногда на улице перед зеркалом. И даже ученики трудовой школы глазели и говорили: «Смотри-ка, кто это?»

У Ивана Ивановича ничего не было своего — ни ума, ни сердца, ни воображения. Все в нем гостило попе-

ременно. То, что одобряли все, одобрял и он. Он читал только книги, уважаемые всеми. Других книг он принципиально не читал. Он хотел быть светлым умом и достойной душой. Всегда он занимался тем, чем занимались другие. Когда увлекались религиозными вопросами, увлекался и он. Когда окрылились фрейдизмом, окрылился и он. Единственной оригинальной чертой его характера была страсть к письмам. Любил писать письма Иван Иванович и писал с дрожью. Всегда они начинались так: «Я честный человек, и поэтому должен я вам сообщить, что вы негодяй»,— или: «Вы позволили себе распустить про уважаемого человека гнусную сплетню, вы — подлец»,— или: «Вы отказались прийти по моему приглашению в рекомендованный мной вам дом и показать свои рисунки. Сообщаю вам, что ваши рисунки гнусны и что лишь снисходя до вас я увлекался ими». Пожимали плечами друзья, получая такие письма. «Ах, Иван Иваныч,— говорили они друг другу, встречаясь на улице.— Надо у него побывать и его утешить. Все это ведь от нервности. Ведь если мы его оставим, то он останется совсем один, и неизвестно, что тогда с ним будет». Но прежде, чем они, сговорившись, успевали побывать у него, Иван Иванович, осунувшийся и сгорбленный, приходил к ним и извинялся.

Под светом люстр знакомство состоялось.

Они — Свистонов и Куку — пошли друг другу навстречу. Они удивлялись, что до сих пор почему-то не были знакомы. Куку говорил, что он еще с юности следит за свистоновским творчеством и уже давно хотел познакомиться с автором, чтобы выразить ему свое восхищение. Свистонов говорил, что он слышал о Куку много прекрасного и интересного, что жаль, что Куку ничего не пишет, а что если бы взял Куку перо в свои руки, то наверное получилась бы очень интересная повесть.

Душа у Ивана Ивановича затрепетала. Показалось Ивану Ивановичу, что он нашел родственную душу, и стал петь лебедем Куку, стал позировать красавицей перед Свистоновым. «Посмотрите, какой у меня ум,— как бы говорил он Свистонову,— какое дивное образование. Ах, друг мой, друг мой! — как я страдаю. Почти не с кем мне побеседовать. Ведь я окружен не-

настоящими людьми! Иван Дмитриевич, конечно, хороший человек, но ведь он нуль в биологии. Дмитрий Иванович неплох в философии, но зато человек ужасный. Константин Терентьевич знающ, но всегда молчит. Терентий Константинович болтлив, но несведущ».— «А читали вы эту книгу? — спросил он, вынимая только что полученную книгу.— Она перевернула мое мировоззрение».

Из Дома печати они вышли вместе. Куку был очарован. Свистонов обрадован. Они условились подружиться.

Куку жил в огромном доме, почти отдельном городе, где все было свое — и аптека, и магазины, и садик, и баня, на Лиговке. Иван Иванович Куку был любовью своих друзей. Они считали его неудавшимся гением. Они поражались его эрудицией, они принимали его порхание за разбросанность гениальной натуры. «Если бы Иван Иванович собрал свои знания и устремил бы в одну точку, мир перевернул бы он»,— говорили они, расставаясь с Иваном Ивановичем Куку. И жалели его страшно.

Наступила весна, и Иван Иванович Куку решил прокатиться. Он сел в поезд. Сошел в Детском Селе и поехал на автобусе к Екатерининскому дворцу, превращенному в музей.

Иван Иванович сошел у лицея, встал у подъезда. Иван Иванович стал в профиль, так как он находил, что в этом положении его фигура еще более выигрывает. Он смотрел на улицу и делал вид, что читает. Он время от времени перелистывал страницы, смотрел, нет ли его знакомых. Между тем толпа у лицея собиралась. Некоторые подбегали к памятнику Пушкину, внимательно смотрели, старались запомнить, возвращались на свой пост и делились впечатлениями.

— Конечно, страшно похож.

— Да нет же, у него нос не такой.

— А обратили внимание на лоб?

— И в сюртуке он как будто.

— А как думаете, какую он носит шляпу?

Со стихотворениями Дельвига Иван Иванович Куку пошел. Толпа в отдалении следовала за ним. Он прошел мимо памятника.

— А что, если он загримирован,— прошептала барышня.

— А это идея! Может быть, съемка в парке будет.

— Тише, а то все пойдут.— Толпа таяла, только молодежь следовала за Куку. Он прошел мимо дворца, повернул мимо служб налево, прошел по китайскому мостику, опять повернул налево по дорожке, прошел по мостику на островок. Куку любил великих людей нежной и странной любовью. Мог часами стоять перед портретом какого-либо великого человека. Величия жаждала душа его и какого-то необыкновенного подвига. Он любил страстно биографии великих людей и радовался, когда черты его биографии и великого человека совпадали. Походив по островку, Иван Иванович вернулся к лицею, важно и трогательно подошел к памятнику Пушкину, сел на скамейку и стал смотреть на бронзового отрока... Между тем молодежь стояла на китайском мостике и все ждала киносъемки. Она выбегала за ворота, смотрела направо и налево, не несется ли автомобиль с киноаппаратом, оператором, режиссерами и остальными артистами. Но клубы пыли на дороге не появлялись, а наступил час обеда.

Несколько разочарованные, обсуждая, что это значит, молодые дачники разошлись по домам.

Между тем Свистонов спешил к лицею.

Утро. Через сад еще торопились служащие на работу, когда Свистонов уже сидел на скамейке и поджидал Куку. Было холодно, было серо, было неприятно. Свистонов встал со скамейки и прошелся по саду.

Бюсты чернели на фоне одетых инеем деревьев.

В ворота Адмиралтейства въезжала телега.

За решеткой по мостовой промаршировали матросы.

По направлению к Республиканскому мосту двигались дроги.

Свежевыкрашенный в исторические цвета Дворец Искусств как бы уносился с площади.

Ангел на колонне, а ниже его несущаяся квадрига, а ниже ее два этажа и арка, откуда только что вылетел автомобиль.

Вверху небольшой аэроплан удалялся по направлению к Петропавловской крепости.

Наконец, с трамвая сошел Куку в летней шляпе. Свистонов пошел навстречу.

Пожал ему руку.

Сегодня они шли в Эрмитаж. Свистонову хотелось поискать изображений охоты.

Куку хотелось пройти по залам, себя показать, людей посмотреть.

— Поверите ли,— произносил Куку,— в детстве меня чрезвычайно расстраивало, что у меня нос не такой, как у Гоголя, что я не хромаю, как Байрон, что я не страдаю разлитием желчи, как Ювенал.

Глава вторая

ТОКСОВО

Медленно поднимался поезд. Куку и Свистонов сошли на станции, купили папирос и затряслись на таратайке. Избушка была заранее снята. Комната, в которой поселились Свистонов и Куку, выходила окнами на дорогу. Кроме этой комнаты и бревенчатой прихожей, других помещений в этой избушке не было. Построена она была специально для дачников, наспех. Стены комнаты были оклеены самыми дешевыми обоями, из сосновых досок были устроены нары, столик.

Снявшие убрали стены привезенными книгами. Свой угол Куку превратил в кабинет для работы. Он прикрепил к столу кнопками синий лист промокательной бумаги, поставил подсвечники и положил стопку чистой писчей бумаги; достал гусиные перья, одно подарил Свистонову, другое оставил себе. Сидя рядом, по вечерам они дружно будут работать, как Гонкуры, он изобретет сюжет, а Свистонов... Конечно, пора, пора ему, Куку, сесть за работу.

Однажды вечером в нескольких верстах от Токсово горел костер у подножия одного из холмов. Дачники лежали полукругом, подкидывали сосновые ветки, беседовали о политике.

Майские жуки летали вокруг молодых сосенок.

Песчаной стеной вниз обрывалась зелень.

Свистонов, глухая прачка Трина Рублис, Куку и городская девушка Наденька сидели среди дачников.

Трина Рублис была с прошлым, пышным, диким, обладала еще недавно красотой. Но года два тому назад

она вся как-то обмякла и распустилась. Пепельные волосы ее уже не вызывали больше сравнений, а розовые щеки стали желты и одутловаты.

Неизвестно, о чем думало в тот вечер существо, жившее в мире, лишенном звучаний. Может быть, в ее воображении восставал красавец офицер Дикой дивизии, обвенчавшийся с ней наспех в Детском Селе во время наступления Юденича на Петроград по паспорту своего убитого товарища, затем бесследно, может быть не по своей вине, исчезнувший.

Куку важно сидел у ног девушки, смотрел поверх костра на рябь озера.

Свистонов сжимал руку прачки и, убедившись, что никто его не слушает, и зная, что она его не услышит, рассказывал ей, издевался над глухой бывшей красавицей. Та смотрела на его губы и думала, когда же ей следует рассмеяться.

— Вот я свел Куку с девушкой,— продолжал Свистонов, гладя руку глухой.— Я потом перенесу их в другой мир, более реальный и долговечный, чем эта минутная жизнь. Они будут жить в нем, и, находясь уже в гробу, они еще только начнут переживать свой расцвет и изменяться до бесконечности. Искусство — это извлечение людей из одного мира и вовлечение их в другую сферу. Литература более реальна, чем этот распадающийся ежеминутно мир.

Немного в мире настоящих ловцов душ. Нет ничего страшнее настоящего ловца. Они тихи, настоящие ловцы, они вежливы, потому что только вежливость связывает их с внешним миром, у них, конечно, нет ни рожек, ни копытец. Они, конечно, делают вид, что они любят жизнь, но любят они одно только искусство. Поймите,— продолжал Свистонов, он знал, что глухая ничего не поймет,— искусство — это совсем не празднество, совсем не труд. Это — борьба за население другого мира, чтобы и тот мир был плотно населен, чтобы было в нем разнообразие, чтобы была и там полнота жизни, литературу можно сравнить с загробным существованием. Литература по-настоящему и есть загробное существование.

Костер догорал. Дачники разошлись собирать хворост.

Куку важно дремал у ног Наденьки.

Свистонов встал, подошел к спящим, сел рядом, стал внимательно рассматривать озеро, линию одинокой искривленной березы у обрыва, возвращающихся с хворостом дачников, спящих молодых людей.

— Вообразите,— продолжал он, вежливо склоняясь,— некую поэтическую тень, которая ведет живых людей в могилку. Род некоего Вергилия среди дачников, который незаметным образом ведет их в ад, а дачники, вообразите, ковыряют в носу и с букетами в руках гуськом за ним следуют, предполагая, что они отправляются на прогулку. Вообразите, что они видят ад за каким-нибудь холмом, какую-нибудь ложбинку, серенькую, страшно грустненькую, и в ней себя видят голенькими, совсем голенькими, даже без фиговых листочков, но с букетами в руках. И вообразите, что там их Вергилий, тоже голенький, заставляет их плясать под свою дудочку.

В вечернем сумраке голос Свистонова крепчал.

Трина удивлялась, на кого сердится Свистонов, осматривалась по сторонам.

Уже сходили они с одного холма, поднимались на другой, сходили и с этого холма, поднимались на третий, озера все время были по обеим сторонам гуляющих.

Глухонемая знаками показывала, что она любит траву и чтобы солнце грело спину.

Повернув лицо к Свистонову, дотронулась до своей спины.

Свистонову показалось, что Трина озябла. Он снял пиджак и набросил ей на плечи. Она улыбнулась, затем она побежала, все время оглядываясь. Свистонов бежал за ней.

Достигли берега.

— Я хочу купаться,— знаками показала глухая.

Отвернувшись, Свистонов отошел и сел спиной к озеру. Трина Рублис отошла за кусты и разделась. Она осталась в одной рубашке, рубашку поддерживали две розовые ленточки, на груди была вышита роза. Глухая повесила чулки на куст.

В рубашке Трина Рублис вбежала в озеро. В воде она принялась шуметь. Свистонов понял, что она хочет, чтобы он повернулся. Свистонов нехотя подошел к воде. Сравнительно далеко от берега виднелась голова глухой, обвязанная полотенцем. Затем глухая поплыла к берегу, еле прикрытая водой, она легла у берега.

Свистонов в рубашке вошел в воду. Взявшись за руки, они поплыли.

У костра не заметили их отсутствия или сделали вид, что не заметили.

Глухонемая села поближе к Свистонову и уставилась на огонь.

И под влиянием ли наступавшей ночи и свежести, или по другой причине, Федюша — чтец стихов и оратор — предложил скакать через огонь, но его предложение отвергли. Тогда культпросветчица предложила играть в горелки.

День был воскресный, и потому, что день был солнечный, от отдаленного вокзала, построенного в готическом вкусе, двигались многочисленные экскурсии, предшествуемые музыкантами. Трубы сверкали на солнце. Рабочие с женами, украшенные цветами, торопились за ними, срывали травку или листочек с куста и жевали.

Другие экскурсии состояли из подростков в красных платочках, из юношей в трусиках, несших сандалии в руках. Третьи — из учащихся, почему-либо застрявших в городе. Все процессии были снабжены плакатами, инструкторами с повязкой на руке.

В такие дни трактир «Русская Швейцария» оживал.

За столиками становилось шумно. Чокались пивом, обнимались, ели мороженое, хохотали, перебегали от одного столика к другому, ели яичницу с колбасой, простоквашу, огурцы, вытаскивали из карманов или ридикюлей леденцы и сосали. То там раздавалось тру-ру-ру-ру, то здесь.

Оживали после двух часов и холмы над озером, оркестр располагался на самой вершине холма, где-нибудь под двумя-тремя соснами. Толпы в разноцветных трико купались и, лежа на животе, загорали. И опять то там раздавалось тру-ру-ру-ру, то здесь и уносилось за холмы.

Токсовские возвышенности превращались в живые человеческие горы, и плакаты тогда, колеблемые ветром, казались знаменами и штандартами и горели на солнце своими белыми, желтыми, черными, золотыми буквами.

Сухонькая Таня и сухонький Петя вышли. Петя запер дверь и потрогал замок.

— Вот мы снова на лоне природы. Все же мы десять лет не были на даче. Захватила ли ты журналы и газеты? Приятно почитать, лежа под тенью дерева.

— Ты все прежний,— надевая митенки и раскрывая летний с кружевами и костяной ручкой длинный зонтик, радостно замечталась Таня.

Они пошли прямо по полю к озеру. На Тане была коротенькая клетчатая юбочка, позволявшая молодым людям насмехаться над ее кривыми ножками, и крепдешиновая кофточка с треугольным вырезом, украшенная голубенькой ленточкой, несколько замусоленной.

— Солнышко греет,— сказала Таня.

— Да,— подтвердил Петя.

— Смотри-ка — цветы,— наклонилась Таня.

— Куриная слепота,— добавил Петя.— Какая ты у меня молоденькая!

— Я побегу! — И Таня пошла по тропиночке, стала нагибаться, срывать цветы, плести венок. Петя сел на пень и раскрыл газету. Лицо у Пети было все в морщинах. Спина сутулая, глаза близорукие. Таня пела романс и, сплетая венок, медленно шла вниз в долину. Ее старческие ручки довольно быстро срывали клевер, ромашку, колокольчики. Ее сухонькие ножки ступали почти уверенно по траве.

— Хорошо здесь, Таня,— услышала она дребезжащий голос сверху.

И опять молчание.

Только наверху шуршит газета.

Внизу бесшумно порхают бабочки. Седые волосы выбиваются из-под голубенькой шапочки. А Таня смеется. Ах, молодость, молодость! Расстилает носовой платок, садится на него, снимает шапочку и, надев на голову веночек, слушает, как гудит и поет и шелестит трава.

По утрам Таня по старой привычке обтирает Петю. Сколько возни с мужем! И стоит худенький старичок в тазу с водой, а она его обтирает.

Петя играл когда-то на флейте в Академическом театре. Играл он с чувством, а Татьяна Никандровна где-нибудь сидела с подругой и слушала.

И наверху Петя, опустив газету на траву, достает из футляра флейту, играет.

Свистонов, гуляя над берегом озера и наблюдая праздничную толпу, слышит флейту.

Есть у супругов собачка. Она заменяет им ребенка. Маленький, славный девятилетний фоксик, так быстро и незаметно состарившийся. Правда, по-прежнему у него розовая ленточка вокруг шеи, и по-прежнему он бежит, опустив мордочку, по дороге, но зовут его супруги уже не Травиатой, а просто старушкой. Сидит «старушка» с розовым бантиком рядом со старичком, плюющим во флейту, а внизу другая старушка с голубым бантиком, стриженая, с веночком на голове, лежа с зелененьким листиком во рту, на небо смотрит.

Но вот фоксик бежит и садится рядом со старушкой и смотрит в траву, как бы засыпая.

Свистонов шел, раздвигая кусты палкой.

Глухонемая жеманно шла, искривив шею.

Старик играл все воодушевленнее.

Долго смотрел с холма Свистонов и слушал флейту. Затем спустился.

— Позвольте представиться,— сказал он,— Андрей Свистонов.

— Очень приятно,— опуская флейту, засуетился застигнутый врасплох старик.

Свистонов сел рядом со стариком. Глухонемая стояла в отдалении.

— Вы дивно играете,— начал Свистонов.— Я люблю музыку. Мне уже давно хотелось с вами познакомиться.

Старик зарумянился.

— По вечерам я слышу, как вы играете...

Гуляя вокруг озера, Свистонов и Куку встретили Наденьку, шедшую в обществе брата и сестры Телятниковых. Наденька медленно шла, играя прутиком, брат и сестра шли по бокам. Это были двадцатилетний Паша, считавший себя стариком и принципиально говоривший умные вещи, и семнадцатилетняя Ия — всезнайка. Паша был сосредоточен и мрачен, так как полагал, что у него дурная наследственность и что он развращен с малолетства. Ия была жизнерадостна и говорила об Анатоле Франсе. Сестра и брат дружили с Наденькой и ненавидели друг друга.

Увидев Свистонова и Куку, Телятниковы поклонились и пошли навстречу поздороваться.

— Андрей Николаевич,— сказала Ия,— какой я вам

новый анекдот расскажу! — и пошла рядом со Свистоновым направо.

Куку, Наденька и Паша следовали за ними. Паша считал Свистонова крупным талантом. Поэтому с завистью смотрел, как Свистонов говорит с Ией. Паша страшно обрадовался, когда Свистонов, полуобернувшись, продолжая идти, обратился к нему; юноша тотчас же, добежав, пошел по другую сторону. Брат и сестра были честолюбивы.

Куку и Наденька отставали.

— Хотите, сыграемте в рюхи? — предложил Свистонов брату и сестре, когда вдали показались дачи.

Паше неудобно было отказаться, хотя это он считал ничтожным и презренным времяпрепровождением. Ия с радостью согласилась и побежала доставать палки и рюхи из ямки. Свистонов взял палку и принялся чертить городки. Но вот наверху, на холме, показались Куку и Наденька.

Свистонов пошел навстречу.

— Мы собираемся в городки играть,— сказал он.— Не желаете ли принять участие?

Но Куку отказался.

— Удивительный человек Свистонов,— произносил, идя вниз к озеру, Куку, держа Наденьку за локоть.— Какая бодрость в нем, какая веселость, какое остроумие. Он, по-видимому, любит Токсово. А мне оно совсем не нравится. Здесь природа не вызывает душевного волнения. А я люблю там жить, где все величаво. Хорошо жить в обществе великих людей, беседовать с великими людьми.

— Постойте, Иван Иванович.— Наденька подняла глаза.— Смотрите, как хорошо здесь.

Глаза у нее были действительно прелестные, полузеленые, полукарие.

На небесах были барашки в тот вечер, а в озере — и лазурь, и барашки.

Куку накрыл пень своим пальто. Наденька села. Куку сел пониже.

— Наденька,— сказал он нежно,— этот вечер волнует меня. Не в такой ли вечер князь Андрей увидел Наташу на балу и запомнил. Любите ли вы Наташу?

Наденька мечтательно курила, следила, как распускаются в воздухе кольца дыма.

— Зачем вы курите, Наденька? — спросил Куку,— это совсем не подходит к вашему образу. В вас

должны быть великая жизнерадостность и естественность. Бросьте курить, Наденька.— Настоящее страдание звучало в голосе Куку.

Наденька бросила папироску. Папироска упала на сухой дерн и продолжала тлеть и дымить.

— Но я ведь собираюсь стать киноартисткой,— помолчав, сказала девушка.

— Наденька, это невозможно,— пробормотал Куку.

— Как невозможно, Иван Иванович?

— Если вы доверяете мне, не делайте этого шага. Поверьте моей опытности. Вы должны быть Наташей!

Наверху появился Свистонов с сестрой и братом. Свистонов сел с Ией под деревом. Паша стал читать писателю стихи.

— Здорово,— сказал Свистонов,— талантливо.

Паша просиял.

— Значит, стоит писать? — спросил он.

— Конечно, стоит! — подтвердил Свистонов и посмотрел вниз. «Пора»,— подумал он.— Не будете ли вы любезны? — обратился он к Ие.— Спросите у Ивана Ивановича, который час.

Ия бросилась со всех ног.

В тот момент, когда Иван Иванович любовался озером, явилась Ия и, улыбаясь, спросила у задумавшегося:

— Который час?

Куку вынул часы.

— Десять,— солидно ответил он.— Где Свистонов?

— Ждет наверху.

Ия подошла к Наденьке.

— Проскучала? — спросила она тихо.

Теперь шли втроем — Свистонов, Наденька, Куку. За ними шли Телятниковы.

— Не думаешь ли ты,— мрачно спросил Паша,— что Свистонов нарочно играл с нами в городки, чтобы Куку мог полюбезничать с Наденькой?

— Брось, пожалуйста,— ответила Ия.— Откуда такая подозрительность? Просто Свистонов любит молодежь.

Опять день был воскресный. У кирки стояли таратайки. Кирка была наполнена девушками, похожими на бумажные розы, и желтоволосыми парнями. Играл

орган. Сквозь цветные стекла падал свет. Наверху стояли Наденька и Куку. За ними — Свистонов и Трина Рублис. Наденька и Куку смотрели вниз на крестины, иногда бросали взгляд на проход и видели, как невеста, жених и сопровождающие готовятся двинуться к алтарю, лишь только кончатся крестины.

Жених волновался и переступал с ноги на ногу. Невеста была красна как рак.

— Какой материал для вас, Андрей Николаевич,— откинув голову, сказал Куку на ухо Свистонову.— Закрепите, прошу вас, закрепите это! — И Куку снова принялся смотреть.

Белокурая головка Наденьки была близка от него, и он представил свою свадьбу. Гордость изобразилась на лице Куку. Он увидел себя стоящим рядом с Наташей, т. е. с Наденькой. На Наденьке белое платье, фата, в руках у нее свеча с белым бантом, и гулкие своды собора...

Достав платок, важно обтер лицо свое Куку.

Глухонемая вспоминала Ригу,— красивый город Рига,— и надежды, и свою прогулку с приехавшим на каникулы студентом Тороповым в лесок.

Но Куку помешал ее воспоминаниям. Он кашлянул, напружинил грудь. Теперь он презрительно смотрел вниз. Молодые двинулись. Все в церкви зашевелились. Головы всех повернулись к проходу. Смотрел и Свистонов.

Играл орган. Затем говорил пастор. Затем опять играл орган.

Сквозь цветные стекла видно было, как колышется листва деревьев. Видно было, что листья освещены солнцем.

— Очень хорошо,— произнес Куку.— Но я хотел бы для своей свадьбы большего великолепия.

Когда вышли из кирки Наденька, Куку, Свистонов и глухонемая, обратно летели таратайки.

— Зайдемте, выпьемте пива,— предложил Куку, и, вмешавшись в толпу, они вошли в сад при трактире. Все столики и скамейки были заняты. Смех, тяжелый запах пива, струйки дыма, разгоряченные лица, песни, звуки балалаек, гитар и мандолин.

— Настоящий Ауэрбахов кабачок на свежем воздухе,— сказал Куку Свистонову.— Недостает только Фауста и Мефистофеля.

— Ах, Иван Иванович,— ответил Свистонов.— Веч-

но литературные воспоминания. Надо подходить к жизни попроще, непосредственней.

Наконец один из столиков освободился. Четверо друзей сели и потребовали пива. В это время к ним протолкались брат и сестра.

— Можно сесть? — спросили они и кое-как устроились на конце скамейки.

— Я умею пить,— сказала после пятого стакана Ия,— а вот ты, Паша, хотя и мужчина, не умеешь.

— Я умею пить,— ответил Паша,— но я сдерживаю себя.

— Очень я интересный анекдот вспомнила.

— Меня твои анекдоты не интересуют.

— А меня — твои стихи!

— Не ссорьтесь,— попросила Наденька.

За соседним столиком шел оживленный разговор:

— А насчет немцев ты, брат, не прав. Когда я в немецком плену был...

— А бабонька не плоха. Пойду приударю.

— Куда ты, размяк. Сиди!

Слева:

— Нет, нет. Митя, посмотри, задок какой. Маша, Маша, поди сюда.

Направо под соснами:

— Да, Петя, культура великое слово. За него, мне Иван Трофимович говорил, люди на костер шли.

— Ну да, ты культуру построишь. Выпей, дурачок.

— Митька, я недавно прозрел, теперь в церковь хожу. Ты только никому не говори, понимаешь, никому.

Голос из толпы, дожидавшейся свободных столиков:

— Володя, Володенька! иди в помойную яму поспать.

Пьяный, шатаясь, кричит:

— Подойди сюда, ударю!

За оградой показывается группа: парни ведут за кисти рук девицу, вокруг подпрыгивают мальчишки. У девицы платье в беспорядке, волосы распущены. Она плачет горючими слезами и кричит:

— Ой, тошно мне, ой, тошнехонько. Ой, дайте повязаться! — пытается вырваться. Парни, смеясь, ломают ей руки. Она пытается броситься на землю, но, подхваченная под мышки ухмыляющимися, опускается.

— В кустах с мужиком спала,— поясняют толпе парни.— В милицию ведем.

— Нет, нет, вы не Наташа, вы Гретхен,— шепчет

опьяневший Куку.— А я — Фауст, а Свистонов Мефистофель, а глухонемая — Марта!

— Не говорите ерунды,— раздраженно прерывает Свистонов.

Тяжело ступая, к столику друзей подходит пожилой рабочий.

Он останавливается, шатаясь.

— Вы, просвещенные люди, спросить вас можно, почему...

Куку от волнения задевает локтем Свистонова.

Шепотом:

— Сцена за городскими воротами,— восторженно,— сейчас доктором меня назовет!

Рабочий, всматриваясь в лицо Куку, размышляя:

— Гражданин, осмелюсь спросить, не доктор вы будете?

Куку самодовольно смеется.

Куку, Наденька, Свистонов и глухонемая, Паша и Ия, условившись совершить веселую прогулку, отправились к отдаленному озеру. Они захватили с собой одеяла, думки, мясные консервы, папиросы, немного коньяку.

Еще солнце чуть освещало вершины холмов, когда они вышли. Вчера шел дождь, и сегодня с холмов бежал беловатый туман к озерам, но небо было голубое, и воробьи чирикали и взлетали на сырую, покрытую блестящими каплями листву, раскачивались на кустах, слетали на извивавшуюся в даль дорогу. Канавы по сторонам просыхающей и час от часу желтеющей дороги были полны воды.

Ия хорошо зарабатывала, она носила желтые ботинки, купленное по случаю заграничное пальто и желтый портфель на ремешках. Она купила коньяку, головку голландского сыра, банку свежей икры, несколько банок монпансье и компота. Она шла с зеленым мешочком за спиной, впереди.

Паша ничего не купил, но ему покровительствовала Наденька. Она навьючила на него столбик своего любимого печенья, пирожки с вареньем, одеяло, подушечку для головы, полотенце, мыло, кружку и зубную щеточку. Глухонемая несла ватрушки и котлеты.

Куку был великолепен: он специально для прогулки съездил в город, привез краги, купил серую кепи, надел

макинтош. Он, держа в руке артистический чемоданчик, шел веселый. В чемоданчике бок о бок с Пушкиным лежали телятина, ростбиф, ножи, вилки, входившие один в другой стаканчики, бутылка французского вина.

Не отстал и Свистонов. Он нес складную палатку, зеркало, фотографический аппарат.

Свистонов делал вид, что он ухаживает за глухонемой. Ему интересно было, какие возникнут сплетни.

Он нагибался, подносил ей цветы, сорванные у канавы.

Наденька с удивлением оборачивалась.

Куку, не желая отстать от Свистонова, рвал тоже цветы и, соединив их в букет, подносил Наденьке.

Паша забегал далеко в поле, приносил васильки пучками.

— Вы умеете свистать? — спросил Свистонов Ию.— Посвистите.

Ия стала виртуозно насвистывать.

— В ногу,— предложил Свистонов.— Давайте пойдемте в ногу.

Куку, улыбаясь, переменил ногу.

Наденька спросила, как это делается.

Куку показал.

Так шли они до ближайшей деревни. Фокстрот насвистывала Ия.

Подошли они к деревне. Молочницы и дети с любопытством смотрели, куда это они идут в таком боевом порядке. И, чувствуя на себе любопытные взгляды, шествие улыбалось.

— Держите шаг,— говорил Свистонов.— Громче, Ия. Еще громче.

— Не следует ли нам закусить? — внезапно спросил Куку.

— Я чувствую собачий голод,— повернув голову, сказала Ия.

— А вы, Наденька?

— Я с удовольствием.

— К сосне, там тень и прохлада и совершенно сухо.

— Дайте мой чемоданчик,— попросила Наденька.

Паша передал.

Ия скинула свой зеленый мешок, стала рыться.

Куку раскрыл чемодан и стал доставать ножи, вилки, стаканчики.

— Подумать только, несколько лет тому назад,— сказал Куку,— под Питером были волки.

— Неужели? — спросила Наденька.

— Нам всем тогда казалось, что все кончено, а вот теперь мы пьем и едим, и все осталось по-прежнему.

— Вы думаете? — спросил Свистонов и улыбнулся.

— Я вчера прочел новую биографию Наполеона и пожалел, что я не маленького роста.

Ия откупоривала. Тщетно Иван Иванович отнимал у нее пробочник. Наденька резала ростбиф, телятину. Единогласно она была избрана хозяйкой.

Наденька искренно веселилась.

Когда все насытились, Куку вынул переписку Тургенева с Достоевским и стал читать, но разморенные едой путники стали сидя засыпать.

Наденьке привиделась комната в два окна. Светло, светло — на улице солнце. У одного окна сидит девушка, над ней наклоняется мужчина, высокий, тощий, с отвратительным лицом, лысый, с длинными, прямыми волосами. Особенно отвратительны глаза на сером лице. Они какие-то сверлящие. Одет он в грязный коричневый костюм XVI века, как в одном из исторических фильмов. Она знает, что он хозяин ее судьбы и что он сделает с ней, с Наденькой, все, что захочет, и страшно боится его.

Начинает бежать по бесконечным комнатам. Огромный дом, вроде лабиринта. Живет в нем только этот человек. Бежит она по коридору, снова по светлым комнатам, по гостиным с лепными стенами, иногда в конце коридора видит его. Он злорадно смеется, и она снова бежит и знает, что все время он ее видит и находит. Наконец вбегает она в комнату вроде кухни, знает, что здесь дверь на улицу. Смотрит на стену и понимает сразу, почему этот человек знает, где она: на стене план этого дома, а весь путь ее, Наденьки, показывает в нем медная тоненькая проволока, которая сама ложится по ее следам, все время указывая, куда Наденька идет. От проволоки остался маленький свободный конец, и Наденька видит, как она ее отгибает и ставит торчком. Теперь она знает, что проволока ничего не укажет.

Выбегает на улицу. Все дома не достроены. Это еще только высокие, в шесть этажей и выше, футляры с

огромными, вышиной в два этажа, отверстиями для окон. На улице груды грязи, известки и щебня.

Среди этих домов стоит один законченный, но он далек. Там виден свет, и она решает бежать туда.

Среди недостроенных домов, все в подвалах, идет, спотыкаясь, дальше, дальше. Впереди совсем темно, как в шахте, и щетиной торчат острые железные прутья. Заблудилась! Дома давят, она боится, что они сейчас рухнут, и видит свет.

К ней идет совсем молодой юноша, и за ним все время виден свет дорогой. У него очень хорошее лицо. Бежит к нему и рассказывает, как она бежала из лабиринта. Когда рассказывает, что загнула конец проволоки, у юноши делается торжествующее лицо. Он берет ее на руки и, очень легко ступая, несет к свету. Затем переносит к большому дому и говорит: «Мы будем жить здесь. Я знаю одну комнату, и хотя лабиринт рядом, но тот никогда не догадается искать так близко».

Кругом бежит и суетится народ, но на них никто не обращает внимания. И они идут по темным коридорам, где свет так слабо виден, как на картинах голландских мастеров...

Наденька вздрогнула, проснулась и осмотрелась. Под большой сосной сидел Куку, перелистывал книгу. Свистонов, прислонившись к дереву, стоял и смотрел на нее. Ей стало неприятно.

Паша лежал, согнув колени, и ему казалось, что он летит в пропасть, что в пропасти у него распухает большой палец на ноге, что появляется нарыв, превращается в глаз. Это было противно, и он проснулся. Протерев кулаками глаза, дотронулся до ноги. Зевнул.

— Я видел глупый сон,— сказал Паша,— что на ноге у меня вырос глаз. Говорят, Иван Иванович, что вы знаток снов.

— А, вы умеете толковать сны? — оживилась Наденька.

«Вот и тема для разговора»,— подумал Куку и солидно ответил:

— В древности снам приписывали огромное значение. Существовала даже целая наука, если можно это назвать наукой, онейрокритика. Античный мир никогда не сомневался, что сны вызываются в душе божественной силой.— Куку, довольный своими познаниями, посмотрел на всех, слушают ли все и как слушают.— Поэтому, с этой точки зрения,— продолжал он,— сон

есть знамение; но если обратить внимание на час, когда вы видели сон, и на то, что мы перед тем плотно покушали, то сон ваш, Наденька, не совсем надежен.

И победоносно Куку обвел глазами слушающих, и, чтобы внушить еще большее уважение к себе Наденьки, он решил вспомнить Апулея.

— По мнению Апулея, последствием обильной еды бывают мрачные и гибельные сновидения,— произнес он с пафосом.— Кроме того, онейрокритики утверждают, что винные пары даже утром мешают видеть во сне истину. Но я отнюдь этого не думаю, Наденька, хотя и не знаю вашего сна,— развел он руками.

Не расскажете ли вы нам, что вы видели во сне? Это очень интересно, я же вспомню сны великих людей, и в воспоминаниях мы проведем время до заката. Я расскажу вам сны великих людей... Теперь только я вижу, как здесь красиво, кругом холмы...

И забыв, что Наденька еще не рассказала своего сна, Куку, задумавшись, начал:

— Прежде всего следует вспомнить...

Ия и Паша подошли поближе и остановились. Но Наденьке было грустно, и она невнимательно слушала. Ей не интересны были сны великих людей. Хотя ее сон кончился вполне благополучно, но все же ей казалось, что все стало темно вокруг, даже как-то прохладно. Да и действительно, небо за время послеобеденного отдыха сплошь затянулось тучами.

Вдали прогрохотало.

Бросились собирать вещи и переносить к стволу сосны. Свистонов, с помощью брата и сестры, расставил палатку. Сейчас все забрались в нее, перенесли вещи от сосны.

— Ну, что ж дождь не идет,— пошутил Иван Иванович.

— Подождите, Иван Иванович,— прервала Ия.— Я веду в «Красной газете» уголок природы. Я спец по погоде.

В палатке было темно. Свистонов закурил.

— Андрей Николаевич, не курите,— сказала неприязненно Наденька.— Здесь душно.

Свистонов бросил папироску.

— Паша, не смейте, отойдите,— приказала Наденька.

— Наденька,— произнес Куку.— Время самое подходящее. Темно, бушует буря. Мы все обещаем внимательно вас слушать.

Гроза отошла.

Один, держась за ствол сосны, курил Паша. Он размышлял о поцелуе Наденьки. Братский это был поцелуй или не братский. Пожалуй, что только братский. Слишком легок, слишком воздушен. «Не любит она меня,— подумал он,— и не может полюбить. Чтобы любили, надо быть разговорчивым, и потом, у меня нет никакой будущности. Кончу институт, стану географию преподавать,— рассмеялся он.— Пусть будет так, а в газетах работать не буду. Пусть Ия зарабатывает. Но Наденька любит театр, сладкое, кинематограф...»

— Мечтаете? — спросила Наденька, подходя по тропинке сзади.— Это хорошо — мечтать. Я сяду, а вы положите свою голову мне на колени и продолжайте мечтать. Я буду думать, что я героиня фильма, хорошо пожившая женщина, а вы несчастный молодой влюбленный. Я буду гладить вас по голове.

Паша покорно лег на траву и положил голову на край платья Наденьки.

— Я люблю,— сказал он тихо.— Я по-настоящему люблю вас.

— Великолепно,— прервала Наденька.— Побольше страдания. Так, так. О, мой дорогой! — опустила она лицо и приложила руку к сердцу.— Я верю, что вы страдаете! Как грустно, что мы встретились так поздно, когда я люблю уже другого! Пусть ничтожного, пусть развращенного, но с сердцем,— глубоко вздохнула она,— ничего не поделаешь. Вы чистый, вы тонкий, вы только...

— Наденька! — простонал Паша.

— Целуйте руки и плачьте, встаньте и отойдите к обрыву. Я подойду,— стараясь не разжимать губ, сказала Наденька.

Паша покорно встает, целует руку, медленно подходит к обрыву.

Наденька сидит, смотрит, затем бежит и кричит, стараясь бежать красиво:

— Арнольд, Арнольд!

— Вы душечка, Паша,— говорит она,— дайте я вас поцелую.

Сосны шумели ветвями, на кустах шиповника алели ягоды. Бывший анархист Иванов поднимался. Он был среднего роста, лицом бледен, долгогрив. Он шел, опи-

раясь на палочку. Опустился на скамейку у палисадника.

На даче, недалеко от озера, вышла на веранду Зоя Знобишина, зевнула, заложила руки за шею и, подняв лицо, направила локти вперед и опять зевнула. Села в кресло-качалку и принялась рассматривать свои руки. Затем повернула голову направо к саду, снова зевнула. С интересом стала смотреть на кошку, ползком подбиравшуюся к голубю. Прошлась по веранде, сошла в сад, подумала, что солнце печет, что пора одеваться.

В соседней даче на холме многозначительно беседовали мамаши о своих играющих детях. Конечно, их дети будут инженерами, у них уже сейчас необыкновенные способности. Один уже и сейчас гудит как паровоз. Другой мечтает о подводной лодке.

Зоя Знобишина опять вышла на веранду. Она натянула шаль и опять ее отпустила. Пожевала губами. Теперь все так неинтересно! Она шла, пожевывая губами, делая зигзаги по тропинке. Иванов встал, поклонился.

— Скучаете? — спросила Зоя и села рядом.— Тяжело вам живется,— сообщила Зоя.

— Н-да, не жизнь, а жестяночка,— соединив колени и приподнимая их, посмотрела Зоя на Иванова.— Люблю я таких людей, как Свистонов. Веселый он человек.

— Опустошенный.

— Завидуете,— решила Зоя.

— Дался вам Свистонов.

— Вы подождите! Вот подождите, познакомлю я вас с ним, он вас и опишет. Поглядит, поглядит и опишет. Вы для него подходящий материал. Он любит мертвеньких.

— Я не мертвенький, Зоя Федоровна.

— Врете, мертвенький. Скучно,— пожевала она губами.

Наступил день рождения Зои Федоровны...

Она не скрывала своих лет. Розовая, румяная, с подкрашенными недавно волосами, она ждала гостей.

Должны были приехать Павлуша Уронов, драматический актер, Аллочка Базыкина — птичка, так ее звали в глаза и за глаза, Ваня Галченко — культурный молодой человек, Сеня Ипатов — несбывшийся певец,— все

это были очень интересные люди. По крайней мере, такого мнения были они друг о друге.

С утра мороженщику Пете велено было подъехать с тележкой к пяти часам вечера, чтобы сразу же после обеда было мороженое. С утра Зоя Федоровна и прислуга чистили малину. Иванов им помогал. С утра приходили поставщики: кто приносил творог и сметану, кто — грибы, кто — рыбу.

Первый приехал Ваня Галченко — культурный молодой человек. Он принес купленную на барахолке фантазию XIX века. Фантазия изображала сосуд, по-видимому, помпеянский.

— Ах, я не могу, не могу,— замахала руками Зоя Федоровна.— Видите, я малину чищу.

— Ничего,— ответил Ваня и, взяв, поцеловал обнаженный локоть.— Поздравляю.— И поставил на комод пакет.

— Вы посидите пока в саду, я скоро кончу.

Ваня сошел в сад и присел на скамейку. Лицо у него было незаметное, с небольшим лбом. У Вани был вид слегка помятого и невыспавшегося человека. У него были очень коротенькие реснички. Он был одет в выцветший синий костюм, и галстук торчал у него горбом из-под жилета. Ваня умел немного играть на рояле, слегка пел, мог потанцевать, любил, после чтения Курбатова, Петербург и его окрестности. От нечего делать посещал с 1918 по 1924 год музеи. Теперь где-то служил.

Ваня, посидев и поскучав, вышел за калитку, спустился на дорогу и, повернувшись лицом по направлению к готическому вокзалу, стал ждать гостей.

Задымилась пыль на дороге, и показалась голова лошади. Вскарабкалась лошадь на гору и вывезла таратайку с Павлушей Уроновым и птичкой.

Подбежал Ваня Галченко, помог вылезти Аллочке Базыкиной и поздоровался.

— Ну как? Что слышно новенького? — спросил он, не надеясь услышать новенького.

Беседуя о погоде и о поезде и о том, что в городе пыльно, проводил Ваня гостей до веранды. Опять вышел на дорогу и снова принялся ходить вдоль канавы, надев вместо шляпы платок с завязанными в узелки концами.

Дневные гости были почти в сборе... Сидели на скамеечках и на принесенных из комнат буковых стульях,

играли в фанты, когда совершенно неожиданно появился Психачев, собиратель гадостей, так он острил сам над собой.

— Вот видите,— приветствовал он рукой и словами вышедшую на веранду Зою Федоровну,— я не забыл, что сегодня день вашего рождения. Хоть и без приглашения, но приехал.— Это был довольно грузный, пожилой человек, желтолицый, с слегка вьющимися седыми волосами, одетый в высшей степени неряшливо. Брюки у него кончались фестонами, жилет был покрыт жирными пятнами.

Поздоровавшись, опять ушла Зоя Федоровна хлопотать по хозяйству.

Гости все время перебрасывали платок и произносили слова, время от времени вставали на колени, стараясь не запачкать платья. Темно-синяя каскетка Вани Галченко, стоявшая на отдельном стуле, постепенно наполнялась. Карандашики, перочинные ножички, брошки, кольца, записная книжечка блестели в ней на солнце.

Прислуга, высунувшись из дверей веранды, радостно смотрела на приехавших повеселиться. Полная, румяная, босая, веселая, она любила гостей Зои Федоровны, всегда вежливых и предупредительных. Сейчас она смотрела, как Павлуше Уронову, солидному и противящемуся, завязывают глаза, как сажают его на табуретку, как лысый Сеня Ипатов держит каскетку, наполненную вещицами, а птичка, став на цыпочки и вынув карандаш в серебряной оправе, тоненьким голосом, задыхаясь от смеха, спрашивает, что этому фанту делать. И Павлик Уронов, подумав, придавая своему голосу замогильный характер, произносит: «Вращаться на одной ножке». И видит растрепанная прислуга, что там, где стоит металлический розовый шар у клумбочки цветов, Ваня Галченко, подняв ногу и скрестив руки на груди, начинает вращаться.

— Еще, еще,— кричат все и аплодируют. И он вращается все быстрее и быстрее. Птичка вынимает записную книжечку из каскетки и опять спрашивает: «А этому фанту что делать?» — и задорно смеется.

Опять думает Павел Уронов и, подняв руку вверх, возможно выше, возглашает: «Кормить голубей».

И, вытянув шею, Даша видит, как расставляются стулья в один ряд, как садятся гости и как быстро

поворачиваются головы, и видит она, что Наденьку поцеловал Куку.

После обеда стала сходиться вечерняя публика, т. е. дачники. Становилось свежо, и Зоя Федоровна раздала гостям свои теплые вещи. Дамы получили платок, жакетку, шарф. Уронову она накинула на плечи малиновую бархатную кофту, предназначенную к перешивке и потому захваченную.

Началось демонстрирование талантов.

Уронов декламировал:

Качает черт качели
Мохнатою рукой...

Он декламировал громко, блестяще, и его синий костюм приятно выделялся на фоне зелени.

Паша, запинаясь,— свои стихи.

Шансонетку про клоуна исполнила птичка.

Психачев, положив ногу на перекладину забора, беседовал со Свистоновым.

— Понимаете, я для вас интересный тип. Возьмите меня в герои. Я дал по морде австрийскому принцу, и за мной бегают женщины. Это все тля там собралась. Охота вам с ними возиться,— посмотрел он на гостей.— Я —другое дело. Что? слушаете? Хотите, я про них всех расскажу вонючие случаи? Ладно? А вы меня не забудьте! Обязательно вставьте. Выньте записную книжку и записывайте.

Свистонов, улыбаясь, вынул аккуратную книжечку.

— Я доктор философии. Не верите? Вы можете описать меня со всей моей слюной и со всеми моими вонючими случаями. Да, я честолюбив. Скажите, вы талантливы? вы гениальны? Вы хорошо меня опишите. Я хочу, чтобы все на меня показывали пальцем. Фамилию оставьте ту же — Психачев. Это звучит гордо.

— А женщины действительно за вами бегали? — спросил Свистонов, улыбаясь.

— Я вам расскажу. Знаете — озера, Швейцария и тому подобная ерунда. Я был студентом, я ее мучил на фоне гор, мучил и не взял.

— Не смогли? — спросил Свистонов.

— Мне нравится мучить женщин.

— Знаете, это старо, это не годится для романа. Свистонов, опустив книжку, играл карандашиком, прикрепленным серебряной цепочкой к карману.

— Попробуем иначе подойти к вам,— сказал он.—

Вы — тихий, незатейливый человек, любящий мелочи жизни. Вас не влекут мировые вопросы, потому что вы знаете, что с ними вам не справиться. В вас не творческое, а бабье любопытство. Вы слушали философию из любопытства и ботанику изучали из любопытства...

— Да знаете ли, я и в университет поступил, чтобы его охаять. Без всякой веры философию изучил и докторский диплом получил, чтобы над ней посмеяться.

— В вас есть нечто не от мира сего,— пошутил Свистонов.

— Жизнь моя пропадает, художественно построенная жизнь! — горестно воскликнул Психачев.— Сам я не могу написать о себе. Если б мог, к вам бы не обратился.

— Все это романтика,— сказал Свистонов, пряча карандаш.— Поинтереснее расскажите.

— Какого же тут черта романтика,— стал брызгаться слюной Психачев, приблизив свое лицо к лицу Свистонова.— Человек всю свою жизнь прожил с желанием все охаять и не может, ненавидит всех людей и опозорить их не может! Видит, что все его презирают, а их на чистую воду вывести не может. Если бы я имел ваш талант, да я бы их всех под ноготь, под ноготь! Поймите, это трагедия!

— Это происшествие, уважаемый Владимир Евгеньевич, а не трагедия.

Раздалось:

Не счесть алмазов в каменных пещерах...

Психачев молчал, молчал и Свистонов.

Темнело.

В окнах дома, ярко освещенного, видны были силуэты, державшие друг друга в объятиях, медленно идущие.

— Неужели я, по вашему мнению, не интереснее этих людей? — прервал молчание собеседник Свистонова.

— Это все пустяки. Все люди для меня интересны по-своему.

— Я не об этом вас спрашиваю, не для вас, а вообще.

На крыльце, а затем в саду показалась Зоя Федоровна. Свистонов, заметив приближавшуюся белую фигуру, быстро проговорил:

— Дайте ваш адрес,— и в темноте записал.

— Что же вы здесь стоите? — появилась Зоя Федоровна перед умолкшими.— Вы ведь танцуете? — обратилась она к Психачеву.

Психачев поклонился.

— Танцую, танцую, Зоя Федоровна.

Входя в дом, они столкнулись в дверях с Наденькой и ритмически двигавшимся за ней под музыку Куку.

— Куда вы?

— Натанцевались. Идем в сад освежиться,— задыхаясь, ответила Наденька.

— Ладно, только смотрите, скорей возвращайтесь.

Наденька и Куку сели на скамейку.

— Луна,— сказал Куку,— это романтика. Но в наш трезвый век нам не нужна романтика... И однако, Наденька, уж такова подлость человеческой натуры, луна на меня действует. Вспоминаешь, вспоминаешь, вспоминаешь.

Он отодвинул ветку и продолжал:

— Разные легенды, предания старины глубокой. Мне хочется сейчас говорить под музыку, Наденька, о гибельных двойниках, о злых рыцарях, о прекрасной горожанке! Хотел бы я жить в те времена отдаленные. Вижу я себя в готическом замке, в ночной классический час...

Поясняющим шепотом:

— Полночь. И своего двойника. Он высок, пепельно бледен и манит меня за собой. Сам опускается мост, цепями гремя. Выходим мы в черное поле, и там мой двойник бросает мне перчатку, и мы деремся, и мучаюсь я,— ведь в замке высоком моем осталась жена молодая моя на одиноком покинутом ложе. Это вы, Наденька!

— Это чудесный фильм,— ответила Наденька.— Как жалко, что музыка смолкла!

— Ах, Наденька, Наденька,— произнес Куку,— будьте воском в моих руках. Какого я из вас создам человека!.. Мы будем жить тихо-тихо; хотя нет, мы будем путешествовать. Мы посетим достопримечательные страны, увидим памятники, пожалуй, и я прославлюсь, вот только ленив я ужасно...

— Я не брошу кинематографа,— покачала головой Наденька.

— Неужели и для меня не бросите? — стараясь говорить шутливо, спросил Куку.

— Смотрите, там Паша.

Действительно, Паша стоял на освещенном крыльце и искал глазами Наденьку в темноте сада.

Куку и Наденька замерли.

— Какой неприятный человек,— тихо сказал Куку.

Но Паша, постояв, нерешительно вернулся обратно.

Публика, покачиваясь, шумно расходилась.

Свистонов прошел за калитку с Ивановым:

— Мне говорили про вас, что вы — пренеприятный человек.

— Досужая сплетня,— ответил Свистонов, беря под руку Иванова.

— Писателем быть,— сказал Свистонов,— не особенно приятно. Надо не показать много, но и не показать мало.

— Прежде всего, не следует причинять горя людям,— заметил Иванов.

— Конечно,— ответил Свистонов.— Какая сегодня тихая ночь! Какой прелестный человек Иван Иванович Куку! Прелестнейшие устремления! Необыкновенная тяга к великим людям! Вы давно с ним знакомы? — спросил он у Иванова.

— Да лет пять.

— Скажите, чем вы объясняете, что он...

Рано утром вернулись Свистонов и Иванов на дачу.

Зоя Федоровна еще спала среди хаоса предметов, бумажек, гор окурков, подарков.

Она нежилась в своей постели и вздыхала.

— Ну, как,— спросила она за обедом Иванова,— понравился вам Свистонов?

— Очаровательный человек.

— Ну, теперь подождите.

Куку с каждым днем убеждался, что Наденька — Наташа, и появлялись в нем сила воли и духовное упорство и то многообразие способностей, которые сопутствуют нарождающейся любви. Казалось, он помолодел. Его глаза приобрели блеск молодости, члены стали гибкими. Он чувствовал, как в нем играет жизнь. От него начало исходить настоящее очарование.

Кроме того, уже наступала осень с ее золотыми листьями, когда дачники разъезжаются и наступают тишина и дожди за окнами.

И звучала песнь в душе у Ивана Ивановича, как у настоящего влюбленного.

Наденька смотрела на Ивана Ивановича и не могла оторваться. Ее тянуло к нему. Она краснела при встрече с ним, ее глаза смотрели доверчиво.

Наконец Наденька уехала.

Уехал и Куку.

Глава третья

КУКУ И КУКУРЕКУ

Поезд черепашьим шагом плелся по направлению к Ленинграду. Дачные вагончики дребезжали. Трина Рублис читала книгу; ее пальцы, от садящегося солнца ставшие румяными, перелистывали порозовевшие страницы. Она увлекалась фабулой и пропускала описания. У нее будет опять мужчина. Она была спокойна.

Свистонов стоял у окна, нервничал.

Недалеко от памятника они наняли извозчика. Через час показалась гостиница «Англетер».

Свистонов помог снять пальто, притушил свет, сел к столу. Глухонемая начала перестилать постель. Она сняла одеяло, простыни, затем снова постелила. Взбила подушки. Ей было скучно. Это не было похоже на семейный уют.

Свистонов работал. Писал, читал и вел себя как дома. Переводил живых людей и, несколько жалея их, старался одурманить ритмами, музыкой гласных и интонацией.

Ему, откровенно говоря, не о чем было писать. Он просто брал человека и переводил его. Но так как он обладал талантом, и так как для него не было принципиального различия между живыми и мертвыми, и так как у него был свой мир идей, то получалось все в невиданном и странном освещении. Музыка в искусстве, вежливость в жизни — были щитами Свистонова. Поэтому Свистонов бледнел, когда он совершал бестактность.

Глухонемая, не дождавшись Свистонова, спала. Электрическая лампа, несмотря на рассвет, все еще горела. Листы покрывались мелким неуравновешенным почерком, записная книжка вынималась и в ней справлялись нервно, торопливо. Руки работавшего дрожали, как у

пьяницы. Он оборачивался, не проснулась ли, не помешает ли. Но глухонемая спала, и ее лицу вернулось девичье выражение. И это девичье выражение отвлекло Свистонова от возникавшего перед ним мира. Он отложил карандаш, на цыпочках подошел, снял вещи, сел у изголовья, нежно погладил глухонемую по голове, посмотрел на ее раскрытые уста, прислушался к ровному дыханию. Он чувствовал себя в безопасности. Она не подслушает его мыслей, никому не передаст подробностей его творчества. С ней он мог говорить о чем угодно. Это был идеальный слушатель. Пусть ходят сплетни, пусть говорят про него что угодно, но он, конечно, не станет жить с ней. Для этого она ему не нужна. Но он подумал о том, что не следует пренебрегать ею, что, может быть, для одной из его глав пригодится ее фигура, ее прошлое, настоящее и будущее, и он стал припоминать все то, что он о ней слышал, и, сев к столу, задумавшись, стал переводить и ее в литературу. Это сопровождалось болезненными явлениями: сердцебиением, дрожанием рук, ознобом, утомляющим все тело, напряжением мозга. К утру Свистонов, как кукла, сидел перед окном. Ему хотелось кричать от тоски. Он чувствовал болезненную опустошенность своего мозга.

Днем они напились кофе и расстались.

Глухонемая криво улыбалась. А Свистонов, отправляясь в редакцию, купил газету, прочел и злобствовал. Он презирал газету, в которой его выругали. Он знал, что сегодня рецензент, встретившись с ним на лестнице в издательстве, отведет его в сторону и начнет извиняться:

— Это ведь так. Этого время требовало. Мне ваши книги очень нравятся. Но вы сами понимаете, Андрей Николаевич, моей обязанностью было вас выругать.

И действительно, когда Свистонов поднимался по лестнице, к нему подбежал рецензент.

— Да знаете ли вы, с кем имеете дело! — затрясся Свистонов.— Да я вас так опозорю! Вы думаете, что вы для меня мелкая рыбешка...

Придя домой, весь вечер пытался отомстить Свистонов рецензенту, но не смог. Этот человек был для него литературно неинтересен. Решил сегодня же, не теряя времени, пойти на доклад в Географическое общество, чтобы встретиться с Пашей.

— Правда, славная девушка Наденька? — спросил

Свистонов во время перерыва.— Куку как будто влюблен в нее.

— Он ее обманет,— сказал, краснея, Паша.— Человек, одаренный такими познаниями, страшен. Я был вчера на балу в киноинституте, Куку весь вечер танцевал с ней. Он не подпускал меня близко, ходил вокруг нее, как петух.

— Знаете что, Паша, плюньте на доклад, пойдемте пиво пить.

— Спасибо, Андрей Николаевич, мне очень хочется выпить.

— А вы не горюйте, Паша, она к вам вернется.

— Если бы были деньги, как бы я запьянствовал, Андрей Николаевич!

— Поберегите свой талант,— ответил Свистонов.— Поверьте, милый мой Паша, всё это глупости. Храните себя для литературы. Написали ли вы рассказ о своей жизни, как я советовал вам? Это отвлекло бы вас от несчастной страсти, а тем временем и Наденька к вам вернулась бы.

Паша вынул тетрадь.

— Это моя исповедь. Только, Андрей Николаевич, обещайте никому не показывать.

— Потом я внимательно прочитаю,— сказал Свистонов, пряча рукопись в карман.— Не блестяще ли танцевал Куку? Да, да... и она сияла? А потом Куку... не пошел ли провожать ее? Не сели ли на извозчика, и Куку не щедро ли дал на чай швейцару? А вам безумно хотелось выпить...

— Наденька за весь вечер ни разу не позвала меня, Андрей Николаевич! А отчего вас не было там, Андрей Николаевич?

— Забыл туда пойти,— ответил Свистонов.— Знаете что, Паша, я сегодня получил деньги. Прокатимтесь на Острова. Это вас развлечет.

— Я бы остренького съел, Андрей Николаевич.

— Да,— сказал Свистонов,— селедочку и мороженое. Вообще, все остренькое и холодненькое помогает в скорби! — И Свистонов, жалея, что он не побывал в киноинституте, решил прокатить Пашу, как прокатил Куку Наденьку из киноинститута.— Хотите цветов, Паша? — спросил Свистонов.

Паша посмотрел на него с удивлением. Они шли мимо Большого драматического театра, мимо Апраксина рынка, мимо Гостиного двора.

Свистонов купил Паше цветов.

По пустынным Островам ехал извозчик. В нем сидели Свистонов и Паша.

— Хорошо? — спросил Свистонов.

— Очень хорошо.

— Что вам напоминает эта зелень, Паша?

Паша грустно:

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...

«Ответ скорее для Куку, а не для Наденьки»,— подумал Свистонов.

— А какой оркестр играл в киноинституте? — И всю дорогу воссоздавал Свистонов вечер в киноинституте и разговаривал с Пашей так, как, по его мнению, говорил с Наденькой Куку. Затем, откинувшись, вынул записную книжку, стал писать:

Кукуреку и Верочка вышли из Большого драматического театра:

— Верочка,— сказал Кукуреку,— поедемте на Острова, где ездил Блок.

— В автомобиле поедем? — спросила Верочка.

— Если хотите,— ответил Кукуреку,— но я бы предпочел извозчика.

— Нет, нет, на автомобиле!

— Тогда пойдемте к Гостиному двору. Любите вы цветы? — спросил Кукуреку и, перейдя с Верочкой улицу, купил три розы.

Они прошли мимо пустынных аркад Гостиного двора, мимо дремлющих за натянутыми веревками сторожей и вышли на проспект 25 Октября.

— Любите ли вы эту улицу, Верочка? — спросил Кукуреку.— Подумайте только, сколько раз она подвергалась литературной обработке. Красота! — добавил он.

Верочка шла, широко раскрыв глаза и прижимая к груди цветы. Она думала, вот исполняется ее мечта, начинается красивая жизнь. Но ей слегка было жаль, что действие происходит не в Берлине, где так блестит асфальт, что автомобили и люди отражаются. Кукуреку нанял таксомотор, подсадил Верочку, и они поехали на Острова.

Кукуреку смотрел по сторонам...

Но Паша пошевелился.

— Что записываете, Андрей Николаевич?

— Одну минуту, Паша.— И Свистонов поспешил закончить набросок:

Кукуреку довел Верочку до ворот. Заря освещала верхние этажи домов. Он посмотрел на Александровский сад и вздохнул:

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...

Произнеся эти стихи, Кукуреку поцеловал руку Верочки и удалился, насвистывая. Он был доволен, что он, как Блок, сдержал себя и доставил Верочку в целости домой.

Вернувшись домой, отдохнув, Свистонов стал читать. Он читал медленно, как бы шел пешком по прелестным окрестностям. Он любил над каждой фразой подумать, посидеть, покурить. Наиболее заинтересовывавшие его места он перечитывал в переводах старых и новых. Незаметно прошла ночь, он стал думать о сегодняшнем дне, что предпринять, куда пойти. Стал смотреть на бегущий трамвай, на спешащих людей, на желтые кучи песка и принялся писать письмо своему другу, прося предоставить в его распоряжение конфетные бумажки, записки, дневники его родственников и знакомых, обещая все это вернуть в целости и сохранности.

Затем решил поспать. В то время, как он ложился в постель, ему казалось, что он до тонкости знает не только слова и дела, но и сокровенные помыслы Ивана Ивановича, что теперь можно приступить к планомерному творчеству. Он думал о том, что никак нельзя уничтожить полноту Куку, что и баки Ивану Ивановичу необходимы, что и страсть его к Детскому Селу следует оставить, что лучше, чем в жизни, не придумаешь; что, может быть, когда уже все будет написано, можно будет кое-что изменить, что сейчас и фамилию следует взять по той же линии. Не Куку, а Кукуреку, фамилию, наскоро придуманную во время ночной прогулки.

Работа шла медленно, но верно.

На бумаге появился Иван Иванович. Самодовольная фигура то здесь, то там замелькала на страницах, то она наслаждалась, сидя на диване, принадлежавшем Досто-

евскому, то читала в Пушкинском Доме книги из библиотеки Пушкина, то прохаживалась по Ясной Поляне. И был взят дом, в котором жил Куку, правда, дом Свистонов перенес в другую часть города, и было показано, как говорит Куку.

Свистонов и с собой поступал бесцеремонно. Возьмет какой-нибудь предмет, стоящий у него на столе, или факт из своей биографии и привяжет к кому-нибудь. И тогда заохают все вокруг: «Смотрите, как он честит себя»,— и понесутся слухи, один другого удивительнее. А Свистонов еще увеличивает сплетню.

Специально он нес наполовину готовую главу о Кукуреку, свернутую в трубочку, в общество довольно еще молодых сплетников и сплетниц.

Общество ждало его прихода, готовясь проникнуться восхищением, насладиться соотношением придуманного и реального, порастрястись, дать пищу уму своему и воображению.

— Ах, этот Свистонов,— говорили они.— Вот он интересно пишет. А кто Камадашева, наверно, Анна Петровна Рамадашева!

Коллектив сплетников считал себя истинным ценителем литературы. Поймает какого-нибудь писателя и попросит доставить удовольствие.

Писатель, предполагая, что он читает людям по простоте душевной, и прочтет. И сияют глаза у сплетника, и весь он расцветает. И хлопает писателя игриво по плечу: «Я узнал: Камадашева, несомненно, Рамадашева, а конструкция вашего произведения похожа на конструкцию Павла Николаевича». И писатель, оглушенный, сидит и почесывает в затылке. «Опростоволосился,— думает он,— на кой черт я им читал».

В городе сплетники и сплетницы распадались на круги. И сплетники и сплетницы каждого круга между собой были знакомы. Когда прошел слух, что Свистонов предполагает читать у Надежды Семеновны, стали ждать приглашения. Несколько сплетниц и сплетников даже зашли предварительно к Надежде Семеновне узнать, можно ли будет привести своих знакомых из другого круга.

Таким образом, когда Свистонов пришел, он застал сборище в разгаре. На диванах, на пуфах от диванов, на стульях, на ковре, на подоконниках сидели зрелые,

молодые и пожилые. Ждали его и оживленно разговаривали.

Свистонов поцеловал каждой сплетнице ручку, пожал руку каждому сплетнику, устроился за столиком поудобнее. Надежда Семеновна, как хозяйка дома, села поближе, чтобы не пропустить ни одного слова, и все начали внимательно слушать.

Время от времени возникало хихиканье, перешептывание. Узнавали своих знакомых, некоторых не узнавали. Тогда спрашивали друг у друга на ухо: «А это кто?» — и лица становились озабоченными. И наконец, как молния, блистала догадка, и они опять принимались перешептываться. Окружив толпой Свистонова, они выражали ему свое восхищение.

— Нет, нет,— говорил Свистонов так, что все чувствовали: «да, да».

Все сели за стол и стали пить чай, самовар шумел, печенье хрустело, и тут-то Свистонов начал собирать новые сплетни.

— Ах, знаете, что произошло? Алексей Иванович омолодился. Женился на молоденькой. Вот бы взять вам его в герои!

— Какой материал, уж скажу я вам, сдохнуть можно. И как удивительно женился. Поехал специально в Детское Село, поближе к пушкинским пенатам, и там в Софийском соборе брак состоялся.

«Для Кукуреку,— подумал Свистонов,— как раз для Кукуреку».

— А вот Никандров, тот всю жизнь искал тургеневскую девушку. Уже дожил до сорока лет, наконец нашел. Женился. Теперь тоже блаженствует!

Ушел Свистонов, и понеслась по городу сплетня: Кукареку не кто иной, как Куку!

Придя домой, под свежим впечатлением Свистонов стал дополнять одну из глав:

Постепенно Кукуреку убеждался, что Верочка — тургеневская девушка, что в ней есть нечто от Лизы. Все сильнее он чувствовал любовь. Душа его трепетала. Мать отпускала Верочку с Кукуреку, и они вместе посещали Пушкинский Дом, и Литературные мостки, и даже съездили в село Михайловское. Роман протекал тихо. Часто Кукуреку слушал, как играет на рояле Верочка. Сидя в кресле, иногда он чувствовал себя до

некоторой степени Лаврецким. И все нежней и нежней играла Верочка Шопена, и все темней и темней становилось в комнате, и, наконец, вспыхивали электрические свечи.

Куку в действительности все более и более влюблялся в Наденьку. И за неимением времени все реже встречался со Свистоновым, и еще не знал, что Свистонов уже за него прожил его жизнь. Ездил Куку с Наденькой по пригородам. Тоже посетил село Михайловское, только он Наденьку сравнивал не с Лизой, а с Наташей, но верил, что она навсегда останется Наташей и не станет бабой.

Кругами шла сплетня. Подсматривали за Куку. Как он идет путями, уже написанными. Наконец, дошла сплетня до Куку, и впал Куку в восхищение — наконец-то он попал в литературу.

И сообщил об этом Наденьке как о величайшем событии своей жизни.

— Наденька,— сказал важно, беря ее за руку,— я в таком восхищении. Наш друг Свистонов меня обессмертил! Он написал обо мне роман. По слухам — замечательный. Говорят, со времени символистов не появлялось подобного романа. А написан он стилем исключительным, и охватывает он целую эпоху.

— Но ведь вы собирались писать вместе?

— Я ленив, Наденька, ничего не вышло.

Наденька посмотрела на Ивана Ивановича. Она уважала его, считала его лицом умнейшим.

— Ну и хорошо, Иван Иванович,— сказала она ласково.— Я так, так рада, что вы довольны. Андрей Николаевич мне часто говорил, что он вас очень любит, что вы человек исключительно интересный.

— Я чувствую себя именинником в некотором роде. Идемте на Неву, Наденька, гулять. Идемте, купимте торт и отпразднуем это событие. Милая Наденька,— продолжал Куку,— скоро, скоро мы отпразднуем нашу свадьбу. Будут только ваши подруги и мои друзья. Но пока не говорите никому. Мы разошлем карточки — такая-то и такой просят вас пожаловать на имеющее быть в Детском Селе в соборе святой Софии...

Письмо Леночки из Старой Руссы Свистонову.

«Дорогое мое солнышко! Как подвигается твой новый роман? Много ли тебе приходится над ним работать?

Не переутомляйся. Спи по ночам и ешь как следует.

Как твой поляк, граф и грузин? Достал ли ты нужные материалы? Я читала в газетах, что твой роман скоро появится.

Ты просил меня написать, что я помню о Лизе из «Дворянского гнезда». Ну и ленив же ты, мое золотце. Это я шучу, Андрюшенька! Я понимаю, тебе нужно узнать, что запоминается от ее образа. Я после обеда завела разговор. Пишу тебе в лицах:

Пожилая дама, худенькая, 48 лет, длинноносенькая:

Лиза любила уединяться. Читать Священное Писание. Любила очень природу, птичек. Мечтать любила. Подруг у нее не было. В детстве большое влияние имела на нее няня. Считала за грех, что она полюбила Лаврецкого, женатого, считала себя виновной.

Педагогичка, 26 лет:

Дочь помещика. Очень смутный образ. Сад. Она уходит в монастырь, потому что она полюбила Лаврецкого. Няня вместо сказок ей читала жития святых мучеников. Рано ее будила, водила по церквам.

Местный критик:

Абсолютно не помню ничего. Я так давно читал, что ничего не осталось.

Местный донжуан:

Я помню, как Лаврецкий стоит на лестнице. Солнце светит сквозь волосы Лизы. Помню, она гуляет со стариком. Помню открытки. Он сидит, она стоит с удочкой.

Вот все, что я могла собрать для тебя, Андрюшенька, сегодня. Вообрази, какая здесь скука. Говорят только о своих болезнях и сколько мужья зарабатывают. Целую тебя крепко».

Сидя на фоне давно не раскрываемых книг, начал писать следующую главу Свистонов. Работалось хоро-

шо, дышалось свободно. Свистонов любил цветы, и фиалки стояли на столе в большом граненом стакане. Свистонову писалось сегодня так, как никогда еще не писалось. Весь город вставал перед ним, и в воображаемом городе двигались, пили, разговаривали, женились и выходили замуж его герои и героини. Свистонов чувствовал себя в пустоте или, скорее, в театре, в полутемной ложе, сидящим в роли молодого, элегантного, романтически настроенного зрителя. В этот момент он в высшей степени любил своих героев. Светлыми они казались ему. И ритм, который он в себе чувствовал, и неутолимое желание гармонического отражались и на выборе, и на порядке слов, ложившихся на бумагу.

Раздался стук, и очарование спало. «Кто бы это мог быть? — подумал раздраженно Свистонов.— Пожалуй, не стоит открывать. Вечно помешают». И он прислушался.

Стук повторился. «Черт знает что,— прошептал Свистонов.— Даже поработать не дадут. Все равно больше писать не смогу». И, закрыв папку, отпер дверь. На пороге стоял Куку.

— Простите, Андрей Николаевич,— произнес Куку,— что я так неожиданно к вам ворвался. Но знаете — дела. Предсвадебная горячка.

— Пожалуйста, пожалуйста,— ответил Свистонов и помог раздеться Куку.

— Ну, что у вас новенького? — спросил Куку.— Как пишется? Я слышал, у вас дивно роман получается.

Свистонов возился с рукописью.

— Еще далеко до конца,— ответил он.

— А нельзя ли было бы хоть отрывки? Говорят — я уже в нем.

— Что вы, помилуйте, Иван Иванович,— ответил Свистонов.

— А мне говорили, что я,— и Куку, важный и полный, заволновался от огорчения.— Да нет же, Андрей Николаевич, ведь не может этого быть,— помолчав, сказал он.— По старой дружбе, прочтите.

Свистонов счел малодушием отказаться. Он сел в пестрое кресло, взял рукопись, начал читать свой роман.

По мере чтения лицо Куку принимало все более восторженное и удивленное выражение.

— Какой стиль! — качал он головой,— какая глубина! Андрей Николаевич, мог ли я думать, что вы так развернетесь.

Свистонов продолжал читать. Вот уже появился Кукуреку, и побледнел Куку. В кресло опустился и, раскрыв рот, до конца выслушал.

— Андрей Николаевич, да ведь это...

Иван Иванович после чтения бледный вышел на улицу. Он думал о том, что теперь он, совсем голый и беззащитный, противостоит смеющемуся над ним миру. Страх был на лице Ивана Ивановича и блуждала рассеянная извиняющаяся улыбка. Палимый и удручаемый своим образом, он боялся встретиться со знакомыми. Ему казалось, что все уже ясно видят его ничтожество, что ему никто не поклонится, что отвернутся и пройдут, нарочно весело разговаривая со своим спутником, женой или подругой. Появились слезы на глазах Ивана Ивановича. Снедаемый внутренним плачем по самому себе, он прислонился и видел, как Свистонов идет куда-то.

Не вышел из своего огромного дома вечером, как обычно, Куку и не зашел к Наденьке, чтобы вместе пойти погулять, провести вечерок, а заперся в своей комнате. Не знал, что ему делать. Убить ему хотелось Свистонова, который отнял у него жизнь, и, почти плача, он видел, как он бьет Свистонова сначала по одной щеке, потом по другой, как выбивает все зубы ему, как выкалывает глаза и по улицам тело волочит. Вспомнил Куку, что это невозможно, что он, Куку, человек культурный, заплакал и решил письмо написать. Но вспомнил, что и письмо за него уже написал Кукуреку, и вдруг мысль о Наденьке прорезала его сердце. Он представил ее читающей свистоновский роман, увидел, как она, увлеченная ритмом, начинает улыбаться над своим женихом, как она начинает смеяться и презирать его.

И в соседней комнате запел голос арию няни из «Евгения Онегина». Застучал кулаком в стену Куку, и все смолкло. Наступила страшная тишина, и раздались шаги и голос: «Не мешайте людям заниматься». Солидный и толстый, Куку сидел за столом и все думал о том, что другой человек за него прожил жизнь его, прожил жалко и презренно, и что теперь ему, Куку, нечего делать, что теперь и ему самому уже неинтересна Наденька, что он и сам больше не любит ее и не может на ней жениться, что это было бы повторением, уже невыноси-

мым прохождением одной и той же жизни, что даже если Свистонов и разорвет свою рукопись, то все же он, Куку, свою жизнь знает, что безвозвратно погибло самоуважение в нем, что жизнь потеряла для него всю привлекательность.

И все же утром пошел к Свистонову Куку. Решил хоть от знакомых скрыть себя, слезно умолял Свистонова разорвать рукопись.

— Что ж, прикажете на колени перед вами стать? — кричал Куку.— Если вы честный человек, то вы должны порвать рукопись. Посмеяться так над человеком, всеми уважаемым. Да если б мы в другое время жили, то не избежать бы вам моих секундантов! Но теперь, черт знает что,— прошептал он, закрывая лицо руками, и Свистонов почувствовал, что не человек уже стоит перед ним, а нечто вроде трупа.

— Умоляю вас, Андрей Николаевич, дайте мне, я уничтожу вашу рукопись...

— Иван Иванович,— отвечал Свистонов,— ведь это не вас я вывел в литературу, не вашу душу. Ведь душу-то нельзя вывести. Правда, я взял некоторые детали...

Но Куку не дал договорить Свистонову. Куку бросился к столу и хотел схватить листы бумаги. Свистонов, боясь, что погибнет его мир, и желая отвлечь Куку, спросил:

— Как поживает Надежда Николаевна?

Обезумевшее лицо со сжатыми кулаками подошло к Свистонову.

— Вы — не человек, вы — получеловек. Вы — гадина! Вы больше меня знаете, что с Надеждой Николаевной.

Со сжатыми кулаками Куку прошелся по комнате.

Становилось душно. Свистонов распахнул окно и заметил, что во дворе уже возвращаются со службы, беседуют. «Опоздал,— подумал он,— придется завтра отнести к машинистке». Куку не уходил. Куку обдумывал, сидел в кресле.

Свистонов размышлял о том, что, пожалуй, некоторые эпизоды, так сильно взволновавшие Куку, можно было бы изменить, что и раньше приставали, но никогда... не было такой боли.

— Мне пора,— криво улыбнулся Свистонов и стоял, пока одевался Куку.

Они вместе вышли. Свистонов нес рукопись. Куку поглядывал на рукопись и молчал. Он боролся с желанием вырвать рукопись и убежать. Не сказав друг другу ни слова, на перекрестке они разошлись.

Куку не приходил, не писал. Наступили томительные дни для Наденьки. Она входила в дом-город, но не заставала Ивана Ивановича. Радостный и солидный, он не протягивал ей рук при встрече. Его бас не раздавался. Иногда со двора она видела свет в его окне, поднималась и тщетно звонила.

Иван Иванович спустился в настоящий ад. Образ Кукуреку стоял перед ним во всей своей нелепости и глупости. Правда, он, Иван Иванович, больше не ездил по пригородам. Правда, он сбрил баки, и переменил костюм, и переехал в другую часть города, но там Иван Иванович почувствовал самое ужасное, что, собственно, он стал другим человеком, что все, что было в нем, у него похищено, что остались в нем и при нем только грязь, озлобленность, подозрение и недоверие к себе.

Теперь, лишенный себялюбия и горделивости, он не стал пустышкой, как он сперва думал.

Физически он изменился. Он похудел, губы у него поджались, лицо приняло озлобленное, брезгливое выражение.

Боясь встретиться со знакомыми, он решил скрыться в другой город.

Глава четвертая
СОВЕТСКИЙ КАЛИОСТРО

Психачев жил на набережной Большой Невки в небольшом деревянном домике, откуда он ездил по всей России. Домик был тих и удивительно прозрачен. Тихий садик перед ним, тихая и безлюдная набережная.

В отдалении небольшой кооператив с пыльными окнами и чайная.

Никто не знал, что здесь живет советский Калиостро.

Цветы в желтеньких горшочках стояли на окнах. Самозваный доктор философии гулял по саду и обдумывал план новой авантюры — гипнотического сеанса в Волхове.

Все знают Волхов, где дома стоят как бы на курьих ножках, где завклубом в день именин своей жены устраивает в клубе танцульки.

Куда приезжают фокусники раз в два года. Настоящих же актеров никогда не видел Волхов.

Добряк-циник гулял по саду и обдумывал. В комнате его дочери горела лампочка под розовым с букетами абажуром. Отец подошел к окну и заглянул. «Милое дитя,— подумал он,— ложится спать. Она не знает, как ее отцу тяжело достается его хлеб».

Советскому Калиостро было грустно в этот вечер.

По набережной спешил одинокий прохожий.

Прохожий чиркнул спичку и осветил вынутую из кармана бумажку.

Психачев узнал Свистонова и вышел за калитку.

— Вы ко мне? — спросил он.

— Нет, не к вам,— ответил Свистонов.— Я к вам завтра зайду. Сегодня я спешу в другой дом.

— Обманете,— махнул рукой Психачев.

— Однако у вас воняет,— сказал Свистонов, входя на следующий день и осматривая комнату.— Неужели вы никогда не раздеваетесь и сапог не снимаете? На этом диване вы спите? Ну и одеяльце у вас! Ух, устал я за сегодняшний день, уважаемый Владимир Евгеньевич!

Свистонов взял со стола карточку.

— А это вы ребенком?

— Будьте как дома, осматривайте.

— А в переписку свою дадите заглянуть? Письма к вам, от вас письма — все это очень интересно. Можно открыть? — спросил Свистонов, подходя к шкафу.

— Так, фрак, изъеденный молью... и цилиндр, должно быть, у вас сохранился? А где семейный альбом? — спросил Свистонов.

Хозяин удалился и принес альбом с лаковой крышкой. Гость перелистывал, рассматривал фотографические карточки,— мечтал. Психачев стоял у стола, подперев кулаками голову.

— Познакомьте меня с вашей семьей,— сказал Свистонов.

— Нет, этого никак нельзя...— зарумянился Владимир Евгеньевич.

— Папа, папа, тебя спрашивает графиня,— вбежала его четырнадцатилетняя дочь.

— Сейчас, Маша,— засуетился Психачев и нырнул в дверь.

— Познакомимтесь,— подошел Свистонов к подростку.

Маша сделала книксен.

— Вы, должно быть, учитесь в трудовой школе? — спросил Свистонов, отпуская ее ручку.

— Нет, папа меня не пускает.

Свистонов смотрел на ее щупленькую и нарядную фигурку. Психачев вбежал.

— Уйди, уйди, Маша!

Дочь кокетливо посмотрела на Свистонова.

— Уйди, я тебе говорю.

Маша ушла. Но через минуту она опять вбежала.

— Папа, князь пришел.

— Ради Бога, простите.— И взяв Машу за руку, снова нырнул Психачев в дверь. Портьеры сомкнулись. Свистонов курил и ждал. Он бросил взгляд на корешки пыльных, заплесневелых книг. И стал читать названия.

— Что это вас все титулованные посещают?

— Это случайно,— сконфузившись, ответил Психачев.

— Ну ладно. Что же вы намерены мне рассказать?

— Вас интересует, кто с кем живет?

— Признаться, мало.

— Что же вас интересует?

— Ваши наблюдения за последние годы. Ваши чувства и мысли. Скажите, зачем вы стремились охаять науку?

— Я считал это оригинальным.

— Вы, конечно, в юности писали стихи?

— О триппере.

— Весело!

— Очень весело.

— Папа, папа, мама зовет,— раздался голос из-за двери.

— Сейчас, деточка.

Свистонов подошел к полке. Развернул Блока на закладке:

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!

Свистонова душил хохот. Он подошел к окну.

Психачев внизу возвращался из кооператива с булкой.

У Психачева в комнате стояла библиотечка по оккультизму, масонству, волшебству. Но Свистонов понимал, что Психачев не верит ни в оккультизм, ни в масонство, ни в магию.

Все люди любят рассматривать. Девушкам и женщинам нравится погрезить над модными журналами, инженеру — умилиться над изобретением заграничного двигателя, старичку — поплакать над фотографической карточкой умерших детей.

Психачев, покачивая головой, перелистывал изображения мандрагор, похожих на старцев, талисманов с солнцем, луной, Марсом, геомантических деревьев, таблицы сефиротов, изображения демонов, коренастого Азазелла, ведущего козла, мефистофелеподобного Габорима, летящего на змее, крылатого, с огромными глазами, слегка костлявого Астарота.

В юности Психачев хотел быть соблазнителем. В 1908—12 годах носил он даже белое платье и на голове черную бархатную шапочку с красным пером. Родные считали это причудой богатого человека.

Приятные ночи в молодости провел Психачев за трактатами об истинном способе заключать пакты с духами. Мечтательные ночи.

Среди обывателей он слыл за мистика. В молодости Психачеву это очень нравилось. Да и теперь нравилось, когда на него смотрели боязливо. Про него ходили слухи, что он иерофант какого-то таинственного ордена, что он поднялся по всем ступеням и наверху остановился. Он говорил, что он по происхождению фессалийский грек, а, как известно, Фессалия славилась своими чарами.

Действительно, в одной из комнаток его дома висели портреты екатерининского и александровского времен, гречанок и греков в париках и кафтанах, стояло перламутровое распятие под стеклянным колпаком из-под часов, и был семейный альбом 30-х годов с акварелями, стихами, виньетками и греческая Библия с фамилиями Рали, Хари, Маразли.

Свистонов, осмотрев квартиру, полюбил советского Калиостро. «Как грустна его жизнь! — подумал он.— Что ему дает его слава советского Калиостро, когда он сам знает, что он самозванец, что он совсем не грек и не прорицатель, а просто Владимир Евгеньевич Психачев. Пусть даже римский папа присылает ему свое

благословение ежегодно. Он-то ведь не верит в римского папу».

Сидя в спальне, под старинными портретами, хозяин и гость курили, пили водочку, заедали помидорами.

Психачев говорил о своем ордене. Свистонов, с наслаждением затягиваясь, курил и выпускал из ноздрей дым. Свистонов видел ночь Психачева, потому что в жизни каждого человека бывает великая ночь сомнения, за которой следуют победа или поражение. Ночь, которая может длиться месяцы и годы.

И вот эту-то ночь под шум речей Психачева пытался восстановить Свистонов. Тогда Психачев был молод, и листья по-другому шумели, и птицы иначе пели. Он верил, что ему удастся сорвать блестящий покров с мира, что он нечто вроде дьявола. Он ехал верхом на черном жеребце впереди кавалькады. Молодежь угощалась конфетами, подхлестывая лошадей, весело шутила.

Сердце Свистонова сжалось.

Психачев, заметив, как побледнел Свистонов, подумал, что произвел сильное впечатление на гостя.

— Психачев — Рали-Хари-Маразли! — насмешливо прервал молчание Свистонов,— расскажите, как вы заключили пакт с дьяволом? Вы очень интересный человек, я охотно возьму вас в свой роман,— продолжал Свистонов.

Хозяин тихой квартиры совершенно ободрился. Сладостная, торжественная, восхитительная музыка раздалась вокруг него и мало-помалу становилась все громче и громче, так что казалось, гармонические звуки ее наполняют всю комнату, и льются за окно в небольшой палисадник, и достигают стены соседнего дома. Подобную музыку слышат женихи и невесты, если они очень молоды и очень любят друг друга.

Психачев поднялся с кресла, выпрямился.

— Чтобы заключить пакт с одним из главных духов, я отправился, срезал новым ножом, еще не бывшим в употреблении, палочку дикого орешника, начертил в отдаленном месте треугольник, поставил две свечи, встал сам в треугольник и произнес великое обращение:

«Император Люцифер, господин всех духов непокорных, будь благосклонен к моему призыву...»

Свистонов улыбнулся.

— Владимир Евгеньевич, я не о таком пакте вас спрашиваю, о внутреннем пакте.

— То есть как? — спросил Психачев.

— О мгновении, когда вы почувствовали, что потеряли волю, и поняли, что вы погибли, что вы — самозванец.

Музыка смолкла. Перед Психачевым сидел человек, пил водку и острил над ним. Психачеву стало все вдруг как-то противно, и он сам показался себе каким-то неинтересным. Но через минуту он заволновался.

— То есть как, что я — самозванец? — спросил он.— Значит, вы не верите, что я доктор философии? — У хозяина лицо стало злым и недоброжелательным.

— Ах, нет,— ответил гость вежливо,— я совсем о другом. Вы называете себя мистиком. А может быть, вы совсем не мистик. Вы говорите: «Я — идеалист», а может быть, вы совсем не идеалист.

Владимир Евгеньевич поморщился.

— Или, может быть, твердя всем и каждому, хотя и с усмешечкой, что вы мистик, вы верите, что вы им станете на самом деле? Это я для романа,— продолжал гость, улыбаясь.— Вы не сердитесь. Ведь мне вас надо испытать. Я ведь все шучу.

Лицо у Психачева просветлело, и глаза засияли.

Свистонов смотрел на этого человека, говорящего о гимнософистах, о жрецах Изиды, об элевсинских таинствах, о школе Пифагора и, по-видимому, мало обо всем этом знающего. Во всяком случае, меньше, чем можно было бы знать.

— Хорошо? — спросил хозяин.— Нравится вам у меня?

— Очень нравится,— ответил Свистонов.— У вас сидишь, точно у подвижника,— и голос Свистонова стал мечтательным.

А Психачев старался говорить так, чтобы Свистонову стало совершенно ясно, что говоривший принадлежит к сильному и тайному обществу.

Хозяин, в общем, был милый человек. Май он называл адармапагон, июнь — хардат, июль — терма, август — медерме, а свой дом — элевзисом. Свою же фамилию он иногда подписывал цифрами так:

15, 18, 4, 10, 5, 12, 19, 10, 5, 8, 7, 7.

И делал росчерк.

Правда, получалось несколько длинно, зато вместо «психа» выходило «Псиша»; но в более тайных бумагах

писал особыми иероглифами и называл себя Мефистофелем.

О чем говорили в этот вечер гость и хозяин, читателю знать не надо, но только на пороге они жарко расцеловались, и гость скрылся в ночной темноте, а хозяин долго восторженно смотрел ему вслед, а затем со свечой поднялся наверх.

И видно было, что всю ночь Психачев не спал, что по комнате ходила из угла в угол его тень, что он что-то обдумывал. Затем он сел к столу и покрыл бумагу цифрами.

А Свистонов шел в тумане и думал о том, что бы было, если б они оба верили в существование злых могуществ.

В назначенное время, вечером, как можно позже, был впущен новициант Свистонов в слабо освещенную комнату. Из-за занавески доносился голос Психачева. На большом столе посредине комнаты лежал обнаженный меч, большая граненая лампада освещала всю картину тихим светом.

Голос Психачева из-за занавески спросил Свистонова:

— Упорствуете ли вы в желании своем — быть принятым?

После утвердительного ответа Свистонова голос Психачева послал вновь принимаемого размышлять в комнату вовсе темную.

Снова будучи призван, Свистонов увидел Психачева у стола с мечом в руке. Вопросы следовали за вопросами. Наконец последовало:

— Желание ваше справедливо. Именем светлейшего ордена, от которого я заимствую власть свою и силу, и именем всех членов оного обещаю вам покровительство, правосудие и помощь.

Здесь Психачев поднял меч — Свистонов заметил, что меч не очень старый,— и приставил острие к груди Свистонова. Продолжал с пафосом:

— Но если ты будешь изменником, если сделаешься клятвопреступником, то знай...

Потом, положив меч на стол, Психачев начал читать молитву, которую Свистонов повторил за ним. Затем Свистонов произнес клятву.

— Поздравляю,— сказал Психачев.

И они сошли вниз и отправились в чайную.

Психачев под руку плавно ввел Свистонова в свое общество. Это были все уже не совсем молодые женщины. Ноздри Свистонова неприятно защекотал запах духов. Но глаза его неприятно подействовали изломанные томные движения. Некоторые курили надушенные папиросы, другие рассуждали о вещах возвышенных, могут или не могут летать столы.

Введенный Психачевым неизвестный этим неизвестным женщинам Свистонов, сделав общий поклон, остановился. Хозяйка дома подошла к Свистонову и сказала:

— Вы — друг Психачева, значит, вы и наш друг.

Свистонов любезно улыбнулся.

— Позвольте, я вас представлю.— И, беря инициативу в свои руки, Психачев, переходя от одной дамы к другой, представлял Свистонова.

Свистонову они напоминали животных. Одна — козочку, другая — лошадку, третья — собачку. Он чувствовал непобедимую антипатию, но лицо его выражало почтительную нежность.

— Вы — беллетрист, Андрей Николаевич? Мы невыразимо любим все искусства. Нам Владимир Евгеньевич недавно говорил о вас!

Свистонову оставалось только поклониться.

И чтобы не было молчания, чтобы дать гостю отдохнуть, хозяйка подошла к Психачеву и попросила его исполнить обещание и сыграть каждой ее лейтмотив.

Психачев согласился.

Свистонов посмотрел на хозяйку. Он прочел в ней эгоизм, искусный и любезный, которым характеризуются люди, находящиеся под влиянием Меркурия, как говорил Психачев, которые умеют свои пороки заставить служить своим интересам. Она была мужественна и хитра.

Психачев сыграл ей соответствующую пьесу.

«Несомненно,— подумал Свистонов,— Психачев обладает даром импровизации, прекрасной памятью, знает старых мастеров, может контрапунктировать неожиданно чудные темы и удивлять».

Поочередно Психачев сыграл всем дамам их лейтмотивы. Слушательницы пребывали неподвижны от наслаждения. Психачев победно посмотрел на Свистонова.

— Я для вас играл,— сказал он шепотом.— Специально для вас!

Свистонов сжал ему локоть...

— Мы сегодня вроде ипостасей Орфея. Вы — слово, я — музыка,— сиял Психачев.

— Да,— мнимовосторженно подтвердил Свистонов.

Психачев чувствовал в обществе дам себя роковым человеком.

— Наше молчание сказало вам больше, чем сказали бы наши аплодисменты,— подошла к стоящим у рояля мужчинам хозяйка.

Завязался общий разговор о музыке и о душах.

Разговор перешел на недавнее пребывание Психачева в Италии. Психачев вынул статуэтку треликой Гекаты, стал всем показывать.

— Носик-то какой,— говорил он,— обратите внимание — круглый и, Бог знает, настоящий ли. Я купил ее в Неаполе, и теперь она всюду со мной.— Он снова спрятал ее в карман.— Поближе к сердцу,— сказал он и мило посмотрел на Свистонова.

— Рассказать ли вам об Изиде? — спросил он.

Он сел поближе к сидевшим полукругом дамам.

— Очень интересно, просим!

— Изида — герметическое божество. Длинные волосы падают волнами на ее божественную шею. На ее голове диск, блестящий, как зеркало, или между двух извивающихся змей.

Психачев показал, как извиваются змеи.

— Она держит систр в своей правой руке. На левой — висит золотой сосуд. У этой богини дыхание ароматнее, чем аравийские благоухания.

— Все это я испытал.

Психачев постарался придать своим глазам загадочность. Он остановил их. Он встал с кресла, руки его поднялись в ритуальном жесте.

— Она — природа, мать всех вещей, владычица стихий, начало веков, царица душ.— Психачев побледнел.— В таинственном молчании темной ночи ты движешь нами и бездушными предметами. Я понял, что судьба насытилась моими долгими и тяжелыми мучениями.

— Вот ты тихо подходишь ко мне, прозрачное виденье, в своем изменяющемся платье. Вот полную луну и звезды, и цветы, и фрукты вижу я!

Психачев умолк.

И вдруг в углу комнаты раздался женский писклявый голос:

— Я тронулась твоими мольбами, Психачев. Я — праматерь всего в природе, владычица стихий...

Головы всех повернулись. Это говорил Свистонов... Но Психачев нашелся.

— Вы прогнали видение,— сказал он.

Ночь прошла незаметно. Психачев определял цвета дамских душ. У Марьи Дмитриевны оказалась душа голубая, у Надежды Ивановны — розовая, у Екатерины Борисовны — розовая, переходящая в лиловую, а у хозяйки дома — серебряная с черными точками.

— Вот так-то мы и проводим время,— сказал Психачев, прощаясь со Свистоновым на набережной в утренних лучах солнца.— Как по-вашему, ничего?

— Великолепно! — ответил Свистонов,— совершенно фантастически!

Между тем приказчик Яблочкин, которого Психачев назвал Катоном, по наущению Психачева составлял свой портрет.

Он писал, кто и кем были его бабушка и дедушка, отец и мать, кто ему враги, какие у него друзья, какие у него доходы, и копался в своей душе.

С воодушевлением новый Катон стал читать плутарховского Катона, врученного ему мнимым иерофантом. Всюду перед Яблочкиным вставали вопросы, и на полях книги он ставил вопросительные знаки.

Он жил на шестом этаже, и город лежал под его ногами. Вечерние и утренние зори освещали его комнату. Он вставал пораньше, ложился попозднее, читал и с каждой зарей чувствовал себя умнее и умнее.

Свистонов встретился с Катоном у Психачева. Иерофант, сидя под старинными портретами, объяснял своему ученику цифровой алфавит.

Свистонов с собранием историй, удивительных и достопамятных, сидел в другом кресле и выписывал на листок бумаги нужную ему страницу... «La nuict de ce iour venuë, le sorcier meine son compagnon par certaines montagnes & vallees, qu'il n'aoit oncques veuës, & luy sembla qu'en peu de temps ils aouyent fait beaucoup de chemin. Puis entrant en vn champ tout enuironné

de montagnes, il vid grand nombre d'hommes & de femmes qui s'amassoyent lá, & vindrent tous à luy, ménans grand' feste...»[1]

Свистонов стал раздумывать. Что будет со всеми этими женщинами и мужчинами, когда они прочтут его книгу? Сейчас они радостно и празднично выходят ему навстречу, а тогда, быть может, раздастся смутный шум голосов, оскорбленных самолюбий, обманутой дружбы, осмеянных мечтаний.

Яблочкин писал:

12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,

А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г.

Свистонов, как тень, сидел у окна.

Психачев заботился о своем здоровье. Всюду расставлены были банки, стаканы, чашки с простоквашей, в которых чернели мухи, а на потрескавшемся подоконнике лежали и дозревали помидоры.

— Сердце твое должно быть чисто,— говорил Психачев Яблочкину,— и дух твой должен пылать божественным огнем. Шаг, который ты делаешь,— важнейший шаг в твоей жизни. Произведя тебя в кавалеры, ожидаем от тебя благородных, великих, достойных этого титула подвигов.

И почувствовал Яблочкин, что он приобщился тайне, а когда он вышел, весь мир для него повернулся по-новому. Как-то иначе город загорелся. Предстали по-новому люди, почувствовал, что ему надо работать над самоусовершенствованием и над просвещением других людей.

Свистонов угадывал, что происходит с Яблочкиным, ему было жаль разбивать его мечту, погрузить его снова в бесцельное существование, доводить до его сознания фигуру Психачева. Он знал, что Яблочкин обязательно прочтет его книгу, книгу ближайшего друга Психачева.

«Ну, ладно, будь что будет. Психачев мне необходим для моего романа»,— решил Свистонов и, устро-

---

[1] Когда кончился день и настала ночь, колдун повел своего спутника по горам и долинам, которых тот ранее не видывал, и ему показалось, что за короткое время они прошли большой путь. Придя в долину, окруженную горами, он увидел множество мужчин и женщин, собравшихся там, и все они, к нему приблизившись... *(фр.)*

ившись поудобнее в комнате Психачева, в психачевском кресле, стал переносить Психачева в книгу.

Хозяин перетирал реликвии. Говорил об Яблочкине, строил планы. Нева замерзала, скоро по ней на лыжах будут кататься красноармейцы. Скоро будет устроен каток, и под звуки вальса в отгороженном пространстве завальсирует молодежь.

Свистонов посмотрел на Психачева. «Бедняга,— подумал он,— сам напросился».

— Дружище,— сказал он,— не согреть ли чайку, что-то прохладно становится?

— Хотите, печку затоплю? — спросил хозяин.

— А это совсем хорошо бы было,— ответил гость.— Мы превосходно проведем время. Пусть снег за окном. Мы будем сидеть в тепле и холе.

Психачев сошел в сад и принес дров.

Свистонов записал все то, что ему надо было.

— Теперь бы в картишки перекинуться,— сказал он. Подошел к печке и, добродушно потирая руки у запылавшего огня, задумался, затем продолжал: — Карты у вас, должно быть, есть? Расставимте ломберный столик, попросимте вашу жену и дочь и сыграемте в винт.

До полуночи играл в винт Свистонов и проигрывал. Ему нравилось делать небольшое одолжение. Он видел, как раскраснелись щеки у госпожи Психачевой, читал ее мысли о том, что завтра к обеду можно будет купить бургонского, которое так любит ее муж; что обязательно надо будет пригласить к обеду и этого милого Андрея Николаевича, дружба которого так оживила ее мужа.

Психачев ловко орудовал мелком, раскраснелся тоже.

По очереди тасовали карты, карты были трепаные, с золотым обрезом. Сами собой они оказались краплеными.

Свистонов проигрывал. Он был доволен. Хоть чем-нибудь он мог отплатить хозяевам за гостеприимство.

Снег падал за окном превосходными хлопьями. Превосходные портреты висели над головами играющих. Маша и Свистонов сидели спиной к черному окну. Маша кокетничала со Свистоновым. Свистонов шутил, рассказывал ей цыганские сказки.

Маша сердилась, краснела и говорила, что она не ребенок.

«Бедный Психачев»,— подумал Свистонов, выходя из дверей гостеприимного дома.

«Жалко, что уже поздно к Яблочкину,— он посмотрел на часы.— Погулять, что ли, по городу». Свистонов, подняв воротник, пошел.

У Яблочкина была подруга. Звали ее Антонина. Работала Антонина на конфетной фабрике и носила красный платочек.

Стал Яблочкин с подругой переписываться криптографически, писать ей, что он любит ее и готов на ней жениться. Стал писать он ей об этом цифрами. Не от кого было им скрывать любовь свою. Он и она были одиноки.

Истории стал рассказывать юноша ей по вечерам, гуляя по колеблющейся набережной или по пропахшему сладкими эссенциями фабричному саду. Решил познакомить ее с просвещенными и симпатичными людьми, живущими вон в том отдельном домике. Он думал, что Свистонов живет вместе с Психачевым.

— Какие они ученые, Ниночка,— говорил он.— Страх даже берет. Зайдешь к ним, а они над какимнибудь чертежом сидят, над кругами и четырехугольниками. Старший младшему объясняет, а тот слушает и прилежно записывает.

Гитары стоны,
Там песни воли и полей...
И там забудем свое мы горе...
Эй, шарабан мой, да шарабанчик...

— Наши идут,— улыбается Антонина.— Ишь, как голосят.

В окне над садом появляются одна над другой головы Психачева и Свистонова.

— Это что за представление? — спрашивает Свистонов.— У вас здесь весело, Владимир Евгеньевич.

— Да это у нас каждую субботу.

— А вы не сыграете ли Моцарта, что ли, или что хотите. Что-нибудь старинное.

Окно захлопнулось.

Яблочкин стоял с Антониной против освещенного окна.

Они видели угол комнаты со старинными портретами.

Ваня шептал:

— Уют там какой. Полочки какие, цветочки в горшках. Тишина!

Музыка смолкла.

Психачев и Свистонов с крылечка спустились в сад и пошли по дорожке.

— Так вот, дорогой Андрей Николаевич, вы как будто сомневаетесь в древности нашего ордена. Поверьте...

При новой луне состоялось академическое собрание в комнате в два окна, которую Психачев назвал капеллою. Сюда были перенесены старинные портреты и купленное в Александровском рынке масонское кресло. Кровати были вынесены.

Психачев сидел на президентском месте в сапогах со шпорами, с лентой через плечо и читал, толковал места, избранные из Библии, Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия и Конфуция. По правую руку от него сидел Свистонов, по левую — бывший кавалерист-офицер и Яблочкин, напротив — князь-мороженщик. Психачев, кончив толковать, стал спрашивать по очереди своих питомцев о книгах, читанных ими после очередного собрания, о наблюдениях или открытиях, ими учиненных, о трудах и усилиях, положенных ими для расширения ордена, какие где есть люди и в каком отношении пригодны они для ордена.

Яблочкин смотрел на Психачева напряженно, стараясь все постичь.

Кавалерист, видимо, готовился возражать. Он нетерпеливо ерзал на стуле.

Свистонову было скучно и не совсем удобно. Ему становилось смешно и неприятно, что он всех обманывает.

Чтобы отвлечься, он стал раскладывать спички на столе, строить башню, затем поджег ее. Все возмущенно посмотрели на него. «Да, они положительно верят Психачеву, полагают, что могущественный орден действительно существует. Чего доброго, Психачев пошлет бумагу папе и, чем черт не шутит, пожалуй, получит из Америки деньги. И расцветет орден, и все поверят, что он действительно всегда существовал».

— Братья, поговорим об усовершенствовании наших духовных способностей. Устремим наши усилия на это. Разовьем силу наших мыслей. Я убежден, что скоро мы сможем передвигать предметы на расстоянии. Я отправлюсь скоро на Восток испросить для вас, вновь поступивших братьев, благословения. Там будут молиться за нас, и спокойно и светло будет у нас на душе.

— Кто желает задать вопросы? Я постараюсь привезти вам ответы с Востока.

Собрание затянулось далеко за полночь.

Раз как-то вечером Свистонов сидел с Психачевым и беседовал о тамплиерах. Вошел человек с выходящими из орбит глазами, по-видимому, страдающий базедовой болезнью.

— Барон Медем,— представил Психачев вошедшего, и, отведя барона в сторону, он дал ему свой последний рубль.

Барон откланялся и скрылся.

— А ведь тогда, в XVIII веке, он в качестве графа принимал меня в своем замке,— сказал Психачев многозначительно.— Жаль, вас тогда не было.

Свистонов улыбнулся.

— Постойте,— сказал Психачев,— вспоминаю, вы были там. На вас был лазоревый камзол из какой-то изумительной материи. Помню, вы подарили мне кольцо с резным камнем.

— А вы мне это,— ответил Свистонов и вынул из кармана кольцо с сердцем, мечом и крестом.

— Совершенно верно,— воскликнул Психачев.— Как я вас не узнал.

— Позвольте мне вас называть графом. Вы ведь граф Феникс. Мы ведь теперь в Петербурге,— сказал Свистонов.

— Конечно, барон,— взял Психачев Свистонова под руку.— Выпить надо по этому поводу.

И они отвесили друг другу глубокий поклон.

Граф Феникс скрылся за портьерой. Буфет скрипнул, и появилась водочка.

— Оля, Оля! — закричал Психачев,— принеси скатерть. Андрей Николаевич оказался совсем не Андреем Николаевичем. Это он, мой друг. Помнишь, я о нем тебе рассказывал?

— А! — ответила жена.

Психачев суетился. Серебряная перечница XVIII в. куда-то пропала.

— Поди в кооператив,— сказал он жене,— сегодня будем ужинать при свечах.

Психачев и Свистонов читали одни и те же книги. Воспоминания обоих друзей совпадали. Свечи в старинных подсвечниках языками освещали стол со старинными приборами. Фрукты из кооператива ЛСПО горкой возвышались на серебряной тарелке. Пальчики винограда зеленели. Водочка была отставлена, и появилось красное вино. Граф Феникс вспоминал, как его принимала Екатерина II, и говорил, что он до сих пор сердится на свою жену. Хозяин шарлатанил, поэтому внезапно посмотрел на Свистонова — не шарлатанил ли и тот. Но Свистонов был действительно обрадован. Он любил импровизированные вечера. Ему повезло в этот вечер.

— Скажите, граф,— спросил он, кладя пальчики винограда в рот,— и почему вы воплотились в Психачева?

Утром Психачев, так как гастролей давно уже не было, катал из изобретенной им массы бусы, соединял в ожерелья, раздумывал над серьгами и брошками.

Жена тем же занималась, тем же занималась и дочь.

Масса помещалась в жестяных банках из-под монпансье и чая. Красные, синие, белые, оранжевые, черные, зеленые комки лежали на столе. Жена отрывала зеленый комочек, превращала его трением одной ладони о другую в длинненькую колбаску. Дочь разрезала на равные кусочки эту колбаску, Психачев превращал кусочки в бусы. Так и тихого домика коснулась фордизация. Вечером Психачев нанизывал эти бусы на нитку и покрывал копаловым лаком, а дня через два-три продавал их своим знакомым и в Гостиный двор как последнюю новинку Парижа. Дочь за бусами скучала. Ей хотелось, чтобы отец повез ее, наконец, на тайный бал, где люди одеты в цветные костюмы. Она хотела увидеть, как отец ее выигрывает в карты в тайных игорных притонах, а затем раздает деньги нуждающимся. А между тем, вместо великолепных балов, отец редко-редко брал ее в кинематографы и летние сады,

где она отгадывала, что у него в кармане, посредством системы вопросов, да на свои сеансы фокусов там же, сеансы, после которых он должен был разоблачать себя и с эстрады говорить, что это только ловкость рук, и показывать, как все это делается.

Свистонов решил отдохнуть от Психачева, собрать новый материал, заняться другими героями. «Пусть пока Психачев, как тесто, подымается в нем».

Глава пятая
СОБИРАНИЕ ФАМИЛИЙ

Свистонов прошел мимо монастырской невысокой белой ограды, мимо трудовой школы II ступени, мимо родовспомогательного заведения, вошел в ворота, обогнул церковь, обогнул флигелек с затянутыми кисеей форточками, прошел в другие воротца.

Он склонялся над могильными плитами, поднимал глаза к ангелам с крестом, прикладывал нос к стеклам склепов и рассматривал. Впереди него шли родственники умерших, чтобы посидеть на могилах, на которых лежали накрашенные яйца и крошки хлеба. У памятника писателя Климова он заметил старичка-карлика с букетом в руках. Старичок, отложив букет, благоговейно окапывал могилку и втыкал палочки в землю, подвязывал цветки. Тронутый Свистонов остановился. Затем пошел дальше, заглядывая в склепы. В одном склепе он увидел двух прощелыг. Они, сидя на облупившихся железных могильных стульях, играли в карты. Склеп был заперт снаружи.

На могиле японца сидел старичок. Увидев, что Свистонов пристально на него смотрит, старичок пояснил:

— Вот к нему-то никто не приходит. Мне делать нечего, я и прихожу. Жаль мне его.

У небольшой могилки живописно лежали пьяные. Наименее пьяный пошел и привел священника. Наименее пьяный обошел всех, снял у всех шапки. Священник быстро стал служить, оглядываясь. Когда он кончил, полупьяный уплатил ему мзду, обошел всех, надел всем шапки и, обращаясь к могиле, удовлетворенно произнес:

— Ну, Иван Андреевич, помянули мы тебя хорошенько и выпили, и панихидку отслужили. Теперь уж ты должен быть доволен.

Свистонов, записав, хотел идти дальше. Но он заметил недалеко от надгробного, в виде пропеллера, памятника знакомого фельетониста, беседующего со священником. Фельетонист изображал на своем лице веру, надежду и любовь, называл священника батюшкой и, улучив момент, подмигнул Свистонову. Свистонов улыбнулся.

Когда священник, растроганный, отошел, подумывая о том, что еще не все хорошие молодые люди перевелись на этом свете, к фельетонисту подошел Свистонов.

— Охотитесь? — спросил он.— Охота — великое дело.

— Да, я хочу посильно осветить современность.

— А нет ли у вас какого-нибудь материальчика относительно...— и Свистонов наклонился к уху фельетониста.

— Есть, есть! — просияло у того лицо. Радостно закурив, фельетонист отбросил далеко спичку.— Но только не воспользуйтесь им. Я его храню для одной авантюрной повести.

— Я его переделаю. Мне это нужно как деталь, для общего колорита.

— Слушайте! — И у фельетониста загорелись глаза. Он осмотрелся и, заметив старушку, стал шептать на ухо Свистонову.

— А не уступите ли вы мне батюшку и себя? — спросил Свистонов, окончательно прощаясь.— Я возьму и кладбище, и цветы, и вас обоих.

Фельетонист поморщился.

— Андрей Николаевич,— сказал он.— Этой пакости я от вас никак не ожидал. Я отнесся к вам со всем доверием. Вы обманули мое доверие.

Свистонов наслаждался пением птиц, полотном железной дороги, детьми за заборами, игравшими в горелки.

Паша с карандашом в руке наконец нашел его. Они сели, и Паша стал предлагать Свистонову на выбор фамилии, найденные на кладбище.

— Ваш рассказец недурен,— вспомнил Свистонов о рукописи Паши.— А не слышно ли чего-либо о Куку?

— Ничего не слышно,— ответил Паша.

— Вот что, Паша, передайте эту записку Ие.

Глава шестая
ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ИЕЙ

Ия вошла в квартиру Свистонова нахально.

Она считала, что она все знает, и обо всем имеет право говорить, и имеет право все решать, и, отставив ногу, утверждать, что она права.

Ие говорили, что у Свистонова интересная обстановка, что он живет при свечах, что у него в дубовом специальном шкафчике хранятся великолепные геммы и камеи, что на стенах его комнаты развешаны и расставлены чрезвычайно редкостные предметы.

Она вошла в парадную, прошла во двор и поднялась по черной лестнице.

Она потянула за рукоятку звонка, и раздалось дребезжание колокольчика.

Свистонов поджидал ее и быстро распахнул дверь.

Ия вошла в полутемную прихожую.

Огонь свечи отражался в зеркале, дешевые обои заставили Ию презрительно передернуть плечами.

Свистонов помог приглашенной раздеться, через абсолютно темную столовую провел в спальню.

Ия сейчас же зашагала по комнате и стала о каждом предмете высказывать свое мнение.

Посмотрев на всевозможные, весьма интересные трактаты семнадцатого века, она сообщила ему, что это, должно быть, Расин и Корнель и что она не очень любит Корнеля и Расина.

Взглянув на итальянские книжки шестнадцатого века, она заметила, что не стоит в наше время заниматься Горациями и Катуллами.

Свистонов сидел в кресле и внимательно слушал.

Он спросил, какого она мнения о тарелочке, висящей вот на той стене.

Ия подошла, сняла голубую тарелочку с белыми мускулистыми человечками, с полубаранами-полутритонами и гордо заявила, что она понимает толк в этих вещах, что это, несомненно, датское свадебное блюдо.

Довольная собой, но недовольная обстановкой и вещами Свистонова, она села на венецианский стул, принимая его за скверную подделку под мавританский стиль.

— Хотите, я вам прочту главу из моего романа? — спросил Свистонов.

Ия кивнула головой.

— Вчера я думал об одной героине,— продолжал Свистонов.— Я взял Матюринова «Мельмота-скитальца», Бальзака «Шагреневую кожу», Гофмана «Золотой горшок» и состряпал главу. Послушайте.

— Это возмутительно! — воскликнула Ия,— только в нашей некультурной стране можно писать таким образом. Это и я так сумею! Вообще, откровенно говоря, мне ваша проза не нравится, вы проглядели современность. Вы можете ответить, что я не понимаю ваших романов, но если я не понимаю, то кто же понимает, на какого же читателя вы рассчитываете?

Уходя от Свистонова, Ия чувствовала, что она себя нисколько не уронила, что она показала Свистонову, с кем он имеет дело.

Глава седьмая
РАЗБОРКА КНИГ

Свистонов в нетопленной квартире простудился. Нос у него воспалился и покраснел. Слегка лихорадило. Свистонов решил вытопить печь, посидеть дома и привести в порядок свою заброшенную библиотеку. Но распределение книг по отделам, как известно,— тяжелый труд, так как всякое разделение условно. И Свистонов стал размышлять, на какие отделы разбить ему его книги, чтобы удобнее в нужный момент ими пользоваться.

Он разделил книги по степени питательности. Прежде всего он занялся мемуарами. Мемуарам он отвел три полки. Но ведь к мемуарам можно причислить и произведения некоторых великих писателей: Данте, Петрарки, Гоголя, Достоевского,— все ведь это в конечном счете мемуары, так сказать, мемуары духовного опыта. Но ведь сюда же идут произведения основателей религий, путешественников... и не является ли вся физика, география, история, философия в историческом разрезе одним огромным мемуаром человечества! Свистонову не хотелось разделять книги по мнимому признаку. Все для писателя одинаково питательно. Не единственный ли принцип — время. Но поместить издание 1573 года с изданиями 1778 и 1906... тогда вся его библиотека превратится в цепь одних и тех же авторов на различных языках. Цепь Гомеров, Вер-

гилиев, Гете. Это оказало бы, безусловно, вредное влияние на его творчество. С героев его внимание перенеслось бы на периферию, на даты изданий, на комментарии, на качество бумаги, на переплеты. Такая расстановка, быть может, и понадобится ему когда-нибудь, но не сейчас, когда он работает над фигурами. Здесь нужны резкие линии. Тут надо идти не от комментариев, а от самих вещей. Комментарии же должны быть только аккомпанементом, и для того, чтобы образовать огромные масштабы, Свистонов освободил полку, взял «Мертвые души» Гоголя, «Божественную Комедию» Данте, творения Гомера и других авторов и расставил в ряд.

«Люди — те же книги,— отдыхая, думал Свистонов.— Приятно читать их. Даже, пожалуй, интереснее книг, богаче, людьми можно играть, ставить в различные положения». Свистонов чувствовал себя ничем не связанным.

Глава восьмая

ПОИСКИ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ФИГУР

Свистонов не долго высидел дома. Для его романа нужны были второстепенные фигуры, вид города, театры. На следующий день к вечеру он вышел.

Он с увлечением принялся за перенос деталей города.

У инвалидов толпились покупатели.

— Да, да,— ответила покупавшая дичь.— Я бывший профессор Николай Вильгельмович Кирхнер.

На профессоре были все та же засаленная ермолка, все та же разлетайка, все те же галоши на босу ногу, привязанные веревками. Все те же очки в золотой оправе, все тот же вечный узел в руке. Ему казалось, что все еще надо куда-то спешить и стоять в бесконечных очередях.

Теперь профессор получал сто рублей пенсии, жил в гостинице «Бристоль», но все для него было кончено. Для него наступила вечность. Его лицо было хмуро и глаза по-сумасшедшему сверлящи, а губы слегка скептически сложены.

Десять лет он и Свистонов встречались на улицах и никогда не разговаривали. Но сегодня профессор чувствовал страшное волнение. Его грубо выгнали из канцелярии Государственной филармонии. Его взяли под руки и бросили на улицу, повернулись и захлопнули дверь. Но как же так! Ведь его сестра сломала ногу, выходя после концерта, на лестнице. Она поскользнулась и упала.

Распростившись с третьестепенной фигурой, Свистонов направился к второстепенным фигурам, к токсовским старичкам. Старички обрадовались ему, так как они были одиноки и словоохотливы. А со Свистоновым можно было поговорить, как им казалось, о прежней жизни, ему можно доказать, как прежде ценили музыкантов, показать медаль и карточку высокопоставленного лица с собственноручной надписью и портреты высокопоставленных учеников, мальчиков в мундирах, которых он во время оно обучал игре на балалайке.

— Да вы уж, Татьяна Никандровна, не ухаживайте за мной. Я человек простой,— говорил Свистонов.— Понравились вы мне очень, я вот и зашел к вам, попросту провести вечерок. Уютно у вас очень, Татьяна Никандровна. Чувствую это. Знал, что и варенье у вас будет. Я, конечно, не такой музыкант, как Петр Петрович, но музыку я люблю. А иногда очень музыки хочется. Вот я и понадеялся, что Петр Петрович возьмет флейту, да после чая и сыграет.

— А на чем вы играете? — спросил старичок.

— Да на рояле чуть-чуть,— ответил Свистонов.— Почти что одним пальцем. Ноты разбираю, аккомпанировать могу.

— Должно быть, забросили? — сочувственно спросил старик.— Да, в людях выдержки мало! Из моих учеников тоже никто музыкантом не стал. Помню, учил я детей одного статского советника. Славные были мальчики. Сейчас пишут, что издевались они над нами. Не верьте, неправда это. Вот и Татьяна Никандровна может подтвердить. А воспитание какое было! Как учили их внимательности. Чуть что, сейчас без сладкого или в угол ставили, и мамаша извиняется, и папаша придет: «Я их обязательно накажу»,— и никогда без обеда не отпускали. А какие были важные люди, а, бывало, обязательно усадят рядом с собой, чтобы мне обидно не было...

— И рекомендации давали,— перебила Таня.— И уроки доставали, и на места устраивали.

— А уж о подарках нечего и говорить,— заметил старичок.— И на Рождество, и на Пасху. А если узнают, что женишься, обязательно — посаженый отец, а если ребенок,— то крестный отец, если сын-студент революционером окажется,— к градоначальнику сам едет.

Свистонов пил чай, помогал старичку рассказывать. Задавал вопросы, то он вздохнет, то промолчит, то головой покачает, то помычит слегка, то откашляется.

— Вот я сейчас принесу, покажу вам подарки! — сказала старушка.— Петя, куда же ты ключ дел? — раздалось из соседней комнаты.

Петя встал, и Свистонов услышал скрип выдвигаемых ящиков.

— Что,— сказал Свистонов нежно,— часики ходят?

— Не только ходят, но и бьют,— обрадовался старичок.— Вот послушайте.— Он вынул из буфета стакан, опрокинул его и положил на донышко часы.

Часы отчетливо пробили одиннадцать.

— А пока вот списочек,— сказала Таня,— в каком году что подарено,— и она протянула порыжевшие листочки бумаги Свистонову.

Чего-чего тут не было: и корзинки цветов с визитной карточкой, и барометр, и портсигар, и запонки, и булавка для галстука.

Свистонов читал. Старички удалились на минуту и вынесли свои сокровища и сказали почти дуэтом:

— Все мы сохранили, ничего не продали! Голодали, а подаренных нам вещей не продали.— И они разложили на столе перед Свистоновым подарки.

Совсем понравились старички Свистонову. Решил, что не совсем они второстепенные. Решил заходить почаще.

Возвращаясь по одному и тому же пути, прикуривая и разговаривая, Свистонов свел дружбу с милиционером. И милиционер читал ему свои стихи:

У стрелки трамвая
Стоит моя Аглая,
Стрелку переводит,
С меня глаз не сводит,
И с моего милицейского поста
Видны ее сахарные уста.

Сначала милиционер чего-то боялся, но потом убе-

дился, что Свистонов вообще человек добрый и разговорчивый.

Часто сидел Свистонов с милиционером, покуривал и беседовал с ним о стихах, затем вместе они принимались ходить по улице, заложив руки за спину.

Деревья синели, милиционер рассказывал о том, как хорошо у них в деревне, какие у него чудные там яблони и сколько пудов сушеных яблок заготовляют дома, какие существуют антоновки, как можно привить к березе, дубу, липе веточки от одной и той же яблони и как различаются яблоки по вкусу в зависимости от того, к какому дереву привиты веточки. Рассказывал, как добывают муравьиный спирт, как томят муравьев в мешочках и выжимают сок.

Свистонов спрашивал, какие у них в деревне порядки, как насчет суеверий, имеется ли изба-читальня и какова там половая жизнь молодежи. Просил вспомнить, говорил, что это необходимо для его книги.

Так сидели они подолгу на скамейке под воротами. Милиционер рассказывал все, что взбредет ему в голову, отвечал на расспросы Свистонова, а Свистонов при свете домового фонаря записывал.

И опять прошло много времени. Раз стояли у своего окошечка в третьем этаже супруги. Солнце светило, как на картинке, окно было растворено, старичок держал Травиату за все четыре лапки, старушка расчесывала ей животик и хвостик костяным белым гребнем.

— Ну, что ты беспокоишься, Травиаточка? — говорила старушка.— Что ты лаешь и скулишь? Мы тебе добра желаем. Вот шейку почешем. Ведь тебе не достать зубками. Вот между бровками.

— Смотри, как ее сосут,— говорил старичок, раздвигая шерсть свободным большим пальцем.— Недаром она такая грустная.

— Хотела бы я увидеть душу Наденьки! — вдруг ни с того ни с сего вырвалось у старушки.— Наверно, у нее душа прекрасная.

— Да, тихая барышня. Почеши тут. Видно, из хорошей семьи. А как ты думаешь, женится на ней Иван Иваныч? Да не егози, Травиаточка!

— Смотри, смотри на улицу, Травиаточка, кто там идет. Видишь, собачища огромная. Ее на цепочке ведут. Смотри, смотри, Травиаточка.

— А жаль, если не женится...— сказала старушка.

— Смотри, сколько. Постой, постой, на тебя скакнула!

— Ну, где же ее теперь поймаешь?

— Помнишь, как жакет на тебе сидел, а теперь ты не бритый. Помнишь мое серое атласное со стеклярусом платье? А вот ты чистенькая, Травиаточка. Опусти ее на пол.

— Смотри, как она отряхивается!

— А ну-ка, потанцуй, Травиаточка.— И взяв собачку за лапки, старушка принялась водить ее вокруг себя.

Песик, откинув спинку, переступал и время от времени, подняв мордочку, лаял. Затем старушка взяла его на руки, старый песик положил ей мордочку на плечо, закрыл глаза и стал сопеть.

И старушка запела дребезжащим голосом:

Баю-баюшки баю,
Баю деточку мою.
Приди, котик, ночевать,
Травиаточку качать.

— Ах, ты старенькая моя! Бедненькая моя, лысенькая! — И седая деточка, поняв, что ее жалеют, смертельно заскулила.

Любила очень животных жена флейтиста. Всех кошек на лестнице она подкармливала, всех брошенных котят подбирала и возмущалась.

Был у нее во дворе дровяной сарай. По-настоящему жила она внутри этого сарая.

Каждая курочка, каждый петушок имели свой зов, то «моя девочка», то «мой мальчик», и умели булку из рук клевать. Были у старушки и козы.

В это мирное семейство ворвался Свистонов. Он заметил одинокость старушки, объяснил эту одинокость тихой тоской по материнству. Стал он приносить конфетки Травиаточке, стал он гладить и хвалить и совсем вскрылось сердце старушки.

— Тебя любят,— говорила она Травиаточке,— тебя все очень любят, и всем ты очень нравишься! Вот подожди, к зиме я новую попонку тебе сошью, тогда ты совсем станешь красавицей.

— Давно ли у вас этот песик? — спрашивал Свистонов.

— Да лет шесть,— отвечала старушка.

— Он совсем еще не стар.

— Конечно, совсем еще молоденький,— подтверж-

дала старушка, скрывая настоящие годы своей любимицы.

— Не останетесь ли вы у нас пообедать?

Свистонов остался.

Посадила Татьяна Никандровна Травиату за стол, повязала ей салфетку.

— Вы уж извините,— сказала старушка.— Травиаточка нам вместо дочери.

Сели все за стол и стали суп кушать.

Травиаточка кончила первая, посмотрела на всех и поскулила. Она любила покушать.

— Ты проголодалась, Травиаточка? — спросила Татьяна Никандровна.

Травиата прислушалась и опять заскулила.

Взяла старушка ее тарелку, пошла на кухню и налила холодного супу.

Опять стала лакать Травиаточка. Принесла Татьяна Никандровна жаркое и на отдельной тарелочке с цветами — Травиаточке отдельный кусочек с косточкой. Все пили чай, молоко Травиаточка лакала. Затем соскочила со стула и попросила погулять. После обеда Свистонов аккомпанировал. Старичок сидел рядом, играл на флейте.

Глава девятая

БОРЬБА С МЕЩАНСТВОМ

В том же доме жил Дерябкин.

Дерябкин больше всего на свете боялся вазочек. Дерябкин бледнел при слове — мещанство. Поэтому он не позволил своей новой жене внести в комнату, им занимаемую, девичью красоту: герань и фуксию. Также он не дал ей повесить на стенку фотографию ее матушки. Несмотря на сопротивление жены, вытянул обойный гвоздик из стены и запрятал молоток.

— Уж если ты хочешь жить со мной, потрудись подчиняться моей воле. Я тебе глупить не позволю!

И на следующее утро повезла Липочка в трамвае цветочки обратно своей матушке. Та в это время мыла воротнички Дерябкина и всплеснула маленькими руками.

— Уж эти мужчины, они не любят цветов!

Пообедали. Стала мамаша доставать занавески для окон.

Залюбовались мамаша и дочка. Занавески были ручной работы. Еще сама бабушка вязала.

— Что я принесла, дорогой мой Пава!

— Я не Пава, я — Павел. Не называй меня, пожалуйста, собачьей кличкой.

— Посмотри, узоры-то какие...

— Занавески на окнах,— сухо заметил Павел,— это признак мещанства. Я не могу тебе этого позволить. В субботу мы пойдем в Пассаж и купим подходящие.

Между тем Свистонов, бродя по улицам, зашел в Пассаж позавтракать.

Дерябкин, несмотря на толпу, шел гордо. Держась за мужнин рукав, почти бежала Липочка.

— Взгляни-ка, вазочка! Не купить ли...

— Брось, пожалуйста, свои вазочки.

— А вот кошечка-копилочка.

— Не приставай,— раздраженно сказал Дерябкин, выдергивая рукав.— И что за мещанская манера цепляться. Иди спокойно.

— Купи картину, Павочка. Мы повесим ее над нашей кроваткой.

— Я тебе сказал, не приставай.

— Ну абажур купи.

— И абажура не куплю.

Свою борьбу Дерябкин возводил в перл творения. Ночей Дерябкин недосыпал, все думал, как бы уберечься от этого зла. Идет по улице и вдруг видит, в окне магазина выставлено восковое мещанство. Одето мещанство в мишуру, губы у мещанства крашеные, волосы завиты по парижской моде. Ну, парикмахерские, Бог с ними, они всегда были такие, но вот магазины трестов и кооперативов!

Болело у Дерябкина сердце, что в магазины и тресты проникает мещанство.

— Это — безвкусица,— рассматривая легонькую, как пух, муранского стекла вазочку, произнес Дерябкин.

— Конечно,— подтвердил остановившийся рядом Свистонов.— Приятно видеть человека, хорошо разбирающегося в этих делах.

— Какая это рыбка? — обернулась Липочка.

— Дельфин,— ответил Свистонов.

— Она все мечтает о золотых рыбках! — пояснил Дерябкин примелькавшемуся во дворе человеку.

Примелькавшийся человек сочувственно промычал.

Дерябкин, чувствуя неожиданное подкрепление, обрадовался.

— Вот я тебе говорил, гражданин тоже утверждает.

— Да, всем приходится бороться с мещанством,— пряча улыбку в воротник, вздохнул Свистонов.

Говоривший был, по-видимому, человек знающий и просвещенный.

— Не посоветуете ли,— спросил Дерябкин незнакомца,— мы, кажется, с вами встречались во дворе,— что купить? Я — Павел Дерябкин, инкассатор.

— А я — литератор Свистонов.

— Это хорошо,— сказал Дерябкин.— Вот видишь, Липочка, и литератор того же мнения.

Дерябкин, навьючив Липочку,— он считал, что мужчине не полагается носить пакетов,— вцепился в Свистонова.

— Идемте к нам чай пить.

Свистонов следом за Дерябкиным и Липочкой спустился в подвал.

В подвале лежала суконная красная с черным дорожка, какие были прежде на парадных, обеденный стол, зеркало с парадной. Чистота царила в подвале необычайная. Окна выглядели почти хрустальными, подоконники были вымыты до блеска. Крашеный желтый пол сверкал.

— Гигиена,— сказал Дерябкин,— это первый признак культурности. Вот посмотрите, как лежат у нас зубные щеточки.— И Дерябкин повел Свистонова к полочке над краном.— Видите, и мыло тоже в футляре, чтобы бациллы не попадали. На этом фронте я уже победил. Теперь новый фронт открылся для меня, по вечерам теперь я вырабатываю почерк. Каллиграфия приучает человека к усидчивости и терпению.

Грамотный и культурный человек был для Дерябкина первый гость. Хозяин жаждал просвещения. Но по вечерам не только вырабатывал почерк Дерябкин. Кроме того, он слушал радио. Радио приводило в восхищение Дерябкина. Ему казалось, что благодаря радио он сможет узнать все на свете. Он может просвещаться насчет оперы, не надо терять времени на трамвай, да и экономия какая. Об этом он часто говорил с женой. Беда, если жена шумела, когда он сидел с блестящими наушниками. И Липочка решила не ударить лицом в грязь.

— Я настолько малокровна, что мое единственное спасение во сне, я спать могу когда угодно и сколько угодно,— усевшись на пестреньком диванчике, сказала Липочка Свистонову.

— Как же вы научились спать когда угодно? — спросил Свистонов, облокачиваясь на спинку дивана.

— Всему научит ночная клубная служба,— вздохнула хозяйка.

— Вы такая изящная,— грустно пробормотал Свистонов.— Тяжело вам, должно быть, возиться с домашним хозяйством.

— Ужасно бегать приходится,— ответила хозяйка.— Если так будет долго продолжаться, то я умру. Сколько хлопот было с переплетами! Почти каждый день я бегала в переплетную.

— С какими переплетами? — полюбопытствовал Свистонов.

Хозяйка гордо подвела гостя к этажерке.

— Это любимые книги моего Павла.

Свистонов согнулся. «Старые годы», ежегодник общества архитекторов.

— Вы тонко понимаете искусство,— сказал Свистонов, выпрямляясь.— Эти матерчатые переплеты необыкновенно подходят к вашей обстановке.

И здесь решил Андрей Николаевич стать своим человеком.

«Андрей Николаевич сказал, Андрей Николаевич советовал, Андрей Николаевич сегодня достал для нас билеты на концерт, Андрей Николаевич поведет нас в музей»,— стало раздаваться в этой квартире.

Старички наверху ревновали.

— Обиделся на нас, что ли, Андрей Николаевич.

Общество Дерябкина составляли:

Девица Плюшар, лет шестидесяти, отставная классная дама с косичкой, закрученной на затылке, и двумя зубами на верхней челюсти; девица, которой уже негде было танцевать мазурку.

А как лихо отплясывала она за мужчину в своих желтых на шнурках ботинках на прежних балах гимназии, в которой по утрам она плыла со сложенными на груди руками и каменным лицом: «Время делу, а потехе час».

Парикмахер Жан, человек образованный, любящий

порядок, которому теперь приходилось брить и стричь черт знает кого! Клиентов, с которыми нельзя даже и поговорить, которым нельзя порассказать и которые сообщить ничего не могут! А раньше было стричь и брить одно удовольствие... Узнать, что делается в Сенате, что — за границей, как прошел домашний спектакль в доме графини З.

Парикмахер Жан был вхож в лучшие дома города. Прежде он носил в престольные праздники цилиндр и жакет. А причащаться было в прежнее время одно удовольствие. Впереди мундиры, тканные золотом, белые брюки, треуголки под мышкой, светлые платья, запах духов, одеколона и все знакомые, знакомые. Стоишь в дверях и только успеваешь раскланиваться.

Владимир Николаевич Голод, владелец фотографического ателье «Декаданс», где всем снимающимся вставляли глаза и придавали деревянный вид.

Бывший подрядчик Индюков, великий пьяница и враг народа.

Все это общество жило очень дружно и почти весело.

Индюков уважал девицу Плюшар как женщину начитанную и умную. Девице Плюшар нравился Индюков как человек положительный, хотя и пьяница. Мысли девицы и старого вдовца о воспитании не совсем совпадали. Но Индюкову казалось, что мысли их совсем совпадают, чему он был рад.

Жан, хотя и был ниже Плюшар по происхождению, но за свою жизнь обтесался, знал несколько слов по-французски, нужных парикмахеру его времени, знал всю подноготную театрального мира. Плюшар, хотя и поздно, узнавала закулисную жизнь.

Был, конечно, в этом обществе и бывший офицер, как бывает почти в каждом обществе, потому что кто же не служил еще в недавнее сравнительно время? Мобилизован он был еще безусым юнцом и с тех пор носил офицерское звание. Прославился же он своей мазуркой, еще будучи студентом первого курса Горного института. Мальвин был совершенно одинокий человек. Поэтому любил он очень Дерябкина. Всем знакомы одинокие люди. Все знают, что они застенчивы, а иногда нервически веселы, что они очень любят вспоминать то время, когда они блистали.

В воскресные и праздничные дни все общество собиралось у Дерябкина. Свистонов попал в это обще-

ство. Свистонов не пропускал ни одного воскресенья.

Плюшар уважала литературу, она считала, что литература должна прямолинейно учительствовать. Жан любил юмористические рассказы. Индюков говорил, что книги не его ума дело. Мальвин предпочитал популярно-научные романы. Было о чем поговорить и поспорить.

Девицу Плюшар подпоили. Она сидела красная и оживленная в своей укороченной юбке и кофточке с воротом, наглухо застегнутым. Индюков опьянел и стал болтлив. Мальвин наливал Свистонову из бутылки и спрашивал мнение его о литературе. Дерябкин хотел показать Свистонову своих знакомых во всем блеске, чтобы он знал, с кем он, Дерябкин, знаком.

— Анна Николаевна станцует мазурку,— сказал он Свистонову.— Она вас до сих пор стеснялась, но сегодня, я думаю, ничего.

И произошло нечто живописное, с точки зрения Свистонова. Гости и хозяева стали отодвигать стол. Дерябкин взял гитару и тронул струны. Все, за исключением Плюшар и Мальвина, сели по стенам. Мальвин подошел, пригласил Плюшар на танец. Он обхватил ее за талию, и на пятачке они понеслись. Мальвин выделывал па, старался танцевать так, как танцевал еще студентом, становился на колени. Девица Плюшар неслась вокруг него. Он вскакивал, вращал ее еще раз, и они снова неслись.

Свистонов любовался растрепавшейся косичкой Плюшар, и синими жилками на ее виске, и слегка презрительным и чопорным выражением лица, лысиной и потом Мальвина, колоритной фигурой бородатого Индюкова, добродушно засыпавшего в углу, бамбуковыми летними стульями и диваном, состоявшим из матраца и длинного ящика из-под яиц, обитых ситцем. Для Свистонова люди не делились на добрых и злых, на приятных и неприятных. Они делились на необходимых для его романа и ненужных. Это общество было ему нужно, и он чувствовал себя в нем как рыба в воде. Он не сравнивал себя с Золя, который сохранял даже фамилии, ни с Бальзаком, который писал, писал, а потом выходил знакомиться, ни со знакомым N, который возвел на себя однажды смердяковскую гнусность, чтобы посмотреть, какое это впечатление произведет на его знакомого. Он предполагал, что все это вполне простительно художнику и что за все это придется

расплатиться. Но какая его ждет расплата, он не думал, он жил сегодняшним днем, а не завтрашним — самый процесс похищения людей и перенесения их в роман увлек его.

Он донельзя чувствовал пародийность мира по отношению к какой-то норме. «Вместо правильного метра, начертанного в наших душах,— сказал бы поэт,— мир движется в своеобразном ритме».

Но Свистонов был уже не в тех летах, когда стремятся решать мировые вопросы. Он хотел быть художником, и только. На взгляд поэта, Свистонов обладал некоторой долей мефистофелеподобности, но, сказать по правде, Свистонов не замечал в себе этого качества. Напротив, все для него было просто, ясно и понятно.

Поэт бы нашелся, поэт бы на это возразил, что это и есть мефистофелеподобные качества, мефистофелеподобная плоскость, то презрительное и брезгливое отношение к миру, которое ни в какой степени не присуще художнику. Но на то он и поэт, чтобы выражаться слогом высоким и туманным, чтобы искать каких-то соотношений между миром здешним и потусторонним. Свистонов был трезвый человек и, по-видимому, обладал достаточной силой воли.

Мир для Свистонова уже давно стал кунсткамерой, собранием интересных уродов и уродцев, а он чем-то вроде директора этой кунсткамеры.

Трудовой день Дерябкина заключался в хождении по квартирам. Собственно, не по квартирам, а по передним, где таковые имелись. Его обязанностью было записывать, сколько у кого сгорело электричества за месяц. Дерябкин был человек с открытым ртом и волосами, подстриженными ежиком.

Трудовой день девицы Плюшар заключался в утирании носов, и в разговорах по-французски, и хождением с детьми и собачками по скверам, если была ясная погода. Идет она по скверу, таща за собой ребенка, и говорит: «C'est qu'on ne connait le prix de la santé que lorsqu'on l'a perdue [1]. Повтори, Надя».

И Надя семенит за ней и повторяет.

Девица Плюшар ненавидела детей, и ни на что ей смотреть не хотелось.

[1] Цену здоровью узнаешь только тогда, когда его потеряешь *(фр.)*.

Дерябкин любил спорить на антирелигиозные темы с Иваном Прокофьевичем.

— Ваша религия,— говорил он,— ложь и дурман. Вы не читали никогда книжек, Иван Прокофьевич.

Дерябкину хотелость переспорить Ивана Прокофьевича и возыметь над ним превосходство. Но седой Жан не сдавался. Он вспоминал действительного тайного советника, большую умницу. Сидит тайный советник у себя дома перед зеркалом и говорит ему, Жану, нежно бреющему: «Дело не в пороках духовенства, а в идее».

В будние дни по вечерам Дерябкин угощал гостей радио. Липочка разливала чай, гости кушали, пили, а в это время женский голос пел цыганские романсы, доносились томные вздохи гавайских гитар, декламировались стихи, исполнялась музыка датских или других композиторов. Иногда целиком прослушивалась опера.

Сам Дерябкин устроил из бумаги громкоговоритель и отлакировал его. Черная труба стояла на столе рядом с вареньем и кричала, и пела, и смеялась, и передавала нежнейшие звуки.

Глава десятая

ПОДРОСТОК И ГЕНИЙ

Машенька быстро поставила лампу на зеркало, открыла дверь.

— Боже мой, Андрей Николаевич, как вы бледны! Да вы промокли насквозь!

— Вы любите молоко? — спросила она, сделав короткую паузу.— Сегодня у нас есть сливки!

Она стащила со Свистонова пальто и отнесла на кухню. Потащила Свистонова в столовую. Бросилась, улыбаясь, к буфету и мило поднесла к самому носу гостя хрустальный молочник. Свистонов залюбовался.

— А Владимира Евгеньевича нет дома? — спросил он.

— Нет, папа по делам ушел.— И принялась искать в буфете подаренную отцом ей на именины чашечку.

— Да пейте же! — воскликнула она, усаживая Свистонова и подавая свою любимую чашечку.

Свистонов отпил.

— Не уходите только, а то мне страшно одной.

— Видите ли, я только на одну минуточку,— ответил Свистонов.

Но увидев, как изменилось лицо у Машеньки, Свистонов прервал себя.

— Но если вам страшно, я охотно останусь.

Порывы ветра сотрясали домик с двумя освещенными окнами. К ночи буря должна была усилиться.

— Пожалуй, от нашего дуба ничего не останется,— сказала Машенька и тут только вспомнила, что волосы у нее в газетных бумажках.

Стала снимать с поспешностью бумажки и бросать их в камин.

— Посидите здесь одну минуточку, Андрей Николаевич.

Машенька вернулась и бросила охапку великолепно высушенных березовых дров, предназначенных для растопок. Принялась отдирать кору.

Свистонов принялся отщеплять ножом лучинки.

— У вас носки промокли, хотите, принесу папины туфли?

Свистонов сидел в туфлях Психачева. Он, собственно, отвык от молодежи и не знал, как нужно с ней обращаться. Кроме того, его стесняло, что в домике кроме него и Машеньки никого нет.

Он с облегчением вздохнул, когда Машенька взяла инициативу разговора в свои руки, но заметил, что сам он отвечает подростку пусто и вяло, несмотря на все свое доброе желание. Ему даже стало несколько грустно, что у него нет ни слов, ни мыслей для Машеньки.

Машенька уже где-то читала, что писатель есть нечто светлое и умное, что писатель вообще гордая и идущая наперекор времени натура, проникающая в лежащий на виду у всех секрет. И вот в этот-то секрет очень хотелось проникнуть Машеньке.

Ей очень хотелось, чтобы Свистонов прочел ей свой новый роман. Она знала, что гость его как некую драгоценность носит всюду с собой.

Кроме того, Психачев как-то сказал ей, что Свистонов гений, а слово гений имеет теперь, да вряд ли когда утратит, особую притягательную силу. И вот Машеньке хотелось поговорить со Свистоновым начистоту, поговорить по душе с гением.

Свистонов чувствовал необходимость поддержать разговор.

«Какое счастье выйти за гения замуж, освободить гения от мелких жизненных забот!»

И Машенька решила накормить молчавшего гения ужином.

Вскочила она с кресла, отворила форточку и стала шарить между окнами.

Но беден был дом Психачева, и нашла она только кусок шпика и стеклянный бочонок с шинкованной капустой.

Радостная, побежала она за сковородкой.

Шипит шпик, с каждой минутой темнеет капуста, вкусный запах не весь уносится в каминную трубу. Нашла Машенька и водку.

Гений пьет и закусывает, а Машенька в восхищении сидит напротив.

Закусил гений, отложил салфетку и закурил.

Задумался Свистонов. Думает он о том, что кушанье дымом пахло, где и когда еще кушанье дымом пахло.

Смотрит Машенька и не налюбуется, просит гения почитать роман.

— Нет,— сказал Свистонов,— не надо, Машенька.

Но потом заинтересовало Свистонова, какое впечатление произведет его роман на подростка и смогут ли вообще подростки читать его роман.

Пошел Свистонов в переднюю и принес свернутую в трубочку рукопись. Подумал, подумал и стал читать.

С первых строк Машеньке показалось, что она вступает в незнакомый мир, пустой, уродливый и зловещий, пустое пространство и беседующие фигуры, и среди этих беседующих фигур вдруг она узнала своего папашу.

На нем была старая просаленная шляпа, у него был огромный нос полишинеля. Он держал в одной руке магическое зеркало...

Глава одиннадцатая

ТИШИНА

Кипы бумаг росли вокруг Свистонова. Массу исписанных листов пришлось отбросить. Пришлось отбросить и многих героев как совпадавших друг с другом. Пришлось из нескольких героев составить один образ, собранные черты расположить по-новому. Пришлось

начало перенести в конец, а конец превратить в начало. Пришлось двенадцатый год превратить в восьмой, а лето — в зиму. Пришлось многие фразы вырезать, другие — вставить. Наконец, он дошел до отделки старичка и старушки:

Весело смотреть на маленьких старушек,—

переиначивал Свистонов страницы из детской книжки «Звездочка» за 1842 год,—

когда они бегают в саду, не думая ни о чем, как только о цветочках и деревьях, о птичках и голубых небесах; весело смотреть на старушек, когда они, завязав, как должно, свои шляпки и пелеринки, прыгают и наслаждаются свежим воздухом и зеленою травкою, как птички Божии.

Была на свете,—

переиначивал Свистонов,—

маленькая старушка, которую любил всякий, кто только знал ее. Собаки, увидев ее, начинали лаять от радости и лизать руки ее. Кошки мурлыкали, терлись около ног ее, а маленькие котята прыгали и заигрывали с ней. Но отчего все так любили эту старушку? Оттого, что она была добра и ласкова и была им вместо мамаши. Она часто сиживала на ковре и кормила собачку пирожками, она сама любила пирожки, но всегда готова была отдавать их Травиате, и Травиаточка любила ее за это. Звали старушку Сашей.

Всякое воскресенье она ходила к обедне, и надо было любоваться, как смирно стояла она и как усердно молилась. Глазки ее беспрестанно смотрели на образа, бывшие перед нею; и никогда направо или налево, или даже назад, как делают это иногда маленькие шалуны и шалуньи. Она просила сделать ее доброй и богобоязненной. Просила послать здоровья и счастья ее мужу, Травиаточке и всем людям на свете. В таких мыслях время проходило у нее так скоро, что она

никогда не чувствовала усталости за обедней, как другие маленькие старички и старушки, которым часто обедня кажется очень длинной. Как приятно смотреть на старушку скромную, тихую. Она внимательна и услужлива к младшим, ласкова ко всем людям в доме. Если ей нужно попросить о чем-нибудь, о кастрюле, об утюге, она сделает это так мило и с такой скромностью, что невозможно отказать в ее просьбе. Старушка краснела при самой маленькой похвале.

Маленькая старушка. Иногда по вечерам, если муж куда-нибудь отлучался, а это бывало очень редко, она открывала сундук, доставала всякие тряпочки, вышивки, пасхальные яички, огрызки карандашиков, старые афиши и программы оперных представлений, старые модные картинки, поздравительные открытки, конверты, визитные карточки, перечитывала листки календарей, читала стишки:

В небе солнышко сияет,
Воздух веет теплотой,
А народ честной гуляет
Вкруг Гостиного толпой.
Что за чудные приманки
Блещут в грудах по столам —
Сласти, вербы, куклы, склянки... —

и вспоминала она, что верба бывала вокруг Гостиного двора.

Закрыл Свистонов книжку, подумал, куда этот отрывок вставить, как связать со всем романом и нельзя ли составить сегодня предисловие. Он опять взял отложенную книжку, раскрыл ее на закладке и, заменив одно слово другим, выписал страничку:

ПРЕДИСЛОВИЕ

Приятно читать интересную книжку. За нею не видишь, как проходит и время. Не правда ли, милые читатели? И вы, я думаю, уже не раз чувствовали в жизни вашей, хотя и не успели еще прочитать много. А заметили ли вы, какие книги вам более нравятся? Конечно, такие, где все, о чем говорится, сказано просто, ясно и верно. Например, если говорится о каком-нибудь цветке, то этот цветок описан так хорошо и так согласно с тем, каков он на самом деле, что

вы, увидев его, тотчас же узнаете по описанию, хотя бы никогда прежде не видали; если говорится о каком-нибудь лесочке, то вы как будто видите все деревца его, как будто чувствуете прохладу, которую он дает своей тенью земле, жарко разогретой летним солнышком; а если описываются в такой книге люди, то они как будто живые перед вами. Вы узнаете черты лица их, физиономию, привычки. Вам кажется, что вы тотчас узнали бы их, если бы они могли явиться перед нами.

И сколько бы десятков лет и даже столетий ни прошло от сочинения этой книги, все же описания ее останутся прекрасными, потому что они сделаны верно с природой.

Итак, начинаю рассказ мой, который потечет, как спокойный ручеек в берегах, усеянных серебристыми маргаритками и голубыми незабудками.

Утром, перечитывая главы и материалы, Свистонов убедился, что в романе нет садов. Никаких садов. Ни новых, ни старых. Ни рабочих, ни городских. Но роман не сможет существовать без зелени, как не может существовать и город.

Свистонов вышел на работу — тем более что и день был подходящий. Он прошел мимо памятника Петру Великому, но обернулся на пение: к памятнику, идя от Сенатской площади, приближался седобородый человек в длиннополом позеленевшем пальто, остановился перед памятником, погрозил Петру кулаком и сказал:

Мы вам хлеба,—
А вы нам париков.
От тебя все погромы.

Затем, опустив голову, побрел дальше.

Свистонов остановился и записал, затем вошел в Сад Трудящихся. Он купил папирос и шоколаду у инвалида, закурил и стал внимательно осматривать состояние и местоположение сада: «Что отвлечь от него? Бюсты ли в мундирах, взять ли сидящих на барьере фонтанного бассейна, показать ли Адмиралтейство с гигантскими фигурами?.. Народ ли, толпящийся, и вращающийся, и ухаживающий?»...

Свистонов прислонился к стволу дерева.

Три часа ночи. Бар. Свистонов сел у самого оркестра. Свистонов принялся работать над встречей Психа-

чева с грузином. Свистонов воспользовался разрешением, данным Психачевым среди холмов, и не изменил и не заменил его фамилии.

Свистонов выводил:

Психачев познакомился с Чавчавадзе в баре. На эстраде играло трио: виолончель — старик в бархатной куртке, скрипка — русский в сером костюме и гетрах, пианино — еврей-заика. «Не искушай меня без нужды...» — ныли звуки.

Из-за столика поднялся старик. Повелительный жест рукой,— молчи! — обращенный к молодому собутыльнику в кожаных черных перчатках, в косоворотке. Шляпа собутыльника лежала на мраморной доске.

Затем, слушая тоскливый романс, прикрыл старик глаза рукой и заплакал.

Чавчавадзе ел цыпленка.

— В нем душа Дон-Жуана,— обратился Психачев к угощавшему грузину,— несчастный старик!

— Предскажи судьбу моей матушки,— протянул Чавчавадзе пожелтевший листок Психачеву,— ты выпил и закусил.

Снова дома. Свеча догорала, фитиль лег на бок, и пламя касалось розетки.

Свистонов вынул железнодорожную свечу и вставил ее в подсвечник. Закурил, подумал и склонился над вынутым листом бумаги.

....

Окончив гадание, Психачев подошел к столику старика.

— Ужасна ваша участь,— сказал он старику на ухо.

По вечерам Психачев подрабатывал в трактирах в качестве графолога. Но сейчас он подошел, движимый состраданием. Но по привычке речевой аппарат добавил:

— Не дадите ли ваш почерк?

— Володя, ты? — вскричал Экеспар, настигая Психачева,— что ты тут делаешь?

Психачев замялся.

— А мне говорили, что ты стал ленинградским Калиостро!

— А ты?.. Где ты пропадал?

— И, дорогой друг, где только я не был, создал даже...

— За пятнадцать лет ты изменился, дорогой друг.

— Да и ты не похорошел...

....

Милиционер весело отдал честь Психачеву. Психачев поздоровался с ним за руку.

— Это волшебный милиционер! — сказал Психачев,— если б ты знал, какие чудеса он мне рассказывал про яблони!

Так шли Экеспар и Психачев в белую ночь.

«Пейзаж, пейзаж скорее!» — подумал Свистонов.

Дорога постепенно озарялась солнцем. Пустой Летний сад шелестел. В отдалении видна была Нева.

Навстречу Экеспару и Психачеву шел фининспектор.

В это время писатель Вистонов, одержимый мыслью, что литература — загробное существование, высматривал утренние пейзажи, чтобы перенести их в свой роман.

Уже были описаны отдельные части города, когда он встретился у мечети с Психачевым и Экеспаром.

— Э, дорогой друг, доброго утра,— протянул руку Вистонов,— живем?

— Живем!

«Этим надо закончить главу,— подумал Свистонов.— В следующей главе придется развернуть себя, передать токсовские холмы, увод Куку, знакомство с Психачевым».

Тесто вполне поднялось — площадь романа, пейзажи и линии были ясны.

Свистонов зевнул и отложил самопишущее перо. Слои пыли уже успели улечься на книгах после недавней перестановки, и рассыпчатые жучки и мокренькие букашки грызли, точили, просверливали книги. Вперебой с часами тикали жучки. Под аккомпанемент жучков Свистонов выпрямился, творческий порыв его иссяк. «Чем бы заняться?» — подумал он и решил пройтись. Он шел по улице, утомленный работой, с пустым мозгом, с выветрившейся душой.

Роман был окончен. Автору не хотелось больше притрагиваться к нему. Но произведение его преследовало. Свистонову начинало казаться, что он находится в своем романе. Вот он встречается с Кукуреку на какой-то странной улице, и Кукуреку ему кричит: «Куку, Свистонов, Куку! Вы сами Куку, Свистонов»,— и вдруг выскакивает из-за Куку Психачев и начинает в пустынном месте чародействовать. «Вот я сейчас,— говорит он,— покажу, как заключают пакты с дьяволом. Но, ради Бога, не говорите об этом Машеньке. Что? вы талантливы? Вы гениальны? Вы покажете меня всем во всем моем злом могуществе?» И начинает Психачев произносить слова: «Сарабанда, пуханда, расмеранда...» — и видит Свистонов, что он рассказывает Машеньке под зеленой березкой про ее папашу. «Так, так,— говорит он,— Машенька. Ваш папаша совсем не возвышенный человек, а некая презренная и презираемая личность. Он совсем не настоящий мистик, а черт знает что. И не видит он ничего дальше своего носа. А насчет очков, в которые можно видеть невидимый мир, то, знаете, это того-с... таких очков у него никогда не существовало. Так что и потерять он их не мог. Врет он, что ему подарил их один немецкий профессор. Врет он, что видел в них, как его предки обедают». А Машеньке будто и не четырнадцать лет, а восемнадцать. А вот и Паша, и милиционер, и глухонемая идут к нему навстречу гуськом.

Свистонов вышел.

— Тим-там... Эх, шарабан мой, ти-та, та-ти-та, и разошлись, как в море корабли.— Домовые фонари освещали углы строений и ворота, звуки песен и гитар уходили в переулки и снова возвращались на набережную и таяли между звездами и их отражениями.

Днем сверху город производил впечатление игрушечного, деревья казались не выросшими, а расставленными, дома не построенными, а поставленными. Люди и трамваи — заводными.

Ночью курил Свистонов над опрокинувшимися освещенными домами на набережной Фонтанки. Длинная

чугунная решетка перил качалась в воде, освещенные невидимой луной облака плыли.

Одиночество и скука изображались на лице Свистонова. Огни в воде, пленявшие его в детстве, сейчас не могли развлечь его.

Он чувствовал, как вокруг него с каждым днем все редеет. Им описанные места превращались для него в пустыри, люди, с которыми он был знаком, теряли для него всякий интерес.

Каждый его герой тянул за собой целые разряды людей, каждое описание становилось как бы идеей целого ряда местностей.

Чем больше он раздумывал над вышедшим из печати романом, тем большая разреженность, тем большая пустота образовывались вокруг него.

Наконец он почувствовал, что он окончательно заперт в своем романе.

Где бы Свистонов ни появлялся, всюду он видел своих героев. У них были другие фамилии, другие тела, другие волосы, другие манеры, но он сейчас же узнавал их.

Таким образом Свистонов целиком перешел в свое произведение.

⟨1928—1929⟩

БАМБОЧАДА

Бамбочада — изображение сцен обыденной жизни в карикатурном виде. Г. Ван-Лир, прозванный il Bamboccio (калека), в XVII в. славился этого рода картинами.

Ф. И. Булгаков. Худ. энц., т. I

Матреша Белоусова была уже в летах. В деревне ее звали однокоской.

Она служила в нянях и утвержала в течение пяти лет, что ей — двадцать пять.

Она была жеманна и говорила про ломовика Прошу, что он ворочает ее как куколку.

По вечерам, перед тем как ложиться спать, она перед осколком зеркала заплетала волосы в мелкие, мелкие косички; чтобы скрепить их, она плевала на пальцы.

Она угрожала так:

— Я его шпокну!

С ней познакомился Евгений Фелинфлеин в год ужасающих морозов, каких не было уже лет сто.

Фелинфлеин уже не был пухлым, румяным 16-летним мальчиком. Восемь лет авантюр, путешествий и вранья несколько изменили выражение его лица, возраст расширил Евгения в плечах, вызвал растительность, хотя и умеренную, на его щеках.

Наступала весна.

Матреша Белоусова стояла у ворот в своем старомодном пальто и шелковом платке под парчу.

Фелинфлеин в огромных очках шел, постукивая палкой, и размышлял:

«Где бы мне пообедать, у кого переночевать, что предпринять, чтобы не было скучно?»

В прошлом остался цирк в Бухаре, т. е. вырытое в земле углубление, уставленное деревянными скамейками с накинутыми на них коврами; там после пляшущих лошадей и полной танцовщицы в пачках, прыгающей через веревку, и перед жонглером, подкидывающим цветные стеклянные кегли, выступал Евгений вместе с каким-то прохвостом, одетым в костюм трубадура, исполнявшим под собственный аккомпанемент на пиле куплеты с припевом:

Умен, умен, умен,
Дурак, дурак, дурак.

Кроме бухарского цирка, Евгений уже побывал режиссером Халибуканского театра и аккомпаниатором нижегородской радиостанции, электромонтером и актером передвижного коллектива и секретарем одной из газет на побережье Крыма, но сейчас он был безработный.

Он шел, ударяя палкою о камни, думая о том, как он здорово сыграл вместо «Интернационала» — «Марсельезу» на одном из съездов делегатов электроучреждений и какая мина была у заведующего дворцом, и как его, Фелинфлеина, выперли.

Вдруг расхохотался.

Стоявшая у ворот Матреша Белоусова, увидя молодого человека с портфелем под мышкой, в темных очках, шедшего и постукивавшего палкой, приняла его хохот за желание познакомиться, оправила юбки, вытянула голову и стыдливо прыснула.

— Милочка,— сказал Фелинфлеин,— не мне ли вы улыбаетесь? Не сдается ли у вас комната?

И хотел идти дальше.

— Как же, как же,— пустила вдогонку барышня Белоусова,— комнатки нет, да для такого приветливого молодого человека, быть может, и найдется.

«Хе-хе,— подумал Фелинфлеин,— что это за бабища?»

— У вас в доме есть комната? — спросил он удивленно.— Уж не казначейша ли вы?

— Казначейша не казначейша, а комнату сдать можем,— гордо заявила бывшая няня.

И вдруг поднял ногу молодой человек и опустил ее на палку.

«Чем черт не шутит! Может быть, бабища действительно комнату достанет?»

— Домишко-то у вас того! — сказал он, подняв голову и посмотрев на двухэтажное здание с трещиной, давно не крашенное, с небольшими окнами, с ухабным двором — если можно так назвать пустое пространство между воротами и флигелем. Боковых домов не было. Стояли ворота, а за ними на некотором расстоянии краснокирпичный дом.

— И, молодой человек,— добродушно возразила девица,— везде люди живут! А где вы лучше найдете? Небось не первый день по лестницам маетесь?!

Пошла от ворот, оглядываясь.

Евгений, как благовоспитанный юноша, последовал за барышней Белоусовой.

— Вот, Наталья Тимофеевна,— пояснила барышня Белоусова,— вам жильца привела.

Евгений скромно поклонился.

— Человек мне известный.

— Да, уж знаете, время такое,— пояснила Наталья Тимофеевна,— всем приходится сжиматься, да только понравится ли вам, уж больно у нас мизерно; по виду видно, что вы человек воспитанный, может быть, из высшего круга, а домишко у нас неблагополучный, того и гляди развалится. Ну, да ладно, раз зашли, показать надо; да только не прибрано еще, не обессудьте.

Фелинфлеин представил, какую карикатуру нарисует Петя Керепетин — «Евгений в роли...», когда узнает, где он поселился.

По облупленному дощатому полу, предшествуемый хозяйкой и сопровождаемый няней, прошел в комнату, заставленную и холодную. «Вид из окна ничего»,— подумал съемщик, увидев зелень и купола собора Иоанна Предтечи.

— Не комната, а дворец! — сказал он.— Вот моя трудовая книжка; соблаговолите принять задаток.

Пропуская ступеньки, неся перед собой палку, как жезл, он быстро-быстро побежал продавать чужую браслетку.

— Вы уж, Матреша, помогите вынести лишние вещи, а то здесь и казак с лошадью потонет,— закрывая дверь, сказала хозяйка.

В то время как рухлядь выносилась, причем Матреша с тайным любопытством все осматривала, Фелинфлеин заходил в ювелирные магазины и силился продать именинный браслет. Но как раз проводился очередной налоговый нажим, и все скупщики золота обратились в часовщиков-кустарей. Мигом были убраны цепочки, кольца, кулоны, подстаканники, вазы хрустальные; вместо них положены были плакаты:

«Здесь производится ремонт часов».

«Наша специальность — выверка часов».

«Дороже всех платим за ломаные часы!»

— Я принес пустячок,— вынул Фелинфлеин разноцветную браслетку, опустил на прилавок и, скрестив ладони на палке, небрежно оперся, ожидая мелькания руки, лупы в глазу, быстрого оборота браслетки, нахож-

дения пробы, взвешивания на руке и презрительного бросания на весы.

Но ювелир не притронулся к щепотке золота, раззмеившейся по стеклу, покрывавшему пустое пространство, а, подозрительно посмотрев на стоявшую в ожидании элегантную фигуру, прокричал:

— Ни золота, ни серебра, ни бриллиантов мы не покупаем,— и, повернувшись спиной к улице, левою рукой поднял браслетку и бросил на весы.

Пряча деньги в карман, удивляясь столь невежливому обращению, пожал Евгений плечами. Вышел на улицу. Прочел:

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!
МАСТЕРОВ
САМОЗВАНЦЕВ,
ПРИКРЫВАЮЩИХСЯ ФИРМАМИ
ПАВЕЛ БУРЕ И ДР.
А НА САМОМ ДЕЛЕ НИКАКОГО
ОТНОШЕНИЯ К ЭТОЙ ФИРМЕ
НЕ ИМЕЛИ И НЕ ИМЕЮТ.
ОТДАВАЯ СВОИ ЧАСЫ В ПОЧИНКУ
ВЫШЕУПОМЯНУТЫМ САМОЗВАНЦАМ
ВАШИ ЧАСЫ
ТЕРЯЮТ СВОЕ
ДОСТОИНСТВО.

Вдруг юноша был подхвачен под руку женской рукой в перчатке и повернут. Евгений увидел кончик носа и яркие губы одной из своих жен, Нины Псиоль.

— Ты что здесь делаешь? — радостно воскликнула она.

— А ты?

— Я бегу на службу. Идем, посидим, тысячу лет не видались.

Муж и бывшая жена, хохоча, пошли рядом.

— Постой! — вскричал бывший муж, когда перед ним появился неокрашенный дощатый забор и над ним облепленное снегом, с огромной, превратившейся в снеговую, лестницей, красное с серым, увенчанное фронтоном, здание.

— Евгений, Евгений, куда ты?

Юноша уже вбежал в узенький сквозной коридор, и некоторое время там была видна его уменьшающаяся фигура.

Псиоль остановилась: ей надо было спешить на службу.

Евгений осмотрел заинтересовавший его дом и, заглянув в окна, важно вышел на Фонтанку.

Накупил лучших папирос, апельсинов, шоколаду, зашел в грузинскую винницу, купил вина, влетел в кооператив, накупил всего прочего.

Евгений спешил к Ларечьке.

Приложив лоб к холодной оконной раме, плакала Ларенька. Ведь вчера кроме ее жениха в комнате никого не было.

Отойдя от окна, девушка снова стала перерывать вещи. Она трясла платье, подметала пол, лазила под диван — браслетки нигде не было.

Евгений вошел с покупками. Вместе принялись за поиски.

— Не потеряла ли ты ее на улице? Не оставила ли ты ее в ванной комнате? Лариса, что же ты не отвечаешь?

— Я уже везде искала, безнадежно! — ответила невеста.

— Может быть, крысы утащили? — высказал предположение Евгений.— Ты знаешь, крысы очень любят золото. Ларя, не плачь, я тебе новую браслетку куплю,— смущенно сказал юноша.— Я пригласил Силфипилина и Керепетина. Ты ведь сегодня свободна?

Юноша ушел с пакетом на кухню. Спешно стала готовить Ларенька любимый суп Евгения.

Сварила рис. Влила виноградного вина, прибавила мелко изрубленной цитронной корки, соли, сахару, толченой корицы, сливочного масла. Немного поварила. Подправила яичными желтками.

Дала попробовать Евгению. Евгений остался доволен.

Принялась готовить второе — макароны.

После обеда невеста с заплаканными глазами стала мыть тарелки, перетирать рюмки.

Евгений под влиянием Торопуло увлекался кулинарией. Он выдумывал соусы. Он сердился, когда Ларенька морщилась; он считал, что кулинария может унизить его только в глазах дураков.

— Ты ничего не понимаешь, Лариса,— говорил он.

Когда все было готово, жених и невеста вернулись в комнату. Невеста стала переодеваться, жених сел спиной и принялся читать исполненные прелести проповеди Массильона, достойного соперника Боссюэта и Бурдалу. Когда читал Евгений, всегда перед ним

появлялись образы в костюмах и со всеми мелочами. И сегодня, собственно, наслаждался Евгений не проповедями благочестивого оратора, а его фигурой, его платоническим романом с г-жой Симиан, внучкой покойной маркизы Севинье. Милый проповедник ходил каждый вечер читать этой молодой особе, любящей хороший слог, книгу, сочиненную для нее.

Насладившись своеобразным чтением, Евгений, так как оставалось еще достаточно времени, усадил невесту и стал обучать ее французскому языку.

У Лареньки было худенькое веснушчатое личико, руки и ноги как палочки и голубые, цвета воды, глаза.

Невеста, переодевшись, села у прозрачного окна.

Вечерело. Два тома татищевского словаря лежали на столике.

Евгения привлекали фигуры, имевшие душу более занимательную, чем великую, вроде Людовика XI; фигуры феодальных злодеев, вроде Жюль де Рэца, и радостный, жестокий и цинический XVI-й век. Пока невеста переводила, жених то перелистывал пожелтевшую хронику, то рассматривал портрет Людовика XI-го, то читал о въезде короля в город Париж через ворота Сен-Дени, как для встречи короля люди, и дикие люди, сражались, как три прекрасные девушки изображали сирен, совершенно обнаженные, и пели мотеты и бержереты, и рядом с ними играло множество инструментов. И как для того, чтобы могли прохладиться входившие в город, было устроено так, что различные трубки фонтана выбрасывали молоко, вино и ypocras. Что значит ypocras — Евгений не мог найти ни в одном словаре, но подозревал, что это — нечто душистое.

Описания встреч и празднеств, фейерверков и процессий волновали Евгения. В нем совершенно отсутствовало чувство ответственности перед кем-либо или перед чем-либо. Профессорский сын, дед которого претендовал на один из балканских престолов, был смешлив, любил переодевания, любил жестокость, соприкасающуюся с фантастикой. Он с любопытством читал о рыцарях, которые заставляли своих жен съедать сердца возлюбленных, превосходно приготовленные; о каком-нибудь молодом дворянине, обижавшем в виде мести свою тетку под открытым небом в присутствии всего своего отряда, о чубаровских делах XI-го века, о взрослых дочерях, бросаемых в бочках в море, чтобы смыть

бесчестие; его занимали короли первой расы тем, что они производили себя от инкуба, и дом Лузиньянов действовал на его воображение, потому что претендовал на то, что происходит от Мелюзины, наполовину женщины, наполовину змеи. В силу той же склонности к фантастическому Евгений любил свечи; при виде свечей он вспоминал, как один рыцарь потчевал три сотни кавалеров своей свиты жарким, приготовленным на пламени восковых факелов.

Ко всему тому же Евгений был еще и шулером, но шулером не таким, какие существовали в конце XIX-го века: он не являлся каждый вечер в накуренный зал клуба, как мелкие арапы, не опускал стянутый золотой за свой собственный воротник, не утверждал, что он поставил деньги, которые собственно поставил его сосед, не наступал с видом оскорбленным и не устраивал скандалов, не вымогал денег на игру; его не боялись и не избегали.

Напротив, с ним было весело: он был греком по профессии, как понимали слово «грек» в XVIII веке, т. е. веселым обманщиком; его любимое изречение было:

«On peut dire, en general, que tous les hommes sont aujourd'hui grecs par système d'existance» [1].

— Только одни,— добавлял он,— не знают, кто они, другие подозревают, третьих — это открытая профессия. Пусть закрыты игорные дома, для меня — везде игорный дом: будь то парк с тихой рощицей, павильонами и псевдоклассическими гробницами, будь то радиостанция в центре города с ее микрофоном, усилителем, пробковыми полами.

Но чтение было прервано. Неожиданно забежал Василий Васильевич Ермилов.

— Так вот, Ларенька,— сказал он, лишь только вошел в комнату,— не знаете ли вы, кто такой Лебедев? В тот памятный вечер, говорят, в летнем Буффе он увивался за Варенькой и поднес ей букет роз; может быть, его фамилия совсем не Лебедев? Я на минуточку только забежал к вам, узнать: может быть, вам Лебедев, или как его, известен?

Ларенька помогла Василию Васильевичу раздеться.

Положив портфель с карточками своей дочери, Ермилов сел на диван.

---

[1] В общем, можно сказать, что теперь все люди греки по своему отношению к жизни *(фр.).— Примеч. автора.*

— Я уже навел справки,— продолжал Василий Васильевич,— Лебедев Платон Дмитриевич — ужасная личность: он присвоил себе квартиру композитора Кончалова, его следует бояться.

В это время Ермилов заметил у окна Евгения.

Василий Васильевич прервал разговор.

— Мой жених,— представила Ларенька Евгения Василию Васильевичу.

— Как же, мы давно знакомы!

Евгений незаметно ушел на кухню хлопотать.

Ларенька Василия Васильевича не отпустила.

— Сейчас будет готова чудесная... я уж не знаю что,— сказала она,— посидите, Василий Васильевич, а я вам отыщу письмо Вареньки ко мне.

Евгений вошел с графином и рюмками. Керепетин появился, вслед за ним появились еще юноши.

Поздно ночью разложил Василий Васильевич карточки своей дочери на отдельном столике и стал объяснять каждую фотографию. Он считал своей обязанностью продолжить жизнь своей дочери.

Гости столпились у столика и стали рассматривать, передавая друг другу, фотографические карточки.

Ермилов объяснял, почему здесь Варенька в норвежском костюме, сколько лет Вареньке на этой карточке, сколько на той.

Вот Варенька в костюме балетного училища, а вот в балетных пачках.

Им всем, хотя и понаслышке, небезызвестна была Варенька. Скоро старик овладел разговором.

От выпитого вина всем было тепло, впереди была целая ночь.

Евгений ознакомил своих гостей с последней американской новинкой композитора Коула, показал удар всем локтем по клавиатуре, сиренообразное звучание струн рояля, причем одна рука извлекала звуки под поднятой декой, а другая прыгала по клавиатуре. Затем исполнил присвоенный им опус одного заграничного композитора и, наконец, сыграл фокстрот своего сочинения «Сванская башня».

— Коул не является новатором,— пояснял Евгений, окончив музыкальную картинку.— Ведь можно производить звуки на скрипках, альтах, виолончели, ударяя по струнам древком смычка. Посредством этого приема получается очень странное бряцание. Вспомните «Пля-

ску смерти» Сен-Санса, да и Берлиоз в своем «Эпизоде из жизни артиста»...

— Наш полк стоял во Пскове,— продолжал рассказывать старик, дрожа от внутреннего озноба.

Ему хотелось скорей перейти к рассказу о Вареньке.

— Была японская война. Я выдержал экзамен на прапорщика и погрузился в армейскую жизнь. Признаться, это была страшная жизнь. Потом я расскажу дело капитана Органова, человекоубийцы.

Лица у девушек стали внимательны.

Керепетин, сидя в кресле, важно курил.

— Так вот у нас в полку был старший врач Перфилин. Подаст ему фельдшер отпускной билет подписать, подадут ли ему требование на медикаменты, или понадобится на кого-нибудь взыскание наложить — отвечает старик: «завтра подпишу». Так было со всеми бумагами, несмотря на все резоны. Это было настолько странно, что полковая молодежь заинтересовалась. Galant cavalier, адъютант полка, позвал денщика:

— . . . . понимаешь, братец?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Стал подсматривать денщик в замочную скважину; войдет старший врач в свою спальню, снимет с себя белый китель, медленно и аккуратно, по-стариковски, повесит на спинку стула, сядет к ночному столику, постучит согнутым пальцем, склонит набок голову и прислушается; опять постучит и опять прислушается. Вот и вся страшная тайна! И на следующее утро пустяковую бумагу подпишет. Давным-давно сын его умер. Для врача же его мальчик вырос, стал умницей, молодым человеком, и с ним-то старик перед сном беседовал — подписать или не подписать бумажку. Каково?

— А дело капитана Органова? — спросила Ларенька.

— Еще рюмочку? — предложил Евгений.

Керепетин увлек Лареньку танцевать фокстрот.

Опять старику захотелось перейти к рассказу о Вареньке, и опять он сдержал себя.

— Монашки брали воду из проруби. Глядят, что-то в проруби виднеется. Стали кликать; собрался народ; вытащили — связанная женщина, вся в черном; одна нога в красном чулке, а другая босая.

Стояли извозчики у костра, грелись. «Не моя ли

Анютка?» — сказал один из них. Влез на облучок, хлестнул лошадь кнутом и понесся в больницу.

А надо сказать, что Анюту у нас в полку все знали. Стоскуется офицер, захочется ему семейной жизни, вызовет письмом или через денщика Анюту из домика ее отца. Сложит свои вещи девушка и пойдет. Начнется тихая семейная жизнь недели на две; шьет, и носки штопает, и стряпает Анюта, а потом подарит ей офицер материи на платье или дюжину чулок или пальто справит...

Уйдет Анюта.

А следователь нашел волоски меха на спине ротонды покойницы.

Отнес их к меховщику Фадееву. Тот стал волоски мочить и испытывать. Определил, что они от зайца.

Стал следователь разузнавать в полку, кто страстный охотник?

Оказалось, капитан Органов.

Зашел будто невзначай следователь в дом капитана Органова в отсутствие хозяина и стал стращать денщика. Тот все и выложил. Повел в сарай, показал.

Полетел следователь к командиру полка.

Посадили денщика на гауптвахту. Поползли слухи по городу.

А капитан сообразил — и мигом на гауптвахту.

— Вот что, братец,— сказал он.— Каторги тебе все равно не избежать, а я буду о тебе заботиться. 25 рублей в месяц высылать, шубу куплю, прими всю вину на себя, а так ты голый на каторге сгинешь.

Перевели следователя за излишнюю ретивость в другой город. А солдата на каторгу сослали.

Я, будучи молодым, заинтересовался этим делом.

Узнал, что до этого капитан Органов в Ямбурге служил, что и там с ним какая-то история стряслась.

Поехал туда, собрал нити.

Оказывается, там капитан Органов был некогда женихом, увез невесту в гостиницу, да там ее наутро мертвую нашли. Я познакомился с сестрой убитой, гостил у них; славная была семья.

Вот каков был постоянный председатель суда чести, капитан Органов! Одет он был всегда с иголочки, бритый, душистый, настоящий galant cavalier.

А вот еще случай.

Жара, июльская жара, пыль.

От солдатских казарм к офицерскому общежитию

идет поручик Оглоблин. На небе ни облачка; поручик идет и отмахивается. Над головой вьется муха, жужжит, преследует, во все время пути преследует. Все время отмахиваясь, дошел поручик Оглоблин до первого подъезда, взбежал на лестницу, встал, съежился и стоит. Спускается штабс-капитан Вырвич, большой враль, насмешник и бабник. Увидел он поручика Оглоблина, изумился, подошел и спросил:

— Павел Павлович, что же вы здесь стоите?

— Муха пристала, муха...— ответил поручик Оглоблин и вдруг заплакал.

Недурно, а? А ведь мухи-то никакой не было. Это было началом прогрессивного паралича.

— Во всем ре минор. Во всем ре минор,— обратился к Евгению Ермилов.

«Любимая тональность старинных цыганских романсов эпохи Аполлона Григорьева»,— подумал Евгений.

— Хотел я потом написать целую книгу о полковой злой жизни, да раньше нельзя было, и теперь нельзя.

И вот в этой-то обстановке родилась Варенька! А вот еще,— воскликнул старик, чувствуя, что сейчас можно начать рассказ про Вареньку, и боясь начать его,— хотите про Федю с комодом?

В офицерском флигеле жил добряк Федя с комодом, эскадронный командир. Он каждое воскресенье садился, с виолончелью в футляре, на извозчика, чтобы поиграть в знакомом доме.

«Вот опять поехал Федя со своим комодом»,— говорили офицеры нашего полка и улыбались.

Затем он женился не то на воспитаннице, не то на гувернантке графини И. Полюбил ее за скромность.

Оставила ему жена записку — убежала с поручиком на Кавказ. Погрустил Федя и стал по-прежнему по воскресеньям ездить со своим комодом. Прошло семь лет.

Было утро, воробьи за окошком чирикали. На кухоньке денщик Николай раздувал самовар.

Какое бы имя до своего назначения ни носил денщик, попав к Феде, он становился Николаем.

Николай ставил самовар, а Федя сидел в единственном кресле, курил и раскладывал гран-пасьянс. Только видит — подъезжает коляска; выскакивает девочка, а за ней выходит дама под густой вуалью. Екнуло у него сердце.

Вошла, продвинула вперед чужую для него девочку и только сказала смущенно:

— Она у меня хорошая...

Погладил он ребенка по голове и только закричал Николаю:

— Дурак, что стоишь? Неси чемоданы!

И затем тихо добавил:

— Ну, что ж, давайте чай пить.

Вечером в бильярдной смеялись, говорили, что Федя дурак.

Старик помолчал, чувствуя, что сейчас можно начать рассказ про Вареньку, и боясь начать его.

— Хотел я, чтобы Варенька росла в другой обстановке, чтобы не было черного диванчика, обитого клеенкой «под кожу», трюмо, засиженного мухами; ужасных захолустных офицерских взглядов; поговорил с женой.

Ушел я из полка; поселились в Петербурге. Выписал я обстановку из Финляндии,— дешевая, а все же стильная; выписал и детский костюм из Норвегии; чтобы было все просто, светло.

Стал я следить, в какую сторону начнет развиваться Варенька. Из полка я ушел давно.

Раз иду я с ней, вдруг увидела она цветную афишу с головой Яна Кубелика. Я объяснил ей как мог, что это знаменитый скрипач. Она повернулась ко мне, обхватила мои колени руками и воскликнула, указывая на афишу:

— Папочка, сделай, чтобы и я была такой!

Обрадовался я, подумал: способность открывается. Стал возить Вареньку к скрипачу на Кабинетскую. Купил скрипку. Каждая скрипка носила свое название — «Bonheur» [1], «Изида», «Офелия», «Джульетта», «Соловей».

Как назвал мастер скрипку Вареньки, я потом скажу.

Скрипка с каждым годом должна становиться все лучше и лучше. Тон — глубже, благороднее и нежнее, вибрация — увеличиваться.

Лак «Психеи» я выхолил, вытирая мягким сукном. Лак стал похож на тончайший слой прозрачнейшего самоцветного красного камня с подсыпанными под него золотыми блестками.

---

[1] «Счастье» (*фр.*).

Слушал я, как искрится звук.

Летом познакомился в Териоках с органистом: играл он на хорах, в пустой кирке на органе, а я с Варенькой сидел в конце зала, слушали. Оставлял я Вареньку с ним, хотел, чтобы она к возвышенной музыке привыкала. Купили мы ноты Грига и Сибелиуса, чтобы во всем был один стиль, чтобы Варенька с детства стиль чувствовала. Моя жена играла на пьянино.

В особенности Вареньке нравились Е-мольная соната Грига, песнь Крестовика и Туанельский лебедь Сибелиуса и все Чайковского.

Уже с особенным вниманием посещал я концерты, слушал обольстительно-подкупающие звуки. Старался познакомиться со знаменитыми скрипачами, чтобы у них поучиться чему-нибудь и помочь Вареньке, осматривал скрипки. Удивил меня лак Страдивари — плотный, блестящий, черноватый у подставки, затем красный, а далее переходящий в ослепительно стеклообразный грунт. Лак на нижней деке окончательно обескуражил меня — лак был набросан как-то кляксами густым, толстым, плотным веществом.

У Вареньки не оказалось таланта.

Умолк, стал собирать фотографии своей дочери и складывать в портфель. Засуетился.

Было уже поздно, и, несмотря на уговоры Ларенькии Евгения, ушел.

Была звездная ночь. Из еще освещенных театров и кинематографов лились последние толпы. Он всегда с Варенькой возвращался на извозчике в этот час с концертов или из театра.

Погруженный в воспоминания, Ермилов поднялся по освещенной лестнице, открыл дверь ключом, прошел по коридору в комнату. Огромное зеркало в золоченой раме, купленное им для того, чтобы могла видеть себя во время упражнений Варенька, отражало белую ее статуэтку на колоннообразной подставке, окруженной венками от почитателей, и противоположную стену с балетной палкой и цветами. По одну сторону зеркала стоял шкаф с собраниями сочинений — Гамсуна, Ибсена. Северные сборники, несколько стареньких водевилей, изданных в миниатюрном формате, книги Гофмана, стихи Андре Шенье и Бодлера, Ахматовой и Блока, Пушкин в издании Суворина видны были сквозь стекло.

После смерти своей владелицы шкаф по-прежнему

наполнялся. В него ставились новые книги, которые могли бы понравиться Вареньке. Старик читал, и с ним как бы читала его дочь.

Ермилов поддерживал театральные и литературные знакомства: он посещал выставки, искал глазами то, что могло бы понравиться Вареньке. Всюду бок о бок с Ермиловым по-прежнему шла Варенька.

Он сел к своему рабочему столику, перенесенному сюда, в комнату Вареньки, загроможденному американскими и английскими техническими журналами.

Посреди лежала папка с рецензиями и некрологами, посвященными его дочери; в некрологах вспоминалось о том, как Варенька, будучи ученицей средних классов, во время выпускного спектакля в балетном училище танцевала ноктюрн Шопена, как она в следующем году исполняла с Даниловой и Наташидзе pas de trois из «Пахиты», что в сезоне 19..., когда началась ее работа в труппе, успех Вареньки возрастал с каждым выступлением; следовало перечисление ролей и балетов, вспоминалось о том, что «Польку» Рахманинова из простенького танца Варенька превращала в богатейший мимический монолог; мелькали Виллиса в «Жизели», одалиска в «Корсаре», рыбачка в «Дочери Фараона». На начинающих желтеть страницах журналов и в начинающих рассыпаться газетах разбирались недостатки телосложения Вареньки и говорилось о том, как приспосабливала она каноническую технику к своим данным. Писалось: «большой шаг недлинных ног создавал неповторимую новизну прямого прыжка... В воздухе ноги противоестественно разлетались, образуя почти прямую линию, вызывая в одно время протест и восторг зрителей». В другой статье вспоминалось, как в Павловске пожилые люди поднимались со скамей, чтобы посмотреть ей вслед, чтобы взглянуть на поезд, на вагон, в котором она поедет, говорилось о клетчатом платьице и детском смехе, закреплялось, что в городе ее звали просто «Варенька», что приезжих водили по городу от фотографии к фотографии, что у балерины был овал лица точно из 30-х годов. И еще: что ночью, в трактире «Золотой якорь» на Васильевском острове, где на эстраде обычно играл оркестр из слепцов, матрос с разноцветными клеймами на груди подошел к оркестру и попросил сыграть по погибшей... и что в кабаке раздался Траурный марш Шопена. Затем шли рукописи, воспоминания друзей и знакомых о том, что

Варенька любила свое тело и холила его для искусства, что она целыми днями мылась, причесывалась, все время делала свои упражнения и вспоминала отдельные места танцев, примеряла всякие ленточки, туфельки, мяукала, заговаривала голосами маленьких детей. Затем шли стихотворения поэтов и молодых дилетантов, посвященные ей.

Ермилов вспоминал, как его дочь, еще будучи ученицей, в «Фее кукол» укладывала свою любимую куклу спать в декорации и на окрик: «Ермилова, что вы делаете?» — прятала куклу за корсаж и выбегала на сцену.

Вот и Тифлис. «Лебединое озеро». Гастроль Вареньки. Конструктивная постановка — вся в черном с серебром и золотом. У кордебалета в руках цветы с желтыми, зелеными, красными лампочками. Два деревянных, вращающихся вала с жестяными полосками изображают озеро. Злой гений в духе Квазимодо.

Вот и Харьков.

Василий Васильевич сосредоточенно перелистывал содержимое папки. Папка, его руки, плечи, большая круглая седая голова отражались в зеркале. Над зеркалом висели гравюры, изображающие Тальони и Фанни Эльснер в ореховых рамках 20-х и 30-х годов.

Ему грустно стало, что Варенька не испытала настоящей славы; что никогда не появится ни одеколона с ее фигурой в балетном платье, ни мыла, ни шоколадных конфет, ни карамели, что в честь ее не будет выбита бронзовая медаль.

Бесконечно хотелось вечности для дочери Василию Васильевичу, вечности — хотя бы в таком виде. Его ужасало, что Варенька пропадет бесследно.

Рядом с зеркалом, ближе к окну, стоял шкаф с ее неповрежденными куклами, по-прежнему открывавшими и закрывавшими глаза, балетными туфельками, альбомами, но все это он завтра осмотрит; на сегодня довольно, завтра как раз день рождения Вареньки, завтра придет верная ей и помнящая о ней галерка. А сегодня Василий Васильевич подошел к книжному шкафу, отпер нижнее отделение и среди календарей, записочек от подруг отыскал дневник Вареньки.

Он осмотрел его со всех сторон, сдунул пыль, раскрыл, прочел первую фразу вслух. О том, что Варенька пишет дневник для себя.

Дальше продолжать не решился, хотя думал, что,

может быть, в этой тетради и заключено объяснение гибели балерины.

«Как-нибудь иначе узнаю»,— подумал он.

«Нет, Варенька для себя вела дневник, я никогда не решусь прочитать его!»

Молодые люди продолжали пировать. Они уже окончательно опьянели. Евгений ел селедку с сахарным песком. Смешал маринованные белые грибы с малиновым вареньем и уговаривал слабовольного Эроса эту смесь съесть.

— Петроний ел комариные брови в сметане! Уверяю тебя, это очень вкусно!

Петя попробовал и остался доволен.

— Ничего,— сказал он, смеясь,— есть можно.

— А как ты думаешь, пробовал твой Торопуло бабочек? — спросила Ларенька.

— Он все пробовал! — ответил Евгений.

После пирушки Фелинфлеин сидел один.

Его прищуренные глаза и снисходительная улыбка, какая бывает у людей утром после удачно проведенной ночи, показывали, что он погружен в себя.

Карты лежали и на полу, и на стуле, и на столиках; свечи еще горели, но уже начинали дымить; на столике у стены светились графины и рюмки; дверь в соседнюю комнату была растворена. Ларенька в своем скромном платье спала на диване.

В комнату вливался рассвет и отнимал свет у свечей.

Фелинфлеин смотрел в окно. Женские образы возникали и, не достигнув настоящей плотности, исчезали. Мелькнула Ларенька с ее голубыми, цвета воды, глазами, показала кончик языка и пропала за высокою решетчатою оградой. Фелинфлеин последовал за ней и вошел в ворота. Это, по-видимому, был парк в английском вкусе, потому что здесь не было ни различных фигур, ни завитков из зелени, ни прямых каналов,— напротив, росли частые дикие кусты, стояли кедры, сосны, ели так, что, постепенно возвышая вершины над вершинами, тени над тенями, представляли взору амфитеатр. Ларенька спешила между деревьями. Видны были веселые равнины, пригорки, стада, лениво пасущиеся; источники лились с высоты холмов. По дви-

жениям Ларенъки Евгений понял, что она идет на свидание; ему любопытно было: на свидание с кем? Сидел духовой оркестр; по движениям музыкантов Евгений понял, что музыка гремит вовсю. Сквозь деревья жених увидел толпу мужчин в цилиндрах и женщин в кринолинах, отплясывающих какой-то танец вокруг освещенного газовыми огнями павильона.

Оркестр играл все громче и громче; Ларенька присоединилась к пляшущей толпе; ее бесцеремонно схватил за руку бородатый господин в цилиндре, державший модную трость на плече, и увлек в круг танцующих.

Фелинфлеин прислонился к газовому фонарю; он видел, как несется толпа вокруг павильона.

«Лариса, как я люблю тебя»,— подумал Евгений, подошел и склонился над спящей невестой.

Затем, все в том же радужном состоянии, взял стул, сел на него верхом, скрестил руки на груди и стал любоваться своей спящей невестой, провел по губе носовым платком и вообразил себя в будуаре у кокотки.

Поздно днем после пирушки жених и невеста встали, съели оставшееся и вышли *в сеть улиц*. Фелинфлеин, как всегда, бежал впереди; Ларенька спешила за ним; у инвалида они купили леденцов и побежали дальше.

Против Чубаровского переулка стояло двухэтажное грязное строеньице: здесь раньше был постоялый двор с громкой и яркой вывеской:

ОТДЫХ ЛИХАЧА

Жених и невеста вбежали в ворота, пробежали двор наискось и скрылись во мраке черного хода.

Наступала легкая северная весна. Немногочисленные городские деревья покрывались почками, и многочисленные воробьи наслаждались солнцем. Детишки в переулках и во дворах играли, водили хороводы, пели свои бесчисленные песни, прятались, укачивали своих сестер и братьев.

Но в этом домишке было все мрачно; невозможный запах несся из открытых дверей; часть окон была забита досками; другая хотя и сохранила стекла, но почти не пропускала дня, настолько стекла были покрыты грязью и пылью.

Китаец в кепке и толстовке вышел из-за развалившейся пристройки и последовал за молодыми людьми; щенок встретил, залаял и, волнуясь, побежал за ними. Запах прелого белья бил в нос.

Фелинфлеин услышал шаги, обернулся и поздоровался с шедшим позади хозяином.

Вошли в полутемную комнату.

Фелинфлеин лежал на простыне, держал трубку, вдыхал горький дым. Рядом с ним лежал китаец, поправлял огонек лампочки и говорил о том, как по-китайски собака, а как — щенок. Под нарами были свалены полушубки. У окна Ларенька сидела на досках железной кровати и ждала своей очереди.

Фелинфлеин ничего не видел; никакие незнакомые пейзажи не возникали, никакие малайские рожи не мучили его, и не возносился он, и вдруг не падал в бездну. К сожалению, все было тоскливо и серо. Дымок вился из-под полу, щенок скулил жалобно и невыносимо; китаец презрительно смеялся.

Фелинфлеин спустился с нар. Невеста вскарабкалась на нары. Евгений прилег на кровать. Его лицо стало бледным. Он пристально смотрел на длинные тонкие пальцы китайца; вынул из бумажки леденец, положил на язык, стало слаще.

Жених и невеста шли и шли. Наступил вечер, но они не чувствовали голода; шли неизвестно куда,— все равно было, куда идти. Оказались у Смольного собора; дома качались, плыл собор. Ларенька и Евгений вошли в сад. Огромные деревья, позлащенные солнцем, стояли неподвижно. К сожалению, не было ни малейшего ветерка.

Фелинфлеину стало жарко; он вытер холодный пот со лба.

— Мне нехорошо, Ларенька; сядем...

Опустились на скамейку. Евгений положил голову на плечо Лареньки.

— Лариса,— сказал Евгений,— я снял для себя комнату. Ты знаешь, я люблю свободу. Когда я работаю, я не люблю, чтобы мне мешали.

— Ты опять займешься музыкой? — радостно спросила Ларенька.

— Я займусь пением, Ларя.

— Где же ты нашел комнату? — спросила упавшим голосом невеста.

— Я тебе потом скажу. Это удивительное место! Там живут удивительно смешные люди. Я нашел ее совершенно случайно. Я сегодня пойду туда ненадолго. Ты ведь знаешь, Торопуло пригласил нас завтра на ужин. Я за тобой зайду завтра, вечером.

Евгений схватил чемоданчик и побежал. По дороге крикнул:

— Завтра в семь часов увидимся.

Утром, из жажды что-нибудь стянуть, Евгений помог хозяйке отнести тяжелую корзину с бельем на чердак.

Там Евгений увидел необыкновенно богатое зрелище.

Так как дом был бедный, то на последней площадке перила были деревянные. Как только открылась дверь чердака, нога ступила на мягкую землю. Крыша протекала, и под ней стояли ржавые подносы, старые ведра, полуразбитые горшки, которые могли еще удержать воду, но в хозяйстве были уже непригодны. Окно, так как стекла были разбиты, было загорожено решеткой от детской кровати. Под свод была рассыпана картошка. Хозяйка мокрой рукой обтерла все веревки, чтобы развесить белье. Каждую штуку белья встряхивала, и тончайшие разноцветные брызги летели в разные стороны. Старая железная кровать, которую не покупает тряпичник, но которую жалко было бросить, стояла у стенки сложенная; ящики с землей для цветов, матрац, который нужно перебить. Солнце льет. Весь чердак пронизан светлыми лучами, и вдруг Евгению показалось, что в темном углу, где крыша сходится с полом, сверкает белый парик с косой. Евгений подумал, что ему померещилось. Он подошел ближе и увидел, что это гипсовый бюст Потемкина на деревянной, выкрашенной в зеленый цвет подставке. Бюст был повернут лицом к стене. Евгений повернул подставку и стал рассматривать лицо. Он увидел, что на лбу и на щеках оставили следы ржавые потоки с крыши, кончик носа был отбит, на ухе висела паутина, на воротнике лежал такой густой слой пыли, что воротник казался серым.

Развешивая белое белье к солнцу, а ситец в темные углы, Наталья Тимофеевна рассказала, что у хозяев этого дома был сад, отгороженный от двора высоким деревянным забором, и были там очень большие кусты сирени, так что в Троицу, когда цветы цвели, они были видны над зубцами забора; была яблоня, которая цвела весною, большой куст шиповника, вокруг которого мать хозяина, купчиха, сажала ландыши. В углу

сада находилась беседка, выкрашенная в зеленую краску, и была горка, а под горкой был погреб. Посредине сада была клумба с блестящим шаром, а у входа в беседку стояли на высоких деревянных столбах белые горшки с цветами. Почти у входа в сад, тоже на высоком столбе, стоял этот Потемкин. С другой стороны у входа росла коринка. Потемкина домовладелец выставлял весной сам, заново окрашивал подставку, белил голову и шею и от столба протягивал веревку к забору, под веревочкой сажал турецкие бобы. К осени получалась сплошная зеленая стена. Если птицы роняли на голову Потемкина, то хозяин утром аккуратно это смывал тряпочкой.

Евгений слушал, глядя в окно. Внизу уменьшенные трамваи резко звонили. На колокольне собора сторож раскачивал большой язык колокола, Евгений ждал, когда язык коснется стенки колокола и раздастся первый басовый звук. Широкая даль, в огородах разноцветные фигуры окапывают грядки, грузовые автомобили с приглушенным шумом проносятся по тихой узенькой улице.

После своего рассказа хозяйка почувствовала симпатию к Евгению. Через несколько дней принесла книжку — старую, пожелтевшую от сырости, со следами пальцев.

— Вот, молодой человек, не желаете ли полюбопытствовать?

Евгений любезно полюбопытствовал. Читая, что иностранцы без изъятия должны были приноравливаться к нраву Потемкина, о том, что дьячок должен был доносить каждое утро вельможе, что Фальконетов монумент благополучно стоит, о турках, об игре в карты на драгоценные каменья, Евгений думал: «Наверное, вельможам XVIII века должен был нравиться Светоний». Так как язык пожилого населения того дома, в котором жил Евгений, сохранил следы XVIII века, решил дать Евгений хозяйке своей почитать «Жизнь двенадцати цезарей» в переводе XVIII века.

«Прежнее купечество чисто случайно не знало этой книги, потому что она не выходила в доступных изданиях, между тем все данные были у этой книги, чтоб войти в собрание анекдотов, сонников и гадальных книг»,— размышлял Евгений, отыскивая этот том в своем чемодане.

Евгений передал хозяйке вместе с Потемкиным Светония.

Сказала хозяйка, пряча книжку в комод:

— А ведь умный был человек Потемкин, и какую власть мог иметь один человек, и как остроумно он отвечал.

Управившись со стряпней, Наталья Тимофеевна надела очки и принялась читать «Жизнь двенадцати первых цесарей римских». В этой книге почти не было незнакомых ей слов и все было понятно — здесь не было сословия всадников, а были рыцари, здесь были не ученые названия, а башмаки и сапоги, кареты и открытые коляски.

С любопытством она читала про барскую затею Калигулы, он пил драгоценнейшие каменья, разводя их в уксусе, сравнивала Калигулу с Потемкиным, который играл на драгоценные каменья, а начало главы о Домициане в точности совпадало с рассказом ее бабушки, бывшей крепостной, о вольготной жизни самодура помещика, который тоже каждый день обыкновенно запирался на некоторое время один и ничего больше не делал, как только ловил мух и вострою спицею их прокалывал.

Стало лень приводить комнату в порядок. Евгений раскрыл чемодан. В нем были игроки в карты Питера де Гоха в комнате с раскрытой дверью на светлую улицу, и двое уличных мальчишек-шулеров, обыгрывающих за деревянным столом третьего, и снимок, изображающий игру в триктрак в буржуазном доме, и другой, изображающий драку крестьян из-за карт, и третий — ландскнехтов, мирно сражающихся в карты среди блудниц.

Погруженный в мир игры, Евгений встал. Солнце. На улице толпился народ. Унывные звуки гитар, трубы граммофонов, цыган с пляшущим медведем, китаец в дореформенном костюме, заставляющий мышей кататься на каруселях, хор гопников со склоненными головами, смотрящий на лежащую перед ним кепку,— все это развлекало Евгения как живая картина.

Вышел из кондитерской, унося похищенную плитку шоколада. Сел в первый попавшийся трамвай. Самый процесс похищения доставлял Евгению удовольствие. В трамвае он встретился с Ермиловым и стал угощать его шоколадом.

Он сошел на улице 3 Июля, вошел в книжный магазин и, просматривая новинку, стащил несколько книг. Затем он пошел на проспект Володарского и про-

дал эти книги в магазин «Дешевые книги». Так как книги были не разрезаны, то книгопродавец решил спекульнуть. Фелинфлеин вышел, унося и тут стянутую книгу, и продал ее книжнику у решетки. Затем купил 500 граммов винограду и стал есть. Он сосчитал деньги: хватит завтра на Эрмитаж. Скорее за Ларенькой и — к Торопуло.

Тихо, точно с покражи, вернулся Торопуло домой. Вынул из бумаги сизую птицу, зажег электрический свет и стал ощипывать ее.

На столе лежали на блюдцах мозг из говяжьих костей, куриный жир, петрушка, соль, лимонные корки, зеленый горошек, стояло вино.

Ощипав и распластав сизую птицу, Торопуло положил ее в глубокую сковороду, где уже растопились бычий мозг и полуптичий жир, и, посыпав крошеной петрушкой, стал исподволь ужаривать. После добавил говяжьего отвара с вином и довершил вареньем. Жижу сгустил несколько ужариванием, приправил солью, лимонной коркой и сметаной, приварил, прибавил зеленого горошку.

Фелинфлеин сидел рядом на табуретке, курил и завидовал Торопуло. Чего-чего только за свою жизнь не ел Торопуло! И студень из оленьего рога, и губы говяжьи с кедровыми орешками, с перцем, с гвоздикой, и желудок бараний по-богемски и по-саксонски, и пупки куриные, искрошенные в мелкие кусочки, и хвосты говяжьи, телячьи и бараньи, и колбасы раковые, и телячьи уши по-султански, и ноги каплуна с трюфелями, и гусиные лапки по-биаррийски, и цыплят с грушами, и ягнячьи головки в рагу, и яйца со сливками, и петушьи гребни. Смешно и интересно. Вся жизнь добряка была посвящена еде. Честолюбие у него полностью отсутствовало. Театра он не любил; любимым его чтением были кулинарные книги. В кулинарии Торопуло понимал толк, и о ней он мог говорить с увлечением. Благодаря кулинарии он знал и всесветную географию, и историю; она же заставила его научиться читать на всевозможных языках; она же превратила его в превосходного рассказчика, и его очень любил слушать Евгений, хотя к нему и относился слегка свысока, как к добряку.

Библиотека Торопуло состояла из бесчисленного количества кулинарных книг, каталогов фирм, иностран-

ных и русских, альбомов с золотистыми, бронзовыми, серебряными, звездчатыми, апельсинными бумажками, тетрадей с конфетными бумажными салфеточками.

На кулинарные книги иногда Торопуло поглядывал со сладострастием. Отойдет на три, на четыре шага, обернется и посмотрит, и вдруг томно станет у него на душе от скрывающихся за любительскими переплётами яств. Хотя много на своем веку перепробовал блюд Торопуло, но еще более скрывалось неиспробованных. Сидя перед своими книгами и смотря на них, вздыхал Торопуло о кратковременности человеческой жизни, о том, что всего нельзя перепробовать.

У Торопуло была собственная дача в русском стиле, с фруктовым садом. Торопуло был инженер, и неплохой инженер, только это его не интересовало. Конечно, он читал английские, немецкие и американские журналы и сконструировал даже какой-то мощный двигатель. «Да это все не то, это все пустяки, о которых и говорить не стоит; это так легко: посмотрел, почитал, повозился... а ну их к черту! Давайте поговорим о другом».

И Торопуло спрашивал у гостя, чем кормят сейчас в общественных столовых.

Сегодня лампа горела в комнате Торопуло, хозяин возвышался в кресле, гости сидели на диване и вели рукописный журнал под названием: «Восемь желудков».

В кружке Торопуло все носили не свои имена, а чужие — звучные и театральные. Торопуло сросся с именем Вакха; Евгений носил с изяществом имя Вендимиана, что значит: «собиратель винограда»; худенький молодой художник Петя Керепетин гордо ходил, выпятив грудь, под именем Эроса. А свою жилицу Торопуло низвел в Нунехию Усфазановну. Сейчас она пошла покупать для себя пирожное.

Над диваном висела огромная картина маслом, освещенная двумя электрическими бра; на ней изображались: знатный дворянин в парчовой одежде, с вышитым воротником, в шапке, унизанной жемчугом, едущий верхом; вокруг него пятнадцать или двадцать служителей пешком, за ними попарно шествуют стрельцы: двое со скатертями, двое с солонками, двое с уксусом в склянках, двое с парой ножей и парой ложек драгоценных, шесть человек с хлебом, потом с водкой; за ними несут дюжину серебряных сосудов, наполненных вином, судя по изображенному времени — испанским, канарским и

другими. Затем несут столь же огромные бокалы немецкой работы, далее — кушанья: холодные, горячие — все на больших серебряных блюдах. Всего на картине шествуют с яствами, напитками, посудой человек 400. Внизу на медной дощечке надпись: «Угощение посла».

Ларенька, сидя на диване, разговаривала с Мурзилкой, толстым, ласковым, буддоподобным котом, с белым нагрудником; казалось, что кот, несмотря на свой божественный вид, вот-вот сядет к столу и начнет гурманствовать. Розовоносый, украшенный ложными глазами и ушами как бы на розовой подкладке, кот всегда пел при виде Торопуло. Кот оживал с утра, в ожидании пищи. Ходил неотступно следом за Торопуло; взбирался к нему на плечо и ударял в щеку холодным носом. Но Торопуло кормил кота в определенные часы, чтобы не испортить коту аппетита. С аппетитом пообедав, кот разваливался на диване и погружался, если никого не было, в сладостный сон до следующего утра. Если играла музыка, кот приоткрывал глаза и некоторое время слушал; если садились рядом с ним, он садился тоже; наказывать себя он разрешал только Торопуло.

Мурзилка очень полюбил Лареньку. Рядом с Ларенькой сидел Ермилов, попавший сюда впервые.

— Хе-хе, чем нас хозяин сегодня попотчует? — сказал один из гостей, потирая руки, останавливаясь в дверях и созерцая стол.

— Предвкушаю, предвкушаю. Во всем городе только мы порядочно кушаем. Остальные едят всякую чепуху.

— Да,— ответил Торопуло,— вы ко мне как мотыльки на огонь. Вы бы без меня пропали; да и мне было бы без вас скучно. Вы моя семья; моя прямая обязанность о вас заботиться.

Торопуло любил разноцветность блюд. Поэтому стол производил, несмотря на скромные расходы, праздничное впечатление. К сожалению, не было дыни, разрезанной пополам, сваренной в сахаре с перцем, сладости невообразимой.

— Жеребеночка еще хотите? — спросил Торопуло.

— С удовольствием,— ответил Евгений.

Ермилов стал рассказывать Евгению:

— Раз я ехал в трамвае. Это было в голодное время. Пробрался к выходу и вдруг слышу такой разговор: «Я вас научу, лучшие сорта — доги, бульдоги, мопсы. Ввинтите крюк в потолок, поставьте таз, табуретку,

наденьте собаке петлю... я всегда так делаю. Режу и кровь выпускаю. Затем кладу в уксус на четыре дня. Поверьте, очень вкусно. И вы будете таким же полным».

Я обернулся. Позади меня полный человек говорил тощему: «Только для этого необходимо подговорить мальчишек».

— Вы напомнили мне,— сказал Эрос-Керепетин,— случай в Петергофе: то было во время всеобщего голода. Парк был погружен в сумрак; в небольшой комнате собрались двенадцать сотрудников местного музея, среди молодых людей была и старушка, кончившая Бестужевские курсы. На столе, накрытом белой дворцовой скатертью, зашумел самовар, появились на блюде, украшенном вензелем, ломтики черного хлеба и огромная банка, наполненная засахарившимся медом.

Из окна открывался вид на море. Научные работники сидели в своих довоенных костюмах; помощник хранителя отделения — в изящном вестоне.

Хлеб и мед поглощались и вызывали род опьянения; глаза у всех разгорелись, и все торопились есть. И вдруг пировавшие замолчали, со стыдом и смущением переглянулись, перестали есть и оживленно шутить и отвели взоры от банки с медом.

Среди полного безмолвия старушка просительным тоном сказала:

— Вы ничего не будете иметь против, если я возьму этот мед себе?

— Конечно, конечно! — оживились все и ответили почти хором: — Ничего не имеем против!

Старушка вытащила из банки мышь и хладнокровно держала ее за хвост над банкой, пока мед не стек обратно в банку. Подошла к окну и выбросила мышь в парк. Довольная, направилась вместе с банкой в свою комнату.

На следующий день мы все с завистью узнали, что она пошла в близлежащую деревню и выменяла этот мед на двадцать бутылок молока.

— От еды до музыки,— просияв от еды и вина, заглушил своим басом последние слова Керепетина Торопуло, красный и радостный,— один шаг. Люлли, привезенный в Париж кавалером де Гиз, из поваренка стал удивительным скрипачом и автором арий, песен и опер.

— Не совсем так! — ответил Евгений, на которого под влиянием вина напал дух противоречия,— инстру-

ментальная музыка в опере Люлли несложна и бедна; весь аккомпанемент следует обыкновенно одинаковыми ритмическими движениями с голосами, в хорах инструменты играют лишь партии голосов, без самостоятельного музыкального рисунка и ритма; изредка только к смычковому хору присоединяются несколько флейт или гобоев. Люлли, правда, заслужил название божественного, но ведь это благодаря танцам, торжественным процессиям, декорациям, костюмам, т. е. благодаря всему тому, что возбуждало чувство и ласкало зрение. Во всем этом проявился его замечательный талант.

— То есть, вы хотите сказать, что он был великий не повар, а сервировщик? — прервал Евгения Торопуло.— Но ведь в соусах-то и проявляется истинный талант.

— Совершенно верно,— подтвердил Евгений,— талант, но не гений.

— Во всяком случае, Люлли давал праздничные обеды, где все точно вымерено и где достигнуто прекрасное равновесие. В этом-то и сказалась школа, пройденная Люлли! — с торжеством поднялся Торопуло.— Недаром, недаром был он в свое время поваренком; может быть, бессознательно, но всегда Люлли был поваром.

— Выпьемте за Люлли!

Евгений встал из-за стола, сел за пьянино. Все встали.

Торопуло и его гости неожиданно для себя исполнили марш посредством музыкального звона наполненных рюмок и стаканов.

— Небесная музыка,— сказал Торопуло.— Настоящие хрустальные звуки.

Все снова сели.

Юноша образовал из указательного и среднего пальца подобие ножниц и вытянул ими ключ из кармана Торопуло. Вендимиан, казалось, совершенно опьянел; он говорил слишком громко, он почти кричал:

— Игорь Стравинский в Париже почти диктатор; пора начать борьбу с ним.

Затем Евгений встал из-за стола, пошатываясь. Все поняли, что с ним.

Евгений прошел в кабинет Торопуло, открыл ящик письменного стола, из имеющихся трехсот,— прислушиваясь к голосам,— нервно отсчитал сто, запер ящик. В коридоре раздались приближающиеся шаги Эроса.

Евгений бросился на диван и притворился спящим.

Через несколько минут раздались удаляющиеся шаги.

Евгений отпер ящик и положил обратно сто рублей. Бледный, он появился в столовой.

Но место рядом с Торопуло было уже занято. Толстый Пуншевич обнимал Торопуло.

Юноша подошел, чокнулся с Торопуло и опустил ключ на стул.

Торопуло услаждал своих гостей чтением:

— «Язык воловый, маринованный, обчистите язык с шляму, водтяти въ склянку, непотребни части, али не полокати в воде...»

— Что это за книга? — воскликнул Евгений.

— «Кухарка русаке обнимаюча школу вариня дешевых смачных и здоровых обедов».

— Ну и язычок! — хохотал Пуншевич.

— Граждане, негр пьет пальмовое вино, киргиз и татарин — кумыс, вотяк варит кумышку, индеец Южной Америки — каву, камчадал пьет отвар из мухоморов, мы пьем сегодня рейнское Liebfraumilch [1].

— Ура! Ура!

Торопуло стал чокаться и петь:

Bibit pauper et aegrotus,
Bibit exul et ignotus,
Bibit puer, bibit canus,
Bibit praesul et decanus,
Bibit soror, bibit frater,
Bibit anus, bibit mater,
Bibit iste, bibit ille,
Bibunt centum, bibunt mille [2].

— Граждане, рассказывают...

— Не настало ли время просить хозяина прочесть доклад на сегодняшний день?

Торопуло раскланялся, надел очки:

---

[1] «Молоко Богородицы» *(нем.)*.

[2] Пьет бедняк и больной,
Пьет изгнанник и незнакомец,
Пьет молодой и старый,
Пьет покровитель и декан,
Пьет сестра и брат,
Пьет старуха, пьет мать,
Пьет тот, пьет этот,
Пьет сто, пьет тысяча ⟨человек⟩ *(лат.)*.

— «Кулинария ведет свое начало от жречества,— читал Торопуло,— это несомненно одно из древнейших искусств; оно ничуть не ниже драматургии. На обязанности жрецов лежало соответствующее приготовление животного или дичи. Вы видите, происхождение кулинарии таинственно и священно и скрыто во мраке веков, т. е. вполне благородно. Я бы мог вам рассказать, как постепенно кулинария отмежевалась от религии, как стала совершенно светским искусством, но, если вдуматься, действительно ли кулинария вполне отмежевалась от своего происхождения: семейные праздники, календарные, политические — по-прежнему сопровождаются не в пример прочим дням сложною едою. Кулинария, как все искусства, имеет свои традиции, свою хронологию, свои периоды расцвета и упадка; она дополняет физиономию народа, класса, правительства; чрезвычайно важна для историка. Я совершенно не понимаю, почему ее кафедры нет в университете».

Раздался громовой хохот Пуншевича.

— Но ведь это новый космос? — возразил Пуншевич.— В него можно провалиться!

Доклад Торопуло был краток, но он привел в самое веселое настроение ужинавших. Долго аплодировали Торопуло. Пуншевич произнес экспромт, попахивающий девятисотыми годами:

Попы издревле поражали
Неистовством утроб своих
И в древности так много жрали,
Что прозвали жрецами их [1].

Затем опять возобновились отдельные разговоры.

— Шакалий концерт бывает интересен,— обратился Евгений к Ермилову,— когда в нем принимают участие десятка два шакалов, а то и больше, что часто бывает в глуби Абхазии. Старые шакалы начинают свою дикую мелодию басистым протяжным воем; им вторят разноголосые пискливые молодые шакалы. Характер музыки разнообразится остальными шакалами, которые, передразнивая собак, поддерживают хор. Ничего подобного не создают шакалы Дагестана и Грузии, так как выступают они незначительными группами и к тому же менее голосисты.

---

[1] Вагинов неточно приводит эпиграмму Н. Ф. Щербины, написанную в 1841 г.— *Примеч. В. Эрля.*

Пока шел пир в квартире Торопуло, Нунехия Усфазановна, стоя в очереди к кассе, раздумывала, какое съесть пирожное.

Полунарядная барышня воскликнула, обращаясь к изящной барышне:

— Смотри, какой здесь забавный потолок!

Изящная барышня посмотрела.

— Да, здорово конфетно!

Нунехия Усфазановна раздраженно обернулась и сквозь зубы проговорила:

— Так художественно! Теперь так не рисуют. Вы молоды, вы хорошего не видели.

Нарядная барышня:

— А я нахожу, что потолок безвкусный и что мы получше видели!

— Ну да, двенадцать лет революции уже, а здесь была богатая кондитерская.

— Как раз в этой богатой кондитерской мы и бывали,— ответила нарядная барышня.

— Не тридцать же вам лет?!

— Тридцать.

Нунехия Усфазановна успокоилась. Она попыталась завязать разговор:

— Посмотрите, как художественно нарисованы цветы, с каким вкусом.

Барышни хихикнули.

Нунехия Усфазановна стала созерцать, подняв глаза к потолку и делясь впечатлениями: ангелочек-мальчик перед ангелочком-девочкой держит зеркало, в котором отражается его лицо; ангелочек несет сноп пшеницы, со снопа падают красные маки и васильки; ангелочек-мальчик и ангелочек-девочка с восхищением смотрят друг другу в глаза, сидя на холме; они же, сидя на другом холме, слушают пение птиц; сидят на загогулинах, изображающих ветку; посреди потолка более крупный ангел, с крылышками бабочки, играет на лире среди роз; пухлая, сдобная ангелочек-девочка, с ямочками на щеках, сидя на яблочке, украшает волосы жемчужным ожерельем,— и всюду розы, сирень.

Шляпа, черная, без полей, пальто, расширяющееся книзу, губки, готовые сложиться испуганно, купили кремовое пирожное, вышли из зеркальных дверей, скрылись в тумане. Смотрели им вслед нарядная и полунарядная барышни, купившие торт микадо, крендельков и халвы; смешной показалась им фигура, им — видев-

шим и загородные дворцы, и бытовые музеи, почти наизусть знавшим Эрмитаж, побывавшим и в Новгороде, и в Киеве, и в Москве, и в Ладоге, на Кавказе и в Крыму с экскурсиями.

Нунехия Усфазановна бережно несла кремовое пирожное, в тумане проступавшее сквозь серую бумажку. Она внесла пирожное в свою комнату.

Группа в узенькой черной рамке с золотыми незабудками взглянула на пирожное своими застывшими глазами; по-видимому, группа представляла какую-то школу: начальство сидело, девицы с полуинтеллигентными лицами стояли позади и сидели у ног начальства; изображение молодой Нунехии Усфазановны сидело на стуле на краю начальства. Все здесь шептало: «и мы знали лучшую жизнь, не всегда мы были уборщицей в библиотеке «Кооперативный отдых».

Налакомившись, стала читать свой дневник Нунехия Усфазановна.

Шум доносился из Торопулиных апартаментов; нежно-нежно исполнял Евгений какой-то старинный танец.

Очень хотелось Нунехии Усфазановне, чтобы он сыграл танго.

С наслаждением стало перелистывать тетрадки в синих обложках сорокалетнее существо.

Увеличилась прическа на голове Нунехии Усфазановны, разгладились морщины вокруг глаз.

Бедняга погрузилась в годы своей молодости.

«Я проснулась в 8 часов утра, начинало светать; у меня на душе было радостно и легко. Из учениц-прачек дома остались только Пенская и Елкина; я валялась до девяти часов; потом встала, напилась кофе с девицами и села подшивать подол моей единственной черной суконной юбки».

«Ездила с Нюшкой Рождественской в рынок покупать ей пальто; вечером была в церкви у Михаила Васильевича; когда я приложилась к Евангелию, он меня перекрестил. Однако, уже одиннадцатый час, а девчонок все нет дома. И где проклятые шатаются?! М. В. не выходит из головы. О, с каким бы наслаждением я его поцеловала. Фу, какое греховное желание — целовать чужого мужчину, да еще своего исповедника! Завтра, во время исповеди, я, пожалуй, растеряюсь, как это бывает со мной каждый год в этом случае... А денег нет как нет! Черт с ними! Надо причесываться да ложиться спать».

«6-го марта, воскресенье. Я встала в семь часов, вымылась и села причесываться. Нюша Рождественская завила мне волосы. Около девяти часов я была одета и в начале десятого часа утра поехала к Михаилу Васильевичу приобщаться. Я приехала в церковь немного поздно, часы уже начались; я спросила сторожа, можно ли исповедываться; он провел меня к самой двери в ризницу; здесь я стояла довольно долго; потом сторож открыл дверь в ризницу и попросил меня встать на ступеньки. Скоро после этого туда пришел мой дорогой исповедник; в руках у него были крест и Евангелие. Я подошла к аналою. «Ну, откройте вашу совесть перед Богом». Я кое-что ему сказала. «Не было ли у вас каких-либо сомнений?» Я сказала ему о мощах. А именно: почему одни мощи представляют совершенно нетленное тело людей, а другие, наоборот,— одни только кости? «На этот вопрос довольно трудно ответить,— сказал отец Михаил,— нам, в сущности, не важно, в каком виде сохранился данный святой, а важны те чудеса, которые Бог творит через данного святого. Вот, например, этот аналойчик: если он творит чудеса, я все равно буду его почитать. Ведь то, что вы спрашиваете, так же трудно объяснить, как то, если вас спросят, почему вы оставили при письме столько бумаги, а не больше или меньше»,— при этом он показал рукой, какой именно кусок. «Но,— возразила я,— ведь мне кажется, оставляю кусок чистой бумаги по своему желанию и, кроме того, сколько надо».— «Да ведь поля могли быть больше и меньше, так и тут. Я был на открытии мощей Серафима Саровского. Мне в дороге пришлось беседовать с одним купчиком; он тоже сомневался. Ну, что же, раскаиваетесь вы в ваших грехах? Уверены в том, что Бог может вас простить?» — «Да»,— ответила я чуть слышно. «Как вас звать?» — «Александра»,— ответила я».

«8 марта, вторник. О, как мне хочется поскорее увидать М. В. Я его страшно, безумно люблю!»

Взяла Нунехия Усфазановна последнюю тетрадку:

«Мой дневник с 9 марта 1915 года».

«Был днем Песик, оделся в военную форму и весь облепился крестами; я его упрашивала прийти вечером, а он сказал, что не придет. Песик какой-то странный — точно мне его подменили. Может, устал, а может быть, что-нибудь другое».

За стеной раздавался хохот Торопуло.

«15-е, воскресенье. Весь день ждала жирного, не пришел. У меня что-то нет гостей, не знаю, что и будет. Надо подождать 18-е число. Противная усатая мордочка даже во сне видится».

«22-е, воскресенье. Пасха. Убрала комнату, оделась и стала ждать Песика. Он пришел около половины седьмого; я сама не знаю, что с ним сделалось: он положительно одурел от страсти. Вот уже второй месяц, как мы не живем вместе, а оказалось, что я не на шутку полюбила этого писаного красавца. Я, кажется, люблю его еще сильнее, чем раньше».

«28-е, суббота. Все эти дни была дома; грязь невылазная, а тут еще, на беду, потек один галош; написала Песику, чтобы пришел чинить. Не знаю, что будет. Дождь льет как из ушата; целый день искали прожекторами Lieber Kaiser'a [1]. Весь день ждала, не пришел, поганый!»

«14-е. Болит животик. Усатый таракашка, когда я тебя увижу?»

«Июнь, 28-е, воскресенье. Придет ли милый — и не знаю! Да, я говорила с мордочкой по телефону, и, странно, слышится совсем чужой голос».

Задумалась Нунехия Усфазановна. Она любила стихи неблагозвучные, они казались ей благозвучными. Она любила стихи, в которых воспевались юродивые, несчастные кормилицы и приживалки, стихи, где фигурировали слова — барыня, салон, приживалка, пяльцы, старый лакей с этикетом старинным, дачи, мундир, золотом шитый, медный пятак, личико восковое, участь незаконного ребенка.

Она думала, что молодое поколение безнравственно, потому что его не трогает то, что ее трогало.

Ей захотелось написать подруге о своих чувствах.

В сундуке хранились остатки розовой почтовой бумаги, в коробке из-под конфет. Коробки из-под конфет были чрезвычайно удобны для хранения пуговиц, перчаток, ленточек, писем. И вместо того, чтобы написать своей подруге письмо, стала разбирать Нунехия Усфазановна свои вещи. Стала она вынимать конфетные коробки и невольно ими любовалась. Посмотрела на голубые и розовые стеганые, точно детские одеяльца, вынула бархатные, точно вечерние туалеты, взглянула

---

[1] Дословно: Милый Кайзер *(нем.)*. Здесь: немецкие аэропланы.

на кружевное, точно утреннее платье. «Вот в этой коробке были пьяные вишни, а в этой...»

Но вот в дверь, ей показалось, постучал Торопуло. «Выпросит, выпросит...» — подумала она и побледнела. Быстро бегая глазами, убрала коробки в сундук и сказала как можно спокойней:

— Войдите.

Но никто не вошел.

— А вы не пробовали собирать табачные этикетки? — спросил Пуншевич [1], усаживаясь на диване и рас-

---

[1] Профессор Пуншевич, когда был студентом, голодал, но и тогда был весел и остроумен, не терял присутствия духа и зарабатывал гроши составлением увлекательных реклам, которые были в своем роде шедеврами. Невозможно было, прочитав их, не рассмеяться. К сожалению, он не сохранил ни одной из них.

Автору совершенно случайно попалась одна из реклам его героя под названием «Королева»:

Королева

Эта робкая девушка, с глазами небесного цвета, сначала служила в кордебалете летнего театра, а потом поступила в драматический театр на маленькие роли...

Она долго голодала, как голодают вообще все юные актрисы.

Жалованье приходилось тратить на костюмы, без которых не обойтись даже «маленькой актрисе».

У робкой девушки в душе горела тихим пламенем искорка настоящего таланта. Она могла бы исполнить хорошую захватывающую роль. Но ей поручали только самые ничтожные роли, потому что режиссер был злой человек, а подруги-актрисы — завистливы...

Прекрасные глаза «маленькой актрисы» были всегда грустны, и в душе стояли тихие сумерки серой будничной жизни.

У «маленькой актрисы» были волосы дивного пепельного цвета, и однажды товарищ по сцене, такой же юный, как и она, только что выпущенный из училища актер, восторженно сказал ей:

— У вас замечательно красивые глаза небесного цвета и, кроме того, такие красивые волосы... Это очень важно для сцены и даст вам возможность развернуть свой талант... Актриса прежде всего должна брать наружностью. Будьте только смелее! А если вам трудно побороть свою робость, то воспользуйтесь вот каким моим советом: прибегайте к косметике; она дополняет, выдвигает, так сказать, красоту лица. Вас скорее заметят, даже издали... Берите, например, хорошую пудру Товарищества «ГИГИЕНА», и вы увидите — совершится чудо!..

Через неделю суетливый режиссер, столкнувшись за кулисами с «маленькой актрисой», как раз перед ее выходом в роли пажа, остановился как вкопанный и удивленно произнес:

— Мадемуазель, да... вы сегодня неузнаваемы!.. Вас бы не пажем каким-то незаметным выпускать... Вы — настоящая королева.

Маленькая актриса, придя после спектакля в свою убогую холодную комнату, сырую и неуютную, долго не могла уснуть. Ее волновала какая-то нечаянная радость. Казалось, что откуда-то выплы-

сматривая бумажки с мелкими розовыми цветочками, гоголевскими героями, телефоном, негром, с папиросой в зубах, с тростью в руках, в красном фраке, на одной ноге извивающимся.— Ведь были любопытные изображения! Скажем, целый гарем разнообразных женщин, курящих кальян, или цыганка в бусах и монистах, или студенческая фуражка и скрещенные шпаги под ней. А на махорке музыкант в виде прельстителя парикмахера!

— Помните папиросы «Пли»? — обратился Ермилов к Пуншевичу.

— Как не помнить! — ответил Пуншевич.— Среди прочих одна была заряжена пистоном; предложит гим-

---

вает большое, неведомое счастье. Прежде она в этой жалкой комнате всегда испытывала тупое чувство отчаяния. Теперь же ей казалось, что маленькая душная комната вдруг наполнилась свежим солнечным воздухом.

Ночью снились ясные, хорошие сны.

* * *

Теперь ее все называют «королевой». Ей поручают ответственные, заметные роли. И в короткое время она превратилась в любимицу публики.

Дивные глаза небесного цвета радостно улыбаются, и режиссер, заискивающий теперь перед бывшей «маленькой актрисой», гордится теперь своей «находкой».

— Вот так талантище открыл!.. Сборы делает! Сразу поправились дела театра... в гору идем...— хвастается он газетным рецензентам.

У последних во время игры прежней «маленькой актрисы» в голове складываются хорошие, красивые мысли, которые красуются на другой день на столбцах местной газеты.

Для маленькой актрисы теперь сразу исчезли куда-то горечи, разочарования, сожаления. Забыто все прежнее, холодное и тоскливое. Всем своим существом она устремилась к чему-то новому, ясному, к новой жизни... Пропало сразу это тупое равнодушие, жизнь не кажется ей теперь, как прежде, тяжелой и мучительной.

* * *

Когда «королева» сидит в своей уборной и взгляд ее глаз небесного цвета упадает на стоящую перед нею пудру Т-ва «ГИГИЕНА», она с благодарностью вспоминает робкого товарища, а потом в чисто детском порыве ей хочется прильнуть тонкими губами к коробке с пудрою Т-ва «ГИГИЕНА» и воскликнуть громко, восторженно:

— Милая пудра Т-ва «ГИГИЕНА»! Тебе я обязана своим успехом, своим счастьем!..

В зале уже гремит оркестр, и недавно еще незаметную маленькую актрису . . . . . . и т. д.

назист гимназисту покурить, и вдруг одна из папирос выстрелит! Вроде дуэли.

— Я ведь не страстный курильщик,— ответил Торопуло.— Это по вашей части. Вы должны были бы собрать картинки с папиросных коробок. В сущности, конечно, все в мире соприкасается. Но разбрасываться вряд ли стоит. Я хотел бы спасти от забвения интересную сторону нашей жизни; ведь все эти конфетные бумажки пропадают бесследно; между тем в них проявляется и народная эстетика, и вообще эта область человеческого духа не менее богата, чем всякая другая: здесь и политика, и история, и иконография. Вот, скажем, Толстой в лаптях. Как бы мы ни подходили к жизни, все дороги ведут в Рим. Надо только выбрать путь, по которому тебе пристало идти. Моя область — кулинария, широко понимаемая.

Часами можно было рассматривать коллекцию конфетных бумажек Торопуло. Разнообразие мира постигал Торопуло благодаря этим меловым, восковым, всех сортов бумажкам.

Между разговорами гости ели шоколадную карамель, обернутую в вощанку; на обертках изображены были в профиль и en face красавицы, носящие благозвучные имена, на фоне малиновом, алом, травянисто-зеленом, в рамках, украшенных цветами; Виргиния здесь изображалась с открытой грудью; испанка с поднятыми юбками изображала «Мой сорт», они мирно покоились под театральными «Ушками», «Дамскими язычками», торчавшими по бокам вазы. Темноцветные бумажки, украшенные золотыми буквами, как бы ныряли среди нежноцветных волн: колибри, львы, тигры, олени, журавли, раки, вишни, земляника, малина, красная смородина, васильки, розы, сирень, ландыши, красноармейцы, крестьяне, рыбаки, туристы, паяцы, солнце, луна, звезды — возвышались здесь, пропадали там, радовали взор, заинтересовывали, возбуждали любопытство, вызывали сравнение; и гости, нацелившись, выуживали то рыбку, то испанку, то туриста в тирольской шляпе, то Версаль, то лунную ночь, то звезды. Это была своеобразная игра. Торопуло вкушал тревожный запах винограда, мощный запах каштана, сладкий — акаций; всеми ощущениями наслаждался Торопуло, как лакомствами. Торопуло пребывал в мире гиперболического счастья, не всем доступного на земле; он жил в атмосфере никогда не существовавшего золотого века.

Затем гости стали рассматривать новые приобретения хозяина, рассуждать, удивляться газете «Эхо столичной пивоторговли», найденной на рынке и принесенной Ермиловым в подарок хозяину ради первого знакомства,— газете, заполнявшейся почти одним лицом,— редактором Ориным, писавшим хвалебные гимны тем гласным городской думы, которые внимательно и чутко относились к вопросам столичного пивного промысла, наполнявшим газету стишками о том, что, к сожалению, осенью меньше пьют пива, чем летом, и беллетристикой, где обязательно сюжет связывался с пивом, хотя бы лишь тем, что действие происходило в пивной, писавшим и против алкоголя, считая, что вредный алкоголь необходимо вытеснить безвредным пивом. Здесь были и хроника, и анекдоты, и карикатуры — все, все здесь связывалось с пивом. Торопуло не подозревал о существовании пивной газеты. Он долго-долго жал руку Василию Васильевичу.

Но Ермилов уже был далеко. Опять он шел с Варенькой к Мариинскому театру, опять она несла чемоданчик и ахнула, когда увидела свою фамилию, напечатанную огромными буквами на афише.

Мурзилка в этот вечер скучал; он долго ходил по чердакам и крышам и, как всегда после похождений, требовал человеческого общества. Ларенька не позволяла ему ложиться на руки, поэтому он лапки ставил на ботинок Ермилова и, казалось, таким довольно примитивным образом хотел приобщиться к человеческому обществу.

Топилась печь. Мурзилка карабкался по библиотечной стремянке все выше и выше, он улегся на последнюю перекладину и стал рассматривать гостей, стараясь понять, чем они заняты — не едят ли? Затем он принялся мыться, посматривая вниз; затем он запел, смотря задумчиво в окно.

Там уже видны были очертания покатых крыш и радиомачт в хлопьях неожиданного света.

Мурзилка смотрел в окно, опустив хвост. Мурзилка лежал на фоне поваренных книг, высоких, толстых и драгоценных, где так дивно описано приготовление голубей по-австрийски, по-богемски, по-саксонски, по-провинциальному, по-станиславски и по «другим манерам». Книги, где описывались «голуби с огурцами»,

«голуби с брюквой», «голуби в халате» и «голуби на рассвете». Бедный Мурзилка не подозревал о всех этих блюдах и о возможности такого разнообразия.

Лареньку устроили на диване. Все гости удалились в столовую.

Когда совсем рассвело, хозяин и гости умылись.

— Ну-с, а теперь приготовим опохмелье по Олеарию,— сказал Торопуло.

Нарезал кусок оставшейся баранины на мелкие кусочки в виде кубиков, но несколько подлиннее, смешал их с мелко накрошенными огурцами, влил в эту смесь уксусу и огуречного соку, а затем принес глубокие тарелки и ложки.

Гости стали опохмеляться.

Торопуло, Евгений и Ларенька вышли вместе и поехали за город. Торопуло решил как следует отпраздновать свой отпуск.

Ему очень нравилась молодая пара.

— Не правда ли, этот холм похож на страсбургский пирог? — обернулся Торопуло к Лареньке,— и не только по форме,— разглядывая холм, продолжал он,— но и по цвету. Как все удивительно в природе! И обратите внимание на этот пень — ни дать ни взять, ромовая баба! А вода в этом пруде цвета сока винограда; подойдемте поближе, удивительный эффект производит солнце. Это мой любимый уголок; здесь люблю я созерцать природу. Как хорошо щекочет в лесу запах земляники летом! Осенью — грибов! Обратите внимание на нашу живописную местность: внизу стоит город, правильной круглой формы, молочно-белый, со стенами точно из марципана, с деревьями, с переливающимися на солнце листьями, точно желатин, окруженный салатными, картофельными, хлебными полями: там идет бык со своим сладким мясом у горла, там великолепная йоркширская свинья трется о высокую сосну. И как странно! Ядовитые для нас волчьи ягоды — лакомое блюдо для дроздов и коноплянок, а похожие на черные вишни ягоды белладонны — первая еда для дроздов! А иволги и тетерева — человечнее, они любят землянику.

Вечером, лежа на диване в комнате Лареньки, Евгений взял трубку и приложил к уху; передавался вечер танцев в музыке; участвовали рояль, скрипка, виолончель,

флейта и женский голос; под аллеманду, жигу, сарабанду, гавот, вальс, польку, мазурку, танго и фокстрот сладко дремалось. Церемонно пела скрипка менуэт Боккерини, нежно и плавно исполнял рояль вальс № 7 Шопена, умеренно скоро играла флейта польку Покка...

Течение мыслей Евгения шло между действительностью и сном. Вставал какой-то замок, где его, ребенка, другие дети называли инфантом; какие-то польки, чтобы доказать плавность танца, с бокалами, наполненными до краев шампанским, танцевали мазурку; какой-то сад с боскетными фигурами появлялся...

В это время персиковое освещение дня сменилось для Торопуло гранатовой окраской вечера и предчувствуемым виноградным зеленовато-голубоватым светом белой ночи.

Когда настало это сладостное виноградное освещение фонарей, вышел Торопуло. Чудный мир, привнесенный им, улыбался ему; просил назвать себя и показать другим людям.

Евгений поздно вернулся в свою холостую квартиру и утром, стоя перед запыленной псише, упражнялся в трудных пассажах для приобретения техники; затем перешел на изучение триллера. Затем стал пытаться достигнуть верной и чистой интонации. Зеркало ему помогало наблюдать за положением языка и избегать всякого рода гримас. Его огорчало то, что он не мог с полной чистотой каждого звука и одним дыханием исполнить триллер на хроматической гамме в целые две октавы вверх и вниз. Принялся думать о Лареньке.

«Господство его над ее волей простиралось даже до выбора платьев. Он выбирал предметы, которые не нравились ей, и запрещал ей одеваться сообразно с ее вкусом. Этот деспот находил удовольствие заставлять свою невесту переменять прическу и костюм, когда замечал, что они ей к лицу или что она довольна ими. Часто он приказывал ей переодеться». Евгений путал себя с кем-то.

После небес, гор и солнца, после мельканий пейзажей, после веселой приключенческой полужульнической жизни в союзных республиках, после разнообразных туземных песен, исполняемых под аккомпанемент национальных инструментов, Евгений с интересом слушал песни жителей дома.

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он
О жизни той, в краю родном...—

пела и шила у раскрытого окна портниха лет пятидесяти с завитою редкой челкой, любящая шляпы черные или лиловые, фасона «Наполеон». Задумывалась о своем гражданском муже, умершем на Волге.

Молчание. Слезы выступали на глазах Агаши.

Начинала снова:

Ты склони свои черные кудри
На мою исхудалую грудь...

И, дойдя до куплета:

Только ты, дорогая подруга,
Горько будешь над гробом рыдать...—

рыдала долго.

Но бывали почему-то и для нее радостные дни. Тогда она пела слабым тоненьким голосом:

Военных обожаю
Я с самых юных лет,
И их я не сменяю
На самый белый свет.
Ах, как я люблю солдат.

И вдруг басом:

Для прислуг стараться рад.

И опять тоненьким:

Солдат стремится всегда вперед,
Он смело храбростью берет.

Иногда грустила:

Умерла-а наша Мальви-и-на,
С ней скончалася любовь,
Руки к сердцу приложи-и-ила
И скончалася она.

Иногда, возвращаясь в своей лиловой шляпе фасона «Наполеон» с прогулки и пошептавшись с Матрешей о Ларенькe, приходившей к Фелинфлеину, она удалялась работать, игриво припевая:

Ларенька, Ларенька, гла-а-зки,
Глазки погубят тебя-я.
Вот апрель месяц подхо-о-дит,

Вот и могилка твоя.
Ларенька, Ларенька, гла-а-зки,
Глазки сгубили тебя.

Это Евгения забавляло.

— Ах, ты знаешь, у нас что? — услышал он разговор Агаши Зуевой с ее подругой Матрешей Белоусовой — и дальше последовал завистливый рассказ о том, что в деревне, откуда она родом, крестьянки перещеголяли городских франтих, имеют три-четыре воскресных платья, что в праздничные дни по утрам девушки отправляются с узлом в церковь, а затем, после службы, по пути, отойдя в кусты, переодеваются. Затем меняют платье к обеду, переодеваются и вечером. И что в деревне мечтают о лакированных туфлях. Зло-зло блестели глазки Зуевой.

Щеголеватые парни с зеленой гребенкой в волосах, с длинной серьгой в ухе, в костюмах, сшитых Ленинградодеждой, играли в рюхи на дворе, на площади бывшей пристройки; они как бы давали представление Евгению, настолько они были декоративны. По вечерам они, сидя на скамеечке, пели под звуки струнных инструментов куплет, ставший на время почти народным:

Цветок душистый прерий,
Твой смех нежней свирели,
Твои глаза, как небо, голубые...

Посидев таким образом, они отправлялись в кинематограф.

Дети этого дома были достаточно злы. Утром Евгений видел, как они играют и скачут и от времени до времени дразнят хромую девочку:

— Кривоногая нога захотела пирога...

Они исполняли это как античный хор, то приближаясь, то отдаляясь от своей жертвы.

Чуриковские женщины ничего не пели, а брезгливо, в платочках, как тени другого мира, проходили мимо.

Фелинфлеину этот дом казался театром. Евгений с удовольствием присаживался к женщинам, сидевшим на скамеечке, рассказывавшим грустные истории про молодого удальца, уголовника, как он соблазнил пятнадцатилетнюю девочку, как он жил с ней несколько месяцев вместе, как с его позволения его мать продала затем эту девочку какому-то мужику, и как, в конце концов, девушка попала в Калинкинскую, где ей отре-

зали грудь, и что теперь неизвестно, где ставшая одногрудой девушка торгует собой. Это было очень похоже на песню, старинную песню, и потому трогало жителей дома до слез.

Рядом с Матрешей Белоусовой жила в комнате высокая, тощая, ходившая вся в черном, говорившая всегда шепотом, так называемая тетка Дуня, лет семидесяти, продававшая лампадное масло, читавшая по покойникам, обмывавшая их, в Крещение приносившая освященную воду, на Пасху носившая святить куличи за малую мзду, под видом афонского продававшая самое обыкновенное лампадное масло, откладывавшая деньги в черный чулок, по слухам.

Благочестивый шепот и черное платье не мешали ей быть нечистой на руку; она знала священников во всей окружности и этим жила; они считали ее благочестивой женщиной. Евгений давал ей в шутку читать журнал «Безбожник», она отмахивалась и в ужасе отбегала.

Судьба подарила Евгению представление — смерть тетки Дуни. Он узнал подробности от Матреши Белоусовой, с любопытством присутствовавшей у ложа умирающей, окруженного стаей таких же ханжей, жаждавших поделить ее имущество. После того, как ее соборовали и помазали елеем, тетка Дуня вздохнула и сказала:

— Теперь я иду прямо в рай!

Три ночи подряд над покойницей читала Псалтырь тихая монашенка.

Матреша Белоусова боялась, что тетка Дуня встанет и начнет бродить и — чего доброго — повстречается с ней в коридоре.

Торжественно похоронили тетку Дуню.

Священник шел впереди.

Евгений шел среди ханжей.

После похорон ханжи провожавшие вернулись в комнату тетки Дуни и спешно поделили имущество умершей.

Приняв постный вид, торжественно помянули умершую. Часть посуды принесли с собой, другую часть заняли у соседей; Евгений в виде любезности принес от хозяйки посуду; на кухне шипели блины; говорилось со степенным видом о достоинствах тетки Дуни и о том, что молодое поколение погибнет.

К негодованию всех жильцов, ханжи обжулили монашенку,— ей даже не дали книгу для чтения по умер-

шей; на ее просьбу ответили с благочестивым видом:

— Мать Христодула, Федосья взяла книжку и уже ушла с поминок.

Таким образом, задумчивую мать Христодулу только допустили на трапезу.

Долго в доме смеялись над тем, что тетка Дуня полетела прямо в рай, и жалели монашенку.

В лицевом флигеле жил другой персонаж: дочь шорника.

Лавка в одно окно, на вывеске пестрая дуга, с головой лошади, на окне хомут, вожжи, бубенчик, за прилавком пузан — низенький, желтый. Белоусова рассказала Евгению все про нее. Дочь шорника девочкой была тихой, аккуратной, дети ею не интересовались и с ней не дружили, у нее, как и сейчас, были бледные голубые глаза, правильный нос, безукоризненно причесанные бледные волосы, говорила она всегда тихим шепотом,— не разобрать было, равнодушна она или пуглива; в тетрадочках у нее не было ни помарок, ни клякс, ходила она с двумя братьями-пузанчиками.

Показала барышня Белоусова Евгению невероятной красоты и аккуратности вышивки и ленточками, и бисером, и белым шитьем, и цветной гладью, и крестиком ее работы; вышивки эти всех в доме восхищали красотой исполнения.

Узнал Евгений от все той же часто приходившей к Наталье Тимофеевне Матреши Белоусовой, что в голодные годы у девушки на руках появилась экзема, что девушку всячески лечили и что, наконец, применили рентген. По словам Матреши Белоусовой, рентген съел левую руку искусницы; но девушка продолжала вышивать; у нее, как и у ее матери в молодости, ампутировали руку и сделали протез: продолжала она вышивать и кормить своих братьев-пузанчиков. Но появилась экзема и на второй руке — во всю ладонь образовалась рана; врачи решили ампутировать и вторую руку.

— И вот,— сообщала Матреша Белоусова,— она все еще вышивает, но скоро ей ампутируют и вторую руку.

Рассказала Матреша Белоусова Евгению про вдову Федосью, жившую с ужасным рябым ломовым извозчиком. Увидел Евгений — тощую, с близко посаженными бегающими глазками, с носом, всегда втягивающим воздух; узнал он, что про своего мужичишку и про себя она говорила:

— Всякая голубка голубка ищет!

Узнал он, что Федосья для голубка все покупает, что она голубка поит и кормит и одевает. Голубок же свой заработок отправляет в деревню жене.

«Какой фантастический бытовой театр!» — думал Евгений.

Вспоминалось прошлогоднее путешествие по ледникам, сванские башни, города, высеченные в скалах, и восстанавливаемый Ленинакан.

Снова в ушах Евгения звучала армянская песенка:

Ты дочь монаха, Рипсимэ?
Да, я дочь вартапеда (монаха).
Иди к нам.
Мы все здесь в Эчмиадзине
Дочери монахов.

Монахи жили наверху, внизу помещался кружок безбожников. Встречи с геологическими и археологическими экспедициями.

Видел себя он в живописных развалинах мечети. На расчищенной от камней площадке группа пионеров, окончив беседу о событиях в Китае и составив два хромоногих стула, учится играть в пинг-понг, впервые привезенный из города вожатым отряда; белый шарик мечется в воздухе, отскакивает от ракетки, толпа пожилых татар окружает игроков. Затем перед Фелинфлеиным возник Самарканд с седобородыми узбеками и гробница с бирюзовым куполом Тамерлана.

Евгений попал в «Гур-Эмир».

Под высокими сводами, украшенными мозаикой лучших персидских и арабских мастеров, увидел туземных шахматистов.

Снова потянуло Фелинфлеина туда, на Восток. Он видел себя в отрогах Тянь-Шаня. Он кому-то рассказывал, как он испугал разбойника. Изображая должностное лицо, подъехал бодро к бородачу, спросил фамилию и с серьезным видом внес замысловатое имя в свою записную книжку, после чего, расстроенный хитростью гяура, разбойник галопом удалился.

И Торопуло иногда вспоминал о юге, и Торопуло иногда мысленно блуждал по ялтинскому берегу. Ах, как хороша ночь! Темно, темно, осень. Очень яркие лучи идут от ларьков; горы фруктов, фрукты необычайной яркости, горы дынь, горы арбузов, ветки ман-

даринов, грязная девчонка продает фиалки и розы; все освещено качающимися керосиновыми фонарями или свечами; каждый духан точно вырезан в черном бархате ночи. Торопуло взял «Тысячу и одну ночь», но хорошо знакомая лакомая книга не читалась. Тогда взял журнал «Восток» Торопуло. И вот, яблоки — словно рубины старого вина, айва — словно шары, скатанные из мускуса; фисташки с сухой усмешкой и влажными устами; цвет персиков в густых ветвях. Сахарные груши сладко смеются, гроздья винограда висят, как связки жемчугов. Мед абрикосов и мозг миндаля заставляют томиться уста. Кусты красного винограда огненного цвета, как вино, сладостно сковывают самую кровь. Ветки апельсинов и свежая листва лимонов, финиковые рощи по всем углам...

Сад, словно кудесник, наполнил комнату Торопуло; дыни лежали у ног его пестрыми ларцами.

Мечты Торопуло прервал Евгений. Он влетел к нему. На толкучке он купил драгоценную для Торопуло книгу о чае и кофе Мейснера, в переплете XVII-го века, реставрированном в XVIII-м веке, с суперэкслибрисом города Парижа. Содержание книги главным образом заинтересовало Торопуло. Перед ним мелькнул плод в виде вишни, меняющий свой цвет по мере созревания: сперва зеленый, затем красный и, наконец, темно-фиолетовый. Торопуло расцеловал Евгения.

Торопуло раскрыл книгу.

— Нет, нет,— сказал он,— не сейчас, на сон грядущий,— и, держа книжечку, сел на диван.— Что же вам подарить взамен? — сказал он, предвкушая, пронизывая глазами книгу.— У меня есть чудесный кофе, надо спрыснуть эту чудную книжку. Посвятим сегодняшний вечер этому напитку, очищающему кровь, разбивающему тяжесть в желудке и веселящему дух. Знаете ли вы, что аббат Делиль писал о кофе?

Торопуло подошел к полке, достал стихи Делиля, раскрыл на закладке и вдохновенно стал пересказывать:

— Кофе недоставало Вергилию, кофе обожал Вольтер. Делиль сам любил приготовлять божественный напиток. На жаровне раскаленной аббат в полном одиночестве (одиночество усиливает наслаждение,— пояснил Торопуло) — золото его окраски постепенно превращал в цвет черного дерева. Все в том же одиночестве аббат заставлял кричать зерна под железными зубцами и, очарованный ароматом, без посторонней помощи,

погружал в воду смолотый кофе. Но вот все готово! И мед американский, выжатый из сахарного тростника африканцем; вот и японская эмаль принимает кофейные волны: кофе соединяет в себе дары двух миров. Аббат пьет, и в каждой кофейной капле для него луч солнца.

Собственно это была интерпретация Торопуло. Некоторые смысловые моменты он бессознательно усилил, другие ослабил.

— Прочтите сами,— продолжал Торопуло,— какое восхитительное стихотворение.

Торопуло никогда не читал вслух на иностранных языках. Спеша осилить языки, чтобы читать кулинарные книги, он к черту послал точную фонетику.

— А в Норвегии, во время деревенских праздников, этот аравийский напиток варят вместе с селедочными и угриными головками, должно быть, для придания особого вкусового оттенка. Любопытно?

Но Евгений спешил и отказался от кофе. Он условился с Ларенькой, что она сегодня придет к нему. Но домой приехал он рано. Чтобы заполнить свободное время, он сел за хозяйское пьянино.

«Погружусь в игру звуков»,— подумал он.

Но игра звуков ему быстро наскучила. Он пересел в кресло. Положив ногу на ногу, свесил руки, запрокинул голову. Затем он опустил голову на грудь и обхватил колени руками. Это было совсем не dolce far niente [1].

«Жить скучно, все время нужно развлекать себя,— думалось Евгению.— Приходится иногда передернуть и новый для себя путь найти».

Теперь он чувствовал по степени своей тоски, время от времени повторявшейся, что снова придется все бросить и бежать, что очень скоро он побежит.

Ларенька вошла в комнату, где жил Евгений.

В комнате было темно.

На цыпочках она подошла к пузатому комоду и зажгла свечу. Евгений, казалось, дремал в кресле.

Она сняла пальто и повесила на гвоздь: шляпу надела на бюст Потемкина, некогда украшавший палисадник, и на цыпочках стала прибирать комнату. Посмотрела, политы ли цветы, сняла хозяйскую желтую ска-

[1] сладостное ничегонеделание *(ит.)*.

терть, вышла на лестницу, стряхнула, поставила кипяток на кухне.

Стала ждать пробуждения спящего в кресле.

Бледный жених, жалующийся на сердцебиение и мигрень, сидел перед невестой.

Ларенька сбегала в аптеку и принесла порошки, положила компресс на голову Евгения.

— Какая тоска...— сказал Евгений после полуночи,— не могу я больше жить здесь, я должен уехать.

— Что с тобой? — испугалась Ларенька.

Евгений отвернулся к стене.

Евгений вспомнил музейный дом, в котором он живет, и расхохотался. Он встал, сел в кресло, закурил и стал рассказывать о том, как Матреша Белоусова бросала солью между Прошей и его женой, как Матреша, встречая молодоженов, т. е. Прошу и его жену, в коридоре или на лестнице, пряталась и из-за угла махала медвежьей лапой; как он однажды увидел, как Матреша, открыв вьюшки, кричала заклятье.

Ларенька, думая, что Евгений развеселился, развеселилась и сама. Стала она рассказывать про свое детство.

Утром ушла Ларенька.

Утром разыскала Евгения няня.

Евгений чувствовал комедийность своей жизни.

У няни были странные идеи относительно ума Евгения.

Его познания, по ее мнению, были совершенно изумительны — он знал решительно все; его память была исключительна; а детство он провел в роскоши.

Теперь, войдя в его комнату, она сострадала тому, что у Евгения нет денег.

— Как жить-то приходится тебе, бедняжечка,— качая головой и осматривая комнату, говорила она.— Ты уж не помнишь, как ты жил-то, а я помню!

— Не нойте, няня,— прервал Евгений.

Но няня ныла.

— Яблочко и сладких булочек я тебе принесла; слышала я, что жить тебе нечем; покушай, может быть, горю полегче станет.

— Перестаньте, няня!

— Помнишь, когда я в маскарад ходила, ты всегда просил тайком от барыни: «Пряничков мне, нянюшка, принеси и сахарную булочку, я, когда вырасту, все тебе жалованье отдавать буду».

Наконец Евгению удалось спровадить няню.

Он сел и стал вырезывать для Торопуло из старых путеводителей и журналов картинки и наклеивать на бумажки одного и того же размера, но разных цветов.

Это было приятное занятие. Виды шоколадных фабрик, типы седых дипломатов, смакующих вино, молодожены, привозившие бенедиктин из Парижа своей, сидящей в кресле, бабушке, молодая особа с веером в руке, сидящая перед наполовину уже опустошенным бокалом, принесенным в кредит, томительно ждущая неведомого ей кавалера: белокурая Евпраксия, двумя пальцами держащая кофейник и наливающая кофе в чашечки, стоящие на подносе, который держит черноволосая Акилина, брак в Кане Галилейской и Юдифь, сидящая за столом рядом с Олоферном, который, вне себя от радости, выпил сегодня больше вина, чем за всю свою жизнь. Парижские рестораны и кафе, поплавок Тишкина.

Вырезывая из современного немецкого журнала картинки, Евгений был поражен,— за столом между священником и заштатной немецкой принцессой сидел его троюродный брат Лубков. Какая-то, утрированно скромно одетая, женщина по левую руку принцессы глядела в аппарат. Это был скромный свадебный пир. На столе стояли графины с вином, цветы, рюмки, кое-какие закуски. Молодой Лубков был в крахмальном белье, принцесса была похожа на старую не удовлетворенную жизнью гувернантку. Позади них стоял скромненький полубуфетик, на нем лежала кружевная дорожка.

«Пожалуй, мне эта картинка пригодится, не отдам ее Торопуло». И отложил в папку, где хранился портрет Казановы, игорные дома в Венеции, наполненные замаскированными в треуголках.

Поразил его и «der Grossfürst Boris Romanov» [1], он сидел лысый между двух подстриженных дам, множество молодых мужчин и женщин сидело за весьма узким, заставленным винами и закусками столом.

«Это можно дать Торопуло,— подумал Евгений,— здесь есть на что посмотреть».

«А вот это тоже неплохо. Это, должно быть, уединенный кабинет: бутылки шампанского во льду, розы на белой скатерти, электрическая имитация свеч, танцую-

---

[1] Великий князь Борис Романов (*нем.*).

щие ноги в черных чулках и туфельках. Вверху улыбающийся рот танцовщицы, внизу — улыбающийся рот чернобородого банкира, сидящего на фоне зеркала».

Евгений, вооружившись ножницами, работал.

Торопуло в свою очередь в это время вырезывал для Евгения картинки. Мужчины с шапокляками в руках в ложах позади нежных дам времен Рубинштейна; многоголовые выходы из варьете, освещенные газом; не совсем одетая артистка, окруженная в своей уборной несколькими военными и штатскими, поднимающими бокалы; полицейские в цилиндрах, захватывающие на бульваре в ужасе сопротивляющихся женщин, ночные игорные дома и клубы, освещенные керосиновыми лампами.

Затем Торопуло задумался.

Взял переплетенные письма своих родителей, раскрыл на закладке, гранитолевый корешок затрещал.

Торопуло стал читать:

«Сегодня для разнообразия ходил к так называемому Донону — оказывается паче чаяния на 50 к. дороже и на рубль хуже,— но зато обедают г-да офицеры, генералы и даже с дамами. Там был и Ал. Кауфман,— обедал с «пивом»,— но зато после обеда, как полагается у «Донона», с полчаса в разных направлениях, с разными гримасными приспособлениями, чистил «пером» à la Соу зубы, причмокивая еще для аккомпанемента. Решил потому более туда не ходить.— Раскланялись только издали, ибо это было в саду.— За обедом Алешенька хотя и с пивом только, но роготал на двух Гггг-Ггггга, а зато в беседке генерал раздавался все время на тему Хха-Хха-Хха. Будь здорово, божество мое драгоценное».

Перелистнув несколько отцовских писем, Торопуло устроился еще поудобнее в кресле.

«...А ты бы почаще теленочка разрабатывала по частям,— ножки, головка, хрудынка,— бочок с кашей,— а то и ребра с горошком,— так оно, и право, ничего. Пока не произведу смотра лично, написала бы хотя с помощью карандаша, как на эвтот счет пробавляетесь? больше от плодов земных или фруктов говяжьих, али насчет содержимого коровьим вы...мя. Как кофе? Преет ли? Как ситец и кройка? Как русские обои? Пожалуй, не прочь и захаить? А они хороши,— и цвет и самые такие не то птицы, не то пряники?»

Задумался Торопуло, и захотелось ему почитать

Гете. Подошел к полке, взял книгу, снова сел в кресло и стал читать.

«И тогда улица Толедо и еще несколько улиц и площадей близ нее бывают украшены самым аппетитным образом. Лавки, где продается зелень, где выставлены изюм, дыни, вишни, ягоды, особенно приятно радуют взор. Съестные припасы гирляндами висят над улицами; крупные четки из позолоченных колбас, перевитых красными лентами...»

Захватив картинки для Торопуло, Евгений пошел к Керепетину. Керепетин сделал уже до тридцати эскизов костюмов. Особенно ему удались гротескные костюмы епископа и монахов. И неудивительно: Торопуло в качестве материала передал ему во временное пользование всевозможные изображения духовенства, пирующего за столом, и лубочные картинки. Некоторые из них были гравированы еще во времена религиозных войн и хранили пафос и всю отчаянную ненависть к представителям римского престола или к их порокам.

Режиссер был более чем доволен. Костюмы великолепно подходили к антирелигиозному спектаклю и были пестры, характерны, современны и злы. Никому и в голову не приходило, что Керепетин переключил чужую ненависть.

Эрос Керепетин кроме гравюр страстно любил фотографии. Он знал, что они превратили его в великолепного рисовальщика и иллюстратора. Профессиональные фотографы девятнадцатого века, гоняясь за физическим сходством, великолепно передавали эмоциональную и социальную природу человека. Тщетно стремились клиенты быть не тем, чем они были на самом деле. Тщетно и фотографы стремились помогать им в этом. Аппарат оказался весьма чувствительным. И к Керепетину тянулись толпы — чиновников, военных, купцов, прожигателей жизни, любителей лошадей. Мечтатели с удивительными ртами, с удивительными томными глазами, с поражающими прическами, с неповторимыми ушами и манерами стояли перед ним как живые. Керепетин чувствовал, что он начинает ненавидеть кончившуюся эпоху.

Керепетин, перебирая карточки, следил за превращением физиономий, за изменением манеры жить и мыслить. Любительские фотографии были не менее ценны для него, для профессионального иллюстратора; любительские фотографии передавали ему чайные сто-

лы, палисадники, сады, домики, дома со всем содержимым, позы женщин, грацию мужчин, нежный флирт.— Какие выразительные лица, какие прически, какие кофты, какая блестящая строгость, какая утрированная задумчивость, какая лучезарная мечтательность! И все же в этом рисунке ты запечатлел нежность и трогательность и какую-то бессознательность. А этот, с бородкой Филиппа II, чиновник морского ведомства на фоне дивана, уставленного безделушками, пьющий бокал шампанского! Видно по лицу твоего героя, что он сам желает в таком торжественном виде предстать перед потомством. А эта дама, в самой принужденной позе срывающая цветок...

Лареньке чудилось детство Евгения.

Ей было жарко в постели; сердце ее билось. Ей стало стыдно за ее детство, за комнатки со стенами, оклеенными светлыми обоями, за излишне ревнивую мать, подстерегающую мужа на углах улиц, за семейные сцены. Она чувствовала себя недостойной своего насмешливого, редко бывавшего нежным жениха.

Спрыгнула с постели, подбежала босая к зеркалу, держась за раму, разглядывала свое худенькое, веснушчатое лицо.

«Насколько велико расстояние между нами!»

Она отворачивалась, снова глядела в зеркало, улыбалась, чтобы себе самой показаться более красивой.

Думала о том, что у Евгения совсем нет воли, что он погибнет, если она его не спасет: «У Евгения нет воли, у меня — сильная воля»,— это ее несколько успокоило.

Ради Евгения Ларенька курила и жевала опий, темный и горький, чтобы быть всегда с Евгением, чтобы свою жизнь слить с его жизнью. От туркестанского яда ее руки и ноги превращались в палочки. Несмотря ни на что, Ларенька любила Евгения.

Вечером жених и невеста встретились, как было условлено, у Керепетина, пили вино и по-семейному играли в карты.

Окончив игру, втроем они вышли.

Василий Васильевич ехал в это время в трамвае. Против него сидел большеголовый, с редкими волосами, серощекий, толстоносый, с огромными ноздрями и величайшим ртом, человек. Шляпа на нем была черная фетровая с порыжевшей лентой. Воротничок отложной, крахмальный; пальто пожелтевшее, с зеле-

новатым меховым воротничком. Василий Васильевич прыснул, увидев такую смешную фигуру. Из вежливости отвернулся и стал глядеть в окно. «Несомненно, это гробовщик!» Василию Васильевичу представилась картина:

Брусницын, один из яичных торговцев, умирает. Гробовщик Авениров, с поднятым воротником, условившись с прислугой, ходит от фонаря до фонаря перед домом; он ждет, когда горничная в одном платьице выбежит и сообщит ему о кончине хозяина.

Авениров ходит, ходит, а Брусницын все не умирает.

В это время появляется другой гробовщик и подходит к первому.

— Что вы здесь поделываете, Келестин Степанович?

— Гм... гуляю.

— Гуляете? И я с вами погуляю!

От фонаря до фонаря гробовщики принялись прогуливаться вместе.

Авениров ходит-ходит, остановится и посмотрит на конкурента.

Уткнется в воротник, молчит.

Выбегает девушка в наколке и передничке:

— Барин скончались...— и скрывается.

Келестин Степанович и его конкурент бегут вместе по лестнице.

Позвонил Келестин Степанович.

Приняли они оба солидный вид и вдруг, перебивая друг друга, сообщили плачущей Кирилле Ивановне, что они гробовщики.

Вдова растерялась.

— Вас двое... Я не знаю... делайте как знаете.

Заплакала.

Авениров, вне себя, кричит, подступая энергично к вдове:

— Я всегда всех Брусницыных хоронил; вы ему не должны отдавать предпочтение!

И отталкивает нахала.

Василий Васильевич Ермилов не помнил, где и когда он слышал этот рассказ. Может быть, он даже прочел его где-нибудь, в каком-нибудь юмористическом журнале девятисотых годов. Но сегодня он решил рассказать его в доме Пуншевича, причем пусть этот сидящий напротив оригинал и окажется гробовщиком Авенировым.

Так как Василий Васильевич привык рассказывать

сериями, то он вспомнил действительный случай и мысленно повторил его.

Один студент во время безработицы становится агентом по собиранию реклам и объявлений для журнала, посвященного творчеству национальностей.

Раз, собирая объявления, юноша входит в бюро похоронных процессий «Вечность». Недалеко от Сухаревки, входя в помещение, юноша слышит слова фривольного романса и постукивание молоточка.

Обивавший гроб татарским дешевым кружевом вскакивает, встает за стойку, сложив ладони, делает печальное лицо и спрашивает студента:

— По скорбному делу быть изволите?

Молодой человек умел собирать объявления.

У гробовщика на секунду лицо зажглось.

— Хорошо бы на каждой странице ленточкой: «Похоронное бюро «Вечность».

— Только денег у нас немного, даже красный выезд продать пришлось; мы инвалиды, а прежде мы с братом служили у Александрова. Может быть, помните? Может быть, родственнички пользовались?

Старик вопросительно смотрит на студента.

Показывается пустой катафалк на улице, слетает факельщик с дрог, весь в белом, и кричит хозяину:

— Что же ты наделал, подлец? Обмерился! Я ей в голову — ноги не лезут; я ей в ноги — крышка не закрывается. Руби подставку для поджилок, сейчас выносить будут.

Схватывает факельщик подставку, взлетает на дроги и погоняет лошадь.

А юноша потом узнал, что все общежитие принимало участие в укладывании в гроб, что покойная была его знакомая.

И еще несколько рассказов вспомнил Василий Васильевич.

Он вспомнил, что еще не так давно, до войны, была мода покойников подкрашивать, что гримировщик из бюро похоронных процессий, по желанию родственников, мог превратить покойного в красавца, предмет изумления, посредством белил и румян.

Еще он вспомнил, как он попал на свадьбу, гробовщик венчался с акушеркой; что поселились они в одной квартире и что при каждом звонке молодожены были в сомнении, кого сейчас позовут — мужа или жену?

Трамвай летел.

У Карповки человек с огромной головой вышел. Ермилов посмотрел ему вслед.

Скоро надо было выходить и Ермилову.

Побежал по улице. Со времени смерти Вареньки он не ходил, а бегал. С горестью он вспоминал, что на вечере у Торопуло не удалось поговорить о Вареньке, распространить и утвердить ее образ и таким образом исполнить свой долг перед ней.

Василий Васильевич главным образом с этой целью знакомился с людьми. Он старался посещать все сборища; старался знакомиться все с новыми и новыми людьми. И теперь он с ужасом думал, что, может быть, сейчас он подобрал рассказы, совсем не подходящие для рассказывания в обществе, в которое он сейчас попадет.

Наспех перетряхивая свои воспоминания, Василий Васильевич вбежал по лестнице, позвонил и забегал на площадке; затем, взяв себя в руки, он, стараясь быть как можно спокойней, вошел в квартиру профессора физики Пуншевича, состоявшую из двух комнат: первая комната служила столовой и библиотекой, вторая — кабинетом, гостиной и спальней. Но здесь он увидел то же общество: Торопуло разговаривал с Евгением, давным-давно знакомая ему Ларенька сидела на диване. Но, к его радости, затем стали раздаваться звонки и являться незнакомые ему люди.

К счастью, всем было хорошо известно, что Ермилов — великолепный рассказчик. Поэтому, чтобы не было скучно, незаметно для него самого, его заставили разговориться.

Евгений, подойдя к Ермилову, услышал:

— Третий партнер был инженер-технолог Усов, имевший чин статского советника; он был профессором и страшно любил игрануть в клубе в макао; довольно мелко играл, но с большой выдержкой и удачно; играл ежедневно и, таким образом, прирабатывал ежемесячно еще пятьсот, а то и всю тысячу.

Он всегда ходил в штатском, не носил никаких ученых знаков, одет был всегда неряшливо и безвкусно. Покрой его костюмов был странный: не то пиджачок, не то жакет; костюм сборный, жилетка и брюки разной материи, цвет его галстухов никогда не гармонировал с костюмом. Небольшая кудрявая русая бородка, непослушные усы, лезшие ему всегда в рот, круглое

брюшко, короткие ножки и вечно бегающие серые глаза делали его фигурку если не смешной, то, во всяком случае, забавной.

Все в Купеческом собрании его величали «профессором»; со всеми в этом клубе он был знаком и никогда ни с кем не ссорился; с маленькой записной книжкой он усаживался с игроками за мелкий стол, углублялся в какие-то ему только одному известные расчеты, задумчиво сидел за столом, не ставя денег, что-то записывал, вычислял и, наконец, вынув из жилетного кармана золотой, решительно ставил его и выигрывал. Любил Усов снимать игрокам карты,— продолжал Ермилов: — снимал, как говорилось, зло, с азартом, стуча картами о стол. Крупье, банкометы не любили усовских съемов: большей частью после его съемки выбрасывали карты из деревянной шкатулки; нервно рвали карты и требовали новые. Банкометы, не верившие в его съемку, платились, выворачивали так называемые «жиры». Усов же ехидно улыбался и прятал выигранные деньги в карман; золотой опускал в отверстие никелированной копилки, а сам что-то опять записывал в своей книжонке. Банкомет кидал гневные взоры, иногда бросая фразу:

— Спасибо, профессор, зарезали меня!

Профессор очень вежливо отвечал:

— Я снимал для себя; в клуб я прихожу, чтобы выиграть, а не проиграть.

Снова уже держал в руке намеченную им ставку.

— Ведь это легенда обо мне! — расхохотался Пуншевич.

Василий Васильевич покраснел.

—Здорово, Василий Васильевич! Вы профессиональный рассказчик! Чудесно! Я тогда действительно хотел разбогатеть. Кто это вам рассказал?

Но Василий Васильевич, несмотря на все свое желание, не мог вспомнить. Рассказ уже давно стал странствующим.

— Я все же думаю, что это не вы,— сказал Василий Васильевич.

— Зерном-то во всяком случае послужил я,— улыбнулся Пуншевич.

Каждый остался при своем мнении.

Профессор физики Пуншевич в свое время любил игрануть в клубе. Сейчас он был окружен атмосферой энтузиазма и молодости. Он не во всем был согласен

с молодежью; во многом с нею расходился, но любил, и его любили.

Он любил посещать общежитие, участвовать в вечеринках, слушать песни о Стеньке Разине, вспоминать волжские просторы и свою молодость.

Будучи от природы разговорчивым и остроумным, он с удовольствием ездил со студентами в экскурсии. Он был бодр, оживлен и румян.

Молодежь, будучи любознательной и смешливой, любила его рассказы. Морали в его рассказах не было никакой, зато пищи для размышлений достаточно. Начинались его рассказы довольно однообразно; было похоже, что вот сейчас он начнет рассказывать сказку: «Много-много лет тому назад в Петербурге...»

На этом вечере было основано «Общество собирания мелочей» в нижеследующем составе: председатель — Пуншевич, заместитель председателя — Торопуло, непременный секретарь — Керепетин, члены-корреспонденты — Ермилов и Евгений.

Пуншевич, во время рассказа Торопуло о Швеции, отыскал папиросную коробку.

— Дорогие товарищи,— начал Пуншевич,— вернувшись от Торопуло, я долго размышлял. У меня есть к вам предложение, вы видите перед собой лиловую коробку от безмундштучных папирос «Troika». На крышке изображены три коня: белый, рыжий и черный. Они тянут сани, украшенные светленькими цветочками, в санях сидит белобородый старик в бобровой шапке с голубым верхом.

— Похоже на вырезанную из дерева игрушку.— Евгений осмотрел коробку.

— Внутри наклеена картинка в красках с видом Кремля,— можно подумать, что для Запада это такая же экзотика, как пирамиды и сфинксы. Но ведь на самом деле Кремль для Запада совсем не экзотика, не пирамида Хеопса, Кремль — реальная, движущая политическая и моральная сила для рабочих и угнетенных национальностей всего мира, пламя, освещающее мир, простите за банальную метафору, но ведь это так,— Кремль приковывает взоры не только Европы, но и Азии, и Австралии, и Америки. Быт на наших глазах изменяется, и я предлагаю организовать общество собирания мелочей изменяющегося быта.

Торопуло на секунду почувствовал зависть — Пуншевич предвосхитил его идею и, несколько изменив ее, сделал вполне осуществимой.

«Так бывает всегда,— думал Торопуло,— один откроет, а другой использует».

Но затем перед Торопуло возник музей, где будут покоиться конфетные, апельсинные бумажки, меню, Торопуло подошел и обнял Пуншевича.

— Вы молодец,— сказал он,— действительно назрела потребность в организации общества. Необходимо добиться его легализации. Нам следует пропагандировать идеи нашего общества.

— Я примусь за это дело,— ответил Пуншевич.— Теперь наметим несколько областей нашего собирания и изучения. Конфетные бумажки — у нас уже есть фонд,— кивнул он в сторону Торопуло.— Бумажки от мыла, у меня есть родственница, она уже собирает бумажки от мыла. Коробки из-под папирос, у нас уже есть одна, чрезвычайно важная. Значки организаций, учебных заведений, вносите предложения... Так, тексты вывесок, действительно, вывески бывают разные...

— Попутнические вывески «Самтруд».

— Новобуржуазные — «Сад Фантазия», «Аркадия», «Родник».

— Приспособленческие: «Красная синька», «Красный одеяльщик».

Юноша, посадив на трамвай невесту, пошел провожать Василия Васильевича. Василий Васильевич рассказал ему про бюро «Вечность».

— Совершенно инфернально! — согласился Евгений.— Вообще наша жизнь совершенно изумительна. Я видел вывеску на главной улице во Владикавказе: «Кафе-аромат». На Кавказе и в Крыму много инфернального.

Василий Васильевич считал все безвкусное жутким и инфернальным. Под влиянием Василия Васильевича перед Евгением всплыл другой Кавказ, до сих пор им не замеченный.

— В Туапсе вывеска у сапожника — ласточка держит европейскую туфельку на фоне голубого неба и гор... А цирк в Бухаре! Я вам когда-нибудь расскажу про трубадура!

Василий Васильевич стал прислушиваться.

— В Крыму и на Кавказе много жуткого, говорите вы...

— Владикавказ совсем страшен,— подтвердил Евгений.— Вот вам предание, живущее там до сих пор. Сад под названием «Трек»; аллея акаций, в ней кончали самоубийством влюбленные гимназисты. В 16-м году на Треке будто бы стала появляться загадочная дама, густо завуалированная; она увлекала мужчин на кладбище — место лирических прогулок; там соблазненные теряли сознание. Последнее, что они помнили, был сатанинский хохот этой женщины. Попался один казачий офицер. Когда дама разразилась леденящим хохотом, он выстрелил в нее в упор. Убитая оказалась местным фантастом, банковским служащим. Нат Пинкертон, а не туземное предание!

Василий Васильевич согласился, что это несколько жуткий Восток.

Евгений в эту ночь видел мир глазами Василия Васильевича. Василий Васильевич это почувствовал.

«В Василии Васильевиче несомненно скрыто много фантастики. В том, что Варенька окончательно пропадет вместе со смертью Василия Васильевича, несмотря на всю его волю, скрыта глубокая драма»,— думал Евгений.

Ермилов взглянул на Евгения,— ему страшно захотелось, чтобы Евгений бросил свои похождения, чтобы он отдался музыке. Об этом он осторожно и деликатно сказал Евгению, но юноша покачал головой.

Расставшись с Василием Васильевичем, юноша закурил и остановился на мосту, перекинутом через Неву, и стал смотреть на воду. Юноша всегда возвращался в Ленинград, чтобы окунуться в атмосферу белых ночей, чтобы опять раз двадцать посетить Эрмитаж, чтобы опять похвалить архитектуру, чтобы с Петей Керепетиным снова шататься по улицам и любоваться просторным, реставрируемым, застраивающимся, постепенно сливающимся со своими окрестностями городом.

«Евгений не настоящий музыкант,— думал Ермилов, поднимаясь по лестнице,— потому что он ничем не желает жертвовать для своего искусства. В нем нет необходимой настойчивости, наивности, которая была у Вареньки. Он не развил в себе способности надолго отъединяться, погружаться в мир музыки, для него музыка не становится временами высшей реальностью».

С грустью Ермилов вспомнил, что у Пуншевича ему не удалось поговорить о Вареньке. Посидев некоторое время среди вещей Вареньки, Ермилов отправился на ночной покой, уже давно не приносивший ему забвения.

Во сне увидел Ермилов свою дочь на конфетной бумажке — облагораживающее действие Вареньки распространилось и на конфетные бумажки, вместо безвкусного танца апашей, кабареточных див — появилась Варенька в высоком классическом танце, безукоризненно чистом по своему рисунку.

Мурзик вышел к Торопуло навстречу, держа заячью лапку, и просил поиграть с ним. Толстый Торопуло нагнулся, вынул изо рта своего друга лапку и бросил. Мурзик вскочил, отыскал ее и принес своему хозяину. Торопуло шел дальше, кот по пятам шел за ним, держа свою игрушку.

Торопуло был горд тем, что друг его толст, что весит он много, что хвост его похож на трубу, что друг его разборчив, что пьет он только теплое молоко, а от холодного отказывается, что стоит его пропитание дороже охотничьей собаки, что любит его друг смотреться в зеркало и перед зеркалом мыться.

Вернувшись со службы, Торопуло не нашел милого друга. Ругая Нунехию, сошел Торопуло во двор.

Подозревая жуткую тайну, он, несмотря на одышку, бросился на тощего проходимца, вырвал у него из рук грязный мешок и вытряхнул содержимое на двор.

Мурзик вылетел с раздробленной головой и стукнулся о панель.

Света невзвидел Торопуло.

Между тем бродяга скрылся.

Схватив кота за лапки, бросился Торопуло за убийцей.

Побежал убийца по переулку; по переулку спешил за ним Торопуло.

Но убийцы и след простыл.

На следующий день после службы пошел Торопуло к чучельщику Девицыну, которого Евгений прозвал «душой-Тряпичкиным»; это был жуткий обладатель скальпелей, кривых и прямых, лопаток для вынимания мозга, пинцетов для укладывания перьев, ножниц для отрезания корпусов у хвоста, крыльев, ног. Торопуло принес Мурзилку к «душе-Тряпичкину».

— Вот,— сказал он,— мой любимый кот; вот его фотографическая карточка. Придайте ему эту позу; пусть он лежит как живой.

— Можно, можно,— ответил «душа-Тряпичкин», рассматривая карточку.— Славный был котик... Как звать-то его было?

Торопуло обвел глазами комнату кустаря-одиночки. Валялись древесные стружки и вата, лежали нитки и шпагат, был рассыпан гипс; в углу Торопуло увидел паклю, на стене проволоку, в ящичках на столе лежали различного цвета глаза и акварельные краски. Под столом были сложены дощечки и рядом с ними цветы, морская и болотная трава; на столе стакан чая и конфетки «Дюшес».

Торопуло условился о плате и ушел.

Подобострастно провожал инженера Девицын.

Торопуло принужден был пройти мимо вегетарианской столовой.

Вегетарианцев Торопуло считал людьми безвкусными, больными; он снисходительно жалел их.

Страдая, он проходил мимо сухих, ничего не говорящих ни уму, ни воображению вывесок: «Я никого не ем», «Примирись» и др. Останавливался перед простыми меню и качал головой.

суп молочный	*25 коп.*
суп гороховый	*20 »*
щи	*20 »*
Манная каша, молочная	*25 »*
Гречневая размазня	*20 »*
Брюква с гренками	*30 »*
Котлеты сборные из овощей	

Дальше Торопуло не стал читать.

«Никакой поэзии, никакого быта, никакой истории,— подумал он.— Ничего, нас возвышающего».

«Душа-Тряпичкин» после ухода инженера отложил птицу и стал осматривать Мурзилку.

Положив Мурзилку на стол, посмотрел в окно и закурил.

«Куда это Наталья Тимофеевна пошла?» — подумал он и сам себе ответил: «В кооператив; 60 лет, а какая крепкая женщина! Надо с ней посоветоваться насчет моей подагры. Приятно иметь подагру, значит, мои родители хорошо пожили. А кто это с Белоусовой?»

Девицын высунулся в окно.

— Здрасте, Матреша! — сказал он.— Я вашей сестрицы не узнал. Не желаете ли конфетку?

И галантно предложил дамам монпансье.

— Что это вы делаете? — спросила Матреша.

— Да вот инженер котика принес,— ответил чучельщик.

Девицын приступил к реставрации. Прежде всего он заткнул рот Мурзилке ватой; затем он сделал три разреза.

Скоро шкурка была снята, тщательно очищена от жира и мяса, смазана мышьяковым составом. Девицын взял череп, глаза и мозг вынул.

Посмотрел на часы и пошел в вегетарианскую столовую «Гигиена» обедать. Он подошел к стойке, купил салат из сырых овощей, выпил стакан квасу, сел за столик и стал ждать.

Заказал подавальщице, подплывшей точно утица, красивой и круглой, борщ и кашу.

— Трудно ли вам работать? — спросил он.— Куда девалась Маша, у которой нос пипкой? Такая симпатичная, маленькая, девчонка шустрая! Я ее что-то давно не вижу.

— Замуж вышла!

— А где сегодня сидит Одуванчик?

— Там же, где всегда,— лениво ответила подавальщица.

В соседней комнате сидел мужчина лет пятидесяти, моложавый, бритый, с пышными, нежными, совершенно белыми волосами, зачесанными на затылок.

— А фокстротная жаба? — продолжал спрашивать интересующийся тем, что происходит в мире, Девицын.

В это время в дверях появилась полная женщина в голубой фетровой шляпе, с бледным упитанным лицом; презрительно окинув комнату, направилась к Одуванчику.

Это было любовное свидание, уже давно длившийся роман, очень интересовавший Девицына.

Тихо изгибал туловище Мурзилки Девицын; придавал контур такой, какой требовала поза на фотографической карточке.

Потом, пригладив мех, приступил к отделке головы; для этого он расширил рот и через него комками ваты заполнил все пустоты головы; затем подобрал соответствующего цвета и величины глаза, вставил

их снаружи, расправил иглой веки, затем завязал рот Мурзилке ниткой и оставил сохнуть.

И опять разлегся Мурзилка наверху лестницы.

Чтобы утешить себя, чтобы отделаться от мыслей о смерти, Торопуло оправил баранью заднюю ногу, взлупил с нее кожицу, не отделяя от ручки; мясо разрезал ножом в листочки, насколько возможно тонко, но не отделяя от кости. Взял петрушки, изрубил дробно, стер в порошок тмину, лаврового листа, прибавил подсолнечного масла, соли, крупного перцу, вымешал и, этой смесью начинив мясо, наволок кожу, зашил; обернул в бумагу и стал жарить на вертеле.

И от любимого занятия стала неотчетливой его тоска, замирала, замирала и совсем прошла.

Вечером пришел Пуншевич.

На жердочке, обвитой цветущим шиповником, сидели малиновки и, подняв клювы к небу, звенели.

Под жердочкой было напечатано в колонку:

Церковный вестник.
Братская трапеза.
Закуска — из «Оглавления 25 томов».

Обед:

Кулебяка — из «Передовых статей».
Уха, Бульон — из разных статей, «по назревающим вопросам жизни».

— Это, должно быть, обед на квартире у редактора,— сказал Торопуло.

Он увидел длинный стол, уставленный цветами, и сотрудников «Церковного вестника».

Пуншевич отложил это меню в сторону. Взял другое.

На фоне дома и самодвижущегося экипажа сидит на траве компания из трех мужчин. Один в соломенной шляпе, другой в котелке, третий, толстый и лысый, без пиджака и шляпы. Компания играет в карты и пьет пиво из кружек.

Под играющими в карты и пьющими пиво напечатано:

РЕЧНОЙ ЯХТ-КЛУБ

28 июня 1898 года

Закуски и водка

1. Крем контес
   Консоме легюм } Пирожки разные
2. Лососина паровая
   жуанвиль
3. Филе де беф ренесанс
   соус марсаля

и так далее.

По реке плывет пароход «Дмитрий Донской».

Развеваются флаги.

Бородатый матрос в белом держит флажок над: *Saumon á la Philadelphienne Sauce Tartare*[1] и над прочим.

Юбилейные обеды во дворцах с точным отведением мест за столом пиршеств. Ужины в особняках купеческих и дворянских, поминальные обеды в кухмистерских. Табльдоты в приморских гостиницах.

Все эти меню Пуншевич и Торопуло просматривали для предполагаемой выставки.

«Выставка будет иметь гигиеническое и воспитательное значение, выставленные материалы дадут толчок к образованию нового быта, покажут, от чего необходимо отказаться»,— думал Пуншевич.

— Это все прекрасно,— говорил он Торопуло.— Все это было закономерно в свое время и верно отражало жизнь. Мы создадим, черт возьми, оригинальный музей мелочишек. Хо-хо-хо — ты и не подозреваешь и сам, какую ты принес пользу.

— Я-то понимаю,— гордо улыбнулся и возразил Торопуло,— но для меня ведь это все играло совсем другую роль.

— Но ведь так бывает всегда,— ответил Пуншевич,— коллекционер, собирая для себя, наслаждается в одиночестве, а затем начинается разработка его коллекций в различных направлениях, независимо от воли собиравшего, а обертоны, звучавшие для тебя, должны исчезнуть.

---

[1] Семга по-филадельфийски, соус тартар *(фр.)*.

Торопуло было грустно, ему хотелось, чтобы все чувствовали его коллекцию, как он чувствовал.

Затем друзья принялись перебирать и рассматривать мешочки из-под карамели.

— Смотри, вот здорово! — воскликнул Пуншевич.

Торопуло отвлекался от сегодняшнего дня, правда, не совсем лишенными интереса для истории быта величинами, но все же безгранично малыми по сравнению с происходящими вокруг него.

Работа инженера в реконструктивный период являлась делом чести, но Торопуло даже на службе нет-нет да и вынет конфетные бумажки и начнет их рассматривать.

То усмехнется он, то отведет руку с положенной на ладонь бумажкой, то скажет:

— Это — черт знает что!

И сегодня, делая вид, что он занят, Торопуло выдвинул ящик письменного стола и, окружив себя бумагами, стал рассматривать редкие дореволюционные обертки.

Бегство Наполеона после Ватерлоо навело Торопуло на мысль, что Наполеон любил макароны, изображенные китайцы напомнили Торопуло — до какой степени гурманы китайские купцы. Он думал: «Китайцы наслаждаются не только вкусом кушаний и напитков, но и звуками, исходящими от них не только вне, но и внутри организма, оттенками красок различных блюд, различными степенями тяжести и легкости, тягучести, сыпучести».

Торопуло вспомнил, как один китайский купец ел, как во время еды изменялся цвет его кожи, из желтого переходил в оранжевый, из оранжевого в красный, пока не стал фиолетовым.

«Вот это культурная нация,— подумал Торопуло,— интересно узнать, что делается теперь там, в Китае. Надо поговорить со знающим человеком».

Вот чернокожая яркогубая красавица, украшенная длинными серьгами в виде лун и звезд, появляется под мусульманской аркой, несет чашку ароматного кофе.

«Конфектная фабрика Карякина» — прочел Торопуло.

«Теперь,— отложив бумажку, продолжал размыш-

лять Торопуло,— кофе на конфетных бумажках изображается иначе, два-три летящих стула и круглый столик — так сказать, уголок кафе; раньше кофе ассоциировалось с женщиной, подающей кофе; интересно знать, на Востоке по-прежнему кофе ассоциируется с женщиной или нет? А если с женщиной, то с какой?»

На столе две-три технические книги, счеты, расценки, единые нормы проектирования, справочник Hütte, логарифмическая линейка.

Стол был покрыт большим толстым стеклом, и под ним покоился портрет Пушкина, вид Торжка, где Пушкин ел пожарские котлеты, ниже — ананас, открытый в половине XVI века Жаном де Леви.

Из расчетной части появился главбух и принес Торопуло на утверждение наряд на аккордную работу. Торопуло, захваченный врасплох, прикрыл конфетные бумажки рукой и, не смотря, подписал наряд.

Рылись котлованы, выкладывались фундаменты, ставились опалубки, возводились кирпичные стены, подвозился лес, бут, рельсы. Раздавался шум — всхлипывание бетономешалок, гудел паровозик местной железной дороги, на временных деревянных постройках, на будках, на складах материалов, на баках с водой — расклеены были плакаты с изображением падающего молота, с лозунгами: «Будь осторожен», «Будь аккуратен», «Берегись пожара» — рабочий закуривает, а другой ему пальцем грозит.

На заводском дворе какой-то предмет напомнил Торопуло ананас.

«Ананас — по благородству самый превосходный плод»,— вспомнил Торопуло.

Он как-то забыл о том, что то, что в одной стране является благородным, в другой стране является совсем не благородным.

Ананас перед Торопуло возникал в великолепной вазе, бразильский, по своему происхождению, ассоциированный с банкетами и семейными празднествами времен развития торгово-промышленного капитала.

«И какие удивительные бывают ананасы»,— думал Торопуло.

Правда, ананасы в два пуда бывают не часто, но все же в истории имеется достоверное свидетельство о существовании подобного плода.

Уже дома обратился к Нунехии Усфазановне:

— Ведь ананасы бывают двух пудов, и у нас были такие ананасы, вот, например, в 1866 году на обеде в честь производства купца Громова в статские советники был такой ананас.

— Неужели был? — спросила Нунехия Усфазановна, бросив возиться у примуса, и глазки у нее разгорелись,— должно быть, очень вкусный! — добавила она,— а теперь даже нет самых маленьких.

«Ну, маленькие-то будут,— с горечью подумал Торопуло,— а больших-то не будет».

— Интересно знать,— скромно добавила Нунехия Усфазановна,— что еще было там, кроме ананаса, должно быть, много вкусных блюд?

— А вот я сейчас отыщу меню,— сказал Торопуло.

Торопуло прошел в свой кабинет и достал папку с меню, справился по каталогу и понес папку на кухню. Нашел № 233.

На меню вверху, посредине, был изображен портрет Василия Федуловича, поддерживаемый двумя амурами с наполненными бокалами в руках, а внизу портрет главного распорядителя пира, увязшего в груде фруктов.

После спектакля, на который Ермилов пошел, чтобы знакомые его познакомили с своими знакомыми, он в первый раз за пять лет заговорил со своей сестрой.

В течение пяти лет они молча встречались в длинном коридоре, с постоянно снующими по нему охотничьими собаками жильцов, делая вид, что не замечают друг друга.

Конечно, Екатерина Васильевна приготовляла ему поужинать, следила, чтобы он не очень обносился, и тайно о нем всячески заботилась.

Ужин, накрытый тарелками и салфеткой, уже стоял на ночном столике к его возвращению.

Ермилов находил в кухне чай, наскоро выпивал стакан-другой и убегал на огромный завод на Косой линии, и с завода, на заводе же перекусив, отправлялся в тоскливое странствие до глубокой ночи.

После драмы «47 самураев», где действие происходило то на холме Цапли в Камакура, то в Сосновой Галерее, во дворце диктатора Асикага, то в доме Долины Вееров, то у дворца церемониймейстера Коно Моронао, Ермилов возвращался домой полный впечатлений от последней сцены сладостного совершения мести.

Дикая битва в темную январскую ночь в вихре снежной пурги, появление холодной луны, сладостное пение петухов, корреспондирующее со сладостью совершенной мести, вызвали в душе его ответное желание мести.

Он вспомнил покойного критика-импрессиониста, чья неумеренно хвалебная статья в пику другой славной балерине, по мнению Василия Васильевича, и послужила толчком к гибели Вареньки.

Полный мыслей о мести, Василий Васильевич встретился с Екатериной Васильевной в коридоре.

Это была, как почти всегда, мнимонечаянная встреча. Екатерина Васильевна уже хотела скрыться в своей комнате, но Василий Васильевич, чувствуя отчаянное сердцебиение, натыкаясь, почти наступая на приветствующих собак, закричал:

— Екатерина, я отомщу! Я обязательно отомщу! Я встречусь с ним, я заставлю его раскаяться...

И следует Василий Васильевич, страшно волнуясь, за Екатериной Васильевной. Екатерина Васильевна не верила в возможность совершения мести, но все же лед был сломан, и престарелые брат и сестра стали советоваться о мести.

Губы у Василия Васильевича подергивались, он успокаивал и гладил левой свою сводимую судорогой правую руку с одеревенелыми пальцами и строил всевозможные предположения.

Вот критик — умирает, а он, Василий Васильевич, является к нему в больницу и останавливается с укоризненным видом у постели.

«Простите,— говорит тот,— видите, я умираю».— «Нет, я не прощу — ни за что не прощу»,— отравляет последние минуты умирающего Василий Васильевич.

Когда Ларенька от Евгения узнала подробности, ей сделалось страшно. Она ясно представила эту дикую сцену: Василий Васильевич, как всегда, хлопоча об увековечении своей дочери, спешит по улице в незнакомый, новый для него дом; горят вечерние огни, панели мокры, булочные и кооперативы прерывают эту панель ослепительными световыми полосами; в полосу света попадает Василий Васильевич и падает. Вокруг собирается толпа, под аккомпанемент трамвайных звонков — шутки и смешки, и остроты над мнимопьяным; суетня и подталкивание мальчишек; карета скорой помощи и отвоз старика в больницу.

Вскрытие. Мертвецкая. Колесница. Верная галерка позади. Бедный Василий Васильевич! Знакомые и галерка расходятся, разъезжаются на трамваях.

Евгений был бледен во время своего рассказа. Он видел, как Василий Васильевич странствует по кругам жизни, ведомый своей дочерью, как новым Вергилием. Он вспомнил, что Василий Васильевич не брезговал даже пивными, ночлежными домами, пытаясь всюду занести образ Вареньки.

Евгений пошел к Керепетину. Керепетин собирался на вечеринку. Увидев Евгения и не дав ему произнести и слова, Керепетин воскликнул:

— Отправимся вместе.

Каждый приходил и брал, что хотел, так что Евгений не мог понять, кто хозяин.

За столом Евгения поразила крошечная перечница, он придвинул ее к себе.

Едва он успел спрятать ее, как стали вставать.

Один из сильно выпивших гостей, отодвигая стул своей соседки, зацепил за скатерть.

Гам и веселье были покрыты звоном разбивающегося хрусталя, бренчанием тарелок, стуком еще не допитых бутылок, металлическим дребезжанием ножей и вилок.

Апельсины катились в разные стороны, их догоняли ручейки вина.

По лицу одного из присутствующих Евгений понял, кто является хозяином.

Утром Евгений почувствовал, что ему нечем дышать.

«Э,— подумал он,— неужели астма? Бедное мое сердце, оно отказывается служить».

К вечеру он встал. Грудная клетка болела.

«Интересно было бы смерить температуру,— подумал он,— может быть, грипп?»

Стал осматривать перечницу в виде башенки с золотым шариком наверху, с прусским орлом на донышке.

«Должно быть, это XVIII век. А может быть, это совсем не перечница,— подумал Евгений,— а старинный аппарат для освежения воздуха? Даже наверное сюда клали какое-нибудь благоухающее снадобье — амбру, может быть. Ведь даже в начале XIX века носили в кармане крошечные ящички для амбры, украшенные миниатюрами. Наверное, этот аппарат появился во Франции под влиянием китайских курильниц. Восемнадцатый век — я не в восторге от XVIII века, хотя

со шведским XVIII веком интересно было бы познакомиться. Испанские костюмы при дворе. Честолюбивый Густав III, как будто забавная фигура. Не смешивал ли он в своей палатке планы битвы с планами своей драмы или оперы? Недаром подданные умоляли, бросаясь перед ним на колени, вспомнить, что он король, а не актер».

И Евгений вспомнил, что где-то читал, что Густав III чаще всех остальных коронованных особ проводил время вне своего государства. То он охотился на красного зверя в лесах неаполитанских, то пробегал в галереи во Флоренции, то участвовал в празднике в Трианоне.

Как оглушенный вышел Евгений от врача. «Значит, это совсем не сердце, скорей, скорей бежать отсюда». Сейчас отвратительным казался Евгению туманный город, освещенный молочно-белыми фонарями, столь любимыми Торопуло. Евгений чувствовал, что он задыхается. «Бежать, скорее бежать! Какая тоска!.. И денег нету...»

Амур с обломанными крылышками стоял на тумбе посредине комнаты; золоченые кресла, диваны и зеркала стояли по стенам.

Пришлось ждать довольно долго; по номеркам пускали.

Евгений взбежал по лестнице, но остановился в подъезде.

Вспомнил, что цветочный магазин на Владимирской, но подумал, что смешно явиться к регистраторскому столу с цветами, хотя цветы доставили бы сильную радость Лареньке. Подумал Евгений, подумал и пошел за цветами.

Жених и невеста оставили цветы в бумаге на диване и прошли в регистратуру. Они посидели перед столом, ответили на вопросы и расписались.

Затем побежали. Фелинфлеин бежал впереди; за ним Ларенька с завернутыми в бумагу цветами.

— Теперь все! Теперь ты удовлетворена? Я на тебе женился. Я уезжаю.

Чтобы развлечь Лареньку, Эрос Керепетин решил показать радугу. Он набрал в рот воды, поместился у окна к солнцу и изверг воду изо рта в виде множества частиц.

— Бросьте ребячиться! — вскричала Ларенька.— Не до шуток мне теперь.

Эрос Керепетин сел. «Дело серьезнее, чем я думал. Надо что-нибудь предпринять».

Но Эрос Керепетин ничего не предпринял; только посидел полчаса.

— Пойдемте к Торопуло,— сказал он.

Чтобы занять Лареньку, Торопуло перед ней разложил свои альбомы.

1. Политика.
2. Техника.
3. Быт.
4. Жанровые сцены.
5. Портретная галерея.
6. Виды.
7. Флора.
8. Фауна.
9. Мифология. Былины. Сказки.

Ларенька из вежливости взяла один, прочла: *1900—1917.*

Ларенька рассеянно остановилась на «Танцах»:

Кэк-уок. Она — полная брюнетка с большим бюстом; он — извивающийся негр в красном фраке. Ойра — весьма веселый танец. Танго — великосветские фигуры, и дальше — вальсы, польки, мазурки, платье. Дальше вот народная карамель: гадальная с изображением карт, а под ними предсказание:

«Вас ждет трефовая постель».

Или:

«Пика вдаряется в трефу».

Торопуло пояснил Лареньке метод своего собирания.

— Видите, какой альбом,— говорил он; — а если мы возьмем другой альбом — скажем, 1917, то тут уже совсем другое.

1. Гражданская война.
2. Трудовые процессы.
3. Революционные празднества.
4. Портреты вождей.
5. Лозунги.
6. Пропаганда техники.
7. Времена года...—

и так далее.

— Вот видите, карамель «Буденовка», с несущимся всадником в красноармейской шапке; вот «Пионер»,

«Совторгфлот», «Тир», «Красин», «Карамель кооперативная», «Конфеты СССР». Но попадаются и «Версаль», и «Чио-Сан», и «Шалость» — в виде голландской девочки, вылезающей из горшка с молоком. Но это уже становится рудиментом.

— Но вам, может быть, будут интересней,— продолжал Торопуло,— другие конфетные обертки.— Вот Шерлок Холмс спасает человека, лежащего на рельсах, вот «Путешествие вокруг луны» Жюль-Верна, вот «Багдадский вор», вот Джон Грей.

Ларенька увидела своего бедного папашу, высокого и круглолицего блондина с усами, оптимистически стремящимися вверх, и аккуратно подбритой бородкой, единственным богатством которого была его коллекция; увидела, как собирает он конфетные бумажки, как по вечерам перебирает их и как сердится ее мамаша...

Бледный, худой, в огромный красный сундук бросал он эти бумажки. Иногда пробовал складывать их в пачки, но затем оставлял это занятие и снова бросал в сундук.

«Бедный, бедный папа!» — подумала Ларенька.

И вспомнила могилку на Митрофаньевском кладбище, с жестяной дощечкой:

«Коллежский советник Семен Семенович Черноусенков. Родился в 1869 г., умер в 1908 г.».

«Совсем нельзя сравнить моего папашу с Торопуло, хотя и папаша собирал конфетные бумажки»,— подумала Ларенька.

На службе отца Лареньки все звали Сеней. Чопорное, пузатое, гражданское превосходительство, его прямое начальство, в добрые минуты величало его «друг-Сенечка».

Зачастую было можно видеть Черноусенкова,куда-то спешащего по улицам Петербурга. В такие минуты друг-Сеня имел крайне деловой вид; он спешил исполнить какое-нибудь поручение своего начальства: либо ходил по публикациям, искал и осматривал для знакомых начальства квартиры, либо бегал по конторам для найма прислуги, выбирал кухарку, горничную, приличную няньку для детей того же начальства, либо покупал в писчебумажных магазинах перья и карандаши тоже для него. Он с любовью исполнял эти поручения и очень гордился доверием начальства.

По целым вечерам, до глубокой тихой ночи, со своим дежурным рублем, он шнырял по обширному залу

клуба, где раздавались восклицания, перешептывания, советы, не решаясь рискнуть заветным своим рублем.

В жилетном кармане у друга-Сенечки всегда лежала резервная трешка, в его бумажнике, туго набитом разными записками, покоилась еще новенькая, свеженькая двадцатипятирублевка.

Сидя в зале на одном из мягких кресел, Черноусенков среди ночи вынимал свой бумажник и, раскрыв, заглядывал в него.

Наконец решался.

Маленькими шагами подходил к столику, выбирал тот, где шла самая мелкая игра, ставил рубль.

Отойдет, подойдет, повернет то орлом, то решкой; получит замечание от банкомета — не касаться руками поставленных на стол денег; молчит, никогда не огрызнется, только тихо скажет:

— Могу снять. Разрешите придержать?

Иногда счастливый игрок, составляя компанию, прихватывал Сенечку повеселиться. Тогда чиновник попадал в розовый Аквариум, где котлеты с трюфелями подавались за 4 рубля с полтиной и где замечательно готовили мозги, запеченные в хлебе, где огромный сверкающий зал с устроенной в нем сценой вмещал до тысячи человек, между которыми жонглировали большими подносами с заказанными яствами официанты.

Тем, чем для поэта является «Сон в летнюю ночь» Шекспира, для музыканта — 9-я симфония Бетховена, для ребенка — сказки фей, тем для Черноусенкова являлся Аквариум. Не раз потом мечтал о такой ночи, сидя в кресле в карточном доме, друг-Сенечка. Вот он велит подать пару шампанского на свои собственные деньги. По карточке выбирает все самое лучшее и дорогое; раскланивается направо и налево, и все с ним знакомы; вот рядом начальственный голос говорит официанту:

«Подай мне сигару Тен-Кате, высшей марки; понимаешь?»

Тот летит, а вокруг звон бокалов, стук вилок и ножей, французская и английская речь, золото и серебро, ослепляющие камни, духи. А на сцене певицы, танцовщицы, акробаты...

«Как хорошо быть богатым»,— думает Черноусенков и смотрит на краешек выглядывающей из бумажника двадцатипятирублевки.

Интенданту везло в этот вечер.

Он был в высшей степени собой доволен.

Интендант подошел поздороваться и побеседовать:

— Сеня, давай свой фармазонский рубль мне в долю. Я кладу 49 рублей, а ты свой рубль. Ты знаешь, что я при удаче не снимаю ставки. Давай, рискнем!

— Как же быть? — ответил Семен Семенович нерешительно.— Я, право, не знаю; я сам сегодня еще и не пробовал играть. Так сразу и лишиться его?

— Ничего, Сеня, давай, я чувствую удачу. Ты иди, погуляй пока по залу; при удаче я пошлю за тобой карточника.

Черноусенков, вздохнув, отдал свой рубль и как-то сконфуженно отошел от стола.

Интендант поставил 200 рублей, получил их.

Оставил 200, получил 400.

Поставил их — получил 800.

Бросил свое место, собрал деньги и подошел к скромно шагавшему Сене.

— Вот как надо играть! — сказал он.— На твою долю выпало 100. Бери!

— Что ты, что ты! Какие сто рублей?.. Я так крупно никогда не играю.

— Бери, Сеня, бери! Идем в буфет, выпьем!

— Будь добр,— сказал Черноусенков,— дай мне помельче; я люблю больше помельче.

Интендант, посмеиваясь, разменял. На извозчике поехал по пустым улицам Семен Семенович домой.

На выигрышные деньги решил кутнуть.

После службы вошел в первоклассную, превосходно пахнущую парикмахерскую, чтобы сесть в кресло перед огромным, ясным зеркалом и погрузиться в атмосферу элегантной услужливости.

Швейцар у вешалки, в синем безукоризненном сюртуке с бархатным воротником, обшитым золотым галуном, медленно и величественно, не сходя с места, с поклоном принял верхнюю одежду.

Мальчик в синем мундирчике, обшитом бесчисленным количеством пуговиц, весь внимание, стоя у вешалки, ждал приказаний мастера.

Очередной мастер вышел на середину:

— Мосье, прошу...— указывая на свободное кресло, подкатил его; нагнувшись, почтительно спросил:

— Мосье желает постричь, побрить, причесать? Мальшик, манто!

И легкий белоснежный халат уже перешел из рук

мальчика в руки мастера и окутал кресло с фигурой чиновника.

— Мальшик, воды!

Фигура мальчика моментально исчезла за стеклянной перегородкой.

Бесшумно ставится прибор на мрамор перед клиентом.

Щеки друга-Сенечки выбриты; бородка подстрижена.

— Не желаете ли, мосье, взглянуть?..

Усы завиты и нафиксатуарены; снят халат; куафер отошел на шаг вправо, склонил голову набок и произнес:

— Voilà [1].

Сенечка дал ему рубль на чай.

— Мерси,— пряча деньги и кланяясь, сказал мастер. И закричал точно по телефону: — Мальшик, чисть!

Швейцар, не сходя с места, помогает одеться.

Вручает головной убор, палку чиновнику.

Медленно направляется к двери и неторопливо открывает ее.

Мальчик, стоя поодаль, кланяется, говорит: «До свиданья, мосье».

Дальше ресторан.

Дальше увеселительный сад.

— Сеня,— говорит она ему,— вот налево у колонны сидит Петрова со своим гвардейцем, не дешево она ему будет стоить, смотри, смотри, как граф Губе впился своими глазами в меня... но он глуп и противен мне.

Дивно провел неделю друг-Сенечка.

Снова появился он в клубе со своим заветным рублем. На портсигаре засияла его монограмма, в зубах заблестел янтарный мундштук.

Все чаще стал поговаривать о самоубийстве. Приятели продолжали угощать рюмкой водочки Сенечку.

Дома говорил, что на службе его преследуют, обходят чинами и орденами, и утверждал, что покончит жизнь самоубийством.

Совершил раз в жизни Черноусенков героический поступок, но не из уважения к человечеству, не ради окрыляющей мечты, а ради того же начальства.

Заметил друг-Сенечка как-то, пируя на счет счастливых игроков, за отдельным столиком полную барышню среди более трезвых молодых людей.

[1] Вот (*фр.*).

Извинился он перед своими собутыльниками, пробрался к столику.

— Нехорошо, Екатерина Александровна,— сказал чиновник,— вам в такой компании быть не полагается. Позвольте, я провожу вас домой. Что скажет ваш дядюшка?! Не отойду я от столика.

И не отошел, пока полная барышня с ним не поехала.

Отвез он племянницу начальника домой.

За что и был осчастливлен, через три дня, визитом начальства.

Лариса вспомнила, как благосклонно вошло начальство, как просияла мама, когда оно согласилось откушать чаю, и как провожал начальство отец, как он, вернувшись, сияя, сказал: «Н-да...», как бы поздравляя себя с визитом начальства.

«Конечно, Евгений,— думала Ларенька,— если б узнал про этот эпизод, смеясь, сравнил бы отношение моего папаши к начальству с отношением вассала к сюзерену и открыл бы в моем папаше нечастную низшую рыцарскую душу».

Исполняется тридцать лет службы Черноусенкова; чопорное пузатое гражданское превосходительство снисходительно требует друга-Сенечку в кабинет, желая лично отметить его служебный юбилей, поздравляет его с получением шейного ордена Станислава и чином коллежского советника.

Во время разговора друг-Сенечка вдруг лезет под письменный стол и, вообразив себя петухом, кричит: «Кукареку!»

Чопорное превосходительство испугалось, позвало чиновников, а в это время уже коллежский советник бился в истерике; его разбил прогрессивный паралич.

Но еще в течение двух лет можно было видеть друга-Сенечку на улицах Петербурга.

Иногда у Черноусенкова бывали проблески сознания. Он горько плакал и повторял:

«Бедный, бедный Сенечка, как мне жаль тебя...»

После своего недолгого знакомства с Евгением, не любившим чиновников, Ларенька иначе воспринимала жизнь папаши, хотя она ее совершенно не знала, чувство любви и жалости боролось в ней с осуждением. Сейчас воспоминание об отце только усилило ее душевное беспокойство.

Ларенька очень любила Евгения; она знала его

хорошо, и надежды на то, что он к ней вернется, у нее не было никакой. Она знакома была с его прежними женами. Конечно, он хотел бы ей помочь, но, к сожалению: «Ты понимаешь, Лариса, я не могу служить, я все равно любую службу брошу!»

В городе было тихо; бульвар — гордость и краса старожилов — был пустынен. В белом доме дочь служителя культа проснулась. Она музыкантша и пластичка, немного поет, любит стихи, из массы делает цапли, незабудки, облепляет ими бутылки. Называет себя «Нинон». Повыше, в голубовато-зеленом доме, проснулась ее подруга, бывшая жена известного мужа; она ходит всегда с палочкой, украшенной бантиком, всегда потягивается; жители города называют ее «Я горжусь своим одиночеством!», «Я кланяюсь твоей девственности!», рожей и эстеткой.

Еще повыше, в тяжелом, песочного цвета доме с пилястрами, тоже на бульваре, инструктор по физкультуре, бывший студист одной из столичных студий, встал в позу, закурил и задумался:

«Три года! А сколько перелюбил, сколько переузнал, сколько перелюбопытствовал, сколько высосал женщин! Красные виноградные листья, бокалы, канделябры... Теперь я на пороге карьеры. Жена тонкая, чуткая, голубая; и дочь Ирен, 11 месяцев... А первая сцена «Каменного гостя», некому показать. А кажется, достиг многого».

На столе стоит оригинальная ваза — подарок Нинон, и химера из глины — подарок «Рожи».

Бамбышев потягивается и размышляет о появившихся в городе афишах «Вечер запада». В них сообщается, что композитор Фелинфлеин сделает доклад о новой музыке и что он исполнит последние новинки Европы и Америки.

На вечере Евгений обратил внимание на «Я кланяюсь твоей девственности». «Что это за разноцветная гирлянда?» — спросил он у администратора, с любопытством рассматривая посмешище города.

«Я горжусь своим одиночеством» цвела самодовольством; она гордилась тем, что молодой композитор обратил на нее внимание.

Кислолицый Печенкин сиял отраженным светом ее самодовольства. Он очень дружил с посмешищем города и читал ей свои заветные тетради.

«Когда охватывает тоска по высоком, они спрашивают: что у тебя болит?»

«Чего требует женщина от мужчины? — Восторга и поклонения».

«Я горжусь своим одиночеством» любила парадоксы своего друга.

На бульваре нарядную даму и ее чичисбея часто можно было видеть гуляющими вместе и рассуждающими.

Мечта была у «Я горжусь своим одиночеством» открыть свой салон, чтобы в нем мог блистать ее друг Печенкин.

Когда появился Фелинфлеин, это стало возможным.

На концерте, где он исполнял свои композиции, она пригласила его на обед в его честь. В голубовато-зеленоватом домике за столом первенствующую роль играл Фелинфлеин, как композитор и столичный житель.

Глаза всех были устремлены на него.

Это обстоятельство еще более сблизило его со всеми тут бывшими, и так как все они были незнакомые ему люди, то и было ему не скучно.

Он обратил внимание на Нинон.

Евгений отказался от телятины и просил передать ему гуся, очень понравившегося Нинон. Лицо Евгения молчаливо выражало страсть. Как бы невзначай юноша спутал рюмки и, смотря на Нинон, выпил ее рюмку.

Нинон не рассердилась.

Евгений, передавая ей соус, коснулся как бы невзначай ее руки.

Соседка не отдернула своей руки, а посмотрела Евгению в глаза.

Народу в домике собралось много; Евгений говорил о новой музыке.

Затем почти вытолкнула «Я горжусь своим одиночеством» на середину комнаты Печенкина и, познакомив его с Евгением, нервно закричала:

— Граждане, тише! Сейчас всеми нами уважаемый гражданин Печенкин прочтет свои поэмы в прозе.

Краснея и бледнея, Печенкин сел.

Долго рылся в бумагах, посматривая на хозяйку, наконец, решился покорить общество смелостью, взял листок и прочел:

У женщин есть нежные, пушистые крылья —
Это их пахучие, точно роза, бедра.

Печенкин встал, взял свою книгу и вышел.

Гробовое молчание после чтения воцарилось в комнате.

Евгений решил ободрить старика: он последовал за Печенкиным. Не имя мужества хвалить то, что ему показалось старомодным, он посоветовал почитать Пруста и Валери, достать где-нибудь Джойса, но почувствовал, что комичный старик не знает иностранных языков, и, увидев, что тот уставился грустно в его глаза,— понял, что старик очень несчастен.

Евгений взял его под руку. В это время появилась в дверях «Я горжусь своим одиночеством».

— Вы не те отрывки читали,— накинулась она на своего протеже,— говорила я! Выбирали мы вместе! А вы? Что сделали вы? Опозорили меня и себя на весь город...

Евгений, условившись встретиться с Печенкиным, последовал за хозяйкой.

В разгаре вечеринки, когда все внимание было обращено на него, Евгений, посматривая на свои ногти, попросил принести ножницы для маникюра.

Печенкин подошел к туалету «Я кланяюсь твоей девственности» и принес ящик. Евгения окружила толпа, упрашивая его сыграть еще что-либо.

— Сейчас,— сказал Евгений; сел в кресло, заложил ногу на ногу и стал не без грации остригать кусок завившейся подошвы.

Общество не знало, рассмеяться ли, счесть ли это за шутку или презреть этот случай и вместе с ним Фелинфлеина.

«Я им отомстил за Печенкина,— подумал Фелинфлеин: — в них нет ни капли вежливости»,— и стал играть музыкальную картинку.

Если бы кто-нибудь сказал Евгению, что он издевается, то он бы обиделся на подобное обвинение, он бы ответил с утрированно-серьезным лицом, удивленными глазами и словами, что он может только шутить, что издеваться могут только люди, не уважающие себя.

«Если нет гармонии, если человек несовершенен, если его природа недоделала и если он сознает это,— что он должен делать? Он должен разбить себя на обломки, на осколки, на отдельные чувства и дать каждому чувству самостоятельное существование; сделать из себя одного несколько людей, т. е. стать актером». «Несовершенство ведет к творчеству, и оно сделало меня

актером»,— говорил Евгений, стоя перед сидящей Нинон.

Весь вечер Евгений, за исключением краткой отлучки с Печенкиным, был при Нинон, ходил вокруг нее, как петух вокруг курицы, не допуская Бамбышева.

Физкультурник предложил покататься на лодке; это была его собственная лодка: в ней он катался по речке. Свою лодку он назвал «симпомпончик».

— Идемте кататься на «симпомпончике»,— говорил он.

Иногда можно было видеть вечером, как гребет Бамбышев, как сидит у руля Нинон, как читает книжку «Я кланяюсь твоей девственности».

Евгений, увидев голубую лодку и прочитав название, еще более возненавидел Бамбышева, сидящего между пышноволосой Нинон и редковолосой «Я кланяюсь твоей девственности».

«Добро бы это было иронией,— подумал он,— а то ведь искренно люди считают это красивым».

Между тем с «симпомпончика» заметили Евгения и стали ему махать платками, принуждая Бамбышева грести к берегу.

— Садитесь в нашу голубую лодку,— вскричала «Я кланяюсь твоей девственности».

— У меня что-то голова болит сегодня,— ответил Евгений.

— Неужели такое прекрасное общество вас не привлекает? — жеманно спросила разноцветная гирлянда.— Нинон вам споет в лодке; не правда ли, Нинон?

Нинон подтвердила кивком и указала на место рядом с собой.

— Я лучше посижу здесь на берегу,— сказал он.

Евгений шел по дороге, полный Нинон, полный звуками ее голоса, ее улыбкой, ее походкой. Он чувствовал, что она глуповата,— это действовало на него возбуждающе.

В томных, легко поддающихся ухаживанию девушках и женщинах была для него особая прелесть игры. Ему казалось, что сама поддельность, заученность слов, условность жестов, лживость и наигранность взглядов давали ему право относиться к этим девушкам и женщинам несерьезно.

С этого дня стали в городе и на службе, при встречах с Печенкиным, насмешливо его спрашивать: не написал ли он чего нового? Затем его трепали дружески по плечу и, улыбаясь, отправлялись дальше.

Рухнула дружба между дамой и ее чичисбеем.

«Я кланяюсь твоей девственности» стала избегать Печенкина, а Печенкин — ее. Она считала, что он не оправдал ее надежд и поставил ее в глупое положение; он это чувствовал и смущался при встречах с ней. Теперь «Я клаяюсь твоей девственности» отзывалась презрительно о своем бывшем друге. «Дрянь, а не человек! — выражалась она резко.— Подлиза! Втерся в мой дом, а затем скомпрометировал меня. Никогда он мне не был другом. Просто был собачкой на побегушках».

И, подняв нос, она плыла с Нинон.

Печенкин подружился с Евгением, который ощущал, что жизнь — игра, и который его этим несколько утешил.

— Да и не сказал ли великий Шекспир,— говорил Евгений Печенкину (Евгению нравилось просвещать пожилого человека),— не сказал ли великий Шекспир,— продолжал Евгений, задерживая руку старика в своей,— «Весь мир — театр». Да и Эразм Роттердамский, насколько нам известно, был того же мнения. Что такое, в сущности, человеческая жизнь, как не одно сплошное представление, в котором все ходят с надетыми масками, разыгрывая каждый свою роль, пока режиссер не уведет его со сцены. На сцене, конечно, кое-что прикрашено, подкрашено, оттенено более резко. В театре ли, в жизни ли — все та же гримировка, все те же маски, все та же вечная ложь. Относитесь к жизни как к театру, где... Развлекайтесь сами,— продолжал юноша,— жизнь не заслуживает серьезного к ней отношения, будьте снисходительны. К чему эти бесплотные порывы, если вы познали их неосуществимость! Будьте разнообразны, играйте, и вы будете счастливы. Нужно, чтобы каждый человек чувствовал, что вы ему сродни.

Печенкин решил стать как все: он стал учиться плевать, курить, кашлять, сопеть, издавать восклицания, показывать предсмертные конвульсии, чтобы было совсем как в жизни.

Постепенно увлекся Печенкин поднятием бровей, опусканием уголков рта, передачею удивления и презрения, отвращения и восторга.

Следуя советам Евгения, Печенкин стремился стать разнообразным.

Он учился то быть мягким и гибким, то неуклюжим и неповоротливым. Печенкин учился говорить быстро, когда он воображал себя плутом, медленно и нараспев — когда он играл франта; он стремился добиться того,

чтобы его жесты и интонации стали общедоступными, издали понятными; он учился короткому стройному смеху и смеху визжащему; он учился в одном монологе настроить собеседника на торжественный лад, а в другом сейчас же заставить того же собеседника залиться животным смехом. И, наоборот, после комических выходок учился произносить величественные и патетические речи.

— А ну-ка, взгляд исподлобья,— говорил Евгений; — а теперь принужденный взгляд; сейчас же восторженный взгляд, взгляд экстаза; напоследок кокетливый взгляд. Так! Молодцом! Теперь мигание, теперь выражение горечи. Так. Выражение слащавости, еще раз выражение горечи, презрительное выражение, полный покой. Смех, шире рот, покажите зубы. Приподнимите щеки к скулам. Полный покой. Еще раз: шире рот, зубы, полный покой.

— Гау, гау,— раздалось за окном, и в комнату вбежала Нинон.

— Чем вы это тут занимаетесь?

На следующий день Печенкин и Евгений вышли; они пришли на небольшую лужайку. Еще никого не было, только изредка проезжали телеги, увозя крестьян в кепках в поля. Солнце только что еще начинало согревать землю. Роса еще покрывала траву. Пастух гнал коров в поле.

— Распределимте роли,— сказал Евгений.— Я вас научу, как следует обращаться с женщинами. Вот эта береза будет Лидией, а эта ель — Дмитрием; эта сосна — Елена; возьмите Елену за ветку и развлекайте пустыми словами, улыбайтесь, ходите от дерева к дереву.

Печенкин произносил пустяки как можно громче, улыбался, ходил от дерева к дереву, ухаживал за деревьями и сладким голосом приглашал деревья к столу.

Евгений наслаждался своей выдумкой.

Он сел на пень. Проходил мимо Бамбышев, имевший привычку шаркать ботинками и старавшийся говорить с легкими юмористическими приемами.

Он сильно удивился, увидев это зрелище.

— Чем это вы здесь занимаетесь? — подошел он к Евгению.

— Мы развлекаемся,— ответил Евгений.

Печенкин отошел в тень и сел на кочку.

Бамбышев стал делиться с Евгением своими мыслями о трагедии:

— Я считаю,— сказал он вполне серьезно,— что сейчас следует оживить трагедию опереткой; трагедия

скучна, а вот возьмем так: Офелия и Елена — обе из королевской семьи, а потому, если придать Офелии некоторые качества Елены, то трагедия только выиграет, станет занятной и доходчивой. Гамлет сейчас должен быть похож на веселую арлекинаду, а последняя сцена ведь не что иное, как юмористический danse macabre [1]. К черту трагическое гробокопание!

Фелинфлеин увидел свою карикатуру и побледнел от неожиданности. Этот прохвост великолепно перевирал мысли, дорогие для Евгения.

Между тем Бамбышев повернулся, и Евгений увидел розовую, почти женскую, гладко выбритую шею.

«Весь он, точно кукла, покрыт лаком»,— подумал Евгений.

Бамбышев достал из кожаного футлярчика маленький напильник и принялся, любуясь своими руками, подтачивать ногти.

От своего пребывания в студии Бамбышев вынес привычку румяниться, слегка подкрашивать губы и брови, от времени до времени открыто пудриться, фетишизацию желтого саквояжа, гримировальные карандаши, пару афиш, где упоминалась его фамилия, да незабываемую походку, подчеркнутость интонаций и актерский смех.

Когда заходил разговор о театре,— «Уж позвольте мне это знать!» — говорил он.

Своих выдвинувшихся сверстников он называл не иначе, как Колька, Митька, Шурка.

— Кольке больше повезло,— говорил он и тут же рассказывал, как создается известность: «тот женат на той-то, а эта — жена того-то»,— и подмигивал.— Понимаете?

Бамбышев мог говорить о гриме сколько угодно и когда угодно; даже на службу он брал: замшевые растушевки, круглые щетинные кисти с обрезанными наполовину палочками, заячьи хвостики.

— Любите ли вы путешествовать во сне? — развлекал девушек Бамбышев.— Я часто путешествую во сне, часто вижу себя ночью гуляющим почти без ничего по улицам города. Я уверен, дорогие друзья, что и вам случалось предпринимать путешествия подобного рода. Однажды, когда Колька еще был студентом... Хе, хе — хо, хо... понимаете... канделябры... это не электричество — это тонкость...

---

[1] похоронный танец *(фр.)*.

«Опять эта дрянь здесь»,— подумал, подходя, Евгений.

Евгений под электрической или керосиновой лампой очаровывал ленивых женщин, подвижных девушек и юношей, мечтающих о красивой жизни, рассказами о странностях любви и о всевозможных проделках и чудачествах.

Он повествовал, сидя у ног «Я кланяюсь твоей девственности», о том, что высшее наслаждение герцогиня Бургундская испытывала в садах Марли во время таскания ее по траве (по ее собственному желанию) за ноги, что Христина Шведская была горбата, одевалась и кланялась по-мужски, что ее любимыми авторами были Петроний и Марциал и что она положила ногу на край ложи, сидя возле Анны Австрийской на придворном спектакле.

Потом долго распространялась «Я кланяюсь твоей девственности» о необыкновенной эрудиции Евгения, о том, что он может заткнуть за пояс любого профессора.

Евгений принялся изучать окрестности. Никаких достопримечательностей в захолустьях не было, кроме замка графа Пе, но зато замок графа Пе стоял на большом холме, был построен в 1893 году, в готическом вкусе, из необлицованного кирпича, и был насыщен атмосферой Александра III и Николая II. Сбоку замка помещалась спортивная площадка с трапециями и гигантскими шагами; дальше — тенистая площадка, и легко было на нее вызвать тени пажей в белых рубашках с золотыми погонами и красным шнуром и барышень в белых платьях и белых туфлях.

Евгению очень не понравилась эта официальная имитация: «То ли дело замок князя Сангушко — сад с боскетными фигурами, оранжереи, где лимоны созревают, старинная башня, превращенная в сторожку, порфировая зала с устроенной в ней полковой швальней, полковая церковь в охотничьем зале, комната, запечатанная по приказанию командира полка, потому что в ней появилось привидение. Теперь этот замок снова в Польше, а здесь нет даже шляхетских деревень с саксонскими подсвечниками, здесь нет ничего исторического, здесь решительно нечего осматривать».

Это было веселое отрадное место, усаженное привлекательными деревьями. Вдали на яблонях распевали птицы свои поэтические напевы.

— Какое пленительное место! — сказал Евгений.—

Люблю я ангеловидных красавиц, успокаивающих дух.

Расположившись на траве среди девушек, Евгений чувствовал себя пленительно.

Одною рукой он обнимал сладкогубую Нинон, голову положил на плечо другой сахароустой обольстительницы и стал наслаждаться вишнями и благоуханиями леса.

Затем он взял палец Нинон и стал рассматривать.

— Целомудренные женщины не имеют надобности ни в притираниях, ни в румянах, ни в кольце,— сказал он обольщающей его красавице.

— Не поговорить ли нам сегодня о поцелуях? — продолжал он.— Есть очень хитрые поцелуи: поцелуй, значение которого переносится с одного человека на другого; для этого целуют дочь в присутствии матери; иногда целуют отражение человека в зеркале или в воде или даже тень его на стене; это поцелуй признания. Иногда женщина целует своего занятого друга — это поцелуй отвлекающий.

— Я люблю испанок,— сказала Нинон,— в них есть что-то такое...— и она щелкнула пальцами.

— Вот вам идеал испанской красоты,— ответил Евгений,— вот тридцать красот испанской дамы: три черных — глаза, брови и веки; три красоты красных — губы, щеки и ногти; три красоты длинных — тело, волосы и руки; три коротких — зубы, уши и ноги; три широких — грудь, лоб и междубровье...

— Нахал! — ласково ударила Нинон по плечу Евгения.

— Каждая часть тела обладает своей красотой, своим особым выражением,— говорил Евгений, провожая Нинон,— не только лицо отражает качества духовные одновременно с качествами физическими.— И нежно-нежно довел Евгений Нинон до крыльца ее дома.

— Любовь — это наслаждение пятью чувствами,— сказал он ей на прощанье.

Выпившему Евгению страстно захотелось увидеть Нинон. Он вышел на бульвар и подошел к ее дому; он прошелся мимо него несколько раз; затем вино подействовало. Евгений уснул, прислонившись к дому.

Гражданин, проходя мимо, посмотрел на Евгения с презрением. Еще не совсем протрезвившийся Евгений, заметив презрение, приподнял голову и сказал:

— Когда вы проходите мимо грешника, проходите с лаской. Монах, не отвращай лицо от грешника, взгляни на него приветливо!!!

Гражданин, чувствуя издевательство, вскричал:

— Если бы мне не надо было спешить на службу, я бы тебе показал монаха!

— Проходите, проходите, гражданин, не оборачивайтесь! — крикнул Евгений вдогонку.

Окно раскрылось, в окне показалась голова Нинон.

— Что вы здесь делаете, Евгений Павлович? — спросила она жеманно.

— Идемте гулять,— ответил Евгений: — сегодня такое дивное утро.

— Безобразие! Да вы не спали всю ночь.

— Я люблю легкомысленный образ жизни,— ответил Евгений.

Помог Нинон выпрыгнуть из окна.

Евгений зашел в свою комнату за бутылочкой вина.

— Я вас угощу великолепной наливкой торопуловского приготовления,— сказал он.

— Это еще что такое? — спросила Нинон.

— Это инженер, если можно так выразиться, с конфетной душой. Но я шучу, он очень добрый и славный человек; я очень его люблю, но наше горе заключается в том, что ко всему мы относимся иронически. К тому же наша ирония проистекает не из глубокого познания жизни и борьбы, противоположных принципов, а просто из некоторой лености, быть может, стыдливости, быть может, из нежелания вникать, если можно так выразиться, в сущность вещей. Ирония заменяет нам стыдливость. Но бросимте говорить о вещах серьезных. Но как уже печет солнце! Вы подурнеете, право, Нинон: вы не должны загорать.

— Я не так легкомысленна, как вы думаете,— ответила, помолчав, Нинон.— Мне бы очень хотелось, чтобы вы изменили обо мне свое мнение.

— Я не сомневаюсь, что вы серьезны! У вас совершенно дивные волосы.

Нинон, с ее ярко очерченными алыми губами, открытыми голубыми глазами и мягкими золотистыми кудрями, казалась ему настолько куклоподобной, что он и себя опять почувствовал совершенно безответственным.

Евгений провел Нинон в совершенно тенистое место, очистил подножие дерева от голубых конфетных бумажек с изображением сердец, Аленушки, ногой очистил и от банок из-под шпрот, развернул газету, постлал ее, положил на газету пальто в виде подушки; Нинон села, он остался стоять.

Но уже лес наполнялся, и они вернулись в город.

Гуляя с легкомысленной Нинон по саду, Евгений развлекал ее рассказами про фижмы.

— Представляете ли вы ясно этот снаряд? — говорил Евгений Нинон, совершая с будущей подругой на несколько дней круги вокруг клумбы.

Посреди клумбы стоял на полупальцах Меркурий; он изображал фонтан; из воздетого пальца била струя.

— Представляю,— жеманно ответила Нинон,— это очень красиво.

— Не столь красиво, как занимательно,— ответил Евгений.— Представьте себе, летит карета, обе дверцы открыты, фижмы свободно болтаются снаружи. Или вот стол; дама кладет фижмы своим соседям на колени, а мужчины свои фижмы закидывают за стул. И вот за столом только головы мужчин видны из-за фижм. Или вот идет мужчина по улице; полы его кафтана поражают воздух с такой силой, что навевают на прохожих прохладу. Пудра на париках придавала такой блеск глазам, такой чудный вид ресницам! Общество истомленных вольнодумцев, старых аббатов, собирается у восьмидесятилетней прелестницы Нинон Ланкло!

— Дивная жизнь! — вздохнула Нинон.

— Давайте возвратим ненадолго то легкомысленное время! — проговорил Евгений, касаясь своим виском златокудрой головы Нинон. Нежные волосы коснулись его виска; в глазах стало темно, Нинон вздохнула, Евгений тащил ее из сада, нетерпение подгоняло Евгения, желание и страх испытывала Нинон.

А дальше — черные статуйки с глазами из жемчуга, с алмазными кольцами, залы, украшенные слоновой костью и черным деревом, кашемировые и индийские ковры, персидские ткани, зеркальные будуары, негры с зонтиками, пламенные попугаи...

Стараясь быть по-прежнему остроумным, Евгений уводил Нинон из города; закусив губу, он осматривался по сторонам; обхватив Нинон за талию, Евгений ускорил шаги.

— Мой милый, мой хороший,— говорила Нинон.

Евгений с жалостью смотрел на Нинон, на это теперь малопривлекательное для него тело.

Он довел ее до дому и, стараясь как можно ласковее, поцеловал ее руку. Но все же у него вид был пришибленный.

— Мы завтра увидимся? — спросила нерешительно Нинон, заглядывая ему в глаза.

— Да,— ответил Евгений.

Нинон скрылась.

Евгений пошел блуждать. Ему захотелось на ком-нибудь сорвать свою злость.

Горько было на душе у Бамбышева от того, что приезжий отвлек от него внимание общества.

Вечером Бамбышев сидел в своей комнате над путеводителем по Союзу, перед бывшим студистом стояли бутылка портвейну и бокал с изображением травы и матовых цветочков.

Он стал пить горьковатое вино маленькими глотками; ему пришла в голову несчастная мысль запеть.

Евгений, блуждая по городу, подошел к дому Бамбышева и остановился под окном, поздоровался и спросил:

— Скажите, сколько вам дают в месяц за ваше пение?

— Ничего,— грубо ответил Бамбышев.

— Зачем же вы берете на себя такой труд?

— Я пою ради искусства.

— Ради искусства не пойте!

Молодой человек смотрел ему вслед и размышлял:

«Обидел он меня или не обидел? Пожалуй, обидел,— решил он.— Ладно, завтра ему отомщу».

Вечером, встретившись с Евгением в саду, у раскрашенного Меркурия, Бамбышев обругал обидчика во всеуслышание неприличными словами.

Евгений посмотрел на него удивленно.

«Я кланяюсь твоей девственности» тосковала. Одинокая, она блуждала по бульвару. Наконец она решилась. Она чувствовала, как все в ней рыдает. Она вошла в белый дом, где жила Нинон.

«Я кланяюсь твоей девственности» остановилась в дверях, в своем пестром платье. Затем, с горящими глазами, она произнесла:

— Теперь, когда я это осознала в себе, я хочу вам об этом сказать и вообще поговорить дружески. Я думаю, это не испортит наших отношений.

Нинон хотела возразить.

— Нет, замолчите,— взмолилась стоявшая.— Я чувствую, что у вас вырвется: «Да чего же вы от меня

хотите? Не могу же я перевернуть всю свою налаженную определенным образом жизнь!»

Нинон молчала.

— Но, друг мой,— продолжала гостья,— ведь нужно же трезво посмотреть на вещи. Я не могу с уважением относиться к вашему долгу, о котором вы так много говорите. Наоборот, вы так далеки от этого долга. Скажите, что такое ваша настоящая жизнь? Одна-единственная, исключительная, все поглотившая ставка на стенографию, покушение с определенными и заведомо негодными средствами, ибо вы сами заявляете, что у вас больная рука, что большой скоростью вы никогда владеть не будете,— словом, что стенография для вас безнадежное дело. Семье вашей оно безусловно ничего не даст. А вся ваша энергия и волевая стихия, достойная несравненно лучшего и более целесообразного применения, разряжается впустую. Не принимайте этих слов за очередную претензию. О нет! Пожалуйста, этого не думайте. Я вам уже говорила раз, что принимаю вас до конца такою, какая вы есть; ни на одну минуту я вас никогда не идеализировала. Не знаю я, за что вас полюбила, не знаю, за что я вас люблю и буду любить. Вот все, о чем мне хотелось поговорить с вами. Реагируйте как хотите.

«Я кланяюсь твоей девственности» заплакала, повернулась и вышла. Нинон не остановила ее.

Всю ночь плакала жена известного мужа среди своих химер и бутылок, превращенных Нинон в вазы. И постепенно невыносимая тоска, которую она чувствовала, превращалась в музыку.

«И, подымаясь по мраморной лестнице, неся чудную вазу тончайшего фарфора, расписанную нежнейшими красками под тон аметиста, увидела я Тебя наверху этой лестницы, суровую и строгую».

Это облегчило скульпторшу, и она задремала.

Бедняга не знала, что Нинон, не уважая ее любви, уже давно покрыла тетради ее стихов стенографическими записями, что под ее стихотворением:

В какие шелковы тенета
Попал мой дух, узнав тебя? —
Здесь радуг блеск и позолота
И тонкотканость бытия.
Боюсь коснуться! — Все так тонко,
И дорог каждый здесь узор,
Излом, каприз цветного шелка,

Намек, улыбка, разговор...
Но всех дороже то, что скрыто
И чем душа твоя поет —
И что не хочет быть расшито
И эти нити шелка рвет! —

помещена лекция: «Продукция животноводства», стенографически записанная.

Въезжая в прохладный просторный город, Евгений почувствовал, что задыхается. «Придется спасаться»,— подумал он.

Здесь, в санатории, Евгений почувствовал, что он смертен, что ему придется расстаться с играющим миром, что больше не придется устраивать «Grand rond, s'il vous plait!» [1] на прекрасной мураве, не придется ходить утром по синим улицам, заходить в дома различных архитектурных стилей, пить чай различной температуры, играть на пьянино, обучать молодых девушек любви, беспутно читать, слушать рассказы, разыгрывать сценки, утрированно чихать, кашлять, смеяться, есть и пить.

Евгений мотнул головой, и губы его задрожали; он закрыл лицо руками.

Как дивно для него засверкал мир!

Зелень засияла своим изумрудным цветом, песок — красноватым, облака — пепельно-голубым, звезды — снежно-золотым, удивительными и прекрасными ему показались люди, и животные, и растения. «Как хорош мир, а я должен его покинуть»,— раздавалась музыка в ушах Евгения.

По тонкому ледяному покрову Евгений подошел к сверкающему барочному Эрмитажу, стоявшему на едва заметной возвышенности. Со всех сторон Эрмитаж был окружен амурами. Евгений залюбовался: здесь были толстощекие амуры, украшающие быка цветами; другие — кормящие плодами льва; третьи — собирающие плоды в корзины; четвертые — дружно спящие под звездным небом; пятые — наблюдающие взошедшее солнце; шестые — пускающие бумажного змея; седьмые — кующие стрелы; восьмые — беседующие под тенью фонтана; девятые — предающиеся любви на ложе: амуресса готовится надеть венок, амур несет ей цветы; десятые — собирающие хворост; одиннадцатые — грею-

---

[1] Большой круг, пожалуйте! *(фр.)*

щиеся у костра,— но в особенности понравились Евгению амуры, собирающие виноград; один рассматривает гроздь, другой наполняет корзину, третий, стоя в огромной бочке, давит с радостным усилием и шаловливой улыбкой зрелую виноградину.

Евгений сел на скамейку и задумался; он вспомнил о Лареньке: она в восторг бы пришла от этого здания. Ему захотелось показать ей то прекрасное, что он увидел.

Вернувшись с прогулки, Евгений вошел в комнату дневного пребывания, сел за пьянино.

Возьми, египтянка, гитару,
Ударь по струнам, восклицай...—

но опять сердце Евгения упало; тщетно он вызывал перед собой трепещущий мир цыганщины, воображал публику в париках и кафтанах, слушающую цыганское пение. Холодный пот выступил у него под мышками и на лбу, думалось о небытии и проклятом уничтожении. Евгений испытывал ужас. До сих пор Евгений ощущал себя вечным,— теперь юноша понял, что это было дивное ощущение. Хорошо жилось юноше с этим ощущением! До сих пор Евгению казалось, что его настоящая жизнь еще не началась, что все это — только пустяк, начало, что главное — впереди. А теперь этот пустяк, случай заместит главное, станет заменой сущности его, Евгения. «Вот и все!» — подумал он, положил голову на клавиши и заплакал.

Рядом с пьянино стоял покрытый серебрёной краской экран; над пьянино висел портрет Энгельса, под эстрадой, где стояли пьянино и экран, были нагромождены стулья; внизу сидели за шашечными столиками компании больных, играли в шашки. Немного подальше так называемые костоеды дулись в домино; еще немного подальше — склонялись над шахматами.

У окна больные играли на балалайках, щипали гитары.

Комната общего пользования была светлая, просторная, освещенная двумя матовыми шарообразными лампами: эстрада, на которой сидел Евгений, была задернута черным занавесом,— таким образом Евгений играл и плакал во тьме.

Раздался звонок к обеду.

Юноше уже мнилось, что он стал призраком, что он спустился в другое существование.

Вскоре перед ним появился превосходный суп в узорчатой миске.

Масса воспоминаний охватила Евгения, пока он ел суп и смотрел в миску. Появилась гротескная вселенная его бабушки. Глубокой осенью, когда опадут листья, а стволы увянут, и весной, прежде чем листы начнут развиваться, выкапывала она самые здоровые и сочные корни однолетних растений, разрезала в длину пластинками или в кружки и, нанизав на нитку, развешивала в теплом месте, продуваемом ветром. Благовонные корни гротескная бабушка сохраняла в флаконах из-под одеколона с притертыми пробками. Ребенком Евгений любил рассматривать картинки на этих флаконах; на них тоже по большей части были цветы. Травы и листья душистых растений домашняя кикимора собирала перед развертыванием цветных почек; он помогал ей связывать травы в пучки; другие травы, обладающие тонким летучим веществом, старушка сама истирала в порошок. Комод был полон засушенных листьев; ее мир был — мир цветов, древесной коры, шишек.

Евгению жаль было покинуть мир, где росли баранья трава, волчье лыко, вороний глаз, светляк, козьи рожки, медвежьи пучки, кокорыш, петушья нога, кошачьи лапки, золотые розги, водоглаз, змеиная трава, песьи вишни, душистые кудри, конская грива, фиалка собачья и медвежий виноград.

Няни разносили пищу; дежурные сестры следили за тем, чтобы обедающие во время еды не разговаривали и тщательно еду разжевывали; за тем же наблюдал прогуливающийся по проходам, останавливающийся у большого дубового буфета дежурный врач.

Няни в белых халатах выпархивали из кухни, неся жаркое на толстых, тяжелых корабельных тарелках.

Позади Евгения за длинным столом сидели женщины.

Евгений иногда оборачивался; взгляд его переходил от одной к другой с полным равнодушием.

Санаторию окружали мачтоподобные ели.

Перед парадным входом стоял бронзовый памятник Ленину.

Несколько в стороне возлежал солярий, закрытый на зиму.

Дальше домики медицинского персонала и канцелярия, с покрытыми снегом крышами. Санатория паром великолепно отапливалась; зимой и летом в ней были открыты форточки, и воздух свободно циркулировал по помещению.

Врачи встречали прибывающих, сияя вежливостью.

Сестры предупредительно и ласково объясняли правила поведения; уборщицы озабоченно сновали.

Евгений пошел осматривать помещение.

На стене рядом с *курортом на дому* висел цветной плакат «человек-машина». В просторных помещениях «человека-машины» работали люди: одни лазали по лестницам, складывали крахмал и сахар; другие подавали; третьи служили привратниками; четвертые мыслили по поводу прочитанного; пятые сидели на деревянных кобылах, шестые снимали аппаратом (глаз); седьмые слушали у телефона (ухо); девушки в голубых и сероватых платьях сидели у аппаратов (нервы); в человеке-машине были проведены голубые и красные трубы, двигались колеса, вагонетки, работали приводные ремни.

Евгений от скуки стал рассматривать это условное и аллегорическое изображение; несомненно, это был очень интересный плакат; цель его была заставить трудящихся запомнить, какие органы что вырабатывают, где они находятся и как действуют; для Евгения этот плакат выражал целое мировоззрение, он мысленно сравнивал его с гравюрами, на которых изображался человек с различными планетами на лбу, на щеках, на груди, на руках и на ногах.

Евгений вошел во вторую комнату дневного пребывания.

Там сверкали зеркалами шкафы для книг; на полированных столах лежали газеты; на одном из шкафов чернел громкоговоритель; на стенах были приколоты лозунги: «Пленникам капитала, борцам за мировой Октябрь, пламенный привет рабочих», «Ударим по рукам провокаторов новой войны — помещиков и капиталистов». На подоконнике среднего окна белели гипсовые бюсты Маркса, Калинина, Фрунзе. Из окон была видна мачта с фонарем; дальше — аллеи из высоких деревьев; дальше — ворота санатории.

Евгений вошел в палату. Белые стены с зеленовато-голубой панелью, крашеный пол, высокое окно, четыре кровати, четыре шкафчика, четыре стула, четыре плевательницы. Эти предметы освещала одна электрическая лампочка, качающаяся под порывами ветра высоко-высоко у потолка.

В 22 часа электричество в палатах гасила дежурная сестра, в 22 часа больные приподнимались на постелях и начинали рассказывать новеллы.

Евгению не спалось.

Он пошел в парикмахерскую, зажег электричество, и, несмотря на мысли о смерти, ему удалось погрузиться в своеобразный мир существ, про которых особым тоном, серьезным и вместе с тем смешливым, сообщалась масса сведений. «Ах, Борри, Борри,— думал Евгений,— итальянский авантюрист, придворный алхимик Христины, искатель философского камня, ересиарх и узник замка св. Ангела, не у тебя ли украл Монфокон мир элементалов? Не у тебя ли он взял этот легкий и смешливый тон? Бедняга Борри! «Граф Кабалис» затмил твой трактат; комментаторы Гофмана и Франса не подозревают о твоем существовании! И черт знает как в Ленинграде твой трактат попал в мои руки. И вот эта книжечка, пожалуй, опять затеряется после моей смерти, или, может быть, даже ее разорвут, не подозревая о ее содержании. Ты долго валялась в подвале, затем на миг появилась и теперь должна исчезнуть!»

Он вспомнил о снеговой бабе, замеченной им утром.

Решил завтра ее осмотреть.

Евгений вернулся в палату и уснул. По звонку утром он проснулся, подошел к окну — баба таяла; изящный нос, вылепленный рукой больного скульптора, совсем растаял; темные глаза исчезли, подстриженные волосы еще держались, но овал лица был весь источен мелкими струйками; вчера еще крепкая и пышная белоснежная грудь стала студенистой и серой, а вокруг еще стоявшей, но уже таявшей женщины опять зазеленела травка, зажелтели и засерели листья. Теперь на женщину никто уже не обращал внимания; она стояла, обреченная на истаивание.

На следующий день шел теплый дождь; он смыл остатки снега, розоватые облака затем поплыли по небу; непонятное время года продолжалось. Больные шутили: «Скоро пойдем собирать грибы!» Некоторые вспоминали поход в Урмию и персидскую зиму. Днем шел пушистый мягкий снег. К Евгению пристал татарин Хаярдинов. Евгений направился в парк насладиться видом китайской беседки над проездом под хлопьями снега. Хаярдинов заставил Евгения изменить маршрут; Евгений пошел мимо небольшой пирамиды, царской купальни в мавританском вкусе и Адмиралтейства в стиле ложной готики к барочному гроту, к Екатерининскому дворцу. Татарин выучился грамоте в Красной Армии. Он работал чернорабочим на ниточной фабрике; он

ласково улыбался. Евгений спрашивал, знает ли он сказки, песни? Хаярдинов радостно улыбался и отвечал: «Не знаю, брат».

Обходя Екатерининский дворец, Евгений спрашивал своего спутника, нравится ли ему Екатерининский дворец? Хаярдинову Екатерининский дворец понравился.

Затем Евгений повел татарина к Китайской деревне и поднялся с ним в китайскую беседку.

Там Евгений сел, и снег падал, падал и падал. Затем юноша побежал вниз, к санатории. Хаярдинов позвал его:

— Брат, брат, не беги!

Евгений остановился.

— Легкие отвалятся,— сказал грустно татарин.— Сколько в весе прибавил, брат?

Евгений стал печален.

— Забудь о болезни, и все будет прекрасно. Если хочешь со мной дружить, не вспоминай. Не думай, что ты болен. Смотри, как здесь прекрасно!

— Завтра возьмешь меня, брат, с собой?

— Возьму,— ответил Евгений.

При встречах с татарином Евгений испытывал некоторый ужас. Татарин слишком часто вспоминал о смерти. Татарин до того часто с ним говорил о смерти, что один уж вид его для Евгения ассоциировался со смертью. Поэтому Евгений, идя по парку с татарином, шел как бы со своею смертью. Евгений старался позабыть о татарине, а татарин, почувствовав к нему нежность, бродил в своих коричневых валенках всюду за юношей.

Однажды Евгений сбежал раньше положенного времени по ступенькам; татарин не заметил, и Евгений один очутился в парке.

Некоторое время он думал о татарине, но яркая зеленая трава под прозрачнейшим слоем льда привлекла его внимание. Он наступил одной ногой на лед и надавил; подо льдом пошли пузыри и побежали к краю ледяной поверхности. Юноша нажал сильней; выступила вода и омыла галошу. Радостно юноша пошел к увеселительному павильону, достал книжку о сильфах, решил почитать; сел на скамью и вдруг увидел на полуколоннах прелестные нежные надписи:

Внимай, мой друг, как здесь прелестно. 30.VIII.27.

Будет осень, ты придешь и вспомнишь то милое время, когда мы были с тобой так счастливы. 14.V.27.

Евгений, заинтересовавшись, встал и принялся чи-

тать надписи. С книжкой под мышкой юноша то приподнимался на цыпочки, то приседал, читал:

Тут я тоже побывал и остался очень доволен после виденного мною прекрасного парка. 20.VIII.29.

Серг. С.

Зачем вы под серой шинелью красноармейца подозреваете царского солдата и грязное мнение Ваще несправедливое. Нет!

Отец с сыном во время своего отдыха посетили этот чудесный уголок.

Здесь были мама и Ляля, скучали о папе. Папа в Ташкенте. 19.VI.27.

Надписи сплетались в гирлянды, спускались, поднимались. Простое констатирование факта: *Табуреткин дальше отказался говорить. 12.V.29.* Или: *Здесь были красноармейцы Взвода Связи.*

Федя,
Вася,
Петя,
Андрюша.

Или: *Здесь арка свиданий* — преспокойно сплеталось с изречением в стихах:

Коль боишься поцелуя,
Так старайся не любить,
А любовь без поцелуя
Никогда не может быть.

М.

Прорывалось:

Vera Smirnoff

Опускалось сонетом:

Когда-то здесь узывчивой и нежной
Музыкою гремел блестящий зал,
Шел разговор приятный и небрежный,
И шелк шумел, и женский смех дрожал.
В саду во тьме корсажа белоснежный
Атлас к сукну камзола приникал,
И поцелуй в ночной тиши звучал,
И полн был сад дремоты безмятежной.
Здесь в сумерках ротонды глубина
Вчера двоих укрыла на ступени.
В его шинель закуталась она,
А он, смеясь, ей целовал колени.

Александр Алексеев.

Наискось другой рукой было начертано:

Прекрасной и сильной.

Перелетело на колонну:

Гваренги милое созданье,
Классический и строгий облик твой
Меня пленил невольно, и порой
Тебя воспеть приходит мне желанье.
Когда б тебя прославить возмечтал
Любезник пудреный державинского тона,
В тебе он увидал обитель мук и Аполлона.
Ал. Ал.

Пониже на полуколонне: *Здесь был В. С. Чханов.*

Перелетало на другую: *Посоветовал бы писать на современные темы и посылать в редакции, чем писать их на стенах. Конечно, стихи писать дело хорошее, но только не на стенах.*

Убегала гирлянда под окно:

Прощай, мечта,
прощай. 18 июля 29 г.

Пряталась гирлянда в подоконные карнизы:

Будет осень, ты придешь и вспомнишь то милое время, когда мы были с тобой так счастливы. 14.V.27.

Гордо выступало на простенках:

Таня, ты будешь моей женой. 14.V.27.

Здесь прождал Петров Александр. 1/I—30 г.

С глубоким интересом обходил Евгений увеселительный павильон, построенный знаменитым архитектором. Черные, синие, фиолетовые, красные надписи вызывали вокруг павильона особую атмосферу. Евгений улыбался; он был в своей стихии, ему стало жалко, что сейчас все же, несмотря на зеленую траву, зима и что статуи стоят в дощатых футлярах. Он думал о том, сколько нежных и памятных надписей начертано на их пьедесталах.

Утром и днем появлялись письма и открытки на черном столике у зеркала в раздевальной. Столик обступали мужчины в темно-синих теплых куртках, с светло-синими воротниками и обшлагами. Женщины в серых платьях. Евгений ни от кого не ждал писем. Друзья предполагали, что он приключенствует где-нибудь в горах, любуется разноцветными вершинами.

Евгений вернулся к увеселительному павильону, вступил на мозаичный пол из серого, розового, белого мрамора и финляндского гранита, приник к замочной скважине. Увы, он ничего не увидел. В концертном зале было темно; окна были забиты досками.

Евгений обошел увеселительный павильон, наслаждаясь пропорциями.

Было девятое января, а зима все еще не наступала.

Трава зеленела, и березовые почки начинали распускаться.

Подо льдом у павильона видны были зеленые водоросли.

День был теплый, солнечный. Природа как бы давала представление:

«Весна».

Обойдя увеселительный павильон, Евгений решил осмотреть краснокирпичное круглое, украшенное руиноподобными колоннами с интересным замочным камнем.

«По-видимому, подражание римским гробницам»,— подумал Евгений.

Он взглянул на барельефы: на одном из них он увидел очертание женщины, проливающей слезы.

Затем юноша отправился к китайскому храму.

Приятно выделялась шатрообразная крыша.

Он пошел дальше и, миновав детскую площадку, наткнулся на небольшой теремок в лубочном стиле.

Он вернулся и прошел мимо второго увеселительного павильона к обелиску из серого мрамора и к голубой Камероновой галерее.

Этот уголок парка сегодня напомнил Евгению сказки Кота Мурра; казалось, вот-вот выйдет кукольный князь Ириней и пойдет по своему парку.

Опять в санатории раздался звонок к обеду. В это время в саду подальше играли в снежки, поближе на скамейках шел разговор. Снежки взлетали, ударялись о спины, о воротники и разлетались. Евгений не удержался и присоединился к играющим. Часть играющих наступала, другая часть отступала. Улучив момент, переходили в наступление. Санатория способствовала превращению на некоторое время своих постояльцев в детей. Больные забывали о своей болезни; они сытно, с правильными промежутками, ели, много спали, читали романы, играли в домино, увеселялись кинематографом, поучались лекциями. Если бы была осень, то больные лазили бы по деревьям, карабкались бы на дубы и

стряхивали бы желуди, предназначая их на кофе, и отвозили бы их своим женам или мужьям в мешках домой. Но так как сейчас была зима, то они с удовольствием слушали лекции о вреде алкоголя, о физических методах лечения нервных болезней.

Как-то был приглашен ансамбль театра «Комедия»; актеры весело сыграли «Ремесло господина кюре». Зал хохотал; Евгения не очень развлекла пьеса. Загримированные актеры с чемоданчиками в руках сошли в сад и в таком виде поспешили в близлежащий клуб красноармейцев.

Евгений поражен был театральностью их выхода.

Опять ночью Евгений сидел в парикмахерской и думал, как бы ему обыграть смерть. Смерть не возникала перед ним в образе гравюры, в образе скелета с косой; он чувствовал ее в себе самом; это-то и составляло трудность; приходилось перенести игру во внутренний план, во внутренний мир.

«Насмешка убивает,— думал Евгений.— Что, если почувствовать, что смерть смешна, что, если начать острить над смертью...»

Евгений улыбнулся, розовая заря постепенно появлялась в окне.

Но Евгению не пришлось острить над смертью.

Он вспомнил «Приятное времяпрепровождение» и рассмеялся. Вора должны были повесить. На лестнице он попросил пить. Ему принесли стакан воды. Опустошив его, он как бы нечаянно уронил его. «Ах,— сказал он,— со мной наверное сегодня случится какое-нибудь несчастье, так как я никогда не разбивал стакана без того, чтобы со мной не происходило несчастья».

«Стоит ли всякой ерундой заниматься!» — подумал он. Фигура его в глазах его снова получила очарование. Среди мира игры он чувствовал себя первым игроком, игроком по природе.

Каждый день стал для Евгения интересен по-новому: то больной взбирался на декоративную башню, в то время как Евгений осматривал декоративную пирамиду; то он вместе с больными осматривал примерный совхоз с огромными неподвижными свиньями, мирными коричневыми барашками, огромным быком с кольцом в носу и опрятными коровами; то он отправлялся размышлять на настоящее лошадиное кладбище, где

было похоронено 123 лошади под мраморными и гранитными плитами; там прочел эпитафию:

ВЕРХОВАЯ
ЛОШАДЬ КОБЫЛА
ГНЕДАЯ *МИЛАЯ* СЛУЖИЛА
ИХ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕ-
СТВАМ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКО-
ЛАЮ ПАВЛОВИЧУ И ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕ-
РАТРИЦЕ АЛЕКСАНДРЕ ФЕДОРОВНЕ ПЯТЬ ЛЕТ.
ПАЛА В 1842 ГОДУ, СЕНТЯБРЯ 28-ГО ЧИСЛА.
НА СЕЙ ЛОШАДИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ИЗВО-
ЛИЛ 14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВО-
ВАТЬ ВЕРНОЙ ГВАРДИЕЙ ПРОТИВ МЯТЕЖНИ-
КОВ И НЕСМОТРЯ НА НЕСКОЛЬКО ЗАЛ-
ПОВ ОСТАЛСЯ ПО МИЛОСТИ БОЖИ-
ЕЙ НЕВРЕДИМ. ЛОШАДЬ
ТАКЖЕ НЕ БЫЛА
РАНЕНА.

Или в комнате дневного пребывания Евгений слушал рассказы шофера, славного малого, любящего искусство, о китайском Мерседес, т. е. о Форде, или о том, как вез шофер генералов в Карпатах и чуть автомобиль не опрокинулся в пропасть из-за самонадеянности генералов; или следил за игрою стариков в шашки; старики каждый ход сопровождали прибаутками: «он дается, она, шашечка, хорошенькая», «ах, дедушка, ах, кормилец родной, у него, у дедушки, не забалуешься»; «да, дедушка, такая марация, люди крещеные, дедушка, ходи, дедушка»; «ходи, дедушка, бог простит, ходи, кормилец!»; «ох, дела плохие, гармонии дорогие!»; «ой, плешка!». Иногда обращались к утрированно помогавшим: «Катись ты на худенькую лошадку!»

У Керепетина хранилась библиотечка вечно странствовавшего Евгения. Книжечка была с вензелем «С. Р.», суперэкслибрисом Константина Павловича. «Вряд ли главный начальник польской армии читал эту книгу,— думал Евгений,— она совсем новенькая, да и у него был совсем другой вкус».

Евгений ее тоже не читал: он купил ее когда-то в Александровском рынке, куда свезены были остатки одинаковых в основном библиотек двух старших братьев — Александра и Константина, состоявшие из книг по военному делу, мемуаров полководцев, нрав-

ственных историков вроде Плутарха, географических атласов, книг по математике, мифологии и словарей. Бабушкин вкус преобладал. Но среди книг с супер-экслибрисом Константина попадались и польские изящные альманахи, может быть принадлежавшие его жене.

Томик Кребильона-сына попал в библиотеку Евгения как представитель исчезнувшей библиотеки. В этом-то томике и был рассказ, озаглавленный «Сильф».

Подруга подруге пишет, что всегда жаждала увидеть Сильфа, что всегда думала, что не в шуме городском любят они появляться, и что эта идея влекла ее столь часто в места сельские и заставляла отвергать остроумцев. И вот на прошлой неделе в жаркую ночь парижанка, утомленная провинциальным обществом, которое осаждало ее в течение всего дня, легла в своей комнате, взяла моральную книгу, чтобы вознаградить себя, и вдруг услышала полушепот...

Отдельные страницы Евгений читал вместе с Ларенькой, теперь он решил прочесть этот рассказ целиком.

Милый Петя, приезжай, соскучился я ужасно. Захвати Кребильона; приезжай, погуляем. Твой Евгений. Приемные дни у нас 5, 12, 21, 29.

Дивно прошлись Евгений и Петя по прозрачным льдам Детскосельского парка.

— Милый Петя,— говорил Евгений,— мне не очень-то хочется умирать; ты художник, и ты поймешь меня: недовоплотил я самого себя, не закончил я свою жизнь, как следует, в единственном возможном для нас мире. Мне самому очень интересно узнать, что было бы со мной в дальнейшем.

Петя молчал.

— Я еще не человек,— продолжал Евгений,— а только — если так можно выразиться — рисунок карандашом, изображающий человека.

Друзья рассмеялись и вошли в белую башню. Башня была окружена рвом; в ней хранились игрушки: две лошадки из папье-маше, корова из того же матерьяла, тачка, телега, крохотный биллиард со следами зеленого сукна, креслица и диванчик.

Под руководством сторожа с губой, откушенной лошадью, они стали рассматривать игрушки; сторож

говорил как сорока; он утверждал, что игрушкам сто лет.

Продолжая беседовать об игрушках, Евгений и Петя появились между зубцами сигнальной башни. Сторож с откушенной губой шел за ними. Объясняющий старик и двое юношей появились между зубцами башни. Внизу показались Ларенька и Торопуло. Они опоздали на поезд. Видно было, что они спешат к Орловским воротам. Евгений и Петя поспешно спустились с башни и бросились догонять гостей. Торопуло вручил Евгению конфеты, в виде сказочных зверей, им самим приготовленные.

— Евгений, милый! — кинулась Ларенька к юноше на шею и стала искать его глаза.

Евгений отвернулся.

Для Лареньки с Евгением свидание у Орловских ворот было горестно. Однако ж, когда Ларенька подумала, что это свидание, может быть, последнее, все ее мужество исчезло; она почувствовала лишь нежность и печаль.

Евгений отвернулся, ему стыдно было сказать Лареньке, что она видит его в последний раз, что он умирает. Ларенька забыла все глупости Евгения, она чувствовала лишь печаль и сожаление. Была какая-то детскость в Евгении; неизвестно, для чего он носил, ходя по улицам, огромные китайские очки и всегда имел при себе кинжал швейцарский с клинком, по его словам, венецианским.

«Милый, милый Евгений!» — с грустью подумала Ларенька, смотря на Евгения...

Молчащая компания шла к Орловским воротам.

Ларенька вспоминала восторг, с которым он читал ей описание городов; он останавливался, чтобы удивляться, он с удовольствием слушал ее замечания и часто целовал ее в голову, как бы благодаря за вкус и сообразительность.

Ларенька с молчащим Торопуло поспешно шла мимо Кавалерской мыльни прямо на вокзал, стараясь освободиться от мечты о счастье, уже не существующем. Переходя мостик, она приметила девушку, ходившую под деревьями. Заметно было, что девушка ждет кого-то. Это еще более усилило грусть Лареньки. Она вспомнила расцвет Евгения и свое первое знакомство с ним; Евгений снимал в то время несколько просторных комнат в Лицейском флигеле, уставленных славной ме-

белью. От Евгения в то время исходил на его знакомых какой-то свет. Комната была убрана комодами и занавесями, которые, под дуновением ветра, развевались до самого потолка.

Евгений в то время был увлечен. В определенных кругах он считался подающим надежды молодым композитором; он писал оперу, он заседал в каких-то комиссиях.

Евгений испытывал не страх смерти, а стыд смерти.

Он чувствовал приближающуюся смерть как поражение, как не предусмотренный им проигрыш.

Юноша удержал свои мысли. Он тихо прогуливался в течение нескольких минут. День был прекрасный; солнечные лучи, ударяя из-под густого облака, покрывавшего запад, разнообразили богатые оттенки природы. Сквозь деревья белели павильоны в классическом вкусе. Солнце исчезало. Евгений продолжал прогуливаться.

Все чаще происходили семейные ссоры, все чаще краснели от раздражения больные, все чаще бледнели от негодования врачи. С нетерпением ждали врачи прибытия новой партии и отбытия старой. Теперь санаторий напоминал Евгению цирк; доктора — конюхов-дрессировщиков, а больные — эксцентриков, палаты — уборные артистов. Он со многими перезнакомился. На столиках стояли зеркальца, лежали переводные романы. Вставая, больные пели, ругали администрацию, вели профессиональные разговоры, ожидая близкой отправки; иногда на больных, как на комиков, нападала страшная тоска, тогда они ложились в постель, поворачивались к стенке и молчали. С каждым днем доктора становились менее внимательны; больные — требовательнее и бесцеремоннее. Наконец первая группа больных уехала на автомобиле, за ней другая, третья.

Стало скучно лежать Евгению на верхней полке поезда.

Вспомнился Торопуло, и захотелось его порадовать. Стал Евгений писать ему письма.

Одно — от ученого мужа.

Другое — от девушки.

Третье — от нумизмата.

Опустил письма на разных станциях.

Турист лишался своей тирольской шляпы. Кара-

мель появлялась с различными изображениями несущихся автомобилей и мотоциклеток. Работали тракторы, управляемые мужчинами и женщинами. Красноармейцы и рабочие неслись на лыжах или на коньках, заложив руки за спину.

Появилось красное здание Волховстроя. Выдвиженки сидели у телефона.

На тракторе ехал бородатый пахарь. С молотом стоял рабочий, держа пятилетку в 4 года. Летали аэропланы. Возвышались небоскребы. Располагались колхозы у подножия гор. Рабочие занимались на дачах физкультурой и спортом.

Другие конфетные бумажки продолжали отражать увлечение гипнотизмом. Несчастная натурщица Трильби, жертва гипнотизма Свенгали, вдруг снова появилась на конфетных бумажках.

Также конфетная бумажка с схематическим изображением ковра и надписью «Хива» указывала друзьям на то, что в сознании современников еще присутствует экзотическое вассальное государство, а не союзная Республика Хорезм.

Карамель «китайская» говорила о той же бедности и стойкости человека сознания.

Символом Китая на конфетных бумажках, несмотря на глубокие изменения, продолжал являться раскрытый веер.

Торопуло развалившись сидел в кресле перед столом, покрытым только что появившимися бумажками. Рядом с Торопуло сидел Пуншевич.

Радуясь, Торопуло читал письма, написанные Евгением.

1

Как объект изучения конфетная бумажка — явление сложное и интересное. Двоякая обусловленность свойственна ей. С одной стороны — прямая зависимость от того или иного хозяйственно-общественного уклада, с другой — от всего комплекса искусства данной эпохи, от общего ее художественного стиля.

Исторические корни конфетной бумажки весьма далеки — эмбриональные зачатки, пожалуй, можно найти в листьях пальм.

Я слышал, как будто в Китае на бумажных салфеточках начертаны изречения мудрецов, чтобы соединить

приятное с полезным, также, если мне не изменяет память — у нас в 1922—23 годах появились конфетные бумажки с советами крестьянину относительно урожая.

Они у Вас, должно быть, есть.

Во всяком случае, Ваша коллекция может оказаться не только занимательной.

Неизвестный Вам, но уважающий Вас Загни-Бородов.

2

Сегодня я подобрала для Вас странную бумажку в городском саду. Спешу послать ее Вам. Меня поразила не то летучая мышь, не то женщина-акробат, одетая демоном. У нее комета над головой, будильник и звезды под ногами и надпись — «Ночь». Эта парящая в красном трико и красных перчатках и снабженная черными крыльями фигура, как Вы видите, летит на голубом фоне.

К сожалению, у бумажки не хватает уголка, но я все же на всякий случай посылаю ее Вам.

Станция Дно. Екатерина Суздальцева.

«Но ведь это не будильник, а часы на башне св. Сульпиция»,— рассматривая бумажку, мысленно возразил своей мнимой корреспондентке Торопуло.

Третье письмо было от мнимого нумизмата.

Посылаю Вам целую пачку бумажек от экспортных конфет. Ваш план действительно интересен. Я думаю, будущим историкам пригодятся собранные Вами документы. Над собирателями монет тоже в свое время смеялись и принимали за маньяков. Теперь вряд ли кто-либо станет оспаривать важность нумизматики для истории. Так же, я думаю, будет важна Ваша коллекция для бытовой, а может быть, и политической истории нашего времени.

Жму вашу руку.

С. Мухин.

P. S. Правда, нумизматам памятников не ставят.

«Вот, по-видимому, обо мне узнали»,— радовался Торопуло.

Куда больше стихотворений, поэм и прозы Пушкина Торопуло любил его изречения:

«Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом».

«Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность».

Гете, Пушкина, Крылова любил Торопуло, но больше всех книг любил Торопуло «Физиологию вкуса» Брилья Саварена, оказавшего столь сильное влияние на мировоззрение Пушкина.

Из великих полководцев больше всех нравился Торопуло — Карл Великий, потому что он ел мало хлеба и много дичины — часто съедал за обедом четверть козули, или целого павлина, или журавля, или две пулярки, или одного гуся, или одного зайца.

Портрет Карла Великого украшал кабинет Торопуло. Бронзовые бюсты Пушкина, Гете и Крылова стояли на библиотечных полках.

В этот вечер думал Торопуло о мечтаниях садоводов девятнадцатого века — о чае из орхидей, о плодовых садах, которые охранялись бы, вместо пугал, зеркалами, которые блеском отгоняли бы птиц.

«Совсем бы другую картину представляла Европа,— думал Торопуло,— плоды под открытым небом в зеркалах отражались и радовали бы глаз своей многочисленностью, кроме того, на солнце деревья казались бы ослепительно сверкающими».

Вошла Нунехия Усфазановна, сияющая и радостная.

— Вот я и принесла вам бумажку от моей старой, старой подруги. Она живет на Кавказе. Просила я ее, чтобы она прислала бумажку покрасивей.

— «Фантази»! — прочел Торопуло надпись на бумажке.— Вот так «Фантази»! Однако где это? — Торопуло повернул бумажку. Прочел: Тифлис. Железн. ряд № 9. Ага, это в Грузинской республике.

Находящийся в широком сердце попугай и дразнящая эту птицу дама в блузке моды четырнадцатого года и огромной шляпе со страусовыми перьями,— надпись «Фантази», пожатие двух холеных рук, название фабрики — «Урожай» — привели в негодование Торопуло.

— Черт возьми, не могли найти для Тифлиса ничего более характерного. Лучше бы изобразили что-нибудь персидское, скажем, какое-нибудь восьмистишие:

Я медом клянусь и короной варенья,
И маслом чистейшим и без подозренья,
Сиропом молочным и сахарным током,
И влажной халвой с виноградным соком,
Молочною сливкой, лозою давленой,
И сыром, и млеком, и фигой хваленой,
Дыханием дыни, желе трепетаньем,
Тобой, варенец, вкуснотелым созданьем!

Нунехия Усфазановна щебетала:

— Я всем моим знакомым показывала эту бумажку, и все они нашли, что давно такой красивой бумажки не видели, и, посмотрите, сердце здесь и попугай, и богатая шляпа, и края в клеточку, точно английская материя, у меня была такая блузочка. А вот еще — какие славные кошечки — кис-кис...

— Это тоже из Тифлиса? — спросил Торопуло.

— Все оттуда же! — ответила сияющая Нунехия Усфазановна.

Из Саратова Евгений прислал Торопуло конфетную бумажку «Радость» в виде девушки с распущенной косой.

Из Татарской республики Евгений прислал Торопуло бумажку; на ней изображен был чуть-чуть прикрытый миртовой веткой летящий амур, держащий земной шар в руках.

«Дорогой друг,— писал Евгений, — посылаю тебе интересный документ. Он называется «вечный мир». То, что на этой бумажке изображен ангелочек мира, опоясывающий земной шар ленточкой с лозунгом «вечный мир», конечно, для нашей эпохи не характерно; характерно то, что надпись на этой обертке двуязычна — на татарском и русском языках, причем ты видишь, что замена арабского алфавита латинским входит в быт».

Но Торопуло уже раньше в «Прожекторе» видел изображение этой бумажки.

Неотправленное письмо:

Я часто хожу здесь с гитарой по саду. Говорят, приближение смерти опрощает человека. Сейчас я вижу, как удаляются цветные парочки. Здесь, как и в миру, принято подносить цветы. Но здесь не говорят о буду-

щем. Здесь любовь носит характер свободный и воздушный, без излишних надстроек. Все более и более убеждаюсь, что я попал в заколдованное царство. Я худею с каждым днем и убавляюсь в весе. У меня пропадает аппетит, я слабею, и скоро я исчезну. Иногда во сне я плачу и мне кажется, что я мог бы быть совсем другим. Сейчас я не понимаю, как я мог так жить. Мне кажется, что если бы мне дали новую жизнь, я иначе прожил бы ее. А то я как мотылек, попорхал, попорхал и умер.

1929—1930

ГАРПАГОНИАНА

⟨*Первая редакция*⟩

Глава I
СИСТЕМАТИЗАТОР

Коренастый человек с длинными, нежными волосами, в расстегнутой студенческой тужурке с обтянутыми черной материей пуговицами, в зелено-голубоватых потертых диагоналевых брюках сидел за столом на кухне.

Стол освещала электрическая лампочка, висящая на шнуре.

Перед человеком лежали: ногти остроконечные, круглые, женские и мужские различных оттенков. На каждом ногте чернилами весьма кратко было обозначено, где, когда ноготь срезан и кому он принадлежал.

Была глубокая ночь.

Дочь и жена сидевшего за столом человека давно уже спали.

И то, что все спит вокруг, доставляло бодрствующему невыразимое наслаждение.

Он перебирал ногти, складывал в кучки, располагал в единственно ему известном порядке.

Нет, собственно, и ему неизвестен был порядок, он искал его, он искал признаков, по которым можно было бы систематизировать эти предметы.

Он брал ногти на ладонь и читал надписи:

Самарканд	Саратов	Астрахань
1921 г.	1922 г.	1926 г.
Копошевич	Уленбеков	Карабозов

Осторожно перетирал тряпочкой.

Он был горд, он предполагал, почти был уверен, что никто в мире, кроме него, не занят разрешением некоторых вопросов.

Один ноготь от движения его руки соскользнул со стола и упал на пол.

Сидевший переменился в лице.

Под столом было темно и пыльно.

Бодрствующий присел на корточки, но не увидел ногтя.

Злобствуя и ругаясь, зажег спичку. Он боялся раздавить ноготь. Осветив пол, он еще больше испугался. В полу оказались трещины и щели.

Но, к счастью, ноготь Уленбекова нашелся. Он мирно лежал у стены. Одно неловкое движение, и ноготь провалился бы в щель.

Торжествуя, человек поднялся, стал сдувать с предмета пыль, протер его тряпочкой и осторожно, как святыню, положил в коробочку.

Снова сел за стол и задумался.

Неся ногти в абиссинских резных коробочках, человек прошел закоулок, где стояла недорогая дореволюционная энциклопедия, и вошел в свою комнату. Комната была необычайно узка (ее можно сравнить с отрезком коридора) и до предела насыщена влагой. Сыро в ней было до такой степени, что две стены были буквально обнажены от обоев. Серая штукутурка была почти мягка.

У стены, лишенной обоев, стояла, вплотную, его кровать с серыми влажными плоскими подушками и суровым, не менее влажным, одеялом.

У покрытого льдом окна — коробки, сундучки и фанерные ящики из-под фруктов. На отжившем расклеившемся письменном столе — конвертики, свертки, пузырьки, книжки, каталоги, владельцем комнаты самим сочиненные.

В шкапу хранились бумажки исписанные и неисписанные, фигурные бутылки из-под вина [1], высохшие лекарства с двуглавыми орлами, сухие листья, засушенные цветы, жуки, покрытые паучками, бабочки, пожираемые молью, свадебные билеты, детские, дамские, мужские визитные карточки с коронами и без них, кусочки хлеба с гвоздем, папиросы с веревкой, наподобие рога торчащей из табаку, булки с тараканом, образцы империалистического и революционного печенья, образцы буржуазных и пролетарских обоев, огрызки государственных и концессионных карандашей, открытки, воспроизводящие известные всему миру картины, использованные и неиспользованные перья, гравюры, литографии, печать Иоанна Кронштадтского, набор

---

[1] Некоторые из них должны были изображать великих поэтов, писателей, деятелей науки, политики.— *Примеч. автора.*

клизм, поддельные и настоящие камни (конечно, настоящих было крайне мало), пригласительные билеты на комсомольские и антирелигиозные вечера, на чашку чая по случаю прибытия делегации, на доклады о международном положении, пачки трамвайных лозунгов, первомайских плакатов, одно амортизированное переходящее знамя, даже орден черепахи за рабские темпы ликвидации неграмотности был здесь.

С гордостью человек окинул взглядом комнату. Все это человек должен был систематизировать и каталогизировать. Все это он должен был распределить по рубрикам.

Он сел на свою сырую постель, тоже заваленную всевозможными предметами. Он осторожно вытянул ноги, весь пол был покрыт предметами.

Он снял сапог и взглянул на визитные карточки, ему жаль было ложиться спать. Ведь можно было еще поработать.

Он поднял с полу свежепринесенные визитные карточки, стал просматривать их, расшнуровывая второй сапог.

LOGUINOFF
Capitaine aux gardes.
Aide de camp son Altesse Royale le duc
ALEXANDRE de Vurtemberg[1]

— К какому же разряду эту голубую женственную карточку отнести? Пожалуй, таких карточек не очень-то много на свете существует. Назовем пока этот разряд — экзотические визитные карточки.

Владимир Христианович
Хольм

Представитель Администрации по делам «Р. Кольде».

Вознесенский пр., 36 тел. 235-59

---

[1] Логинов, капитан гвардии. Адъютант его светлости герцога Александра Вюртембергского (*фр.*).

— Карточка представителя частной торговой фирмы начала XX века.

Иван Иванович
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ.

— Вот куда эту отнести — совсем неизвестно. Профессия не обозначена, а фамилия запоминается. Может быть, он был присяжный поверенный? Поставим знак вопроса. Справимся по «Всему Петербургу». Придется завтра пойти в Публичную библиотеку.

Карточки под мрамор, перламутр, слоновую кость, с траурными кантами, золотыми обрезами он положил на чистенькое место, чтобы они не запылились.

Завтрашнюю ночь он посвятит визитным карточкам.

Человек стал снимать тужурку, но заметил, что на стуле лежат этикетки от баклажанов.

«Жена у меня золото,— подумал он,— она обо мне заботится».

Эта комната казалась заманчивой его ребенку. Из спичечных коробок так хорошо раскладывать домики, интересно рассматривать картинки с тетями и зверями, с цветочками, доламывать сломанные часы. Но злой папа не позволяет играть, он даже не впускает в комнату свою Ираиду, даже попорченных жуков не дает отец своей дочке, даже поломанных бабочек.

Ведь надо иметь и образцы порчи, образцы зигзагов излома, классифицировать всевозможные повреждения от паразитов, от падения, от неаккуратного обращения.

Зуб, попорченный костоедом, прибавлял к другим зубам, стоптанные каблуки к другим стоптанным каблукам, поврежденные пуговицы к другим поврежденным пуговицам.

Все это размещалось по коробочкам, по конвертикам, надписывалось.

Когда у систематизатора родилась дочь, он сказал жене:

— Я не перевариваю детей до году.

Но однажды, когда из комнаты все ушли, он подошел к колыбели и попробовал, мягкие щеки у ребенка или нет, и задумался: он видел, как дочь подрастает,

как у нее отрастают волосы и ногти, как выпадают молочные зубы, волосы и ногти он стрижет, зубы собирает в коробочки, у дочери появляются подруги, у подруг тоже волосы и ногти отрастают, молочные зубы выпадают.

Дочь его собирает эти предметы для отца.

Ласково склонившись, смотрел отец на свое произведение.

Он видел:

Вот дочь ловит всяких мух и приносит ему.

В школе собирает для него огрызки карандашей, выменивает фантики, подбирает для него разные бумажки, первые пробы пера, черновики классных работ.

Вот она уже взрослая и помогает ему в деле систематизации.

«Да,— подумал он,— недурно иметь ребенка».

Систематизатор посещал обладателей мелочей.

Работы у преподавателя голландского языка было достаточно. Скопидомов в городе много.

Бухгалтер Клейн, например, копил все с изображением Петербурга, от открыток до пивных этикеток. Престарелый донжуан, режиссер небольшого театрика,— свистульки, киноактер — дамские перчатки. Были собиратели обрывков кружев, кусочков парчи, бисеринок, дамской отделки.

Для всех этих людей город являлся золотым дном, северным Эльдорадо, новым Геркуланумом и Помпеей.

Названные лица все свободное и не совсем свободное время тратили на раскопки.

Они раскапывали комнатки еле двигающихся старушек и старичков, у которых что-либо еще сохранилось.

Одолеваемые страстью к собственности, другие собирали не предметы, а нечто нематериальное... но обладающее известным вкусом и запахом,— например, ругательства, анекдоты, красивые фразы из книг, обмолвки, ошибки против русского языка.

Одни из скопидомов погружались в гордые мечты, преувеличивая эстетическую ценность некоторых предметов (кружев), другие объясняли свое накопление (дамские перчатки) желанием написать особую книгу «История дамских перчаток», третьи — любовью к зрелищам, радующим глаз (парча).

Так жил систематизатор среди этих своеобразных

капиталистов, бандитов и разбойников, не брезговавших кражей, похищением ценных для старичков и старушек, часто лишь по воспоминаниям, предметов. Эти собиратели были настоящие эксплуататоры, неуловимые, жестокие и жадные.

Они незаметно своих знакомых превращали в своих рабочих, они путем морального воздействия заставляли их трудиться в пользу частного накопления.

В этой части общества существовала не регламентированная государством меновая и денежная торговля, купля и продажа, неуловимая для финансовых органов. Здесь платили довольно дорого за какую-нибудь табачную этикетку первой половины XIX века, за какую-нибудь фабричную марку, покрытую позолотой.

Эти эксплуататоры не брали патента, они жили вольной разбойничьей ассоциацией. В невозможных для частного накопления условиях они все же, обойдя все законы, удовлетворяли свою страсть.

Жена систематизатора уехала с ребенком на дачу в Левашово.

Жулонбин не поехал, он предпочитал не расставаться со своим богатством.

Но он, конечно, проводил свое бедное семейство на вокзал и обещал при первой возможности навестить.

На прощанье Жулонбин сказал:

— Ты сама видишь — они заплесневели.

Систематизатор даже облегченно вздохнул после отъезда своих домашних на дачу.

Он внес свои вещи в комнату жены.

За зиму все это в сыром помещении страшно пострадало.

Спичечные коробки покрылись плесенью, расклеились, перья заржавели, на огрызках карандашей краска разбухла, афиши стали неимоверно влажными и готовы были расползтись.

Систематизатор стал раскладывать и расставлять свои богатства.

На подоконник положил спичечные коробки и огрызки карандашей.

«От солнца могут выгореть краски»,— подумал он.

Снял Жулонбин вещи с подоконника.

Он обратил внимание на черную резную этажерку.

Он снял с этажерки фарфоровый грациозный бюстик

Жанны д'Арк, бронзированную кошечку-скопидомку, статуэтку цвета морской волны, изображавшую голую женщину с распущенными, длинными, до пят, волосами.

Отнес все это в угол комнаты.

Расположил пестрые экспортные спичечные коробки с аэропланами, Пандорой, римскими колесницами, пальмами, скачущим жокеем, пантерами, тиграми, оленями, гербами государств, видами островов, с надписями на китайском, арабском, английском, французском и других языках.

Пандора сильно пострадала, плесень выела белое лицо, босые ноги и часть рыжих волос.

Систематизатор осторожно стал отдирать афиши одну от другой и класть на постель своей жены.

Окно было раскрыто, и в комнату проникал запах дрожжей, исходивший от расположенного напротив пивоваренного завода.

Жулонбин сел на подоконник боком и предался размышлению.

Он думал о том, что можно соединить приятное с полезным, что теперь, может быть, удастся, благодаря отъезду жены, расставить и разложить в этой комнате множество вещей в известном порядке, и тогда легче будет систематизировать.

Он стал освобождать комнату жены от громоздких предметов, посуды, фикусов, кактусов, скатертей, сундуков с имуществом жены.

Вместо посуды на безногий буфетик с зелеными пупырчатыми стеклышками он поставил набор сухих свадебных букетов.

Под круглым зеркалом с изображением фонтана, на столике, обтянутом кисеей, он разложил вынутые из аптечных коробочек всевозможные жетоны, значки ОДН, ОПТЭ, ОДР, флажки, обозначающие отрасли промышленности, ордена.

На обеденный стол он стал наваливать лозунги и плакаты.

Ребенок подрастал. Тайком от отца девочка стала собирать спичечные коробки, но только в отсутствие отца она могла играть ими. В отсутствие отца она строила домики.

Отец сам стриг своей дочери ногти, матери он запретил это занятие.

Таким образом, благодаря своему отпрыску, систематизатор приобретал ногти нужной ему длины и формы. Таким образом, он получил добрую сотню вариантов.

Что бы ни приносила в дом дочь — все отбирал отец. Девочка не понимала и плакала.

— Да дай же ребенку поиграть! — говорила жена своему мужу.— Ограничь же в конце концов свою ненасытность. Собирать можно, но собирание стало для тебя культом, нельзя же так в конце концов! Дай ребенку порезвиться, ведь детство бывает только раз в жизни.

Она перестала впускать отца одного в свою комнату.

Всегда ее комната в ее отсутствие была заперта на ключ. Комната систематизатора тоже была заперта на ключ.

Но жена знала, что все равно муж ее обворует.

Она жила в вечном страхе, что муж проникнет и похитит фантики, похитит бумажные кораблики, разрозненные колоды карт, кубики, азбуку.

Муж надеялся, что жена постарается восполнить пробелы и, таким образом, в конце концов эти набеги не повредят дочери, а ему принесут даже пользу. Появятся новые предметы, которые когда-нибудь можно будет взять.

Следил отец, как подрастают локоны у дочери.

Раз в отсутствие жены посадил систематизатор дочь к себе на колени, дал ей поиграть сломанным восковым гусем, взял незаметно ножницы и отрезал предмет восторга жены — детский локон. Другой оставил, пусть подрастет еще. Может быть, и цвет переменится, какой-нибудь новый оттенок появится.

Вернувшись из очереди, жена увидела совершенное и почувствовала отвращение к мужу.

— Нельзя же быть таким бесстыжим! — закричала она и заплакала.— Если ты не хочешь, чтобы я ушла с ней, не смей к ней прикасаться и пальцем, стриги волосы и ногти у своих знакомых, а моей дочери я тебе не отдам.

— Брось его! — говорила подруга.— Это не человек, а какой-то крокодил.

Но Клавдии жаль было его бросить, Клавдии казалось, что вот муж перестанет перебиваться случайными уроками, все пойдет по-новому. Он поступит на службу, у него появятся новые интересы, он увлечется

работой, он расстанется с мало симпатичными ей собирателями спичечных коробок, тростей, свистулек, а главное — с этим постоянно шляющимся к ним покупателем ругательств.

Да, этот врач крайне несимпатичная личность, насквозь прожженный циник. Небольшого роста, пузатый, с выпученными глазами, он всюду собирает ругательства. Видно, что он своей ролью наслаждается.

— Вот какое я ругательство подцепил! — И радостно хохочет.— Да, я в свое удовольствие живу!

Клавдия задумалась.

А в это время дочь вытащила белье из нижних ящиков комода и разбросала по полу. Подошла к плите, раскрыла книгу и начала ею золу выгребать, рассыпала карандаши и всю себя разрисовала.

Всплеснула мать руками:

— Это ты что же?

Вымыла девочку и пошла с ней гулять.

Стала она гулять с дочкой по скверу.

Увидала Ираида девочку с большим голубым мишкой, берлинской игрушкой.

— Мама, мишище-то, мама, мишище-то! — стала повторять она и рваться от матери.

Ходили они за этой девочкой, обладательницей резинового зверя, около часу, все смотрели на мишку.

— Мама, лапку, мама, хоть за лапку подержать.

Женщина, девочка, надутый воздухом мишка сели на скамейку. Состоялось знакомство.

Девочка дала другой девочке подержать мишку за лапку. Матери разговорились.

Глава II

ПОИСКИ СОЛОВЬИНОГО ПЕНИЯ

Тридцатипятилетний человек проснулся. Глаза его были закрыты. Он знал, что если только он раскроет глаза, то ему уже не удастся узнать, видел он сон в эту ночь или нет, поймать быстро исчезающее, если на него вовремя не обратить внимания, сновидение. Лежать утром с закрытыми глазами он решил еще вчера, потому что он чувствовал, что больше не может жить без своего сновидения.

Он лежал неподвижно, погруженный в себя, и силился вспомнить, но вспомнить ничего не мог.

«Между тем все люди видят сны, только не всем дано запоминать их — закреплять в ощутимых образах. Не яблоки ли я видел? — думал Локонов.— Не себя ли я видел маленьким мальчиком, ворующим яблоки?»

Локонов лежал с закрытыми глазами. Сон, виденный им, волновал его.

«Что все это значит,— думал он,— что могло вызвать это сновидение?»

Но постепенно из-под этого сна выплывал другой сон. Локонов понял, что он едет в трамвае на свидание с собой и видит, что вот там на панели, у Публичной библиотеки, стоит он, Локонов, и вот из-под этого сна вырастает еще сон...

«Где же мой прекрасный сон, где же сон моей юности!» — почти воскликнул Локонов и раскрыл глаза.

«Что ж, встанем, почитаем Артемидора,— подумал он иронически.— Нет, нет, почитаем лучше о любви. Не почитать ли «Il Corbaccio» [1], или «Азоланские беседы» Пьетро Бембо, или «Il Cortegiano» [2] Бальтазаро Кастильоне, или, может быть, «Картины супружеской любви» доктора Венетта, или, может быть, индусскую книгу «Кама-сутра». Но не лучше ли попасть в живое высокое женское общество?»

Локонов вспомнил, что вчера его пригласила на свое рожденье одна дама, знакомая его матери.

«Надо пойти. Наверно, там будет и молодежь,— думал Локонов.— Милые лица, задушевные разговоры. Надо окунуться в молодое женское общество».

Долго Локонов приводил себя в порядок.

На улице он открыл в своей походке нечто, что его ужаснуло. Это уже не был легкий шаг юноши.

Локонов вошел в длинную комнату, всю заставленную громоздкой мебелью. Он окинул взором комнату. Бюро грушевого дерева, старинный комод, зеркальный шкаф, портрет оперного артиста с надписью.

Натоплено.

Сидят две пожилые грушевидные дамы; молоденькая, тоненькая, как хлыстик, барышня и пожилой инженер.

---

[1] «Ворон» (*ит.*).

[2] «Придворный» (*ит.*).

— Не заграничный ли у вас галстух? — после первых приветствий спросила Локонова близорукая, седая, лет пять тому назад омолодившаяся дама.

Локонов ответил, что у него галстух самый простой, не заграничный.

— Но, может быть, у вас ботинки заграничные? — спросила дама.— Подумайте, у меня в Париже остался целый сундук трофимовских туфель. У меня и сейчас есть заграничные туфли,— пояснила она, смотря на ботинки Локонова,— только я носить их не могу, пятки они до крови стирают. Как вы думаете,— обратилась она к другой пожилой даме,— что, если дать кому-нибудь их разносить, я думаю, тогда им и сносу не будет, лет пять можно будет носить? Ах, какая у вас сумочка,— повернулась она к молоденькой девушке,— наверно, заграничная,— и, не слушая ответа, продолжала: — У меня есть дивный бювар, зеленый сафьян. Не знаю, кому заказать. Работают все теперь так грубо, только кожу испортят, да и замков изящных нет, а сумочка из него вышла бы модная. И вот, на днях,— обратилась она к пожилому инженеру,— была я на Николаевском вокзале. Мне страшно захотелось пить. Как они едят, как они едят,— прервала она себя,— каждую косточку обсасывают, а от компота косточки плюют прямо на стол. А я, знаете, к этому не привыкла. У меня была дивная сервировка. Вообразите, весь стол усыпан гвоздиками, резедой, розами! Бедные, бедные цветы, они вянут! На эти цветы ставились приборы, тарелки, закуски, вина.

Локонов чувствовал себя не совсем хорошо в этом обществе.

«Душа общества» продолжала:

— Еду я в трамвае, и вдруг незнакомый господин мне говорит:

«Гражданка, у вас на шляпе плевок!»

«Как мог попасть на мою шляпу плевок?» — подумала я. Но все же я сняла шляпу. И что ж вы думаете, действительно, плевок. Пришлось вытереть носовым платком. Стала я делать разные предположения, как мог попасть на шляпу плевок. Должно быть, кто-нибудь рассердился, что я сижу, а ему приходится стоять. Взял и плюнул.

Локонову хотелось молодости. Он подсел к худой, как хлыстик, девушке.

Она оживилась.

— Я работаю на «Электросиле»,— сказала она.— У нас работает много иностранцев. И каждый иностранец имеет право пригласить в «Асторию» двух знакомых дам. Вот однажды подходит ко мне иностранный инженер и говорит:

«Не хотите ли вы вместе с вашей подругой пойти со мной пообедать в «Асторию»?»

А я ему говорю: у меня не одна, а две подруги.

«Но, милая барышня,— ответил он,— мы ведь имеем право брать только двух дам с собой».

И вот он мне рассказал:

«Дамы, которые с нами там бывают, совсем не умеют есть. Они не знают, где нужно прибегать к помощи ножа и что вообще не следует злоупотреблять ножом. Они, например, режут беф-строганоф ножом».

— Я теперь служу машинисткой,— обратилась девушка к Локонову,— но я хочу стать переводчицей и обслуживать иностранных специалистов. Это моя мечта. Как вы относитесь к этому?

Опять в ушах Локонова раздался голос хозяйки, помнившей, что следует занимать гостей.

— Подумать только, какие я подарки делала. Прислуге, например, подаришь зеркальный шкаф или кровать, просто потому, что мне не нравится.

Хозяйка помолчала.

— Подумайте, какая я непрактичная!

Локонов обвел общество взглядом визионера. Голос дамы доносился как бы издалека. Девушка, сидевшая с ним рядом на диване, казалась ему неполным созданием, ей чего-то не хватало. Ему казалось, что и всему обществу чего-то не хватает, что оно к чему-то не причастно. Он чувствовал, что сидит в обществе, лишенном душ, обладающем только формами, как бы в плоскостном обществе.

Но тут вошла Юлия.

Глава III

ТОРГОВЕЦ СНОВИДЕНИЯМИ И ПОКУПАТЕЛЬ

Сновали скупщики, перекупщики, спекулянты, менявшие одно на другое с выгодой для себя в денежном или спиртовом отношении.

Конечно, эти спекулянты не пировали под пальмами где-нибудь в роскошной гостинице, там, где останавливались иностранцы, на это у них пороху не хватало, они не купались в мраморных ваннах и не неслись на автомобилях, они довольствовались малым, какой-нибудь попойкой на дому, чаепитием в семейном доме.

Сегодня Анфертьеву повезло: он на барахолке у человека, торговавшего заржавленными напильниками, сломанными замками и позеленевшими пуговицами с орлами, дворянскими коронами и символами привилегированных учебных заведений, купил медное крошечное мурло с зубастым ртом до ушей и торчащим, прямым, как палка, носом.

— Что это за дрянь? — спросил Анфертьев, делая вид, что не понимает.

— Это для ключей,— ответил торговец.— Крюк.

— Для ключей-то не надо,— сказал Анфертьев,— вот если бы это был гвоздик с шапочкой, то можно было бы на него картину повесить!

— Что ж, и картину на этот нос можно повесить...

— Нет, не подходит,— ответил Анфертьев,— мне нужен гвоздь с бронзовой шляпкой в виде розы, нет ли у вас такого?

— Гвоздей нет. Берите это, прикроете гвоздь этой личностью, как шапочкой, почистить мелом, конечно, надо, недорого обойдется.

— А сколько возьмете? — вяло, как бы нехотя, спросил Анфертьев, делая вид, что идет дальше.

— Да берите за двугривенный.

— Двугривенный дорого, гривенник дам.

Вот и купил Анфертьев японскую пряжку от кисета для табаку.

«Три рубля есть, как пить дать,— подумал, отходя, покупатель,— еще бы на три рубля достать, и сегодняшний день пройдет что надо».

Он остановился и стал слушать, не ругается ли кто-нибудь.

Нет, здесь у забора никто не ругался.

Анфертьев пошел дальше по рядам.

«Эх, два бы ругательства достать,— подумал перекупщик,— только бы два ругательства — и рубль денег в кармане. Три да рубль все же четыре».

Он сел на корточки и стал рыться в бумажном хламе.

— Сколько возьмете за это? — спросил он, рассматривая детские рисунки.

— Давайте двугривенный,— ответила баба с лицом пропойцы.

— Двугривенный дорого,— ответил Анфертьев,— вот три бумажки за пятачок возьму, обратную сторону использовать можно!

— Да что ты жмешься! — возмутилась женщина,— ведь бумага, я ее дороже на селедки продам...

— Пятачок! Хочешь отдавай, не хочешь — не надо.

Анфертьев улыбнулся.

— Ну, бери, жмот...— выругалась женщина.

«Еще тимак...— подумал Анфертьев,— эхма, где наша не пропадала...»

В узком каменном доме, украшенном львиными головками, ночью сидели преподаватель голландского языка и бывший артист, ныне, ввиду большого спроса на технический персонал, чертежник, Кузор.

— А нет ли у вас двойных свистулек? — спросил Жулонбин.

— Есть несколько, поломанных.

— Вот и прекрасно,— сказал, радуясь, Жулонбин.— Меня ломаные предметы больше цельных интересуют. Я рассмотрю ночью и постараюсь найти для них классификацию.

— А сновидения вы не пытались собирать? — спросил чертежник.— А то у меня есть один знакомый, он сны собирает, у него препорядочная коллекция снов. Какой-нибудь профессор дорого за нее дал бы! У него есть сны и детские, и молодых девушек, и старичков.

— Познакомьте меня с ним,— взмолился Жулонбин. Руки у систематизатора задрожали.

— Охотно,— покровительственно ответил Кузор,— хотите, мы завтра отправимся к нему.

Всю ночь не спал Жулонбин. Он видел, что он собирает сновидения, раскладывает по коробочкам, надписывает, классифицирует, составляет каталоги.

У Локонова уже стоял Анфертьев и продавал ему сны, записанные у старичка.

— Сон Ивана Иваныча из ряда вон выходящий,— говорил Анфертьев,— меньше, чем за два рубля, не от-

дам. Любителей-то у меня много, а такие сны попадаются не часто.

— Но ведь это страшно дорого,— настаивал Локонов,— за нечто нереальное платить такие деньги.

— Как нечто нереальное? — возражал Анфертьев.— Сон-то и есть высшая реальность, во сне-то человек весь раскрывается.

— Вы правы,— согласился, смутившись, Локонов.

— Да пусть это будет и не реальность, а сказка, и за сказками другие за тридевять земель ездят, тьму денег тратят. Нет, как угодно, дешевле никак нельзя.

— За все принесенные вами сны дам я вам три рубля,— твердо сказал Локонов.

— Помилуйте, ведь это грабеж! — взмолился Анфертьев.

«Ну, да ладно, на чем-нибудь другом наживу»,— подумал он и, вздохнув, согласился.

— А теперь попьемте чайку,— ласково предложил Локонов.

К чайку-то и подоспели чертежник и преподаватель голландского языка.

— Скоро, скоро,— воскликнул за чаем Анфертьев, обращаясь к Кузору,— будет у меня для вас новенькая свистулька, уж я присмотрел у одного старичка! Уломать придется! «Память! — говорит,— не продается!»

— А для вас у меня есть детские картинки,— сказал Анфертьев Жулонбину.— А вот для одного покупателя я достал серебряный футляр для ногтя!

— Покажите мне его,— попросил Жулонбин.

— Да нет, я его не взял с собой,— ответил Анфертьев.

Он видел, как задрожали руки у Жулонбина.

— Это музейная вещичка, ее нужно хранить как зеницу ока! Детские картинки желаете посмотреть?

У Жулонбина ни гроша не было с собой.

— А вот сон одного молодого человека. Образования молодой человек превосходного, а ведь вот какой сон увидел. Сон, можно сказать, на вес золота. Прочесть, а, прочесть? — спросил Анфертьев.— Только условие: рубль, не меньше, это, можно сказать, не сон, а целое полотно, ужасная картина. Вот представьте себе молодого человека, сидит он, книжки читает, а на подъеме у него образовалась как бы мозоль. Взглянул, увидел, не мозоль это, а глаз с совершенно ровны-

ми веками, с ресницами, но без зрачка. Испугался молодой человек, снял туфлю, стал осторожно сапог надевать, чтоб никто не заметил. Надевая, попробовал глаз открыть, но глаз хотел спать. У меня это все в точности, аккуратно записано, много подробностей, и цвет глаза, и все, и недорого, рубль всего.

Анфертьев опрокинул рюмочку.

— Не хотите это — другой сон предложу!

Анфертьев стал ощупывать карманы.

— Неужели потерял? Вот на этом лоскутке бумажки как будто... Нет, на другом... Не сон, а ужасная драма в пяти частях: «Двое служащих и отрезанная голова девушки». Такой картины и в кинематографе не увидите, только в детективном романе прочтете! Спит бухгалтер и во сне видит, что все спят в тресте, но он не спит и его начальник не спит. Видит бухгалтер, они мило беседуют. Вдруг замечает, что его начальство с ужасом смотрит наверх, а наверху из гигиенического матового абажура отрезанная голова пишбарышни торчит и улыбается.

— Это все хорошо,— ответил покупатель,— но мне хотелось бы побольше снов лирических, ужасных снов достаточно у меня скопилось, знаете, нужно сохранять во всем равновесие. Сейчас мне лирические сны нужны.

— Что ж вы не предупредили,— возразил Анфертьев, опрокидывая рюмочку,— ведь на прошлой неделе нам как раз ужасные сны нужны были, а теперь вы от них отказываетесь, другие вам сны нужны! Если б я знал, я бы достал для вас лирические сны. Хотя, одну минутку, подождите, как будто один лирический сон есть. Ах, нет,— сказал он сокрушенно, пробежав бумажку глазами.— Не лирический сон, а комический, хотя и со стихами, а со стихами сны не очень-то часто встречаются.

Покупатель заинтересовался.

— Какие стихи? — спросил он.

— Стихи-то комические, не подойдут,— сказал торговец.

— Все ж прочтите,— настаивал покупатель.

Анфертьев прочитал по бумажке:

Вот идут опять,
Вот идут, смотри,
Морда номер пять,
Рожа номер три.

— Не подойдет,— сокрушенно сказал покупатель,— сейчас мне нужны лирические сны.

Локонову сейчас, действительно, хотелось лирических снов, он был влюблен в одну девушку и не пользовался взаимностью. Она не замечала его. Ему хотелось утешиться снами, купить небольшое количество снов о любви с какими-нибудь прелестными пейзажами, с каким-нибудь берегом моря, с какими-нибудь альпийскими вершинами, с какой-нибудь возвышенной и трагической любовью.

— Хорошо,— помолчав, сказал Анфертьев.— Есть у меня одна дама, она видит красивые сновидения, каждую ночь красивые сны видит с туберозами, с верандами, с пикниками, с танцами. Только трудно будет достать, расходы будут.

— Хорошо, я у вас возьму ужасные сны,— сказал Локонов,— ведь вы не виноваты, ведь мне действительно в прошлый раз хотелось ужасных снов, хотелось как-то взвинтить себя.

Кузор и Жулонбин играли в шахматы. Они знали, что покупателю и торговцу не следует мешать, они делали вид, что ничего не слышат и не видят, что они погружены в шахматную игру.

После ухода Анфертьева потребитель снова сидел мрачный и задумчивый. Сам он утерял способность видеть сны.

Жулонбин и Кузор вышли вместе.

— У матери Локонова,— сказал мечтательно Жулонбин,— должно быть, много интересных вещей сохранилось. Вот бы ее пощипать...

— Да неудобно,— ответил Кузор,— все же она моя хорошая знакомая.

— Да, конечно,— согласился Жулонбин, думая, что лучше действовать одному.— Конечно, вы правы.

— Я слышал, у вас хорошо представлены спичечные коробки,— сказал Кузор,— вот бы мне взглянуть. Вот новость! Существует общество собирания мелочей старого и нового быта. Где оно помещается — не знаю, слухи носятся, что они достали замечательную коллекцию японских спичечных коробков. Японские — не чета нашим, в виде старинных гравюр, с кругло-

лицыми богами и длиннобородыми духами, с лотосами, воздушными пейзажами. Вообще нам бы следовало с этим обществом связаться. Не знаете ли вы, где это общество помещается? Говорят, его основал какой-то инженер, связался с Японией, Польшей и чуть ли не с Индокитаем.

— Не слышал,— ответил Жулонбин,— только ведь меня рисунки на коробках не интересуют, меня совсем другое интересует.

— Да, да,— сказал Кузор,— вас и содержание автографов не интересует. А правда, вы собираете огрызки карандашей? — добавил он.— И человеческие пупки тоже? Про вас ведь тоже ходят целые легенды!

Жулонбил выпрямился.

Он сказал:

— Однако мне пора, вот и мой дом. Все же, пожалуй, нам следует связаться с кружком инженера.

Ночью Жулонбин разложил спичечные коробки.

«Да,— подумал он,— а японских-то нету. А классификация будет неполной без японских, и совсем непростительно, потому что, оказывается, японские в нашем городе существуют. Необходимо познакомиться с этим инженером. Анфертьев, подлюга, знает, что мне футляр для ногтей нужен, вот и дорожится!»

Утром, в отсутствие жены, украл Жулонбин у своей дочери ботиночки, взял и, спрятав под пальто, отнес их к Анфертьеву.

Анфертьев сидел, держа огурец, на табуретке и курил.

Башмачки были совсем новенькие.

— Я хотел бы купить у вас китайский футляр для ногтя,— сказал Жулонбин,— покажите мне его.

— Лучше бы калоши,— сказал Анфертьев,— калоши легче продать. В торговом деле быстрый оборот нужен. Эти-то ботиночки, пожалуй, не скоро купят. Ну, ладно, раз принесли, взять нужно. Заплатите тимак, и футляр для ногтей ваш.

— У меня нет с собой денег,— ответил Жулонбин.

— Хоть двугривенный, без денег никак нельзя,— сказал Анфертьев.

Жулонбин поискал в карманах, нашел пятиалтынный.

— Пятачок за мной будет,— сказал он.

Анфертьев покачал головой.

«До чего страсть людей доводит»,— подумал он.

— У меня еще к вам дело,— сказал Жулонбин.— Не знаете ли вы инженера, у которого японские спичечные коробки имеются?

— Не знаю,— ответил, заинтересовываясь, Анфертьев,— попытаюсь узнать. Это и меня интересует. Кто вам про этого инженера говорил?

— Да, говорят, целое общество есть, интересно с ним связаться,— сказал Жулонбин.

«Ладно,— подумал Анфертьев,— узнаем».

Следом за Жулонбиным вышел Анфертьев. Ударяя ботиночек о ботиночек, шел Анфертьев по улицам к рынку. Подходя к рынку, стал выкрикивать:

— А вот, кому надо детские ботиночки, налетай!

Анфертьев был черноволос, косоглаз, смугл, похож на цыгана. Мать его, француженка, пела когда-то в итальянской опере. Анфертьев утверждал, что его мать — племянница Гюстава Доре. Отец Анфертьева был присяжный поверенный. Анфертьева некоторые обстоятельства заставили стать пропойцей. Сейчас он был доволен своей долей, он жил весело, по воскресным дням ездил с девицами на Острова.

На травке распивали они бутылочку или дюжинку и нежились на солнышке под кустами акаций, под березкой, сосной или елью.

Если б не пил Анфертьев, то он бы хорошо зарабатывал, но вино губило Анфертьева. Заработает он в день рублей 20 и три дня пьет, пьет до одурения, пьет до тех пор, пока не свалится. Проснется обчищенный и почти голый где-нибудь за городом или на Обводном канале, или за Нарвской заставой, или в Выборгском районе и смеется.

— Как я сюда попал, убей меня Бог, не помню! Вот стервецы, опять меня обокрали!

Соберет у клиентов денег на опохмелье и пойдет опять торговать. В его комнате, кроме табурета и кровати, ничего не было, только висела фотография Вареньки Ермиловой в форменном платье театрального училища, подаренная Василием Васильевичем.

Василий Васильевич почти любил Анфертьева, до-

ставшего для него гравюры с изображением Тальони в «Сильфиде».

Анфертьев приносил Ермилову безделушки, связанные с балетным миром, он даже обещал Ермилову достать туфлю Тальони, хранящуюся у одного старичка.

— Эй, выпоротый! — раздался окрик и смех.— Кого сегодня на хомут взял?

Анфертьев от неожиданности остановился. Он узнал голос торговца рваными калошами. Казалось, все торговцы и торговки насторожились.

Чувствуя, что на него смотрят и что сейчас его недруг все расскажет и его опозорит, что даже это мерзкое общество будет смеяться над ним, Анфертьев, не оборачиваясь, скрылся в толпе торгующих с рук.

Деловое настроение было прервано.

Хотя утром он опохмелился, все же снова начало сосать у него под ложечкой.

Он бродил по рынку улыбаясь, вспоминал, как его красные насильно мобилизовали, как белые, взяв его в плен, выпороли за то, что он, будучи офицером, служил у красных, как затем красные, победив, его чуть не расстреляли за то, что он служил у белых в качестве переводчика, как англичане удрали, оставив его на произвол судьбы, и как затем он полюбил свободную жизнь, в которой, собственно, он чувствовал, никакой свободы не было.

Продав ботинки, подсчитал Анфертьев деньги и снова запил. Слоняясь по улицам, запел во все горло:

Ночи безумные, ночи веселые
Вновь ароматом полны,
Вот и звезда зажглась одинокая,
Чудятся ласки твои.

Он останавливался и бормотал: «Скучно мне, скучно мне». Садился на ступеньки под аркадами Александровского рынка, в чем-то убеждал себя, пил водку и заедал воблой.

Проведя лихо время на Островах с доступными ему женщинами, Анфертьев снова оказался без копейки. Голова ужасно болела, сердце работало крайне медленно, опохмелиться было необходимо.

Еле-еле добрался Анфертьев до главного проспекта, снял с себя рваный пиджак, расстелил его с пьяной аккуратностью на панели, стал на колени, положил перед собой свою серую подушку-кепку и застыл с обнаженной головой. Так стоял он довольно долго.

Кое-какой капитал начинал образовываться в его кепке. Анфертьев следил за ростом своего капитала, прикидывая в уме, скоро ли хватит на бутылочку. Время от времени он незаметным движением вылавливал часть серебрушек и медяков и опускал их в карман, часть оставлял в виде приманки. Наконец он поднялся, надел кепку и пиджак и вошел в кооператив.

Тут же под воротами он осушил мерку.

— Все в порядке,— сказал он.

Стало легче и даже почти радостно. Но к торговле приступать было рановато. Оставшийся капитал был невелик. Анфертьев снова опустился у водопроводной трубы. Стоя на коленях, он стал раздумывать о торговле.

«Сейчас Локонову нужны сны лирические,— думал Анфертьев,— но со временем ему могут понадобиться сны фантасмагорические,— если его любовь окажется неудачной,— с горами, пропастями, опасными для жизни мостами, с невиданными, ослепительно белыми городами. Затем, возможно, ему понадобятся сны о мировой войне, сны политические, о революции и о пятилетке, но сейчас нужны ему лирические сны, сны о возвышенной любви».

Пьянице хотелось помочь молодому человеку. Анфертьев вспомнил свою молодость, и так грустно ему стало, что он смахнул слезу и стал думать о другом: «Вот девушка видит сон, ей кажется, что она трамвай, она едет и звенит, ей очень весело, она чувствует, что наполнена людьми. Хороший сон, очень хороший сон,— подумал Анфертьев,— может быть, она, милая, была беременна и страдала, а вот во сне получила облегчение».

Прохожие бросали медяки в кепку Анфертьева.

Вечером преподаватель голландского языка проходил по Кабинетской улице. На углу он заметил коленопреклоненную фигуру. Коленопреклоненная фигура кланялась прохожим и что-то бормотала. Систематизатор подошел ближе, желая расслышать слова. Стоящий на коленях Анфертьев бормотал и кланялся, кланялся и бормотал:

— Помогите кулаку раскулаченному.

Анфертьев, заметив Жулонбина, прекратил бормотание, поднялся и исчез в тумане.

Придя домой и пересчитывая гроши, Анфертьев не мог понять, как люди могут нуждаться. Вот он, например, нет у него денег, опустится на колени на улице, снимет шапку, протянет руку — и дают. Постоишь часа четыре и соберешь.

Иногда Анфертьев поступал иначе, он любил разнообразие.

— И иначе можно заработать деньги, встать на рынке и запеть. На рынке голос иметь не важно. Тоже подают.

Частник изучал своих покупателей, догадывался об их потребностях, все более и более он расширял ассортимент своих товаров, открывал все новые воображаемые магазины. Это было похоже на азартную игру. Торговля увлекала косоглазого человека.

— Я сегодня открыл новый магазин,— сказал Локонову Анфертьев.— У меня большой выбор уличных песен, если услышите, что кому-нибудь из ваших знакомых они нужны,— прошу вас порекомендовать меня.

— Но ведь они никому не нужны,— возразил Локонов.

— Я знаю, многие молодые люди, чтобы развлечь общество, читают вслух эти песни. Это простое средство стать занимательным человеком, это куда тоньше, чем анекдоты. Я уверен, что этот товар пойдет,— ответил Анфертьев.

— Хорошо,— ответил клиент,— я подумаю, припомню.

— Может быть, и для доклада кому-нибудь понадобятся,— добавил Анфертьев.

— Хорошо, я припомню,— повторил клиент и отошел, закрыв лицо руками, к окошку.

Анфертьев заметил, что клиент его расстроен.

— Любили ли вы когда-нибудь, Анфертьев? — оборачиваясь, спросил Локонов.

Анфертьев понимал, что Локонова совершенно не интересует, любил ли он, Анфертьев, или нет, что это просто движение души.

Торговец стал думать, какие теперь потребности появятся у покупателя.

«Ему теперь не до снов»,— думал он.

Анфертьев не хотел терять покупателя.

Глава IV
ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ

Локонов следил издали за своей любовью. Она шла под руку с незнакомым ему человеком. Видно было, что они идут дружно, в ногу. Локонов чувствовал, что они идут как спешащие и радующиеся всему молодожены, но он не мог оторваться от них и не идти за ними. Локонов шел за ними следом, все же сомневаясь и ругая себя за переизбыток фантазии.

Он сжимал кулаки и был зол на себя за то, что он преследует их, но остановиться у него не хватало воли.

«Это нечестно,— убеждал он себя.— Я ведь не маньяк, не сумасшедший, чтобы преследовать девушку, не желающую иметь со мной ничего общего. Я должен отстать от них».

Но он все шел и шел за спешащей, весело болтающей, радостной парой. Его соперник был юн и, очевидно, о чем-то интересном рассказывал, потому что любовь Локонова хохотала. Они останавливались у витрин магазинов и, рассматривая товары, о чем-то беседовали.

«Острят»,— с тоскою подумал Локонов.

Ему неприятно было, что с другим его любви весело.

Наконец пара скрылась в подъезде какого-то дома.

Локонов видел, что незнакомец пропустил ее вперед, а сам последовал за нею.

Локонов остановился, отошел на угол и стал ждать.

Он ждал долго, до боли в ногах, но пара не появлялась.

Чтобы как-то скоротать время, Локонов стал считать. Он досчитал до тысячи, делая к концу все большие и большие паузы, а скрывшиеся не показывались.

Постоял, постоял Локонов и принялся считать до десяти тысяч.

Он устал считать, а они все не появлялись. Дворник запер ворота. Локонов снова принялся считать.

Дом был какой-то удивительный, зеленый, облупленный, с выступающими на улицу фигурами, с пышным подъездом, с нависающими балкончиками, с удивительно узенькими окнами, с чрезвычайно изогнутой крышей, с газовыми фонарями на извилистых стеблях.

Дом был сдавлен с боков многоэтажными домами без всякой архитектуры, домами, состоящими сплошь из надстроек, тоже облупленными. Первые этажи этих домов были построены в начале прошлого столетия, а

последующие добавлялись по мере роста благосостояния владельцев или по случаю перехода в другие руки.

Переулок был узок, хотя находился в центральной части города, казался забытым, тротуары были чрезвычайно узки и поломаны.

Локонов вообще любил рассматривать архитектуру домов, но такого дома он не встречал в своих частых и одиноких блужданиях.

Этот дом не упоминался ни в книге Курбатова, ни в изящных изданиях предреволюционных лет. Также о нем не упоминалось и в послереволюционных изданиях. Этот дом относился к презираемой всеми архитектурной эпохе, недостаточно отошедшей, чтоб к ней могли отнестись беспристрастно. Это было здание, возникшее в эпоху постройки доходных домов, когда считалось, что постройка дома является наиболее выгодным вложением капитала, когда нотариусы, лакеи, официанты копили деньгу с надеждой построить дом и, таким образом, упрочить свое благосостояние и добиться богатства. Этот же витиеватый дом в четыре этажа казался какой-то дикой фантазией, и было чрезвычайно странно, что он построен именно здесь, в этом доходном переулке.

Так, незаметно для себя, размышлял Локонов.

«Который теперь может быть час?» — подумал Локонов и снова стал считать.

На широкой улице, видной из переулка, исчезли последние прохожие, смолкли звонки трамваев.

Локонов перестал занимать свой мозг цифрами. Он понимал, что ему необходимо уйти, что стоять нечестно, что он унижает себя. Наконец он нашел в себе достаточно силы воли, повернулся и пошел. Но в это время скрипнули ворота. Локонов почувствовал, как учащенно забилось его сердце. Он обернулся. Медленно вышла из-под ворот пара. Видя, что деться некуда, Локонов стал за фигуру. Ему показалось, что любовь узнала его и удвоила шаг. Локонову хотелось бежать за ней и объяснить ей, что он попал сюда случайно, что он не думал ее преследовать, что это очень печальное недоразумение, но он понимал, что она ему все равно не поверит.

Захотелось сновидений оскорбившему себя человеку. Пошел он утром к Анфертьеву, но торгаша в это время не было дома. Уже собирался уходить Локонов, когда повстречался с возвращающимся под хмельком Ан-

фертьевым. Высокие идеи одолевали Анфертьева, он мечтал стать поставщиком госучреждения.

— Ведь вот, существует Институт мозга,— сказал Анфертьев, обрадовавшись, что нашел собеседника.— Ему, несомненно, сны нужны, но как связаться с ним? Вот я и не подумал.

Площадка была узенькая, от Анфертьева неприятно пахло винным перегаром и винегретом. Локонову некуда было деться.

— Будет ли государственное учреждение покупать у меня сны? А между тем мой товар ценен, не вам мне об этом говорить. Ведь если б до нас дошли сны времен французской революции, сны бабефовцев, сны якобинцев, сны времен Директории и времен Парижской Коммуны, какой бы это был ценный вклад в бытовую историю революции,— так сказал бы я. «Я вас понимаю,— Анфертьев пьяно развел руками и поник,— ответит мне директор,— но ведь сметой подобные расходы не предусмотрены. Заключение подобной торговой сделки с частным лицом, действительно, может показаться инспектирующим органам сновидением. Но, между нами говоря, ваше предложение мне кажется ценным. Конечно, советую вам представить не проект с предложением торговой сделки, а просто предложить свои услуги по собиранию снов, может, какое-нибудь ежемесячное вознаграждение мы вам и выкроим, может быть, мы для приличия придумаем вам какую-нибудь должность. Во всяком случае, не теряйте с нами связи».

Анфертьев держал Локонова за пуговицу и не отпускал. Ему хотелось побеседовать и высказать свои сомнения.

— А может быть, там мне и этого не предложат. Ведь могут не предложить? «У нас есть достаточно аспирантов»,— скажут они мне. «Да ведь это все не то»,— тщетно буду говорить я. Куда вы? — спросил Анфертьев Локонова.

— Я вас провожу,— догнал Анфертьев спешащего Локонова.— Вы куда направляетесь?

— Да я просто в саду посижу,— ответил Локонов.

— Посидим вместе,— предложил Анфертьев,— я для вас лирические сны купил.

Локонов молчал. Ему сейчас не очень-то хотелось снов. Ему только казалось, что он за сновиденьями идет к Анфертьеву.

В сквере сидел статистик, бывший преподаватель

пластики, Завитков, курил и скучал после ссоры с тещей.

Локонов хотел прошмыгнуть, но Анфертьев подошел к Завиткову. Пришлось и Локонову поздороваться.

— Вот я видел какой сон,— сказал Завитков Локонову.— Стою я на мосту, солнце со всех сторон. И спереди, и с боков летают аэропланы в виде золотых рыбок. Весь воздух наполнен ими. Все аэропланы пропадают, остается одна золотая рыбка. У нее испортился мотор. Она лежит на мосту и задерживает движение. Открывает пасть, как рыба, когда засыпает. Из ее пасти вылезает, выходит совершенно нагая девушка, берет меня под руку и говорит: «У меня есть билет на «Руслана и Людмилу». Тут сон прерывается, не понять, что дальше было,— продолжал Завитков,— опять я стою, и опять летают рыбы. Тут должна быть рыба, в которой эта девушка находится, решаю я. Начинает одна рыба опускаться, я бегу к ней, думаю, в ней эта девушка, но в это время падает другой аэроплан. Подбегаю, думаю, в нем она. Падают и падают аэропланы. Я бегаю от одного к другому.

Слова Завиткова прервала тут же сидевшая и следившая за ребенком престарелая няня.

— Экие ты сны, баловень, видишь,— сказала она,— это не сон, а прямо срамота. Вот я тебе расскажу сон, хороший сон. У меня ведь сын на войне погиб. Пошла я в церковь Владимирскую, помолилась Николаю Чудотворцу. «Скажи мне, Николай Чудотворец,— говорю я ему,— где мой сын?»

Пришел ко мне ночью мой сын и говорит:

«Я живу далеко».

«Скажи,— говорю я,— живой ты или мертвый?»

«Тело мое пулей убили, а душа жива. Все мы тут живые, мертвых нет».

Худенький такой, тощий.

«Чего ты ешь, как ты живешь?» — спрашиваю я.

«Да я сыт...»

Махнул рукой и убежал от меня.

«Эх ты,— подумал Анфертьев,— я бы его продал. Ничего,— подумал он,— я еще эту старушку порастрясу».

Няня взяла девочку и собралась уходить.

— Много ли ты снов, бабушка, видишь? — спросил Анфертьев, идя рядом со старушкой.

— Ой, родимый, да почти каждый день сны вижу.

У меня сны хорошие, очень хорошие!

— Да ты, бабушка, мне их расскажи. Зачем ты там на скамейке при всех рассказала. Они тебе за них ничего не дадут, а я тебе по пятачку за каждый сон платить буду. Покупать буду.

Деревья шумели.

Анфертьев, няня и девочка в ватном пальто были уже за чугунной калиткой. Они шли мимо Михайловского замка.

— Нешто сны можно продавать?

— Почему же не продать, если покупатель есть,— ответил Анфертьев.

— А тебе на что они, сны-то,— спросила старушка,— ты дороже, что ли, их кому продашь? Я что-то про такую торговлю не слыхала.

— Мало ли, бабушка, чего ты не слыхала,— ответил Анфертьев,— сон такой же товар, как все, только надо иметь покупателя!

— Отступись! — сказала старушка.

— Держу пари, что вы не знаете, кто такой Жулонбин,— задерживая Локонова, сказал Завитков.— Говорил ли он вам, что он новый Казанова? Он ведь еще гимназистом побывал в Египте и Индии, его отец в свое время был известный директор акционерного общества «Самоход». Карманные деньги, получаемые от родителей, он не тратил на сладости, на оловянных солдатиков, кинематограф, а копил и зашивал в специальные мешочки. К пятнадцати годам у него уже было около пятнадцати тысяч золотом. Читал он авантюрные романы о кладах и хотел стать морским разбойником, иногда повяжет голову полотенцем и стоит перед зеркалом — похож он или нет на гения моря. В Сестрорецке мечтал он и о необитаемых островах, куда можно будет складывать добычу, о спасении благородных испанок и о рыцарственном с ними обхождении. Потом французская революция его поразила. «Так может быть и у нас»,— стал говорить он мне и с еще большим азартом принялся копить золото. «Вот родители обнищают,— предугадывал он,— а я буду богат и по дешевке черт знает каких ценных вещей сумею накупить, а потом, после возвращения старого режима, снова обменяю на золото и стану богатейшим человеком...» Мальчиком он стал изучать руководства для

любителей редких вещей, посещать музей в сопровождении англичанки, чтоб при покупке не ошибиться. Он изучал камеи, майолику, фарфор, медали, монеты, картины. Посещал аукционы, готовился к деятельности. Он ждал наступления революции с нетерпением.

«Революция должна наступить,— говорил он,— это совершенно ясно. Довольно — сто лет пожила Европа спокойно, хватит. Четвертое сословие выступает на арену. Совершенно неизвестно, почему оно должно жить как скотина». В гимназии его считали красным. Он стал превосходным знатоком французской революции и погрузился в изучение экономических наук. Семнадцати лет плюнул на свое детское накопление. Стал транжирить золото направо и налево. С француженками в фотоминиатюрах стал знакомство завязывать, с кассиршами кинотеатров, на лихачах ездить, самозванно студенческую форму носить, поить их белым вином и выдавать себя за графа. Был своим человеком в Луна-парке — борьбу любил.

— Но как же он дошел до такой жизни? — из вежливости прервал Завиткова Локонов.

— Свихнулся, должно быть,— ответил Завитков,— а может быть, просто распустил себя.

* * *

Не в духе вернулся домой Анфертьев после неудачного найма работницы.

* * *

Сумерки сгущались все более и более. Девушка зажгла электричество. Локонов был одет более чем бедно. С самой нежной заботливостью он охранял свой, пришедший в явную негодность, костюм. Как с драгоценным, хрупким предметом, обращался он со своими заплатанными и сильно поредевшими брюками. Локонов тщательно избегал резких движений.

Локонов тщетно пытался завязать разговор о зеленом доме и о молодом человеке.

Из окон открывался вид на луну и звезды, на волны крыш и лес радиомачт. Внизу протекал пустой переулок, впадавший в переделанную из канала улицу.

Дальше стояло огромное здание — Дом культуры, и памятник Ленина указывал на него. Позади Ленина был разбит сквер. За сквером возвышалась фабрика-кухня, направо лежал недавно построенный рабочий городок, налево — серенькая деревня.

«Должно быть, тогда, в ту ночь, она моего преследования не заметила, иначе она не была бы так спокойна,— подумал Локонов.— Не разрубить ли сразу гордиев узел, не начать ли так: «Знаете ли вы самое безвкусное здание в Ленинграде — зеленое с голубыми воротами, построенное в глупом стиле второй империи, витиеватое, как торт из крема...» Но вдруг тогда все знакомство внезапно оборвется. Вдруг Юленька встанет и в негодовании укажет ему на дверь... Нет, это невозможно — тогда снова мрак, никакой цели жизни. Уж лучше неизвестность... Или вдруг скажет: «Там живет мой жених», или что-либо еще более ужасное скажет, ведь юность доверчива и откровенна».

Локонов дожил до тридцати пяти лет и еще не испытал первой любви. У него не было воспоминаний о первой встрече, о запоминающихся на всю жизнь прогулках, о беспокойстве, о взаимных подарках, о неожиданных восторгах, возникающих по поводу самых простых слов, сказанных самым простым голосом. Все тогда многозначительно и многозначно для влюбленного. Тысячи смыслов лучатся из слов, природа наполняется содержанием и становится заметной. Зори и закаты, которые до этого были глупые и потом снова станут глупыми, доставляют невыразимое наслаждение. Внешний мир приобретает рельефность.

Локонову страшно было потерять открывающийся перед ним мир. Ему хотелось, как восемнадцатилетнему влюбленному, просить у Юленьки локон на память, глядеть в ее глаза, взять ее руки и целовать ладони, хотелось, чтобы она гладила его по голове, но тут он вспомнил, что он почти лысый. Он увидел себя посторонними глазами, у него сжалось сердце. Он встал, взял руку Юленьки и нежно поцеловал.

— Куда вы? Как ваша служба?..— уже на пороге комнаты спросила Юленька.

— Да ничего,— ответил Локонов.

Жил Локонов на жалованье своей матушки, служившей сестрой милосердия, несмотря на то, что ему

минуло 35 лет, жил на положении несовершеннолетнего. Так как он понимал, что это не совсем хорошо, то он говорил знакомым, что он служит агентом по транспорту, что эта служба тем хороша, что, когда ему хочется, он может быть свободен. Он по вечерам довольно часто уходил из дома, говоря, что идет на заседание или на собрание.

— Куда ты идешь, сыночек? — спрашивает мать.

— Я иду на заседание,— отвечает Локонов.

— Смотри, не возвращайся поздно,— уговаривает мать.

— Это очень важное заседание, и я вернусь поздно,— твердо отвечает Локонов.

Но, выйдя на улицу и рассматривая номера трамваев, он задумывался.

«Нет, не стоит ехать к Кузору,— думал он,— поеду я лучше к Жулонбину. Да вот и трамвай восемнадцатый идет, а двадцать третьего жди — не дождешься».

Вместо того, чтоб сесть на двадцать третий и поехать к Кузору, как было условлено, он садился на восемнадцатый и ехал в противоположную сторону. Мать рассказывала в это время зашедшим побеседовать знакомым, как занят ее сын. Она была довольна, что ее любимый сын все заработанные деньги тратит на себя, на театры, кинематографы, концерты. Гостья в прическе балкончиком сочувственно кивала головой и жевала воздух вставной челюстью.

— Все же вы живете ничего,— говорила гостья,— другие живут похуже.

Война прошла, а мать Локонова осталась сестрой. По-прежнему она находила, что к ней ужасно идет белая косынка. В холод и зной по-прежнему Марию Львовну можно было видеть в этой косынке бодро шагающей по улицам, стоящей в очереди и судачащей. Ничего, что она стала подслеповата и глуховата, ей казалось, что произношение у нее английское. То, что исчезли люди, в которых было все английское, вызывало в Марье Львовне неясную тоску, как если бы исчезло все прекрасное в жизни. Она вспоминала безукоризненные проборы, с иголочки френчи, сладковатый запах английского трубочного табаку.

Близилась новогодняя ночь.

Чтоб провести новогоднюю ночь как люди, престарелая сестра милосердия потащила в комиссионный магазин огромную картину в золотой с зелеными из-

вивающимися незабудками рамке. Картину эту сестра милосердия очень любила, и ей жалко было расстаться с нею. По берегу моря идет сильная женщина в венке из красных роз, с руками, полными красных маков, а за нею — вереница мужчин, скованных цепями.

Локонов не застал своей любви дома. Ему стало грустно. Ему показалось, что предчувствие его сбывается, что, несомненно, она пошла опять в тот зеленый дом.

Он вышел из дома, где жила его любовь, и остановился у подъезда. Идти было некуда. В душе было пусто, ее надо было чем-то наполнить. Он стал разглядывать улицу.

Дом, около которого он остановился, находился недалеко от дико окрашенного вокзала. Окрашенные голубой краской павильонообразные выступы резали глаз. Локонов решил осмотреть город. Обманывая себя, он шел вниз к проспекту 25 Октября, стараясь погрузить себя в город. Он нарочно останавливался перед отдельными домами, разглядывал, как они выкрашены, пытался сделать общие выводы, но это ему не удавалось.

Перейдя проспект 25 Октября, он понял, что все равно, как бы он ни отгонял себя от зеленого дома с фигурами, он подойдет к нему, что все равно он окажется сегодня перед этим домом, что этот дом его крайне интересует, что отделаться от подозрения, что его любовь именно там, он никак не может.

И действительно, когда он, поддавшись своей страсти, уже подходил к дому, из ворот, слегка покачиваясь, как бы опьяневшая, вышла его любовь, держа сверток под мышкой. Потрясенный Локонов быстро скрылся. Его воображению рисовалась богато убранная комната с прекрасным диваном. Высокий ковер устилал пол этой комнаты, окантованные гравюры Ватто или Моро украшали стены, оклеенные матовыми обоями. На столике блестели вина и разноцветная закуска.

Сейчас молодой человек стоял у окна и удовлетворенно насвистывал.

«Должно быть, он специалист,— подумал Локонов,— наверное, он хорошо зарабатывает, любит старинные гравюры, собирает редкие книги и слоновую кость, и ему ничего не стоит увлечь девушку. Его комната, должно быть, сейчас наполнена дымом экспорт-

ных папирос. У него, наверное, брюки с безукоризненной складкой».

Локонов посмотрел на свои брюки, они висели как тряпицы.

«У меня нет ни гроша, и я не могу пригласить ее к себе, угостить вином и поговорить об освобождении всего мира, а ей семнадцать лет, и она идеалистка».

Локонов не знал, куда ему деться.

Продав башмачки, проведя время на Островах, движимый сочувствием к семейству Жулонбина, Анфертьев пришел к систематизатору, принес цветок его жене, посадил дочь Жулонбина к себе на колени и стал угощать конфетками.

Анфертьев гладил ее по голове и целовал в темечко.

«Вот вырастешь,— думал он,— и черт знает, что из тебя выйдет».

То, что его высекли, было для Анфертьева убийственной драмой, перевернувшей все его тогда еще юное и неокрепшее существо. Позор, испытанный им, навсегда исказил его мысль, вложил в душу отвращение ко всему в мире.

Оптимист, превратившийся в пессимиста, всегда убежден, что он больше знает и правильнее чувствует оптимиста. С годами боль как бы утихает и появляется даже гордость, что я вот знаю истинное лицо мира, а другие не знают.

Анфертьев старался не вспоминать тех мгновений после выхода из тюрьмы, когда он почувствовал, что он уж не будет цельной натурой.

Пьяный Анфертьев, гладя дочь Жулонбина по головке, сравнивал себя с девочкой.

— А я видела мишку! — сказала девочка.

— Какого мишку? — удивился Анфертьев.

Анфертьев вспомнил медведя с деревянной тарелкой, которого он в детстве очень любил, но все заслонила комната его матери: «коза» (большой двухспальный матрас, покрытый шкурами белых коз) с множеством вышитых подушек, на котором любила лежать его мать и читать д'Аннунцио; стоящий у окна рояль, вазы фаянсовые и глиняные, весной они наполнялись оранжерейными цветами, поднесенными во время спектакля поклонниками, летом — полевыми ромашками, собранными домочадцами. Анфертьев вспоминал, что в эту

комнату его пускали неохотно, что там вечно то пили чай, то кто-то декламировал, то кто-нибудь играл на рояле, то мать его пела одна или с молодым человеком, иногда в коридор выносилась мебель и какие-то тети босиком, в коротеньких рубашечках бегали под музыку, размахивая руками, и валялись по полу.

Покинув Жулонбина, Анфертьев шел по улице к дому своего детства, наполненному пением, музыкой, запахом цветов, голосом его матери. Он подошел к зеленому зданию и остановился в нерешительности. Свет горел во втором этаже: три крайних окна как раз были освещены. Дворник стоял у ворот и, по-видимому, скучал.

— Нет ли спичек? — обратился к нему Анфертьев.— Хочешь, закури «Сафо».

Дворник вынул спички и взял папироску.

— Что ж это дом-то не красят? — спросил Анфертьев.— Весь город нынче красят, а про ваш-то и забыли. Неужели таким облупленным и останется?

— Ничего, попрыскают,— ответил дворник.

— Помню, бывал я в этом доме,— сказал Анфертьев,— большие были квартиры, богатые. Много доходу прежнему владельцу этот дом приносил. Направо жили, вот там, итальянская певица и присяжный поверенный, масса народу к ним шлялась.

— Да, теперь там инженер помещается, специалист! Жрет так, что просто чертям тошно. Тоже народ к нему шляется... Одно беспокойство...

— Что ж он, изобретатель? — спросил Анфертьев.

— Изобретатель!.. Какой изобретатель...

Дворник, затянувшись, с досадой бросил папиросу.

— Всех он нас замучил, спокою нет. Только заснешь — звонок... ворота отпирай. Просит: «Вы, Иван Сергеевич, мне все, что говорят в доме о еде, передавайте». Каждую неделю меня призывает и выпытывает.

— Неужели? — спросил Анфертьев.

— Интересуется едой очень... а чего ей интересоваться — зажмурился и ешь. Картинки от карамели собирает. Раз даже мне показывал: «Иван Сергеич, какие вам нравятся?» Говорит: «Психологию рабочего класса изучаю». На выпивку в благодарность дал.

Раз я ему угодил — принес картинки от спичечных коробков, должно быть, девочка какая-нибудь в тет-

радку эти картинки наклеила. Нашел я эту тетрадку там, в № 14, при переезде. Я ему и отнес — говорю, может, такими картинками поинтересуется? Взял, благодарил и при мне кому-то по телефону звонил.

Анфертьев вспомнил просьбу Жулонбина, но какое-то изнеможение напало на него.

— Так,— сказал он и задумался.

Открылась форточка, высунулась голова в красном платке, и раздался бабий голос:

— Эй, Ваня, инженер просит дров принести.

— Ладно,— ответил дворник и пошел.

Испытывая изнеможение и робость, постоял Анфертьев перед парадной дверью, покачался.

«Нагрянуть надо... Сейчас не могу... Сейчас самое главное — выпить. Только бы не забыть. Надо для памяти знак оставить»,— подумал Анфертьев.

Он долго шарил в карманах, наконец вынул огрызок карандаша и клочок бумаги и дрожащей рукой, скрипя зубами, с невероятным трудом вывел адрес инженера и еще какие-то слова для памяти. Вздохнул и, покачиваясь, с головой, опущенной на грудь, со слезами на глазах, все время вздыхая, удалился.

* * *

Сознание Локонова заполнил воображаемый специалист.

«Вот сейчас, когда я ем картошку,— думал Локонов,— специалист там, в зеленом доме, ест итальянскую полендвицу, или читает Петрарку, или, может быть, наслаждается изданиями «Академии». Наверно, он женолюбив и его посещают всевозможные создания, а он, душистый, одетый во все заграничное, угощает и возвышенно шутит. Вечером он идет на балет или в оперу или встречается с иностранцами и сияющими глазами смотрит на мир. Жизнь его похожа на тысячу и одну ночь. Конечно, ему сновидений не надо! Мне же, неприспособленному и чувствующему, что мир ужасен, сновидения необходимы... Что я могу предложить моей возлюбленной,— продолжал раздумывать Локонов,— какое палаццо, какими редкостями развлечь, с какими иностранцами познакомить? Сплетни, пересуды, стояние у примуса — вот вся ее будущая жизнь, если она свяжет свою судьбу с моей. Я не обладаю никакой общей идеей, меня уже ничто не интересует. И вот сей-

час мой соперник, быть может, рассказывает ей о своем кругосветном путешествии, о Лондоне, Париже, Генуе и Константинополе и показывает снимки: вот там я был, вот тут ходил, вот на эту гору я взбирался.

А она сидит и смотрит на него восторженными глазами, и, быть может, раздается звонок и входит негр и говорит о жизни в Гарлеме, или появляется японец и рассказывает о том, что в Японии Чехова любят, или американец, проживший двенадцать лет на Филиппинах, делится своими впечатлениями. Правда, и у меня есть знакомые, путешествовавшие по Западу, но это все мрачные, в лучшем случае пожилые фигуры».

Локонов вспомнил согбенную восьмидесятидвухлетнюю, одетую во все черное, вдову тайного советника. Представил ее комнату с сладковатым запахом, огромный портрет в розово-голубых тонах молодой шестнадцатилетней девушки в кринолине и под ним почти не видящую и не слышащую, суетливо бегающую старушку, задыхающуюся, с почти обнаженными, все время двигающимися челюстями.

— Венеция мрачна,— говорит она,— лодки, эти гондольеры все в черном. У них маленькие фигаро — куртки, маленькие круглые суконные шляпы. На меня это ужасно действовало. Все черное, все — вода, и дома на четверть в воде стоят, и все внизу — мохом покрыто. Мы приехали в город. Все узенькие улицы, на рынке воняет ужасно сыром, лошадей мы не видели совсем. В соборе святого Марка внутри очень темно, конечно. Наши мужья пошли осматривать — где инквизиция,— говорит она, задыхаясь,— через мост кто прошел — к смертной казни назначен. Они пошли осматривать инструменты. Вечером на площади святого Марка поют и кушают, и оркестр играет, но все довольно молча. Все в городе тихо, серьезно. О, эта церковь святого Марка, очень большая, вроде нашего Казанского собора. Тишина, неуютно очень в церкви самой.

Локонов подумал, что от подобного описания путешествия его любовь, пожалуй, сбежит.

Но и другой, много путешествовавший на своем веку старый доктор вряд ли мог удовлетворить любопытство семнадцатилетней девушки.

Опять он начнет рассказывать о Вене, о старой доброй Вене, расскажет о Венеции в Вене, скажет: парки там, каналы, гондольеры, гондолы, выписанные из Венеции, раздается песнь — это гондольер поет на носу

гондолы «Santa Lucia». А вокруг фасады домов из досок, мосты с полицейскими в итальянской форме. Опять расскажет он, как, будучи студентом, загулял до семи часов утра в ночном кабаре, как подговорил вместе с другими студентами тиролек в тирольских костюмах, и удовлетворенно будет сиять и говорить о том, что это время прошло, что, увы, теперь так не живут!

Или какая-нибудь подруга матери вспомнит Наугейм и скажет: «Там все розы, розы без конца».

Локонов сидел, забыв о своей картошке.

— Что ж ты не ешь, сыночек? — спросила мать.— Ты что-то бледен очень, ты волнуешься. Хочешь, прими валерьяновых капель с ландышами? Вот ты не хочешь со мной поговорить, а я весь день одна, не с кем мне поговорить... Сегодня тепло или холодно на улице? С утра было ясно, а теперь дождь идет. Что ж ты не отвечаешь? Даже и поговорить со мной не хочешь. Я тебя ведь очень люблю.

Локонов стал есть картошку.

Наступила новогодняя ночь.

Локонов стоял на мосту.

Мать его мысленно перебирала все новогодние встречи. Они проходили разно, но всегда в чьем-либо обществе. Только раз, лет тридцать тому назад, она так же, как в этом году, встретила Новый год в одиночестве.

«Но тогда я была такая хрупкая, нежная и совсем юная»,— подумала она с грустью.

Марья Львовна взяла зеркало для бритья и стала рассматривать свое лицо.

— Ну что ж, это ничего, что мне скучно, зато Толе весело. Он среди молодежи, за ним ухаживают. Он сейчас шутит, произносит тосты, а потом, наверное, будут танцы, игры в фанты, в прятки, в жмурки. Хорошо бы было, если б у него оказалась самая интересная барышня!

Марья Львовна стала вспоминать фигуры танцев. Ей захотелось музыки. Она подошла к радио, но радио был испорчен.

Тогда она села за пьянино, ударила по клавишам и запела почти шепотом — она боялась услышать свое пение, ведь уже давно она громко не поет. Ее коротенькая юбочка цвета шампанского желтым пятном выделялась из полумрака. Марья Львовна напевала:

В тиши ночной
Я жду тебя,
Тоскуя и любя,
Ты ангел чистый предо мной,
Люблю одну тебя.
Огнями полон гулкий зал,
Вокруг духи, цветы,
Тебя в толпе я отыскал,
Оркестр галоп играл.
Но вот другому отдана
Твоя рука,
И злая ждет меня судьба
Ночного игрока.
В Монако жизнь окончу я,
Где море так шумит,
И не узнаешь никогда,
Где юный труп зарыт.

Раздался звонок. Вспорхнула Марья Львовна. Ахнула. Это был ее сын.

— Что ж это ты...

Сын ничего не ответил.

Карточки солдатиков висели на стенах, стояли на этажерках. Солдатики были с Георгиевскими крестами, медалями. Одни браво обнажали шашки, другие стояли как вкопанные, с руками по швам, третьи отдавали честь, четвертые сидели в соломенных креслах. Марья Львовна стояла позади кресел. В центре висел общий вид лазарета. Все здесь дышало войной. Модные романсы того времени лежали на пьянино, книжки о германских зверствах стояли на полочках, а в альбомах для открыток были карточки королей, царей и президентов и карикатуры на германцев, австрийцев и турок.

Имущество Марьи Львовны с точки зрения здравомыслящего человека не являлось богатством. Стопки фотографий, перевязанные золотой, серебряной или цветной веревочкой, могли заинтересовать только какого-нибудь художника. Он за каждую из них заплатил бы, пожалуй, по гривеннику. Стопки приятно пахнущих писем могли бы пригодиться только какому-нибудь литератору, он охотно заплатил бы за них по три копейки. Несколько закладочек в виде лент с вышитыми поздравлениями могли бы быть приняты только в бытовой музей, если б ему предложили даром. Пузырьки из-под лекарств и флаконы из-под духов, конечно, можно было бы продать в какую-нибудь аптеку. Свадебный букет старушки можно было бы, конечно, разобрать,

засохшие, пахнущие духами розы выбросить в помойное ведро или сжечь в печке, а кружева и белую шелковую ленту продать на рынке. За детский локон сыночка Жулонбин, пожалуй, скрепя сердце, дал бы копейку. Среди этого барахла хранилась кукла с турнюром. За эту куклу охотно бытовой музей дал бы червонец.

Марья Львовна была необычайно опрятна: два раза в день она мыла паркет в своей комнате, а в свои выходные дни мыла пол по-праздничному, т. е. скребла его до полного изнеможения. Всегда, когда ей было делать нечего, она начинала приводить комнату в порядок. Брала тряпку и начинала вытирать пыль, хотя бы и пыли никакой не было. Если ее что-либо расстраивало, она начинала подметать пол, если она нервничала, она обращала внимание на буфет и проводила тряпкой по дверцам, или смахивала несуществующую пыль с этажерочек, или по рассеянности невозможно грязной тряпкой, вчера употребленной на вытирание калош, гнала крошки со стола в пепельницу, или, поднявшись на стул, вытирала любимую свою картину. Сбрасывала комья пыли с буфета на пол, а затем вновь запыленную комнату приводила в порядок. Этим она могла заниматься часами.

Это занятие матери выводило Локонова из себя.

Неожиданно раздался оглушительный звонок. К Локонову ввалились Анфертьев и незнакомец.

Под стук ночной уборки незнакомец стал рассказывать:

— Жил при царизме купец Колоколов, мужчина во, что надо. Торговал он ценностями в Гостином. Приходят к нему тверские купцы в поддевках, с бородищами, просят показать им облачение для тверского архиерея, отца Гермогена,— мол, по случаю рождения хотят они его отблагодарить. Колоколов показывает облачение дорогое, золоченое. Купцы в затруднении, мнениями обмениваются, как померить. Архиерей-то во какой, как хозяин. Колоколов соглашается примерить. Надевает клобук. Нахлобучивают покупатели ему клобук. Обобрали ценности и дали стрекача. Ребята были — рецидивисты, специалисты. Так. Подъезжает какой-то князь в расшитом мундире, карета с гербами. Вылезает князь, рука на привязи. Низко кланяется Колоколов.

«На днях день ангела княгини, я хочу ей колье подарить. Есть у вас что-нибудь хорошее?»

«Пожалуйте»,— низко кланяется Колоколов.

«Вот это колье, как будто... Да, пожалуй. Маша будет довольна. Как вы его цените?»

«Двести тысяч, ваша светлость»,— лебезит купец.

«Отложите для меня. Только денег у меня с собой нет, не захватил! Я сейчас пошлю за ними. Иван, я напишу,— говорит миляга лакею,— а ты снесешь к княгине».

Берет миляга с конторки бланк Колоколова и просит хозяина написать — ведь князь не может, у него рука на привязи: «Дорогая Маруся, выдай подателю сего триста тысяч. Твой Петя».

«Иван, да побыстрее,— говорит покупатель,— да скажи княгине, что я к обеду буду».

Лакей вернулся и вручил деньги покупателю. Покупатель отсчитал двести тысяч и отдал купцу. Сто тысяч положил обратно в бумажник, взял колье, вышел и сел в карету. А купец вышел и в пояс кланяется.

«На что тебе, Петр Иваныч, нужны были триста тысяч?» — спросила жена, когда Колоколов ввалился в переднюю.

«Какие триста тысяч, Маша?» — побледнел купец. Князь-то был рецидивист-авантюрист.

«Меня-то не обворуешь,— подумал Анфертьев,— нечего у меня украсть, никто таким товаром, кроме меня, торговать не сможет».

— Этот Колоколов,— продолжал собеседник,— возьмет с собой половых из трактира, привезет их в ресторан и заставит тамошних официантов привезенным половым почтительно прислуживать.

Локонов пропустил рассказ пришедшего вместе с Анфертьевым человека мимо ушей.

— А про заграничных промышленников анекдотов не знаете? — спросил Анфертьев.

— Про заграничных ничего не знаю,— ответил собеседник.— Вот про Киргизию... в Киргизии я был пять лет тому назад.

Шорох в соседней комнате продолжался. Марья Львовна подумала, отчего сын ее рано вернулся, отчего он ее не любит, отчего он с ней не хочет поговорить по душе, посоветоваться. Молчание сына ее обижало. Она все торопливей и торопливей проводила тряпкой по дверцам буфета, затем она принялась за уборку этажерки, стала снова вытирать сломанный спиртовой кофейник, начала перетирать свои девичьи книги и чи-

тать и перелистывать их, все время вытирая то корешок, то золотой обрез. Она сохраняла книги только своей юности: французскую грамматику, однотомного Лермонтова, хрестоматию, томик стихов Пушкина, «Записки охотника», «Подарок молодой хозяйке».

Кончив неинтересный для Локонова рассказ о том, как киргизы ставят самовар, как они жуют табак, и рассказав о том, что там чай, в особенности плиточный, в великой цене, так что за сто грамм плиточного чаю вам дают целого барана, гость, приведенный Анфертьевым, умолк и задумался.

— Грязны они очень,— помолчав, добавил он,— и подумать не могут, что без вшей жить можно. Стоит девица лет семнадцати, юбки у нее широкие, поймает вшу в голове — и на зубы. Стоит и сосет, затем шкурку выплевывает. Черт возьми, придешь в пикет, пьешь чай, а они, черти, стоят в ряд и как бы еде способствуют. Раскрыл я рот, чтоб положить кусок сахару, и они, черти, все рот раскрыли. Закрыл я — и они закрыли. А другая девица начнет свою юбку качать, вентилировать, а ты тут чаи пьешь!

«Поди, стерва!» — на своем языке закричит отец...

— Да, а я ведь к вам по делу,— обратился Анфертьев к Локонову.— Я к вам моего товарища привел, потому что очень спешил, думал у вас встретить Жулонбина.

Анфертьев врал. Он был пьян и поэтому привел с собой к Локонову незнакомца. Анфертьеву все время казалось, что он теряет покупателя, а между тем сновидений как раз за последний период у него скопилось порядочно. Кроме того, мысль о девушке, в которую влюблен Локонов, мучила Анфертьева. Он предполагал, что, явившись врасплох, он может случайно застать эту девушку у Локонова. Анфертьеву показалось, что Локонов совсем ему не поверил, что он ожидал у него встретиться с Жулонбиным.

Анфертьеву показалось, что на прошлой неделе Локонов говорил, что Жулонбин пытался у него украсть тетрадку сновидений и что больше он Жулонбина и на порог не пустит. Анфертьеву стало неприятно, что он солгал, а ему не поверили.

Анфертьев и его знакомый были совершенно пьяны, но стойко держались. Локонову хотелось отделаться от них.

Он подошел к окну.

— Какая дивная ночь,— сказал он,— не пройтись ли нам? Выйдемте вместе.

— Он угощает,— подмигнул Локонову Анфертьев в сторону незнакомца.— Пройдемся, завернем куда-нибудь и побеседуем. Петя, вставай.

На улице гостей Локонова совсем развезло.

Они взяли Локонова под руки и повели.

Они вели его по узеньким переулкам, по Фонтанке, опять по узенькой уличке, опять по переулкам и подвели к высокому дому.

— Я пойду домой,— сказал Локонов.

— Нет уж, пойдемте с нами, с нами пойдемте!

Локонов чувствовал, что они пьяны, и побоялся раздражать их. Кроме того, они его не отпускали.

Они держали его под руки и шатались.

Втроем они поднялись по лестнице, ввалились в квартиру, прошли по длинному, длинному коридору, ввергли Локонова в комнату, небольшую, с великолепной никелированной кроватью, с крохотным столиком, на котором лежали недоеденные килька и осетрина в консервной банке и стоял начатый литр водки.

Парень сидел на подоконнике и, аккомпанируя на балалайке, пел:

...Из гроба встает император...

С Локонова сняли пальто и повесили на гвоздь.

Спутник Анфертьева поспешно налил ему стакан и сказал:

— Я сегодня купил баян, спрыснем. Целый год деньги копил.

Локонов с недоумением посмотрел на говорившего. Ему непонятно было, зачем Анфертьев привел его сюда. Он только понимал, что осушить этот стакан необходимо, иначе может этот парень, чего доброго, его ударить.

Локонов осушил стакан.

Парень ему снова налил со словами:

— Ну, ну, пей.

«Вот так новогодняя ночь...» — подумал Локонов.

Анфертьев проснулся на берегу Байкала.

Как попал он сюда, он вспомнить никак не мог. Он помнил только, что, проводив Локонова домой, зашел в трактир.

«Должно быть, опять ограбили», — подумал хладнокровно Анфертьев.

Он освидетельствовал свои карманы. К своему удивлению, нашел в них двадцать рублей.

«В карты выиграл, что ли,— подумал он,— только где? Как же меня отпустили с выигрышем?»

Анфертьев стал вытряхивать карманы, не окажется ли там еще чего-либо. Он нашел пачку махорки. Свернул козью ножку. Закурил. Снова принялся исследовать карманы. Наконец, в кармане брюк он нашел тщательно сложенную бумажку. Он развернул ее.

«Инженер... переулок Чехова, д... кв... покупатель мелочей...»

Дальше разобрать было невозможно.

Он узнал свой почерк. Он попытался вспомнить, но вспомнить ничего не мог.

Пьяница любил рассказы о пьяницах. Медом не корми Анфертьева, а дай ему послушать рассказ о пьянице. Как известно, пороки, так же как и добродетели, соединяют людей в корпорации. Такое негласное сообщество пьяниц существует в каждом городе. Верхним чутьем они узнают друг друга. Многие из них сидели в сумасшедшем доме и юмористически относятся к себе — они понимают, что для них не существует ни любви, ни будущего. Они вспоминают о белой горячке как о приятном состоянии духа, а о сумасшедшем доме — как о необыкновенно занимательном, полном неожиданных аттракционов цирке. Только сильная встряска могла взволновать их. Сидя на бережку, опухшие, они слушали рассказ только что вернувшегося парня.

Анфертьев подошел и подсел к ним.

Опухший человек, неплохо одетый, рассказывал. Время от времени берег оглашался хохотом.

— Так вот,— рассказывал человек,— в какую я кунсткамеру попал. Для каждого отделения там отдельный сад: для сумасшедших один, для нервных другой, для белогорячечных третий. При мне производился ремонт перегородок. Санитар возьми и отлучись на минутку.

«Вот увидите, я сейчас вас рассмешу»,— сказал один сумасшедший.

Плотник перегородку чинил.

Подмигнул нам сумасшедший, поднял топор и отрубил плотнику голову.

Взял голову и спрятал в кусты.

Нам говорит:

«А ну-ка, пусть он теперь свою голову поищет!»

— Ну ты, врал, врал, да и заврался,— перебил его другой парень.— Совсем это не при тебе было. Это уже когда я был в сумасшедшем доме, рассказывали, может быть, этот случай при царе Горохе произошел!

— Не хочешь — не слушай, а врать не мешай,— вставил свое слово старичок.— Вот хотите, про графа Пушкина случай вам расскажу. Был граф Пушкин, известный остряк. Любил он людей пугать. Напьется и обязательно идет людей пугать. Раз напился, пробрался в покойницкую, вынул из гробов замерзлых покойников, как мог, усадил вокруг стола, каждому дал в руку по карте, мол, покойники воскресли и в карты играют. Устал, что ли, лег в один из пустых гробов и уснул. Утром явились священник с причтом и народ. Видят — покойники в карты играют. И вдруг слышат:

«Кукареку!»

Глядят — всем известный Пушкин из гроба вылезает.

— Что же дальше?

— Известно — что: Пушкина арестовали и отправили в психиатрическую больницу.

Слушал, слушал Анфертьев, от огорчения плюнул и пошел.

Пьяницы, иронически посмотрев ему вслед, продолжали пить и закусывать. Подошел милиционер и стал гнать их.

— Сейчас уйдем,— сказали они философски. Встали и пошли.

Анфертьев пошел к магазину Центроспирта.

Проходя мимо аптеки, он с удивлением заметил, что пальто на нем не его, а чужое.

Он махнул рукой.

Все равно ненадолго...

И пошел дальше.

* * *

Анфертьев пошел по адресу.

«Эк...» — подумал Анфертьев.

Поднялся по мраморной лестнице и позвонил.

— Извините,— сказал он открывшей дверь бледной старухе,— нельзя ли инженера видеть?

— Пройдите в его комнату,— ответила старуха,— вот прямо, потом направо, потом налево вторая дверь.

Анфертьев пошел по коридору и постучал в украшенную сиренообразной ручкой дубовую дверь. Комната с венецианским окном, выходящим во двор, была тускло освещена. Спиной к двери, у письменного стола сидел лысый человек и работал. Поминутно он брал конфетные бумажки и раскладывал по ящичкам.

Тетрадка с картинками, отклеенными от спичечных коробков, лежала в стороне.

Над ней сидел другой лысый человек.

— Извините, я только на минуту,— остановившись в дверях, сказал Анфертьев дрогнувшим голосом.— Я слышал, вы собираете конфетные бумажки.

Человек, сидевший спиной к дверям, вздрогнул и поднялся.

— Здесь кто-то есть...— сказал он другому пожилому человеку.

— Да, сюда кто-то вошел,— ответил тот и тоже встал.

— Извините, я слышал, вы собираете конфетные бумажки,— повторил Анфертьев и выступил из темноты.— Я Анфертьев.

— Очень приятно, Торопуло. А вот мой друг, Пуншевич. Чем могу служить?

— У меня есть большая коллекция конфетных бумажек,— прошептал Анфертьев.

Глаза Анфертьева, обежав комнату, остановились на письменном столе. Анфертьев заметил бюсты Пушкина, Гоголя и массу книг, мерцающих, как огоньки, и какие-то темные картины. Ему показалось, что в комнате масса драгоценных вещей, что она наполнена спокойствием и солидностью.

— Присаживайтесь,— сказал Торопуло,— должно быть, вы хотите вступить в наше общество?

— В какое общество? — спросил Анфертьев.

— В общество собирания и изучения мелочей. Ведь вам все известно?

— Не совсем так,— ответил Анфертьев,— я человек бедный, мне некогда собирать и изучать. Я продаю. Я хотел бы вам продать то, что вам, мне кажется, нужно. Мне показалось, что я вам могу быть полезен.

— Я не совсем понимаю,— сказал Торопуло.

— Видите ли, я торгую всем тем, что никому не нужно,— начал Анфертьев оживленно.— То есть — я не совсем точно выразился,— я торгую тем, что сейчас не имеет цены, а в будущем будет иметь огромную ценность. Я торгую сновидениями, я торгую конфетными бумажками, уличными песнями, воровским жаргоном, я всем торгую, что не имеет веса и как будто не имеет никакой ценности в современности. У меня есть свой круг покупателей, они мне заказывают, и я достаю им все то, что почему-либо интересно для них. Вот для вас я могу доставать конфетные бумажки, спичечные коробки и вообще все, что вы пожелаете.

— Да вы сказочный человек,— сказал Торопуло.— А как вы узнали о нашем существовании? Да, мы все это собираем, но до собирания сновидений мы не додумались! Это идея, не правда ли? — обратился он к Пуншевичу.

— Не стоит растекаться,— ответил Пуншевич.

— Я могу доставать сны и девушек, и старичков, и рабочих, и крестьян, и интеллигенции о еде.

— Очень интересно! С вами нужно поддерживать связь. А может быть, у вас уже есть сны о еде, сны, как-либо связанные с едой?

— А еще что вы продаете, что можете предложить? — с любопытством перебил Пуншевич.— Нам нужны обертки от мыла, только, знаете, не современные, современные мы сами достанем, а, скажем, времен освобождения крестьян или как-либо связанные с мировой бойней.

— Здесь темно,— сказал Торопуло.

Комната осветилась. Анфертьев был ослеплен. Книги в любительских, мозаичных, тисненых нежнейших переплетах стояли на полках. Шелк и муар, шагрень и марокен, пергамент, похожий на слоновую кость,— развлекали глаз. Бюсты великих писателей стояли на полках и по углам комнаты. Картины, зеркала, ковер с великолепно исполненными плодами, потолок со сценами охоты — как бы увеличивали объем комнаты. Все это переливалось, отливало серебром, искрилось перламутром, сверкало полированным золотом, желтело и белело и, каким-то образом, становилось нереальным.

Анфертьеву захотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, сон это или действительность, может быть, действительно, во сне он нашел Торопуло, может быть,

в действительности инженера Торопуло и не существует.

— Снимите пальто,— сказал Торопуло,— мы сейчас закусим: выпьем и поговорим как следует. Вы мне кажетесь весьма нужным для нас человеком.

Анфертьев отнекивался, ему было стыдно, что он почти без белья.

— Мне еще хотелось спросить,— сказал Торопуло и поставил на стол миноги, сваренные в белом вине,— как вы дошли до мысли торговать сновидениями? Ведь это не всякому может прийти в голову. Ведь нужно сталкиваться с какими-то людьми, чтобы дойти до такой, казалось бы, простой вещи. Сознайтесь, ваша жизнь носит отпечаток фантастики, даже не все поверят, что сны можно продавать!

— Жизнь проще, чем мы думаем,— пояснил Анфертьев.— Сначала я продавал книги по квартирам, потом оказалось, что некоторые любят рукописные дневники, другие стали мне заказывать частные письма, знаете, ведь разные люди разным интересуются. Другие стали просить меня достать для них уличные песни. Некоторые интересовались воровским языком, тоже я для них подбирал на улице, на рынках, в трактирах слова. А один молодой человек стал мне заказывать сновидения. Он почему-то ими интересовался. Вот почти и все. Фантастики, признаться, я как-то не чувствую, я, можно сказать, трезвый человек.

— Все же это, признаться, странно,— сказал Пуншевич,— продавать сновидения... Это черт знает что! Да как же вы их добываете?

— Да тоже покупать приходится. Не всегда, правда, но все же приходится,— ответил Анфертьев.— Иногда, конечно, даром достаются.

— Да сколько же вы на этом наживаете? — спросил бестактно Пуншевич.

Торопуло отвел Пуншевича в сторону.

— Об этом не будем говорить,— сказал своему другу Торопуло,— ведь это нас не касается. Мы можем хорошо закончить первый день нового года, если только сами не испортим его бесплодными вопросами. Надо принимать жизнь как она есть. Только тогда жизнь окажется прекрасной. Никаких проклятых вопросов, никаких самокопаний! Человек живет только раз в жизни! Каждую минуту нашей жизни превратим в радость! Неловкое исследование разрушает очарова-

ние мира! Удивляйся, дорогой друг, удивляйся, и ты будешь счастлив! Ничего нет дороже аппетита к жизни! Сохраняй его! Я думаю, нам следует остаться дома, мы ничего не потеряем.

— Нашему гостю, несомненно, есть что порассказать,— добавил Торопуло громко.— Погасимте эту люстру и зажжемте свечи.

Торопуло поставил на стол электрические канделябры.

— Так спокойнее,— сказал он,— как-то тише. При таком освещении, я думаю, и наш гость почувствует себя свободнее,— шепнул он Пуншевичу.

И действительно, Анфертьев почувствовал себя свободнее.

— Еда без цветов — не еда! — Торопуло все ходил и беспокоился.

Он принес японскую вазу, наполненную ландышами. Запах ландышей и легкое вино в сверкающих графинах, украшенных серебряными виноградными листьями, и приготовленные по старинному способу миноги и семга, цвета нежнейшей розы,— выбили Анфертьева из колеи.

Время для него исчезло.

Наконец мысли стали отчетливей.

Он вспомнил, как поклонник-гимназист принес его матери букетище ландышей и как мать не знала, что ей с букетищем делать, потому что в комнате его оставить было невозможно, ведь у всех разболелась бы голова. Но и выбросить цветы было жалко. Букет был помещен за окно, но, и находясь там, он все же наполнял всю квартиру своим одуряющим запахом. Запах проникал даже на лестницу, так что все знакомые считали своим долгом поговорить об этом букете.

Анфертьев смотрел на вазу с ландышами.

— А я в вашей квартире жил! — вырвалось у него.

— Это очень интересно,— подхватил Пуншевич,— расскажите нам свою жизнь.

— Я соврал,— сказал Анфертьев,— никогда я в этой квартире не жил.

— Вообще этот дом замечательный. Принадлежал он португальскому консулу Антону Антоновичу Дауеру,— сказал Торопуло,— последнему представителю

стариннейшей фирмы, торговавшей винами. У него был попугай, чуть ли не двухсотлетний, даже на этикетках фирмы изображен был этот попугай. Стал он своего рода живым гербом. Сидит, сидит, скучает и вдруг запоет шотландскую песню, полную меланхолии, или голландскую о море, или вдруг исполнит арию из «Прекрасной Елены». Висел он в клетке в кабинете у хозяина, а хозяин сидит за письменным столом, курит, мучительно думает, вспоминает подругу своего сердца, норвежскую опереточную певицу, взглянет на свою жену, и выпить ему захочется. Неслышно подойдет к шкафчику и лишь захочет налить рюмочку горькой, уже исполняет попугай «буль-буль-буль». Слышит супруга, сидит она вечно в обшитой дубом столовой, чтоб видеть мужа, и вяжет салфетку для печенья. Кричит:

«Саша, Саша, ду тринкст ви эйн бауер» [1].

Отойдет последний представитель столетней фирмы от шкафчика и снова сядет за письменный стол скучать и думать, а попугай поет шаляпинским голосом:

На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой.

В кабинете стоял граммофон, среди прочих пластинок была и пластинка с этой арией. Гости очень любили эту пластинку.

— Характерно,— сказал Пуншевич.

— Дауер был тихий, скромный человек, ему хотелось пожить в свое удовольствие, но супруга была честолюбива, она заставила своего мужа стать португальским консулом. Чтоб несколько удовлетворить свою жену, чтоб быть свободнее, чтоб отдаться своей любви, Дауер стал португальским консулом. Но почтенная супруга его принялась устраивать приемы и званые вечера, Дауеру пришлось организовывать эти вечера и на них присутствовать. Так ему и не удалось пожить в свое удовольствие.. Его постигла трагическая участь. Однажды Антон Антоныч должен был ждать на вокзале приезда португальского короля. Погода была промозглая, осенняя, петербургская. Несчастный Дауер все ходил по перрону, скучал, мысленно укорял супругу, из-за которой он должен в такую погоду тор-

---

[1] ...ты пьешь как мужик (*нем.*).

чать здесь. Ему стало жарко, затем холодно. Совсем больной, он вернулся с вокзала. От крупозного воспаления легких он скончался. Вот вам и жизнь человека. Желтоватый газовый свет по вечерам по-прежнему освещал Петербург того времени, в переулках стояли цепи извозчиков и лихачей, женщины в длиннее фигуры платьях с круглыми муфтами в руках плыли, за ними следовали мужчины в брюках, касавшихся пят, рестораны были освещены, театры были полны, в одном из них пела его возлюбленная. Но попугай больше не кричал «буль-буль». Помню, я шел за его гробом, масса было людей в треуголках. Вдову вели под руку бельгийский и германский консулы. Так умер последний владелец этого дома, а строил его какой-то прокурор, приносил он много доходу. Здесь были только огромные квартиры.

Ночь прошла в занимательных рассказах. Рано утром покинул Анфертьев своих новых покупателей. Он радостно спускался по украшенной изображением Меркурия мраморной лестнице.

«Торговля расширяется,— думал он,— в прежнее время я сел бы в автомобиль и поехал бы на Острова, или кутить к Эрнесту, или в «Самарканд» к татарам, или в Новую Деревню к цыганам. Там для меня поставили бы самовар, цыганки бы пели и танцевали, а затем сиреневое утро за окном, выйдешь — на аллее воробьи чирикают и автомобиль ждет. Дома скинешь шубу на руки лакею, отдашь цилиндр и пройдешь в свою спальню. Велишь разбудить себя в два часа, никого не принимать, говорить, что нет дома. Как приятно раздеться после бессонной ночи и, почитав минут пять, уснуть. В два часа кофе с лимоном, наденешь халат и идешь в кабинет, где уже лежат телеграммы и письма. А в кабинете удобное кресло. Вечером театр или клуб,— усмехнулся Анфертьев,— я торгую предметами, на которые, несомненно, появился бы спрос после войны».

Анфертьев шел по сиреневым улицам, голуби ворковали под крышами, воробьи чирикали.

Прохожих еще не было.

Анфертьев решил пройтись по Неве.

Глава V
ПЕРЕЕЗД

Боязнь старости мучила Локонова. Лежа в кровати, он с грустью смотрел на уже выхолощенные для него предметы. Когда-то с большой любовью он приобретал и этот письменный стол времен Александра I, и этот шкафик для книг времен Павла I, этот диван и эти два кресла красного дерева. Он вспоминал, как он расставлял их, стараясь, чтобы они давали как можно больше впечатлений его душе, чтоб вокруг них незримо реяли какие-то краски, какое-то ощущение вызывалось бы ими разных эпох и чтоб это все сливалось в некое целое. На этом диване он любил читать Пушкина, растроганный, даже иногда плакал над отдельными строчками, не в силах вынести красоты. Как он любил Достоевского и как волновали его эстетические проблемы! Теперь эти вещи умерли, и было неприятно Локонову, что они стоят в его комнате, что при взгляде на них целая сеть воспоминаний возникает и тянет за собой обратно его, Локонова, постоянно напоминает ему об его возрасте. Ощущение под боком вещей неприятных раздражало Локонова. Они стали ему не только не нужны, не только неприятны. Они стали отвратительны для него. Локонов решил отделаться от них, продать их.

Засыпая, он думал о том, что следует дать объявление в «Вечерней Красной», что вот на улице такой-то, в квартире № такой-то продается письменный стол красного дерева времен Александра I, шкаф времен Павла I, диван и кресла красного дерева. И последние мысли Локонова были, что мать его страшно удивится, будет страшно жалеть и уговаривать его не продавать. А утром встал Локонов, и ему показалось, что он видел сон: в неком замке живет прекрасный юноша, и все-то у него прекрасно, дивные картины висят по стенам, прекрасно подстриженные аллеи с прелестными шедеврами. И вот этот прекрасный молодой человек как бы сходит с ума и режет прекрасные картины, ломает драгоценные предметы, выбегает в парк и разбивает статуи, вытаптывает цветочные насаждения и ломает подстриженные в виде разных фигур кустарники.

«А ведь с вами все же нужно расстаться,— подумал Локонов.— Хотя бы ради опыта следует продать эту обстановку, даже, быть может, следует расстаться с

этой комнатой, уехать, переехать куда-нибудь и начать новую жизнь. Вот продам мебель,— думал Локонов,— и дам объявление в газете: меняю комнату такого-то размера на комнату такого-то размера,— и уеду, обязательно уеду».

* * *

Анфертьев отправился по новому адресу. Он вошел в деревянный домик. Оказалось, в первом этаже живет Локонов. Он дернул за рукоятку колокольчика.

Открыл какой-то парень.

— Здесь живет Локонов? — спросил Анфертьев.

— Здесь, вот дверь налево.

Анфертьев постучал. Никто не ответил. Анфертьев опять постучал согнутым пальцем, и опять никто не отозвался.

— Да вы войдите, может, он уснул,— пояснил парень.

Анфертьев надавил ручку и вошел.

Комната была маленькая. На постели лежал Локонов и, по-видимому, спал. Грошовый стул стоял у изголовья, некрашеный кухонный столик стоял у окна, на крохотной этажерке, купленной на рынке, лежал хлеб. Сквозь окно с немытыми стеклами виден был уголок двора с искривленной березкой. Над постелью висел портрет известного борца, дяди Вани. Веером расположились открытки — Мэри Пикфорд, Гарри Пиль.

Анфертьев был потрясен. Уж этого он от любителя сновидений никак не ожидал. Он тронул Локонова за плечо.

— Простите,— сказал он.

Локонов открыл глаза и, ничего не понимая, смотрел на гостя. Потом он приподнялся на локте, окинул взглядом комнату и сел на постели.

— Не больны ли вы? — спросил Анфертьев.

Локонов зевнул.

— Ах, это вы, Анфертьев,— сказал он.— Что скажете новенького? Садитесь.

Локонов снял брюки со стула и положил на постель.

— Я долго искал вас,— сказал Анфертьевв.— Вы, несомненно, временно поселились здесь. Этот дом совершенно неблагоустроенный.

— Да, я потом, конечно, перееду, но пока здесь

неплохо. Здесь очень милый вид из окна. Вообще я хотел переменить обстановку.

«Неудачная любовь,— подумал Анфертьев,— должно быть, бесится от неудачной любви».

— Вот что,— сказал Локонов,— сейчас сновидений мне не надо, или нет, мне, может быть, нужны какие-то особые сны. Или нет, мне никаких снов не надо.

— Дело не в снах,— ответил Анфертьев.— Мне хотелось вас познакомить с одним инженером. Удивительный чудак!

— Нет, я никуда не пойду,— ответил Локонов,— мне хорошо здесь, и вид из окна ничего, и окружен я милыми и простыми людьми, и ничего мне не надо. И обедаю я в столовой, и веду жизнь как все.

Локонов зажег папироску и затянулся.

— Хорошо ччувствовать себя средним человеком. Любить, скажем, цветы, девушек, беседовать о погоде с хозяйками, стоять в очередях, чувствовать, что жизнь прекрасна.

Анфертьев удивился. Он чувствовал, что Локонов говорит искренно.

— Хорошо еще быть специалистом,— сказал Локонов,— специалистов девушки любят, а я человек пожилой, мне ничего не надо. Вот мне здесь и хорошо. К чему мне диван красного дерева, к чему мне письменный стол, мне достаточно иметь кровать и стул. Мне ничего не надо. Вот ем черный хлеб, пью морковный чай.

— Да, но инженер-то! У него небезызвестная барышня бывает.

Локонов молчал.

— Юлия Сергеевна бывает. Идемте,— уговаривал Анфертьев.— Сядемте на двадцатый номер и прямо доедем. Переулок Чехова, дом двенадцать, квартира два. Во всяком случае, хорошо проведем вечер.

Но Анфертьеву не удалось уговорить Локонова.

Но как только захлопнулась дверь за Анфертьевым, Локонов вздрогнул. Ему хотелось подняться и пойти за Анфертьевым следом. Ему хотелось увидеть Юлию.

«Предлог удобный повидаться с ней,— подумал он.— Все же хоть один вечер проведу с ней, а потом можно расстаться навсегда, убедившись в том, что она счастлива. Я увижу ее лицо, может быть, даже удастся

поговорить с ней хоть бы о незначащих вещах. Надо решить — идти или нет. Время идет, Анфертьев уж, должно быть, садится на трамвай».

Локонов посмотрел на часы. Было без десяти минут девять.

«Поздно,— подумал Локонов,— Анфертьев уже уехал, а одному мне явиться как-то неудобно».

Уже было половина одиннадцатого, когда Локонов наконец решился и подошел к остановке трамвая. Сел и поехал.

«Ладно,— думал он,— найду какой-нибудь предлог».

Трамвай несся. Локонов сидел в углу. Народу в трамвае было мало. Отчаянно спеша, выйдя из трамвая, понесся Локонов по Жуковской, а оттуда свернул в переулок Чехова. С удивлением увидел Локонов, что переулок Чехова — это и есть переулок с зеленым домом. И номер совпал. Поднявшись по лестнице, Локонов стал подозревать, что и квартира эта именно та, куда ходила с молодым человеком Юлия. «Позвонить или не позвонить,— подумал Локонов,— может быть, я забыл номер дома, или, может быть, Анфертьев ошибся. Вдруг я появлюсь, а они вдвоем. Мне скажут: вот налево или вот направо, я постучу, распахнется дверь, а они вино пьют, или она, может быть, на рояле играет и подумает: какой он навязчивый и плохой человек».

Локонов стал спускаться с лестницы, но затем он снова поднялся на площадку. Дверь соседней квартиры открылась, выглянула женщина и, подозрительно оглядев Локонова, остановилась, как бы ожидая, позвонит он или не позвонит. Локонов подумал: «Она, должно быть, следила за мной в замочную скважину, как я стоял, как я спускался, как снова поднялся на площадку. Должно быть, она думает, что я вор, и если я попытаюсь уйти, то, чего доброго, она еще крикнет кого-нибудь».

Локонов позвонил.

Женщина дождалась, пока дверь открылась.

Локонов вошел в тревожащую его квартиру.

Дверь в коридор была открыта. Из комнаты неслись нестройные голоса. Лысый пожилой человек, встретивший Локонова в дверях, спросил учтиво:

— Вы кого искать изволите?

— Да вот, мне Анфертьев...— подыскивая слова, начал Локонов.

— С кем имею честь говорить? — спросил хозяин, протягивая руку.

— Я Локонов.

— Очень, очень приятно. Вот, разденьтесь здесь, пройдемте.

Торопуло пропустил гостя вперед.

— Простите, что я так запоздал...

— Ничего, ничего,— ответил Торопуло.

В комнате было масса народу. Анфертьев радостно выбежал навстречу и что-то шепнул Торопуло.

Локонов заметил Юлию на диване.

Нерешительно поклонился всем в дверях.

— Наш новый знакомый,— сказал Торопуло, обращаясь ко всем,— собирает сновидения. Вы, надеюсь, принесли свои сны с собой? Надеюсь, вам Анфертьев уж говорил о нашем научном обществе.

Но до сознания Локонова не доходили слова хозяина. Гость старался придать своему лицу какое-то выражение, какое — неясно было ему самому. Делая вид, что прислушивается к словам Торопуло, Локонов все смотрел на Юлию и наконец понял, что она рассматривает какие-то картинки.

«Не обращает на меня внимания»,— подумал Локонов и отвел глаза в сторону.

— Да,— сказал он Торопуло,— очень приятно.

Неожиданно раздался голос Юлии:

— Анатолий Дмитриевич, идите к нам!

Юлия подвинулась.

— Где вы пропадаете,— прошептала она,— нигде вас не видно.

— А я вот переехал,— ответил Локонов,— потому и пропадал.

— Старых знакомых нехорошо забывать,— сказала Юлия и тряхнула волосами.— Ну, об этом после поговорим. Смотрите, какие картинки. Это от ширпотреба, японские.

— Да,— сказал Локонов,— хорошие картинки.

— Удивительный вы человек! — с грустью сказала Юлия,— вечно вы какие-то пустые слова произносите, пустой, что ли, меня считаете. Нехорошо, нехорошо. С другими вы говорите как с людьми, и о том, и о другом, а со мной только о погоде или о том, что ноги промочили, ни о чем серьезном не говорите. Маленькой меня считаете, что ли? Смотрите, я обижусь, если вы не исправитесь.

— Вот гном летит,— сконфуженно произнес Локонов,— а шапка у него высокая. А вот японские дети, а вот японец в треуголке.

«Какую я чушь несу»,— подумал Локонов.

— Знаете что,— сказал он, пытаясь быть смелым,— возьмемте эти бумажки и идемте в тот уголок, а то здесь очень шумно.

— Скажите просто, что вам неудобно здесь сидеть, что здесь места маловато.

— Да, действительно, здесь места маловато,— подтвердил Локонов,— а там свободнее.

Захватив тетрадку, Юлия сказала:

— Идемте!

Остановилась:

— Знаете что, идемте в соседнюю комнату.

— Нравы здесь очень простые,— сказал Локонов и подумал об окне, о воображаемом любовнике Юлии.

— Да, Торопуло чудный человек,— ответила Юлия Сергеевна,— у него чувствуешь себя как дома.

Юлия зажгла в темной комнатке лампочку.

— Здесь лучше, не правда ли,— сказала она.— Вот, садитесь. Знаете что, я сыграю на пьянино. Что вы хотите, чтоб я сыграла вам?

— Да я, право, и не знаю.

— Ну ладно, что придет в голову.

— Вот «Песни без слов»,— сказал, перебирая ноты, Локонов,— а вот «Времена года».

— Давайте «Песни без слов»».

Юлия играла, подчеркивая чувствительные нотки, особенно отчетливо выделывая все арпеджио и трели, местами произвольно замедляя темп, местами помещая два такта в один.

Локонов смотрел на семнадцатилетний профиль. На улице, по-видимому, шел дождь. Локонову стало жаль, что ему, собственно, не о чем говорить с милой девушкой. Локонов думал:

«Вот мы уединились, а говорить не о чем, а завязать разговор необходимо».

— Хотите, я еще сыграю? — спросила Юлия.

«Скрывает,— подумал Локонов,— притворяется».

— Скажите, любили ли вы когда-нибудь? — неожиданно для себя сказал он.

Девушка улыбнулась.

— Ого, какой вы, а я думала — вы скромник.

Локонов покраснел.

— Лучше вы расскажите о своей первой любви,— предложила Юлия.

— Это невозможно,— почти крикнул Локонов.

— Нет, я никого не любила,— заметив смущение собеседника, сказала Юлия.

— Но молодой человек в этом зеленом доме? — сжег свои корабли Локонов.— Он часто вас провожает по вечерам.

— Ах, вот вы про что,— рассмеялась Юлия.— Да ведь это член-корреспондент этого общества. Какой вы ехидный — ведь ему уже под шестьдесят лет. А провожает он меня, потому что у меня есть много благотворительных значков, он хочет их прикарманить.

— Покажите мне его,— попросил Локонов.

Юлия встала, подвела Локонова к дверям.

— Вот он,— сказала она, указывая на диван.

На диване рядом с Торопуло сидел стройный бритый старик с лицом, слегка попорченным оспой, и абсолютно голым черепом.

— Неужели? — спросил Локонов.

— Конечно,— ответила Юлия.

— Объявляю общее собрание открытым,— раздался в соседней комнате голос Торопуло.— Сегодня на повестке: доклад д-ра Шеллерахера.

1) Опыт введения в изучение действия сновидений о еде на отделение желудочного сока.
2) Чтение сновидений о еде: Локонов.

После общего собрания концерт.

3) Романсы о еде в исполнении Анны Кремер.
4) «Свадебный обед»: сюита Баха в исполнении квартета...

После концерта —

чай и танцы до утра.

Локонов слушал сюиту. Звенели и пели рюмки, как голоса детей. Раздавалось разнообразие человеческих голосов, отдельные голоса, и как бы произносились речи. Возникал смех и как бы охватывал весь стол, все время приглушенно, как отдаленный аккомпанемент, звучала нежная и строгая музыка, служившая как бы фоном для звукового свадебного стола.

Затем Торопуло прочел свои стихи:

Тают дома. Любовь идет, хохочет
Из сада спелого эпикурейской ночи.

Ей снился юный сад,
Стрекочущий, поющий,
Веселые, как дети, голоса
И битвы шум, неясный и зовущий.

Как тяжела любовь в шестнадцать лет.
Ей кажется: погас прелестный свет,
И всюду лес встает ужасный и дремучий,
И вечно будет дождь, и вечно будут тучи.

Локонов внимательно слушал.

«Уж не стихи ли это о Юлии?» — обеспокоился он.

Глава VI

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЖУЛОНБИНА

Окно было раскрыто, но, несмотря на это, в убежище приобретателя отвратительно пахло. Все предметы, вносимые в эту комнату, неизбежно приобретали несвойственный им запах. Острые и кислые ароматы начинали исходить от них.

Жена стремилась побороть этот запах. Иногда она дарила мужу цветы, которые тот с гордостью принимал. Но запах цветов в этой комнате начинал вызывать тошноту, становился приторно сладким. Спустя некоторое время запах, свойственный цветку, исчезал. Запах различных испарений начинал исходить от него. Затем необыкновенно быстро цветок вял.

Ни черемуха, ни сирень, ни жасмин, ни раскрытое настежь окно не могли освежить комнату.

Локонов сидел перед букетом сирени и удивлялся, что от сирени исходит зловоние.

«Но все же и в этой жизни,— думал Локонов,— есть семнадцатилетняя Юлия, есть цель жизни».

Жулонбин говорил о том, как он счастлив, что сейчас он совершенно погружен в классификацию окурков, что здесь истинное разнообразие, и читал целый трактат о различных формах, о различном виде примятости, изогнутости, закрученности, окрашенности окурков.

— А вот какой осколок,— продолжал Жулонбин,— и к нему прилеплен окурок. Вот тут-то и возникает трудность классификации. Личные симпатии классификатора. Можно было бы отнести этот предмет к осколкам, а можно к окуркам. Вот здесь и возникает сомнение — никто не может разрешить,— добавил Жулонбин

с грустью.— Все в мире удивительным образом соединено друг с другом.

В городе все давно уже спали. Локонов и Жулонбин сидели на кухне под канцелярской электрической лампой. Локонов следил, как Жулонбин работает, и молчал.

Юлия не пришла.

Жулонбин закрывал глаза, и видно было, что он мучительно раздумывает, затем открывал, вносил запись в инвентарную книгу.

— Классификация — величайшее творчество,— сказал он, когда все окурки, лежавшие на столе, были занесены в инвентарную книгу.— Классификация, собственно,— оформление мира. Без классификации не было бы и памяти. Без классификации невозможно никакое осмысление действительности. Все люди невольно размещают все по ящичкам. Я это делаю сознательно. Классификатор — лучший человек.

— Мне пора,— сказал Локонов.

— Посидимте, попьемте чайку, я сейчас кипяток поставлю.

Жулонбин зажег керосинку и поставил чайник.

— После работы нужно отдохнуть, побеседовать,— возясь над керосинкой, говорил Жулонбин.

У Локонова не хватило воли уйти.

— Нет,— сказал Жулонбин,— не считайте меня скупцом, я приношу великую пользу человечеству. Это верно, что я духовно оскопил себя, но все это для великого дела систематизации. Систематизация — это моя великая страсть. Как у каждого человека, охваченного великой страстью,— у меня есть, конечно, свои странности. Но не обращайте на них внимания. Ведь если б я был скопидомом, то я собирал бы предметы, имеющие реальную ценность. Я же, как вы видите, собираю всякую чепуху или то, что считается чепухой. Не уходите,— удержал он Локонова,— я покажу вам все, что имею. Ведь скупец не показал бы вам своего богатства. А для меня одно наслаждение показывать мое имущество. Показывая, я вспоминаю, сколько трудностей доставило мне его приобретение, сколько мне пришлось народу объегорить, чтобы его получить. Бессонные ночи я проводил, его собирая, со старушками часами сидел ради какой-нибудь выцветшей ленты! Все это я делал ради классификации.

Локонов ушел. Жулонбин стал поднимать крышку ящика, в комнате раздался стон.

— Никто незаметно не заберется ко мне,— радовался систематизатор.— Здесь струна издаст стон. Там неразличимый для постороннего взора сухой листик в замке спрятан.

Он стал проверять принятые им меры предосторожности. Все вещи были окружены как бы паутиной скрипов, стуков, стонов. Жулонбин мог спокойно спать. Если б его дочь или жена, задумав помешать его работе и взять какой-либо предмет, забрались в комнату во время его сна, он моментально услышал бы, если в отсутствие — он легко заметил бы.

Жулонбин подошел к двери, вложил ключ и прислушался. Дважды повернул. При каждом повороте ключа как бы медленно натягивалась струна и вдруг лопалась.

«Да, раньше люди были умнее,— стоя у двери, размышлял Жулонбин.— У сундуков были запоры с мнимо приятными звонами. Сейчас же жена могла захватить пропойцу мужа на месте преступления. Теперь не то — все забыли о этих запорах. Удивительно, как самые простые вещи забываются, потом следующие поколения полагают, что ради эстетики музыкальные запоры существовали!»

Жулонбин вдохновенно тряхнул своими длинными, нежными волосами.

«Как жаль, что моя комната так мала, что приходится отказаться от систематизации громоздких предметов, что приходится собирать вещи, почти не имеющие веса».

Жулонбин подсел к письменному столу, достал бумажки с цифрами.

Письмо кухарки своей дочери

а — 32	Количество слов — 102	имен существ. — 20
б — 9	восклиц. знаков — 1	имен прилагат. — 40
в — 12	точек — 3	союзов — 10
г — 7	запятых — —	предлогов — 5

Письмо заведующего кооперативом к предмету страсти

а — 19	Количество слов — 58	имен существ. — 15
б — 8	точек — 3	имен прилагат. — 20
в — 10	запятых — 1	
г — 6		

Жулонбин достал из кармана письмо, похищенное днем в кооперативе.

Ткацкая контора наследниковъ В. І. Гаврилова — Іюль 7 дня 1912 г.

Въ Куйбышинское Волостное Правленіе

М. Г.

За выбытіемъ двоихъ въ загробную жизнь и однаго на военную службу — паспорта возвращаются въ вышеуказанное учрежденіе.

Пребываетъ съ почтеніемъ къ Вамъ

За Н-въ

В. І. Гаврилова

Н. Уткинъ

Не обращая внимания на своеобразие этой записки, не задерживаясь ни на минуту над ней, может быть, и смысл ее не дошел до него, Жулонбин стал подсчитывать количество гласных, согласных, слов, имен существительных, прилагательных.

Затем он подложил ее под другие бумажки, взял счеты и стал подсчитывать, сколько же у него имеется на сегодняшний день — гласных, согласных, слов, имен существительных, имен прилагательных...

Счеты щелкали. Жулонбин задумался.

«Но даже если это и так, допустим, что я скупец, Лейбниц тоже к концу жизни стал чрезвычайно скупым, но ведь это не помешало ему остаться философом».

Еще долго сидел Жулонбин, видно было, вопрос этот его беспокоил.

Наступил вечер. Жулонбин стал напевать французскую шансонетку.

Нюхая букет сирени, Жулонбин мечтал о любовных приключениях. Частенько, в кожаных перчатках, гулял Жулонбин по близлежащему скверу. Гордо он шагал, вспоминая мимолетные связи, предчувствуя новые. Жулонбин любил женщин как развлечение.

«Жаль, что Юлия не пришла»,— думал Жулонбин.

Пошел Жулонбин прогуляться по недавно разбитому скверу. Все ходил по дорожкам, усыпанным гравием,

все присматривался. Иногда присаживался, прислушивался. Вставал и опять ходил.

Наконец он подсел к какой-то одинокой девушке и стал чертить на песке корабли, дома, пирамиды.

Девушка смотрела, смотрела и заинтересовалась.

— Что жена,— ответил Жулонбин девушке,— жена для меня кухарка, она совсем некультурная.

Он нежно взял руку обольщаемой.

— Милая,— сказал он,— если бы вы только знали, как больно иногда бывает от сознания, что ты связал свою судьбу с существом низшим, как иногда хочется прикоснуться к чему-то высшему, нежному, почувствовать биение чистого сердца. С моей женой — и не могу поговорить о том, что составляет существо моей жизни. Тяжело чувствовать, что твое сердце заперто на ключ, что она холодна к тому, что тебя интересует. Она совсем не понимает всего значения открытия гробницы Тутанхамона. Между тем я был в свое время в Египте, и меня гробница этого новатора очень интересует. И Арктикой она совершенно не интересуется.

— Вы были в Египте и на полюсе были? Не участник ли вы экспедиции на «Малыгине»? — спросила девушка оживленно.

— И не только в Египте,— ответил Жулонбин. Жулонбин расстегнул пальто, девушка увидела значок участника арктических экспедиций.— Я и на острове Формозе был. Если б вы знали, какие у вас глаза. Я таких глаз еще нигде не встречал. Такие глаза можно встретить только раз в жизни. А ну-ка, посмотрите на меня еще раз. Нет, не так — так, как вы за минуту до этого смотрели. Вот спасибо! Нет, вы не красивы, но в вас есть какое-то очарование. И хорошо, что некрасивы, когда видишь красивую женщину, всегда подозреваешь, что она глупая,— продолжал Жулонбин задушевным голосом.— Боже мой, но в чем же скрыто ваше очарование, скажите, вы ведь мужчинам очень нравитесь?

Незнакомка сидела на скамейке. Никто до сих пор так не говорил с ней. Она была благодарна незнакомому человеку за его слова, за его веру в то, что она мужчинам очень нравится.

Она оживилась и ласково посмотрела на Жулонбина.

Жулонбин, как бы невзначай, взял ее руку, повернул ладонью вверх и стал рассматривать.

— Какая у вас славная рука,— сказал он.— Нет, нет, не говорите! Я сам узнаю, кто вы. Обладательница такой руки должна быть счастливой, между тем вы...

Жулонбин не отпускал руку девушки.

О чем только не беседовали они в этот вечер. Девушка рассказала Жулонбину свою жизнь.

— Как вас зовут?

— Таня.

— А меня Присоборов, Михаил, но зовите меня просто Мишей.

Расстались друзьями. Условились опять завтра здесь же встретиться.

Но нет, Жулонбин проводил ее домой, долго беседовали они у ворот. Жулонбин выразил желание посмотреть, как она живет.

— Нет, нет, сегодня же.— И настоял на этом.

— Ох, не надо,— сказала девушка,— неужели вы только за этим пришли сюда.

Рано утром ушел Жулонбин. Он взял на память пучок волос, носовой платок и чулок девушки.

На следующий день тщетно ждала Присоборова девушка на скамейке.

Как-то она встретила Присоборова на улице. Но он даже не посмотрел на нее. Он шел с Завитковым и о чем-то с жаром рассказывал. Жулонбин рассказывал о своем последнем любовном приключении.

Жулонбин стоял и беседовал с буфетчицей. Доставая деньги, он расстегнул пальто. На секунду блеснул орден Красного Знамени.

— Вот уже пятый раз я беседую с вами, а только сегодня узнал, что вас зовут Полиной.

— Не Полиной,— прервал пожилой ехидный покупатель,— а, должно быть, Прасковьей.

Жулонбин подождал. Покупатель выпил кружку пива и ушел.

— Меня зовут Аркадий Трифонов,— сказал Жулонбин,— будемте знакомы. Отчего вы здесь работаете, отчего бы вам не поступить в Октябрьскую гостиницу. У меня там знакомый метрдотель.

Покупателей в кафе не было. Когда Жулонбин хотел заплатить за пиво, та уговорила его не платить.

Жулонбин вышел на улицу, оглянулся. Вся устремившись вперед, она махала ему рукой.

Виталий Носков — он же Жулонбин — шел к отставной хористке. Там его должны были хорошо накормить. Там можно было поговорить о любви. Хористка встретила его сильно напудренная. Она бросилась к нему навстречу. Это была ее последняя любовь. Она чувствовала, что скоро ей будет уж не удержать Носкова.

Она долго прощалась с Носковым. С глубокой нежностью она целовала его глаза, его шею. Вышла на лестницу и смотрела, как спускается дорогое для нее существо.

Виталий уходил, унося деньги, полученные в долг. У любящих должно быть все общее. Он не мог отказом оскорбить женщину, страшно его любившую.

Долго смотрела хористка из окна, но Виталий не обернулся. Она достала бинокль и следила, следила за дорогой фигурой. Нет, не оглянулся.

Глава VII
В ПИВНОЙ

Пируя у «двух сестер», Анфертьев писал в припадке веселости письмо инженеру:

Многоуважаемый Василий Васильевич!

В ответ на ваше почтенное предложение от 13 февраля с. г. имею честь препроводить прейскурант полученных нами товаров на настоящий месяц.

С совершенным почтением

Анфертьев.

ПРЕЙСКУРАНТ

№№ п/п	Наименование	Цена	
		руб	коп
1.	Загробное существование, сон няни	1	
2.	Пятилетка, сон престарелой купчихи	2	—

3.	Девушка и вежливое отношение к ней медведей, сон библиотечной работницы	—	50
4.	Чума, сон юристки в 1921 году	2	—
5.	Сон гимназистки. Она должна выбрать девочку, с которой ей сидеть на парте. Гимназистка в затруднении. Вдруг все ученицы превращаются в пирожные. Выбор становится легким	3	50
		(особо рекомендуется)	
6.	Сон о том, как одна дама встретила на лестнице фигуру с архитектурным лицом, которая всем раздавала судьбу, и о том, как дама подошла к этой фигуре, но та судьбы ей не дала,— не хватило.	1	—
7.	Страшный сон девушки о том, как она кого-то расстреливает, и о том, что состояние у тех, кого она расстреливает, было жуткое, они хотели оттянуть момент смерти, один из них стал искать носовой платок	1	—

Уже хохоча, писал Анфертьев записку Локонову:

Многоуважаемый тов. Локонов!

К величайшему нашему сожалению, продать сновидение гимназистки о пирожных мы никак не можем, так как это сновидение оказалось уже проданным Торопуло, который отступиться от своей покупки ни на каких условиях не пожелал.

(Прилагаем его подлинное письмо.)

В ожидании ваших дальнейших поручений, которые мы всегда готовы исполнять с величайшей тщательностью, остается с совершенным почтением

Анфертьев.

Глава VIII
СНОВА МОЛОДОСТЬ

Лишь только успел сесть Локонов, свет потушили. Локонов не смотрел на экран. Он слушал музыку. Симфонический оркестр играл избитые мотивы, знакомые Локонову с детства. Он не мешал. Он помогал сосредоточиться. Локонова мучила перспектива его существования. Теперь, когда выяснилось, что Юлия свободна, это было особенно мучительно. Это проклятое чувство, что его молодость кончилась! Как же он может жениться на Юлии? Вот если б это было несколько лет тому назад.

Как только дали свет, Локонов выбежал из кинематографа.

Дома, не раздеваясь, он бросился на постель. Ему хотелось ни о чем не думать.

— Три пики,— откашливаясь, произнес прокурор, теребя свои полуседые, рыжие, короткие баки, как-то особенно держа карты в левой руке.

— Пас,— скромно уронил седенький с лысинкой, с гладко выбритыми щеками и подрезанными седенькими усами старичок, весь чистенький и аккуратненький.

Партнер прокурора, сложив аккуратно карты на ломберном столе, бросил быстро: «без козырей»,— и при этом, как петух, закрыл глаза.

Четвертый игрок, не смущаясь, спокойно рассмотрев свои карты, сложив аккуратно и взяв в левую руку, а правой проводя черту мелом для записи на столе, спокойно заявил:

— Я, милостивые государи, позволю себе помочь вам в игре и рискну сказать: пять пик.

Наступило минутное молчание. Прокурор стал более нервно теребить свои баки, расправляя и гладя их своим корявым мизинцем правой руки.

Чистенький скромный старичок, которому было лет под семьдесят, нигде никогда не служил и ничем не занимался. Он был старый холостяк, жил где-то на Песках в своем особняке вместе с двумя сестрами приблизительно таких же лет. Сестры были близнецы.

— Как вы смели толкнуть меня! — раздалось над ухом Локонова,— как вы смели толкнуть меня во время

игры! — вскричал толстяк, военный врач, и зло посмотрел на Локонова.

— Как вы смели дотронуться до чужих денег! — вскричал студент, кривя лицо.

— Как вы смеете просить разменять, когда я выиграл,— плаксиво сказал старичок.

— Как вы смели сказать, что это табло будет бито! — раздался лай пяти-шести игроков.

В азарте даже кто-то крикнул:

— Что за осел!

Локонов увидел, что он молча отошел от стола и стал пересчитывать деньги. Стол, как разъяренный улей, гудел за ним.

Затем Локонов увидел, что он пошел в кофейную, где и проболтался до шести часов. Там велся горячий разговор про минувшую ночь. Иванов сильно бил. Корнилов ловко сделал из десяти рублей две тысячи. Снова потянуло Локонова в клуб отыграться. Лишь только бьет восемь часов, вот он уже мчится в этот притон.

Смешав две колоды карт и хорошо перетасовав их, он передает соседу. Тот снимает, вкладывает в деревянный ящичек. Банкомет берет ящичек в левую руку и начинает сдавать на четыре табло по три карты. Спустя минуту карты были открыты.

Локонов, сидя на постели, усмехнулся. Он выиграл. У него была девятка, у банкомета восемь.

«Сегодня мне повезет»,— подумал он.

В комнате появился Анфертьев.

— Тоска,— сказал он,— выпить хочется...

Появление Анфертьева рассеяло грезы Локонова.

— Выпить? — спросил он,— что ж, можно и выпить. Я на вас не сержусь. Сбегайте, вот вам...

— А вы вставайте, нехорошо пить в постели, да и дружеская беседа не может состояться,— сказал Анфертьев.

— Не к чему мне вставать,— ответил Локонов,— все мне опротивело — и старая жизнь, и новая, ничего я не желаю. Мне тоже сегодня выпить хочется, назюзюкаться. Поспешите, а то, чего доброго, кооператив закроют. Возвращайтесь мигом сюда. Смотрите, не исчезайте.

— Как можно,— сказал Анфертьев,— мигом слетаю, одна нога здесь, другая там!

Пока Анфертьев летал за спиртным, Локонов достал

свои юношеские дневники. Как прескверно отразился в них его образ. С отвращением он откинул их.

«А если кто увидит,— подумал он,— найдет случайно после моей смерти, ведь будет смеяться надо мной, наверняка будет смеяться. Надо сжечь их. Сжечь? — повторил он.— Это слишком высоко для них. Просто завернуть в них селедки, устроить фунтики для крупы, чистить ими сапоги,— вот какой участи они достойны».

Локонов стал рвать тетрадки.

«Сегодня пусть они послужат вместо скатерти и салфеток. Поставим на них водку и соленые огурцы и будем пить. Пьяному, пожалуй, легче повеситься».

Анфертьев вернулся. Он застал Локонова одетым. Листки из тетрадок покрывали кухонный стол.

— Ну-с, давайте пить,— сказал Локонов.— Как ваша торговля идет? Как ваши воображаемые магазины процветают? Много ли в них приказчиков? И как относительно рекламы? Какие вы корабли нагружаете? Торговец — это звучит гордо. Купец — это лицо почтенное в государстве. Какой чин вы получили? Отчего я не вижу на вашей шее медали? Какие благотворительные учреждения вы открыли?

Анфертьев молчал.

— Да,— наконец сказал он,— торговля теперь не почтенное занятие, а нечто вроде шинкарства: поймают — по шее накладут. А в прежнее время я бы, пожалуй, действительно торговлю расширил необычайно. Уж я бы нашел, чем торговать. Уж я бы со всем миром, пожалуй, переписку затеял. Накопление я бы чрезвычайно облагородил. Стали бы все копить нереальные блага, покупать их у меня. А я бы на эти деньги виллу где-нибудь купил, завел бы жену, детей, двадцать человек прислуги, изящные автомобили. Жизнь моя была бы похожа на празднество. И пить бы не стал, совсем бы не стал. А так теперь — я пропойца. Да и вы были бы совсем другим.

— Картежником,— сказал Локонов,— романсы бы любил. Ничего бы из меня не получилось.

— Не стоит расстраиваться,— отвечал Анфертьев.— Вот водка стоит, вот воблочка, вот огурчики, солененькое призывает выпить. К чему думать, чем мы могли бы быть и чем стали. Чем могли — тем и стали. А кончать самоубийством — слуга покорный! Вот если б я был влюблен, если б мне было восемнадцать лет, если б я не вкусил сладости жизни,— тогда другое дело.

А так — чем же жизнь моя плоха с точки зрения сорокалетнего человека? Свободен как птица, никаких идолов, ни перед чем я не преклоняюсь. Доблесть для меня — звук пустой. Любовь — голая физиология. Детишки — тонкий расчет увековечить себя. Государство — система насилия. Деньги — миф. Живу я как птица небесная! Выпьемте за птицу небесную. И ваша жизнь не плоха. Что, девушка за другого вышла замуж? Экая, подумаешь, беда. Да вам, может быть, и девушки-то никакой не надо, так это, вообще, мозговое раздражение.

— Как это — мозговое раздражение? — спросил Локонов.

— Да очень просто. Хотели оторваться от своих сновидений, прикрепиться к реальной жизни, связать как-то себя с жизнью, ну что ж, не удалось. Идите опять в свои сновидения.

— Вы пьяны! — сказал Локонов.— Как вы смеете вторгаться в мою личную жизнь?

— Личная жизнь, священное право собственности! А кто мне запретил в нее вторгаться: обычаи старого общества? Я плюю на них. Вы думаете, что Анфертьев такой безобидный человек, безобидный, потому что поговорить не с кем! Так вот, скажите, к чему вам девушка? Что вы могли бы ей дать? Душевное богатство тысяча девятьсот двенадцатого года? Залежалый товар, пожалуй, покупателей не найдется! Мечты о красивой жизни у вас тоже не имеется! Юношескими воззрениями вы тоже не обладаете! Скажите, чем вы обладаете? Нечего вам предложить. Лучше и не думайте о любви.

— Но я не могу жить, как я жил до сих пор, куда мне деться?

— Это плохо,— сказал Анфертьев,— деться некуда. Разве что пополнить армию циников. Действительно, деньги вас не интересуют, служебное положение вас не интересует, удобства жизни вас не интересуют, слава в вас вызывает отвращение, старый мир вы презираете, новый мир вы ненавидите. Стать циником — тоже не можете! Как помочь вам — не знаю. Не знаю, чем наполнить ваше существование.

— Но ведь это скука, может быть, обыкновенная скука,— сказал Локонов.

— Нет, это не скука, это — пустота. Вы пусты, как эта бутылка. И цветов вы в жизни никаких не видите, и птицы для вас молчат, и соловей какую-то гнус-

ненькую арию выводит. Что же делать, юность кончилась, а возмужалости не наступило. Пить я вам советую. Да пить вы не будете! Скучным вам это покажется делом, тяжелой обязанностью! Старик вы, вот что,— сказал Анфертьев,— из юнош прямо в старики угодили. Вся жизнь вам кажется ошибкой. Так ведь перед смертью чувствуют. Вино — мудрая штука, лучше всякого университета язык развязывает! Вот сейчас я с три короба вам наговорил, а для чего наговорил — неизвестно! Размышление ради размышления, что ли, философское рассмотрение предмета? И в пьяном виде образование сказывается! Недаром я в педагоги готовился! Ну, а потом все к черту полетело. Да вы не горюйте. Ведь на наружности вашей это не отразилось, а что внутри — никому не видно. Да вы не верьте тому, что я наговорил,— это вино наболтало!

Локонов курил папиросу за папиросой. Ему хотелось выгнать Анфертьева.

— Вам пора спать! — сказал он.

* * *

С некоторых пор Локонов был как бы замурован, по своей собственной воле, в этой небольшой комнате. К нему никто не приходил, так как он своих знакомых встречал несколько странно: он не предлагал им садиться, а стоял, заставляя стоять своего собеседника и всем своим видом давая понять, что, собственно, желает, чтоб тот как можно скорее покинул его комнату.

Локонов чувствовал, что у него не хватит воли покинуть эту комнату. Ему хотелось думать, что и любовь его к семнадцатилетней Юлии не есть мозговое раздражение. Ему не хотелось думать, что семнадцатилетняя Юлия была для него лишь средством выйти из комнаты, снова вернуться к прекрасной природе, услышать соловьиное пение, как слышал в девятнадцать лет, средством оживить себя...

После ухода Анфертьева Локонов, чувствуя отвращение ко всему, лег в постель.

«Ну что ж,— подумал он,— покурим. Вот жизнь и кончилась. А еще я думал, что только в двадцать лет легко кончить жизнь самоубийством».

Но тут Локонов понял, что если он начнет размышлять, то это отвлечет его и он не покончит с собой, что утром он опять проснется в этой проклятой комнате.

«Жизнь не удалась»,— подумал он и стал мылить полотенце.

Наступал рассвет.

Птички зачирикали.

Внезапное успокоение сошло на работающего человека.

«Рано еще»,— подумал Локонов.

Он отложил мыло и хорошо намыленное полотенце и решил пройтись по городу.

Прошедшая ночь начала казаться диким сном.

Он чувствовал необычайную бодрость и подъем, как человек, счастливо избегнувший опасности.

Всем прохожим он улыбался.

Глава IX
ЖАЖДА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Ему хотелось бежать.

Он охотно бы прыгал через канавы, если б таковые оказались на его пути,— таким он чувствовал себя подвижным и юным.

Его одолевал восторг, он удивлялся осмысленной и яркой окраске домов, милым лицам окружающих. Безобразная карикатура исчезла.

Его возбужденный ум воспринимал все с одобрением, глаз видел лучше, он чувствовал, как что-то сняло дурной налет, освежило все лица.

Заманчиво развернулось над ним синее северное небо, и сладостные лучи солнца играли на стеклах домов.

С удовольствием вошел Локонов в парикмахерскую.

Вышел бритый и нафиксатуаренный.

Даже походка его как-то изменилась, приобрела какую-то твердость.

Почти взглядом полководца он обвел улицу.

Он решил покорить Юлию.

«Сегодня среда,— вспомнил он,— вечером Юлия будет в зеленом доме».

Весь день пронаслаждался Локонов жизнью.

Гуляя, обдумывал, что он Юлии скажет.

Весь день он улыбался встречным девушкам и юношам, мысленно причисляя себя к их полку.

А когда наступил вечер, он вошел в зеленый дом.

Незнакомый голос (громко):

— На Путиловском заводе жил козел Андрюшка. Просыпаясь утром, шел козел в кабак. Там его угощали. Налижется, бредет по улице, покачивается. Да и погиб он, как настоящий пьяница: встал на рельсы, поезд идет, орет вовсю, а Андрюшка хоть бы что, пригнул голову.

Он был серый, пушистый, огромный.

И была у него жена.

Он стал ее приучать тоже пьянствовать.

Утром встанет и гонит ее к кабаку.

Приходили они в кабак. Кто не давал, того Андрюшка пытался боднуть. Перед тем как войти, стучал в дверь Андрюшка. Сам кабатчик подносил ему в чашке.

Голос Торопуло (радостно):

— Розы похожи на рыб.

Это не мной подмечено.

Возьмите любой каталог, и вы найдете в нем лососинно-розовые, лососинно-желтые, светло-лососинные розы.

Встречаются розы, похожие на молоко, фрукты и ягоды.

Одни вызывают представление об абрикосах, другие о гранатах.

Есть розы светящиеся, как вишни.

Женский голос (томно):

— Дядюшка мой был помещик. Вздумал он стать промышленником на американский лад. Решил превратиться в цветовода. Выписал он из Рейнской долины разные сорта роз.

Помню дуги металлические на воротах, на одной мелкие белые вьющиеся розы, на другой — красные. Дядюшка все доверил садовнику. Выписал он его из-за границы. Дядюшка разорился на этом деле. Потом какой-то парвеню воспользовался его идеей.

— Что ж вы: все молчите и ничего про обезьян, про попугаев, про цветы не расскажете,— обратилась Юлия к Локонову.

— Да ведь это довольно неинтересно,— ответил сияющий и свежий Локонов.— Что ж про них рассказать.

Попугаи — это те же оперенные обезьяны. Конечно, они придавали особый колорит квартирам. Теперь попугаев и обезьян нет — и не жалко нисколько, что их нет. И цветы тоже были признаком определенного быта.

Возьмем хризантемы в петлицах или бутоньерки какие-нибудь, букетцы перед приборами.

Быт исчез — и определенные цветы исчезли.

Сейчас у нас любимого цветка нет, и неизвестно, какой будет.

Локонов стал смотреть на Юлию.

— Что ж вы не пригласите меня к себе? Мне очень бы интересно узнать, как вы живете,— сказала Юлия.

Локонов был застигнут врасплох.

— Приезжайте,— ответил он, краснея и бледнея.— Только, мне кажется, это будет для вас неинтересно.

— Нет, очень интересно,— ответила девушка.— Давайте условимся сейчас! Завтра? Хорошо?

Юлии хотелось проявить свою энергию вовне, растормошить Локонова. В ней жила неясная для нее самой жажда приключений. Инстинктивно она выбирала приключения не очень опасные.

«Чем же украсить мою комнату,— думал Локонов,— для посещения моей воображаемой невесты? Как же я буду ее занимать? Придется съездить к матушке, взять остатки китайских вещиц, куски парчи, несколько гравюр с подтеками, графинчик, две рюмки, какой-нибудь подносик, купить цветов, выпросить у Жулонбина гитару,— как будто Юлия играет на гитаре. Может быть, вечер и пройдет, как у молодых людей. Куплю немного вина, баночку шпрот, печенье, яблок кило полтора, немного винограду, положу в вазу с оленем».

Весь день занимался Локонов приготовлением к приему милой гостьи. С утра он уже стоял в очередях или забегал в кооперативы. Сделав нужные покупки, он отправился к своей матушке и стал отбирать необходимые предметы роскоши и уюта.

Матушки не было дома. Локонов насилу отыскал ключ и отпер сундук. Он достал какого-то китайского будду, ямайского духа с длинными ушами, карфагенскую лампочку с изображением верблюда, головку от танагрской статуэтки, гравюру с изображением игры в триктрак, куски голубой китайской парчи, книгу о

кружевах. С буфета он снял вазу с оленем. Раскрыл буфет, взял четыре рюмки в виде дельфинов и графин, легкий, как вата. Взял еще диванную подушку с вышитыми васильками и пекинский веер из голубиных и павлиньих перьев. Все это упаковал и повез в свою комнату.

По дороге думал: как все это бедно и нехорошо для любви.

Голубой китайской парчой он накрыл столик.

На парчу поставил цветной графинчик.

Рядом с графинчиком поставил мельхиоровую вазу с оленем.

В вазу положил яблоки, груши и виноград.

По тарелочкам распределил ветчину, сыр и зернистую икру.

Поставил два прибора.

Перед каждым прибором по две рюмки.

Подушку прикрепил к спинке венского стула.

«Как бы скрыть стены... и потолок очень закопчен... Вид у комнаты очень мрачный и сырой. Чем бы умерить свет электричества. Закутать лампочку какой-либо материей — уж слишком глупо. Уж лучше бы свечи, они бы, может быть, придали комнате призрак чистоты. Был бы освещен, главным образом, стол. Да и то, что я одет не совсем хорошо, тоже было бы не так заметно... Но свечей сейчас достать негде, только разве у Жулонбина, да этот скряга ни за что не даст, хотя у него они есть всевозможных цветов и толщины. У матери моей, наверно, есть где-нибудь в сундуке, да ехать теперь, пожалуй, поздно, полтора часа езды туда и обратно. В моем распоряжении четыре часа, пожалуй, успею. Нет, так нельзя».

Еще раз окинул взглядом Локонов комнату, не выдержал и поехал за свечами.

— Ну вот и я,— сказала Юлия.— Как у вас здесь уютно, и свечи горят. Оригинально.

— Лампочка испортилась,— ответил Локонов.— У меня мебели, конечно, нет, но вот, садитесь на этот стул.

— И гитара на стене висит, вы играете на этом инструменте? — спросила девушка.

— Немного,— соврал Локонов.

— На улице холодно,— сказал Локонов.— Хотите сейчас рюмочку токайского?

Локонов подошел к столу, налил, чокнулся с Юлией.

— За что ж мы выпьем? — спросил он.

— За наше знакомство,— ответила Юлия.— А это что за статуэтки там у вас стоят?

— Это восточные,— ответил Локонов.— Это, должно быть, какой-нибудь злой дух. Не правда ли, лицо отвратительное? И нос приплюснутый, и уши до плеч, и рот до ушей! А вот пекинский веер из голубиных и павлиньих перьев. А вот китайская парча.

«Еще бы что показать»,— с тоской подумал Локонов, чувствуя, что не о чем говорить.

— А вот гравюра. Это старинная игра в триктрак. Я налью еще,— добавил Локонов и засуетился.— Да что ж мы стоя пьем, давайте сядемте за стол.

Сели.

— Вот шпроты,— предложил Локонов.— Вы любите шпроты? Или, может быть, кусочек сыру. А потом вы сыграете, не правда ли?

— Что же вы сыграете и споете? — спросил он.

— А вы что хотите? — спросила Юлия.

— То, что вы любите.

Наступал рассвет.

— Вот трамваи пошли,— сказала Юлия.

— Мы как будто ничего провели вечерок! — нерешительно спросил Локонов.— Я вас провожу,— продолжил Локонов.

— Давайте пойдемте пешком,— сказала Юлия.

Ей было слегка грустно.

«Что же,— думала она,— он даже не поцеловал меня, неужели я ему не нравлюсь...»

Локонов проводил девушку до дому. Говорила Юлия. Локонов только поддакивал. Опять Юлии показалось, что только с ней Локонов говорит о пустяках, что с другими он говорит хорошо, умно и интересно, что это оттого, что она для него недостаточно развита.

— Вы меня не презираете,— спросила она,— за то, что я пришла к вам?

Локонов вернулся в свою комнату, взглянул на остатки пиршества, и ему стало жаль себя и отчаянно скучно.

«Одинок, по-прежнему одинок,— подумал он,— никак не вернуть молодости, ясного и радостного ощущения мира».

Глава X
ЛЕЧЕНИЕ ЕДОЙ

Локонов надел пальто и вышел на улицу. Ощущение вялости души мучило его. Он шел мимо иллюминированных домов к Неве, где стояли суда, украшенные бесчисленным количеством разноцветных электрических лампочек.

Прожектора на судах казались Локонову похожими на эспри на дамских шляпах. Украшенные электрическими полосами, зигзагами, ромбами, трамваи напоминали ему цветочные экипажи в балете. А красные светящиеся звезды на домах заставляли его вспомнить о елочных украшениях.

Локонов встретился с Анфертьевым.

— А в общем, все это похоже на детский праздник,— зевая, сказал он торговцу.— Масса блеска, масса музыки, а неизвестно, что ждет детей впереди.

— Во-первых, это не дети,— ответил Анфертьев,— это праздник взрослых. Женщины, как вы видите, обладают пышной фигурой, а мужчины, по крайней мере многие из них, бородами и незавидной сединой. Это неповторимый праздник, советую вам ощутить всю его неповторимость, и тогда вы получите огромное наслаждение и будете веселиться вместе со всеми.

— Но ведь это невозможно,— ответил Локонов.— Эти прожектора, взгляните, совсем как эспри на дамских токах!

* * *

Солнце освещало город.

Нунехия Усфазановна отправилась в коридор к пирамиде сундуков.

Встав на табуретку, сняла картонки.

Обнажился зеленый, окованный железными полосами, сундук старинной работы.

Нунехия Усфазановна повернула ключ — раздался продолжительный музыкальный звон.

Старуха с усилием подняла крышку.

Сняла пожелтевшую газетную бумагу.

Задумалась.

Что же из этого нужно продать, чтобы ему хватило на пиршество... Остался почти без волос, а все такой же... неблагоразумный. Ведь сколько раз она ему говорила, что вещей уж не так-то много остается!

Нунехия Усфазановна всегда с грустью продавала вещи Торопуло.

Сейчас она вытащила бархатную юбку, капот цвета нильской воды, зеленое платье из прозрачной шерсти, отделанное на груди и рукавах зеленым плиссированным газом, башлык.

«Что сейчас охотнее купят?»

Машинально она открыла коробку, в двадцать пятый раз увидела донышко шляпы матушки Торопуло, имитирующее кочку, покрытую мхом.

Так же машинально она закрыла коробку.

Наконец решила продать зеленое платье из прозрачной шерсти. Может быть, купит знакомая артистка. Можно еще ей предложить кружева.

Захлопнула Нунехия Усфазановна старинный сундук. Открыла красный сундук, там на дне лежали тюлевый шарф, вышитый золотом, опушенный гагачьим пухом, и кружевная кофточка.

«Это для опереточной певицы хорошо,— подумала старушка,— а вот теперь для Торгсина, барахолки и молочницы что выбрать?»

Вытащила из большой черной картонки фальшивый апельсин, пучок лент — это для барахолки; серебряный автомобиль с кожаным сиденьем — это для Торгсина.

Она нашла сверток, заинтересовалась им. Развернула — перечница в виде пули.

Наконец для продажи и обмена вещи были отобраны.

Нунехия Усфазановна решила отправиться сперва к знакомой опереточной артистке. Если она сама не купит, то купят ее подруги, им нужно одеваться, такова их профессия. Потом — в Торгсин, а завтра на барахолку.

С трудом слезая с табурета, она сокрушалась:

«Хотя бы за неделю меня предупредил, что ему деньги нужны. Все за бесценок ведь продать придется.

Совсем он не в своего папашу. Тот все в дом носил, а этот все из дому тащит. И для чего? Чтоб всяких прощелыг угощать!»

Она вспоминала, что еще есть в сундуках. И даже почти задрожала от ужаса — ценного в них почти ничего уже не оставалось. Один сундук с устаревшими корсетами, другой с бумажными выкройками платий, третий с волосяными валиками, накладками, локонами. Оставалось еще несколько платий с кринолинами, да пучки диковинных лент, да легкие как пух бальные туфельки с необыкновенными носами. Нунехия Усфазановна высморкалась.

Но вдруг она улыбнулась, она вспомнила про сундук с сувенирами. Она его еще не трогала — там бювары с массивными серебряными крышками, испещренными надписями, паровозы, поднесенные служащими железной дороги по случаю двадцатипятилетия служебной деятельности папаши Торопуло. Там ордена старшего Торопуло.

* * *

Локонов чувствовал, что он является частью какой-то картины. Он чувствовал, что из этой картины ему не выйти, что он вписан в нее не по своей воле, что он является фигурой не главной, а третьестепенной, что эта картина создана определенными бытовыми условиями, определенной политической обстановкой первой четверти XX века.

Вписанность в определенную картину, принадлежность к определенной эпохе мучила Локонова. Он чувствовал себя какой-то бабочкой, насаженной на булавку.

Локонов выглянул в окно. Стояла темная ночь. Шел дождь.

Локонов налил валерьянки с ландышами. Выпил.

«Надо как-то вернуть молодость, иначе жить невозможно,— подумал он,— отделаться от ощущения этой пустоты мира».

Немец приподнимал шляпу, любезно улыбаясь, кланялся собачке. Кончив раскланиваться с собачкой, он подошел к трамвайной остановке и стал с пьяной услужливостью подсаживать публику, приподнимая

шляпу и пошатываясь. Немец был из загадочной страны, которую совершенно не знал Локонов. Он знал Германию Гете и Шиллера, Гофмана и Гельдерлина, но совершенно не знал, что представляет Германия сейчас, чем она дышит.

Этот немец, раскланивающийся с собачкой, напоминал ему скорее немца Шиллера из «Невского проспекта», чем реальную личность. Но все же Локонову захотелось подойти к немцу и завязать с ним разговор.

Локонов подошел к трамвайной остановке, но потом раздумал и подождал следующего трамвая.

Дома, за стеной, молодой голос пел:

Не плачь, не рыдай же, мой милый,
И я тебя тоже люблю.

Локонов прислушался.

По тебе я давно, друг мой милый, страдаю,
Но быть я твоей не могу:
Отец мой священник, ты знаешь прекрасно,
А ты, милый мой, коммунист.

За стеной слышно было дребезжание посуды. Повидимому, там мыли чашки, ножи и вилки. Сквозь дребезжание посуды слышался голос:

Советскую власть он не любит ужасно,
Он ярый у нас анархист.

При слове «анархист» Локонов улыбнулся.

И пала мне в голову мысль роковая —
Убью я ее и себя,
Пусть примет в объятья земля нас сырая.

«Романс»,— подумал Локонов.

И правой рукой доставал из кармана
Я черненький новый наган.

Локонов не стал слушать. Это не был романс, это было похоже на балладу.

Судьи, пред вами раскрою всю правду.

Локонов вспомнил своего отца, прокурора, любившего читать попурри и тем увеселять общество. Он вспомнил свою сморщенную мать. Нельзя сказать, что Локонов не любил свою мать. Нет, он любил ее. Так любят засушенный цветок, связанный с детством наших чувств.

В детстве Локонову, по старой терминологии, она казалась ангелом. Он часто спрашивал у прислуги, ангел его мать или нет, и прислуга отвечала — ангел.

В комнату ввалился Торопуло.

— Не больны ли вы? — спросил гость.

— Да, я болен,— ответил Локонов,— и неизвестно, когда поправлюсь...

— Это оттого,— ответил Торопуло,— что вы не мечтаете о сосисонах итальянских, о ростбифе из барашка с разной зеленью, об устрицах остендских, о невской лососине по-голландски. Советую вам заняться кулинарией, она излечивает лучше всяких лекарств. И какой простор откроется перед вами! Здесь вы сможете строить небольшие итальянские домики, мавританские беседки, готические павильоны, украшать свой стол трофеями. И все это принесет вам прямую пользу. Вот приходите, я вас угощу. Закуска будет, «канапе» с красным соусом, суп очень вкусный я для вас приготовлю, а на третье будет рис на ванили с пюре земляничным. И за столом мы поговорим об устрицах маринованных, о лапе медвежьей с пикантным соусом, о желе из айвы с обсахаренными розами! А затем я вам почитаю Фурье. Поверьте, он был не так глуп... Идемте, идемте. Я не уйду отсюда без вас! Советую вам заняться кулинарией. Вы увидите, послушаетесь меня — и через неделю о своей тоске и не вспомните!

— Я сегодня иду на концерт,— соврал Локонов.

— Да ведь еда — это та же музыка! — настаивал Торопуло,— причем ведь звук никак не окрашен, по крайней мере не в столь сильной степени и не столь несомненно окрашен, как различные блюда. А затем все дело в том, что мы еще не умеем наслаждаться пищей, ведь и она звучит, еще как звучит! Тонкий и тренированный слух мог бы различить звуковые оттенки наливаемых вин, потрескиванье под ножом кожицы дичи, поросенка, влажный звук ростбифа. Все дело в тренировке. Ведь без тренировки великолепнейшая симфония нам может показаться какофонией. Наконец, вы успеете на свой концерт!

— Идемте...— сказал Локонов,— я сейчас буду готов.

Всю дорогу Торопуло старался погрузить Локонова в мир ароматических рагу, прохладных желе, энергич-

ных соусов. Локонов шел, вспоминая свои впечатления за день. Он чувствовал, что от праздника у него осталось весьма смутное воспоминание, как будто Гостиный двор, собственно, верхние аркады Гостиного двора были украшены плакатами с гигантскими изображениями рабочих, как будто улицы у Домов культуры были уставлены шестами с полотнищами или, может быть, со щитами, на которых были начертаны лозунги, да еще запомнился трамвай, украшенный электрической красной звездой, и флаг на каком-то здании, освещенный снизу и колеблемый ветром. Вот и все.

Была глубокая ночь. Они шли пешком, Локонов и движимый состраданием инженер, хотевший спасти молодого человека от излишних мучений, погрузив его в мир еды, в мир вкусовых отношений, запахов, в мир тягучестей и сыпучестей. Путь был длинен до зеленого дома. На доме пылала звезда. Как бы зарево от пожара стояло над городом.

В ворота прошли Торопуло и Локонов. Торопуло оставил в своей комнате на минуту гостя одного. Стол был накрыт на две персоны и украшен тортом.

Вернувшись, Торопуло снял торт со стола.

Локонов бежал от Торопуло. Локонов чувствовал, что мир Торопуло все тот же хорошо ему знакомый его собственный мир, только увиденный сквозь другие очки.

«Торопуло — эпикуреец»,— думал Локонов.

И на грех удивителен и страшен был торт Торопуло. Сладостные статуи из серебристого сахара стояли на площадках, а внизу, из бассейна, наполненного зеленоватым ликером, возникала Киприда. И на самой верхней площадке была помещена фигура, изображение Психеи. И вот этот торт присутствовал в мозгу Локонова, когда он возвращался домой в свою отдаленную комнату.

Не дойдя до дому, он вернулся к Торопуло. Он боялся одиночества в этом, освещенном как бы пламенем, городе.

— Вот и прекрасно, что вы успокоились и вернулись,— сказал Торопуло.

Торопуло решил блеснуть сегодня.

Пока эпикуреец жарил, удалившись на кухню, неожиданно явился Пуншевич. Сел и стал рассматривать листы рисовой бумаги с бумажками от японских спичечных коробков.

— Вот и влияние Европы на Азию: голова лошади в подкове — символ счастья, несомненно, европейский. Вот и Геракл, раздирающий пасть льва,— влияние греческой скульптуры. Вот и обезьяна на велосипеде, вот и варяг с бородой и щитом. Вот и бриллиант — все это влияние дореволюционной Европы,— беседовал сам с собой Пуншевич.

Торопуло, вернувшись, стал показывать Локонову конфетные бумажки.

— Обертка от пермской карамели,— сказал Торопуло.

«Карамель столичная»,— прочел Локонов.— Должно быть, Петербург,— подумал он,— но мостов таких как будто нет в Ленинграде».

Локонов заметил множество маковок церквей.

«Москва, но и Москва теперь другая».

— Вот изображение негра, несущего огромный колчан и стрелы на фоне пальм,— это для островов, должно быть. Взгляните, индеец, стреляющий из лука,— это, должно быть, для Южной Америки. А зайчики и надпись совсем не японская, должно быть, для Кореи. Да, да, несомненно, для Кореи,— решил Пуншевич.— Ну, вот и для Китая — знаменитая китайская императрица на белом коне возвращается в Китай из монгольского плена. А вот и китайский мальчик на сверхчеловеческой лягушке. А вот и чисто японские: старшая сестра учит брата письму, бог богатства, считающий прибыль, бог счастья и богатства и долгой жизни на аисте, ребенок сидит на лотосах и молится — в раю всегда цветут лотосы. А вот и европейский ангел и обезьяна, поднимающие иероглифы радости. Вот и крылатый ребенок — европейский амур — бежит из Японии в Китай, держа в руках зажженную спичку,— это является как бы символом экспорта, пожалуй, не только символом экспорта, но и японской захватнической политики.

Пуншевичу жаль было, что сейчас не удастся показать гостю эту коллекцию. Со вздохом он отложил ее в сторону.

«Полезно,— подумал он,— когда сквозь малое видишь великое».

В мозгу Пуншевича толпились аисты среди вечнозеленых деревьев, живущие тысячу лет, обезьяны-пьяницы — мать-обезьяна пьет вино, а дети просят. На быке рогатый, сверхчеловечески сильный ребенок играет

на флейте. В звездах, в кругах — иероглифы счастья, радости и долгой жизни. Бородатый бог счастья и долгой жизни в кольце из аистов. Богач, сидя на веранде, любуется лотосами.

— Да,— сказал он,— полезная, полезная коллекция. Мы должны догнать Европу, так же как это некогда сделала Япония.

— По-прежнему ли народ весел? — спросил Пуншевич.— По-прежнему ли разгулен? Раньше праздники имели связь с торгами или ярмарками. Религия и торговля соединяли людей в города, а теперь что соединяет людей в города — я не знаю, должно быть, выполнение пятилетнего плана. Несомненно, этот план собирает людей в новые корпорации, устанавливает связь между людьми. И если когда-то зерном города являлся царский дворец, Акрополь, то теперь зерном города будет являться завод. Вокруг него будут возникать строения, парки, он будет окружен аллеями, мостами.

Пуншевич задумался.

«Праздники народа, поэзия его жизни, имеют тесную связь с его семейным бытом и нравственностью, с его прошедшим и настоящим. Попробую собирать праздники новой жизни для общества собирания мелочей,— с отчаянием подумал Локонов,— может быть, это даст мне возможность почувствовать прекрасное лицо жизни».

И затем он вспомнил, как перед праздниками ехал воз с водкой, а за ним бежала толпа: передние держались за подводу, некоторые бежали с портфелями. Вспомнил, как баба хвасталась, что за пять рублей уступила место в очереди за водкой.

Глава XII [1]

ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ

Незаметно для себя Анфертьев дошел до Васильевского острова.

— Вот что,— сказал Анфертьев,— я написал песенку.

---

[1] Глава XII первой редакции романа не сохранилась.— *Примеч. В. Эрля.*

Гуляка запел:

Где живет старый хлам,
Бродят привиденья
И вздыхают по балам,
По прошедшим вечерам
И о нововведеньях.

Жулонбин работал. Он занят был классификацией свадебных букетов.

В руке он держал засохший подвенечный букет из белых цветов и миртовых веток.

Перед ним лежали букеты с серебряными и золотыми цифрами «25» и «50».

— Для меня,— сказал он,— старый хлам не живет, я его только систематизирую, для меня вещи не имеют никакого наполнения, я занят только систематизацией. Вам не удастся меня смутить.

И Жулонбин снова погрузился в систематизацию.

Разговор не вязался.

А Анфертьеву, так как он выпил, необходим был собеседник. Локонов жил далеко, в Выборгском районе.

Анфертьев успел по дороге забежать в пять или шесть пивных и побеседовать с завсегдатаями. Беседы не были вразумительны.

Один ему рассказал, как у него из кармана непонятным образом исчезло 20 рублей.

Другой, прося взглянуть на проходимца, уверял, что это аферист, потому что тот когда-то пытался выпить за счет сообщавшего.

Третий рассказал о каком-то телеграфисте-прохвосте, который в пивных торгует водкой и закусочкой в виде кусочков селедки.

Слушание этой невнятицы отняло у Анфертьева часа четыре.

От пивной к пивной путешествовал Анфертьев, подбадривая себя понравившейся ему песенкой.

Где живет старый хлам,
Бродят привиденья...
и т. д.

Он даже решил было исполнить эту песенку под окном у Локонова, спеть ее в виде серенады, взять знакомого гитариста.

Он даже уже было забежал к знакомому инвалиду

на культяпках, рыночному музыканту, но потом вспомнил, что тот наверняка в этот час пьян как стелька.

Наконец, побежал Анфертьев прямо к Локонову.

«Все мы разбрелись по сжатому полю,— размышлял Локонов,— и собираем забытые колосья, думая, что делаем дело, и в то же время новые сеятели вышли на свежую ниву, приготовляя новую жатву и торжество нового принципа. Пуншевич, по-видимому, надеется, что из мелочей и подробностей построится довольно полная характеристика века и периода.

Локонову показалось, что во дворе ветер засвистел флейтой, затем как бы зашелестел травой и повеял шепотом листвы, затем завыл, и сквозь вой ветра Локонов услышал:

Где живет старый хлам,
Бродят привиденья
И вздыхают по балам,
По прошедшим вечерам
И о нововведеньях.

Затем он увидал, что к окну прильнула чья-то рожа.

Локонов подошел к окну.

Рожа не пропала, напротив, она принялась радостно улыбаться.

«Как мне отделаться от этого пьяницы? — подумал он.— Ни за что не отопру. Погашу свет, пусть думает, что я сплю».

Локонов повернул выключатель и лег на постель.

Но Анфертьев не уходил.

Он принялся барабанить по стеклу, чтобы обратить на себя внимание.

Локонов повернулся к стенке и попытался думать о чем-то постороннем, не относящемся к появлению Анфертьева, он стал думать о Нат Пинкертоне, Ник Картере, Шерлок Холмсе, книгах, прочитанных им за день. Убийства из-за наследства, кражи со взломом в фешенебельных особняках, нотариусы, японские шпионы, похищающие документы, обладание огромными богатствами, исчисление богатства по количеству рабочей силы, занятой на предприятиях,— все это кончилось.

«Ушел или не ушел?» — прервал Локонов свои мысли.

Он повернулся лицом к окну.

Анфертьев по-прежнему стоял у окна и смотрел в комнату.

«Пусть стоит»,— рассердился Локонов.

«Без глубины эта книга, без глубины,— подумал он о соннике Артемидора.— А ведь прошла сквозь века, может быть, так же пройдет Нат Пинкертон. Какая чушь в голову лезет! А мать моя, бывший ангел, превращается в сову, она становится бессмысленной старушкой. Сидит или бегает и ничего не понимает, только и делает, что в очередях разговоры слушает. Может быть, это и есть то, что называется общими интересами. Узнает, что у старика кошелек вытащили или что женщина нечаянно палец отрубила и не нашла.

За окном Анфертьев рыночным голосом запел:

Un grande spettacolo
a ventitrè ore
Prepara il vostr'umile
e buon servitore [1].

И опять забарабанил в окно.

«Пожалуй, разобьет стекло,— встревожился Локонов,— выйду, скажу, чтоб не приставал».

Локонов зажег свет, надел пальто и вышел. Стояла прекрасная ночь. Луна светила, снег блестел.

Локонов не застал Анфертьева у окна.

Гость, подняв воротник, сидел на скамейке под березой.

Анфертьев поднялся, протянул руку и сказал:

— Вот вы вышли, идемте погулять.

— Ну что ж, идемте гулять...— согласился Локонов.— Куда же пойдем? — добавил он.

— Да вот, пойдемте в сторону города,— ответил Анфертьев,— мимо этих вновь выстроенных поблескивающих домов, фабрик и заводов. Небось не приглядывались к новой архитектуре при свете луны. До сих пор ведь вы жили в центре среди этаких ампирных зданий, дворцов в стиле барокко, соборов, правительственных зданий и доходных домов времен империи. Посмотримте при лунном свете на другие дома, как они выглядят ночью, горят ли в них огни, несется ли музыка. Обойдемте Дома культуры.

---

[1] Вас хочет потешить
Большим представленьем
Слуга ваш покорный
С нижайшим почтеньем! — Опера «Паяцы», ария Канио (1-е действие).— *Примеч. автора.*

— Я согласен,— ответил Локонов,— попытаемся предвосхитить будущее.

— Итак,— начал Анфертьев,— вот за мостками и березками новый завод. Что вы знаете о нем?

Локонов не ответил.

— А ведь живете вы рядом. Почему же вы не поинтересовались, что представляет собой этот завод? Нехорошо, молодой человек,— хихикнул Анфертьев,— ведь завод окончил пятилетку в три года, и теперь его изображение появилось на конфетных бумажках, мне инженер Торопуло показывал, а вы и этого не знаете. Скоро, скоро,— воскликнул гуляка,— перед этим ударным заводом будет разбит сад, прорыты каналы, через них будут перекинуты изящные мостики, кое-где появятся клумбы, чтобы трудящиеся, идя на предприятие, шли бы по зелени, чтобы труд превратился в букет, бутон, наслаждение.

«Пошляк»,— подумал Локонов.

Откуда-то выбежала собака и залаяла на Локонова и Анфертьева.

— Поди прочь, песик,— сказал Анфертьев.— Не мешай нам любоваться городом. Вы сильны в астрономии? — спросил он.— Мне хотелось бы вспомнить, в каком зодиаке созвездие Пса помещается.

Но тут Анфертьев споткнулся.

— Жаль,— сказал Анфертьев,— что я не захватил с собою винца. В такую ночь выпить хорошо, и тогда знаете как архитектуру начинаешь понимать. Бррр... Здание звучит для тебя как симфония. Люблю я в пьяном виде дома рассматривать. Другое здание такой увертюрой распахнется, что даже пальчики оближешь. А другой домишко затренькает, как балалайка. Хотите узнать музыку новых домов? Только шалишь, без водочки ее не узнаешь. В водочке восторг, милый друг, заключен, восторг. Вот бы выпить сейчас при лунном свете.

Звезды сияли над Локоновым и Анфертьевым.

Лай дворняги уже слышался где-то вдали.

Анфертьев и Локонов шли мимо огромных многоэтажных зданий из стекла, железа и бетона.

За этими зданиями, на некотором расстоянии, виднелись другие такие же здания, за ними еще и еще.

Эти здания не образовывали улицы.

— Не угодно ли вам узнать, как звучат эти дома? — спросил Анфертьев.

Локонов закурил.

— Подумать только,— сказал Анфертьев,— что центр города почти не изменился с семидесятых годов. Если б приехала в Ленинград какая-нибудь старушенция, не бывавшая в нем с семидесятых годов, то она почти бы и не заметила, что произошли великие перемены в мире. Она бы снова пошла по Невскому проспекту, обратила бы свое внимание на несколько новых зданий. Это были бы преимущественно банки. Она пошла бы по Надеждинской, по Вознесенскому, по Кирочной, по Шпалерной, по Жуковской, по переулкам — все, по ее мнению, осталось бы как прежде. В дни нашей с вами молодости город любил изящные и дешевые миниатюрки, город был наполнен ими. Ум и юмор служили средством к приманиванию покупателей. Например, вот в этом магазине, насколько вы помните, были такие безделушки: камердинер держит свечу и служит таким образом подсвечником или пеликан, клювом отрезающий конец сигары.

Луна освещала Анфертьева и Локонова.

Локонов молчал.

Анфертьев замолчал тоже.

«В каких же сновидениях эта местность могла бы нуждаться? — подумал он иронически.— Многие сновидения вышли из моды, например, рождественские сновидения: посеребренные ветви и шишки, елки, усыпанные несгораемой ватой. А у меня, между тем, порядочно такого товару! А в общем, вся моя беда в том, что я торговлю презираю. А то бы я нашел сновидения, нужные для данного времени и данной местности».

— Не кажется ли вам,— спросил он Локонова,— что торговля сновидениями — это, пожалуй, самый гнусный вид торговли? Вы нуждаетесь в определенной мечте, и я, ловкий торгаш, поставляю ее вам. Но не всегда я был таким, не всегда я промышлял торговлей. Хотели бы вы молодости? — спросил Анфертьев.— Иногда я задыхаюсь от жажды вернуть уверенность, что я на что-нибудь способен, увидеть прекрасным и достойным всевозможных усилий мир.

Локонов молчал.

— Иногда мне хочется уехать в Италию, не в политическую Италию и не в географическую, а в некую умопостигаемую Италию, под ясное не физическое небо и под чудное, одновременно физическое и не физическое солнце.

Локонов давно уже сидел на ступеньках и делал вид, что дремлет. Ему мучительно было слышать слова Анфертьева. Ведь то, что называл Италией Анфертьев, была его страна сновидений.

— И женщины в моей Италии,— продолжал Анфертьев,— совсем другие, вернее, там нет множества женщин, они все сливаются в один образ, образ той, которую мы ищем в юности.

Локонов стал слегка похрапывать, свистеть носом, но Анфертьев продолжал:

— И вот, собственно говоря, что же остается, когда мы достигаем сорокалетнего возраста или, может быть, тридцатипятилетнего возраста, от этой женщины и от этой прекрасной страны Италии. Они превращаются в сновидение, и мы начинаем предполагать, что мир вокруг зол и пошл, и прекрасное пение соловья превращается для нас в темпераментную песенку.

«Мы двойники,— подумал Локонов,— совсем двойнички, и, должно быть, детство наше и юность были в своем существе совершенно одинаковы».

Наступал рассвет.

Анфертьев, думая, что Локонов спит, и вспоминая, что сырость для спящего опасна, решил разбудить своего спутника. Анфертьев смотрел на свесившуюся голову, на полуоткрытый рот, на бледное лицо тридцатипятилетнего человека. Затем гуляка подошел к парфюмерному магазину и стал рассматривать свое отражение в зеркале. Пожилой, бородатый оборванец с красным носом стоял в магазине.

— Да,— сказал Анфертьев и стал будить Локонова.

— А? — произнес Локонов, делая вид, что просыпается.

Затем он, как бы бессмысленно, посмотрел на будившего. Но постепенно глаза Локонова стали приобретать осмысленное выражение, затем он поднялся.

— Где мы? — спросил Локонов.

— Уже утро,— вместо ответа сказал Анфертьев.— Идемте, опохмелимтесь. Одна старушка недалеко здесь шинкарствует.

«Из любопытства, что ли, пойти?» — подумал Локонов.

Возвращаться домой ему не хотелось.

— В трактире выпить, конечно, веселее, там, знаете, как-то все ироничнее воспринимаешь. Например, пиджак кто-нибудь за четыре кружки продает, и вообще

все окружено какой-то дьявольской атмосферой. Ну что ж, выпьем у шинкарки, а потом и в пивную пойдем, а после на рынок отправимся, послушаем уличное пение, увидим плачущих слушателей, а потом пойдем покатаемся на каруселях, покачаемся на качелях под разбитую музыку и поглядим сверху на народ, толпящийся вокруг.

Локонов согласился с этим планом.

Анфертьев и Локонов сидели верхом на лошадках, неслись по воздуху под украшенным бисером балдахином. Изнутри неслась музыка, впереди неслась нежно обнявшаяся парочка.

Торгаш и покупатель опьянели, музыка, несшаяся изнутри карусели, казалась им народной и почти прекрасной.

Торгашу и покупателю хотелось нестись и нестись, вылететь на какой-то простор и лететь, лететь ради самого полета.

Музыка смолкла. Карусель остановилась.

— Куда же мы теперь пойдем? — спросил Локонов, слезая с коня.

На следующее утро, проснувшись, Локонов вспоминал, что он вчера вместе с Анфертьевым попал к девицам, что было там очень много выпито, что девицы пели какие-то дикие романсы, что Анфертьев, аккомпанируя себе на гитаре, украшенной ленточками, пел какую-то итальянскую арию из какой-то забытой оперы, что потом пошла какая-то дикая возня.

Как он попал в свою комнату, Локонов вспомнить никак не мог.

Локонов, пошатываясь, встал, открыл окно и обернулся. Неожиданно для себя он увидел Анфертьева. Анфертьев спал голый на полу у дверей. По-видимому, в пьяном бреду он совершенно разделся.

Локонову захотелось пить. Стараясь не будить Анфертьева, он поставил кипяток и сел на окно.

Вода закипела, а Анфертьев все продолжал свистеть носом.

Локонов заварил чай, подошел к спящему, наклонился и хотел разбудить его, но полосы на теле распластавшегося человека привлекли его внимание.

Локонов поднялся и в немом удивлении смотрел на Анфертьева.

«Выпоротый человек»,— подумал хозяин.

Локонов вспомнил рассказ о некоем реалисте Пушкинове, которого во время гражданской войны выпороли свои же гимназисты, ставшие добровольцами, за то, что он снимал иконы в школах, как порка разбила его жизнь и превратила в циника.

Локонов всматривался в собутыльника. Перед ним, несомненно, лежал один из таких людей.

«Надо, чтобы он не узнал, что мне известна его тайна».

Локонов прикрыл спящего одеждой.

Прикрыв гостя, Локонов отошел к окну.

Воробьи клевали булку. Вдали виднелась скользкая от дождя береза, под которой еще так недавно сидел циник Анфертьев, подняв свой воротник.

Не оборачиваясь, Локонов просидел до сумерек.

Поезд прошел по железнодорожному мосту.

В огромном доме напротив зажглись огни.

Какой угодно пакт и с кем угодно готов был заключить увядающий человек, чтобы вернуть, хотя бы ненадолго, себе молодость, чтобы отделаться от мучающего его ощущения пустоты мира.

В комнате постепенно светлело. Мучимый бессонницей, встал и подошел к окну. Солнце освещало двор, под окном — следы ног, наполненные водой.

Анфертьев встал страшный, опухший. Глаза у Анфертьева бегали.

Стук в виске начал превращаться во что-то членораздельное.

Анфертьев прислушался.

Голос в виске стал произносить слова вполне отчетливо.

Глава XIII
КРАЖИ

— Вот Солнце — богиня, основательница Японии, мать первого императора. Ее обидел младший брат, бросил шкурку нечистого животного в ее спальную!

Пуншевич закурил и продолжал:

— Богиня в это время ткала. Она рассердилась и скрылась за скалой. Наступила вечная ночь. Боги — ее вассалы — собрались и принялись думать, как посту-

пить, чтобы вызвать ее из-за скалы, чтобы снова появилось Солнце. Устроили пир перед скалой. Долго пели они там и танцевали. Среди них была молодая красавица богиня. Она принялась танцевать так смешно, что даже обнажилась, появились груди. Боги рассмеялись. Богиня-Солнце не выдержала, ей захотелось узнать, что рассмешило так богов. Она слегка раздвинула скалы. Тогда самые сильные боги бросились и совсем раздвинули скалы, и ее заставили выйти. И опять на свете появилось Солнце. Она была последней представительницей патриархального быта, она была последней царствовавшей богиней!

Пуншевич бросил папироску.

— Что,— спросил он у Жулонбина,— неплохо?

— Очень даже плохо,— мрачно ответил Жулонбин.— Если мы каждому предмету будем посвящать столько времени и от каждого предмета уноситься куда-то вдаль...

— Позвольте,— возразил Пуншевич,— я погружаюсь в предмет, а не отвлекаюсь от него.

— Нет уж, позвольте,— резко перебил Жулонбин,— что есть этот предмет? Спичечный коробок. Так давайте рассмотримте его как спичечный коробок. А вы что делаете? Вы уноситесь в мифологию. Что общего, скажите, между спичечным коробком и тем, что вы мне порассказали? Мы должны классифицировать предметы, изучать предметы, так сказать, имманентно. Какое нам дело до всех этих картинок? Ведь мы не дети, которых привлекает пестрота красок и образов. Вот что, дайте мне вашу коллекцию на один вечер.

— Позвольте,— ответил Пуншевич,— вы и так поступаете не совсем корректно. Мы все вносим в общую сокровищницу, а вы даже не внесли и самого пустяшного предмета. Вы все обещаете «завтра, завтра принесу» и никогда и ничего не приносите.

Руки у Жулонбина дрожали.

— Дайте хоть на одну ночь эту коллекцию,— сменил он резкий тон на умоляющий. От волнения он встал. Его лицо носило следы великой горести.

«Не вернет,— подумал Пуншевич,— никак нельзя ему дать. Он жуткий человек, для которого самый процесс накопления является наслаждением. Так для игрока в карты сперва карты являются лишь средством. Так, игрока сперва волнуют доступные в будущем картины, и жизнь представляется удивительной. А за-

тем остается только «выиграю или проиграю». Так и писатель, должно быть, сперва пишет, чтобы раскрыть особый мир. Но нет, писатель, пожалуй, сюда не относится».

Умоляя, Жулонбин стоял и горестно перелистывал тетрадку.

— Если вы мне дадите на одну ночь,— сказал Жулонбин, сжимая тетрадку, видно было, что его руки сами хотят спрятать ее в карман,— то тогда завтра я принесу...

Но тут Жулонбин запнулся. Нет, ни за что он не расстанется с брючными пуговицами, с поломанными жучками, с огрызками карандашей, с этикетками от баклажанов, визитными карточками. Жулонбин чувствовал, что он ничего, решительно ничего не принесет завтра, и знал, что если эта тетрадка попадет в его комнату, то уж больше никто ее не увидит, что, несмотря ни на какие обидные слова, ее у него не выманить.

— Хотя вы и относитесь к вещам совершенно иначе, совсем не так, как мы, но все же я рискну и дам вам на одну ночь эту тетрадь. Но только чтоб к двенадцати часам она была у меня.

— Спасибо,— сказал Жулонбин радостно,— я честный человек!

Ссутулившись, стараясь не смотреть по сторонам, вернулся Жулонбин в свою комнату и лег в постель.

Вбежала Ираида, укрыла его плечи одеялом.

— Отстань, не мешай, я не люблю!

Ираида захлопала в ладоши и стала приставать:

— Расскажи, как ты любишь, расскажи, как ты любишь, нет, ты расскажи, как ты любишь!

— Не топай, иди к маме,— сказал Жулонбин.

— А я видела во сне волка,— воскликнула радостно Ираида.— Он меня обнимал, целовал.

— Постой! Сновидение! — вскричал Жулонбин.— Я совсем позабыл, что решил собирать сны.

И Жулонбин погрузился в мечты о новой огромной области накопления.

Во сне Жулонбин видел, что он борется с Локоновым и отнимает у него накопленные сновидения, что

Локонов падает, что он, Жулонбин, бежит в темноте по крышам, унося имущество Локонова.

«А что, если украсть,— подумал Жулонбин.— Ведь никто не поверит, что можно украсть сновидения».

Глава XIV

Опухший и багровый, Анфертьев чувствовал, что он не может больше работать. Голос в виске мешал ему.

С ужасом Торопуло как-то заметил, как пьет Анфертьев. Пьяница уже брал рюмку обеими руками, склонял голову и пил с каким-то страшным благоговением.

Торопуло зашел с Анфертьевым в первое попавшееся кафе. Он хотел напоить горячим кофеем своего друга, уговорить пойти к доктору.

Анфертьев в своем гороховом жар-жакете на рыбьем меху дрожал, как пойманный карманник.

Поднятый бывший барашковый воротник плохо защищал его голую шею.

Пьяница был обут в огромные английские военного образца ботинки, у кого-то провалявшиеся лет десять.

Благообразный и величавый, в шубе с бобровым воротником, спец Торопуло и темный человек, дурно пахнувший после весело проведенной ночи, подошли к буфету.

Торопуло стал читать вывешенный список имеющихся блюд, но буфетчица с усмешечкой уронила:

— Не читайте, напрасно аппетит возбуждаете, все равно ничего нет. Садитесь за столик, что есть, вам подадут.

Инженер и темная личность сели за столик под яркой пальмой, пахнущей свежей краской.

Подобострастно и бесшумно к ним подкатился старичок профессионал.

Нежно склонив голову, он страдальчески спросил, что им угодно.

— Осетрина есть?

— Нет-с, есть только пряники и коржики. Я вам принесу не по пятнадцать копеек, а по двадцать,— шепнул он на ухо дородному спецу,— они получше.

— Ну что ж, штучек десять дайте и кофе.

— Слушаюсь.

Пятясь задом, исчез профессионал.

С приятной улыбкой профессионал принес и поставил на стол двадцать пряников и четыре стакана кофе.

— Человек в стачке с буфетчицей! — сказал Анфертьев, превозмогая нервную дрожь.

— Ладно,— возразил Торопуло,— пусть меня обдувает, это его профессия.

Но Анфертьев видел, что и других посетителей буфетчица с улыбочкой отваживает от буфета, а старичок ощипывает.

Сообщество с ворами, налетчиками и убийцами доставляло Анфертьеву какое-то нравственное наслаждение. Исковерканный язык их, цинизм, постоянное ощущение опасности действовали, как энергичный соус на расслабленный желудок, то есть вызывали аппетит, желание пожить еще, поострить.

Но арапов, вроде этого старичка и буфетчицы, Анфертьев, привыкший к общению с налетчиками и ворами, презирал. Это были щипуны.

После кафе Торопуло отправился в гости к Анфертьеву. Ему хотелось узнать, как живет его приятель, нельзя ли ему помочь.

Анфертьев шел по улице и невольно, несмотря на все увеличивающуюся дрожь, замечал то, что другие не видят.

Он видел медуз, запускающих свои щупальца в кооперативы, замечал, с каким невинным видом эти люди уносят товары. Он узнавал городушников и лиц, пристально всматривающихся в неосвещенные окна, он знал, что они поднимутся и позвонят, если же никто не ответит, то быстро откроют дверь своим инструментом, возьмут первую попавшуюся вещь и, придав себе невинный вид, смоются.

Убийцы, налетчики были, по мнению Анфертьева, такие же люди, как и все, иногда немного пострашнее.

Он считал, что сам не крадет и не убивает лишь потому, что ему незачем красть и убивать.

Воры знали, что если Анфертьев и не совсем свой, то все же он их не продаст.

— Не бойся, не продам,— сказал как-то карманнику Анфертьев.

— Мы тебя и не боимся — иди продавай!

Дом, в котором жил Анфертьев, напоминал вертеп или Вяземскую лавру. В нем доживал свой век различный темный люд.

Дом был до того густо населен, что из открытых окон неслось зловоние.

Многие комнатки были разделены на четыре части занавесями. Каждая комната в отдельности напоминала табор, полуголые детишки выглядывали из-за занавесей, старухи на столах, обязательно накрытых скатертью, гадали, барышни, оставшись наедине с собой, вдруг начинали жеманничать и рассматривать свою красоту, мужчины хлопать себя по груди и приходить в восторг до визга и топота от своего телосложения.

Все были в долгу друг у друга, и все ненавидели и презирали друг друга.

Когда проходили Анфертьев и Торопуло, кура бегала по двору. В окне третьего этажа показался бюст певца, торговавшего чужими песнями. На голове бюста была элегантная кепка, синий с полосками шарф был обвернут вокруг шеи.

— Эй, Крыса,— закричал бюст,— ты мне нужен. И ты, Анфертьев, тоже зайди.

Бюст, бросив во двор окурок, скрылся.

Табачник на культяпках, огрызнувшись, стал подниматься по лестнице.

— Вот что,— сказал Мировой,— мне инвалид нужен, жизнь вольную и богатую я тебе на старости лет предлагаю, будешь каждый день в стельку пьян, если пожелаешь. Слышал я, как ты поешь, голос у тебя сиплый, гитару ты точно бабу щиплешь. Будешь ты любовные романсы распевать, мою публику это до слез проймет. Кубанку тебе еще завести не мешает. Садись, папаня, сейчас я тебе все толком объясню.

И, не давая вздохнуть Синеперову, бегая жуликоватыми глазами, он, взяв его под руку, посадил к столу, где стояли водочка и закуска.

— Видишь, как я живу. И ты так же жить сможешь. Будут у тебя на столе все дефицитные товары. Девушки тебя любить будут. Заграничные папиросы снова покуривать начнешь. Смотри, у меня денег куры не клюют.

Мировой вынул из кармана кипу кредиток и бросил рядом с водкой.

Стол был накрыт удивительно чисто. Скатерть, синеватая, как рафинад, и подкрахмаленная, спускалась

до середины точеных, украшенных шарами, ножек. Витиеватый, наполненный влагой графин, бюсты и талии рюмок сверкали на солнце. Сочная, полная, необыкновенной величины вобла со своей золотой головой лежала красавицей на блюде. Рядом стройная, чуть подернутая серебряной сединой селедочка раскрывала наполненный зеленью рот. Огромная колбаса с белоснежными кольцами жира чуть касалась тарелки. Желто-красная кетовая икра вызывала горечь во рту.

Все призывало выпить. И эта наполненная светом, удивительно чистая комната, богатая постель с колонной постепенно уменьшающихся подушек заставили Синеперова подумать, что сегодня праздничный день. Но тщетно он пытался припомнить, что могло бы послужить сегодня поводом к столь торжественной чистоте.

Исподлобья он взглянул на богато убранный стол.

— Видишь, папаня, как люди живут,— сказал Мировой.— Это что, начало дня, а вот если ты пойдешь со мной, у тебя совсем мозги вспотеют.

Подхватив инвалида, Мировой подвел его к столу и, отняв костыли, заставил сесть.

— Нагружайся,— сказал он,— пей, ведь не краденое. Пей, раз пришел.

Анфертьев явился.

— Вот что, миляга,— сказал Мировой.— Видишь полфедора? — Он показал Анфертьеву пол-литра.— Ты у меня завтра петь будешь. Я театр организовываю. Хрусты еще в придачу получишь. Ты уж один не пой, я тебя покупаю.

— Ладно, мне все равно,— ответил Анфертьев.— Дай приложиться.

Возвращался Торопуло, а следом за ним шла Манька-Сверчок.

Спустя полчаса после возвращения Торопуло раздался звонок.

Торопуло открыл дверь. Перед Торопуло стоял человек со значком «Готов к труду и обороне».

— Здесь живет Василиса Михайловна?

— Какая Василиса? — удивился Торопуло.

— Это квартира восемь?
— Нет, четыре.
— Извиняюсь.

Анфертьева разбудил страшный крик за стеной. Он прислушался.

— Выну я из тебя твою жемчужную распроклятую душу и вместо нее вставлю...

«Опять милые ссорятся»,— подумал Анфертьев и задремал. Его уже давно не волновали женские крики.

Мировой не договорил. В одной рубашке выскочила Пашка на снег. Двор был пустынен.

Ей показалось, что идет фильм.

Она почти слышала характерный треск, какой бывает при прохождении ленты в аппарате. Ей казалось, что это не с ней происходит. Она остановилась во дворе и не знала, что ей делать. Ворота были заперты, будить дворника было невозможно.

Как затравленный зверь, она закричала, затем завизжала:

— Бьют, бьют! — и покатилась по камням.

В остервенении Мировой бросился за ней, пытался схватить ее за волосы, за рубашку, зажать ей рот, чтоб эта стерва не позорила его, но она отбивалась, кричала все истошнее, невыносимее. Он принялся ее бить ногами, наклоняясь и спрашивая, будет ли она еще кричать.

Он ударил ее ногой под ребра и отошел.

Она поднялась, побежала за ним, крича:

— Как ты смеешь меня бить!

Она ругала его последними словами. Он дал ей в морду, она пожевала и съела оплеуху.

Она стала за ним подниматься по лестнице.

— Проси прощения,— сказал Мировой мрачно.

«Я знаю, как со стервами нужно обращаться,— подумал он,— теперь неделю будет как шелковая».

Анфертьев слышал, как его соседи вернулись.

Когда все успокоилось, он крепко уснул.

Мировой рылся в письменном столе и вполголоса произносил:

— Мать твою так... Что же это значит! Издеваются надо мной, что ли?

Какую бы пачку он ни раскрыл — всюду многокрасочные изображения на конфетных бумажках.

Заглянул Мировой в глубь стола — и там конфетные бумажки.

Чертыхнувшись, он принялся открывать другие ящики — точно пачки кредиток, аккуратно связанные золотыми и серебряными ленточками, лежали пожелтевшие меню.

Прочел Мировой, разобрал и вдруг воспылал негодованием.

— Такого инженера нужно поматросить да в Черном море забросить,— произнес он почти вслух.— Посмеялись надо мной, вместо инженера повара мне подсудобили. Будет у Пашки спина мягче живота. Пусть знает, не фрейер я, чтоб меня на хомут брать!

Но тут его взгляд упал на сундук, стоявший в углу. Быстро открыл его Мировой, стал рыться и запихивать в карманы.

Один сверток раскрылся, сверкнули ордена. Подмигнул Мировой, закрыл сундук.

Точно тень, исчез из комнаты.

Глава XV

ГАСТРОЛЬ АНФЕРТЬЕВА

— Не отставай, гады, — обернувшись, крикнул Мировой и со своей кухаркой пошел вперед.

Два инвалида, один с гитарой, другой с мандолиной, и Анфертьев в качестве гастролера-певца спешили за ним.

На голове гитариста сидела кубанка, во рту торчала папироса, обшитая лакированной кожей культяпка сверкала, как голенище. Другой инвалид был одет попроще, у него не хватало только одной ноги, вместо другой у него была деревяшка с явными следами полена. Петлицу его пиджака украшала красная розетка. Он шел без головного убора.

Наконец компания достигла забора. Позади остались раскачиваемые ветерком ситцевые платья, бабы с квасом и лимонадом, мужчины, расхваливающие брюки, группы любующихся ботинками.

На сломанный ящик Мировой посадил инвалидов, Анфертьева поставил несколько в стороне в качестве каторжника и пропойцы и приказал играть сидящим «Персидский базар».

Когда публики собралось достаточно, Мировой стал повторять громким голосом:

— Граждане, встаньте в круг, иначе оперы не будет.

Но любопытные стояли, лениво переминаясь с ноги на ногу, и иронически посматривали на разорявшегося человека.

Тогда Мировой подошел ко все увеличивающейся толпе.

— Тебе говорят, встань в круг,— сказал он щупленькому человечку и, слегка подталкивая каждого, уговаривал и призывал к порядку.

Наконец круг образовался.

— Сейчас, граждане, жена алкоголика исполнит песнь,— сказал режиссер и отошел в сторону.

В середине живого круга появилась женщина в платке, нарумяненная, с белым, сильно пористым носом и широким тяжелым подбородком. Туфельки у нее были модные, чулки шелковые, как бы смазанные салом, пальто дрянное, скрывавшее фигуру.

Певица надвинула платок еще ниже на глаза, не глядя ни на кого, запела:

Смотрите, граждане, я женщина несчастная,
Больна, измучена, и сил уж больше нет.
Как волк затравленный, хожу я, одинокая,
А мне, товарищи, совсем немного лет.

Была я сильная, высокая, смешливая,
Все пела песенки, как курский соловей,
Ах, юность счастлива и молодость красивая,
Когда не видела я гибели своей.

Я Мишу встретила на клубной вечериночке,
Картину ставили тогда «Багдадский вор»,
Ах, очи карие и желтые ботиночки
Зажгли в душе моей пылающий костер.

Она подошла к Анфертьеву, посмотрела на него и продолжала:

Но если б знала я хоть маленькую долюшку
В тот день сияющий, когда мы в ЗАГС пошли,
Что отдалася я гнилому алкоголику,
Что буду стоптана и смята я в пыли.

Брожу я, нищая, голодная и рваная,
Весь день работаю на мужа, на пропой,
В окно разбитое луна смеется пьяная,
Душа истерзана, объятая тоской.

Не жду я радости, не жду я ласки сладостной,
Получку с фабрики в пивнушку он несет,

От губ искривленных несет сорокаградусной,
В припадках мечется всю ночь он напролет.

Но разве брошу я бездушного, безвольного,
Я не раба, я дочь СССР,
Не надо мужа мне такого алкогольного,
Но вылечит его, наверно, диспансер.

Она обвела взором живой круг и, выдержав паузу, продолжала:

А вы, девчоночки, протрите глазки ясные
И не бросайтеся, как бабочки, на свет,
Пред вами женщина больная и несчастная,
А мне, товарищи, совсем немного лет.

В толпе раздались всхлипывания, женщины сморкались, утирая слезы. Какая-то пожилая баба, отойдя в сторону, рыдала неудержимо. Круг утолщался, задние ряды давили на передние.

Певица, кончив песню, повернулась и пошла к музыкантам, настраивающим свои инструменты.

Мировой снова выровнял круг, затем вынул из желтого портфеля тонкие полупрозрачные бумажки разных цветов, помахал ими в воздухе.

— Граждане, желающие могут получить эту песню за 20 копеек.

Бабы, вздыхая, покупали.

Хулиган подмигнул Крысе. Он вышел на середину. Он открыл рот и, посматривая на свой инструмент, запел:

Раз в цыганскую кибитку
Мы случайно забрели,
Платки красные внакидку,
К нам цыганки подошли.

Одна цыганка молодая
Меня за руку взяла,
Колоду карт в руке держала
И ворожить мне начала.

Пашка, только что исполнявшая песнь жены алкоголика, появилась в красном с голубыми розами, с серебряными разводами платке и, держа карты, произнесла злым голосом:

Ты ее так сильно любишь,
На твоих она глазах,
Но с ней вместе жить не будешь,
Свадьбу топчешь ты в ногах.

Но все время не отходит
От тебя казенный дом,

На свиданье к тебе ходит
Твоя дама с королем.

Цыганка продолжала, пристально смотря на карты:

Берегись же перемены,
Плохи карты для тебя,
Из-за подлой ты измены
Сгубишь душу и себя.

Снова раздался мужской голос:

На том кончила цыганка,
Я за труд ей заплатил.

Мировой вынул и бросил трешку инвалиду. Инвалид бросил ее цыганке. Цыганка подняла и спрятала за голенище. Затем удалилась.

И заныла в сердце ранка,
Будто кто кинжал вонзил.

Едва добрался я до дому
И на кровать упал, как сноп,
И мне не верилось самому,
И положил компресс на лоб.

Собрался немного с силой,
Рассказал ей обо всем.

В это время актриса уже в другом платке появилась и подхватила:

Ах, не верь, о друг мой милый,
С тобой гуляю и умру.

Исполнитель выждал и запел:

Вот прошло немного время,
Напоролся как-то я,
Из гостиницы-отеля
Под конвой берут меня.

Вот казенный дом с решеткой,
Вот свиданье с дорогой,
Жизнью скучной, одинокой
Просидел я год-другой.

Когда вышел на свободу,
Исхудавший от тоски,
Вспомнил карты, ту колоду,
Заломило мне в виски.

Что цыганка предсказала,
Все сбылося наяву,

И убил я за измену
И опять пошел в тюрьму.

Теперь толпу обошла цыганка.

Крыса вышел на своих культяпках.

— «Обманутая любовь»,— сказал он, обводя круг своими большими глазами, и запел тихим голосом:

Все прошло, любовь и сновиденья,
И мечты мои уж не сбылись,
Я любил, страдал ведь так глубоко,
Но пути с тобою не сошлись.

Так прощай, прощай уже навеки,
Я не буду больше вспоминать,
Я любовь свою теперь зарою
И заставлю сердце замолчать.

Я уйду туда, где нет неправды,
Где люди честнее нас живут,
Там, наверно, руку мне протянут
И, наверно, там меня поймут.

Кончив, он обошел круг, держа в руках розовую бумажку.

Торговля шла бойко.

Под аккомпанемент всего хора Анфертьев исполнил песню, сочиненную Мировым на недавно бывшее событие:

На одной из рабочих окраин,
В трех шагах от Московских ворот,
Там шлангбаум стоит, словно Каин,
Там, где ветка имеет проход.

Как-то утром к заставским заводам
На призывные звуки гудков
Шла восьмерка, набита народом,
Часть народа висела с боков.

Толкотня, визг и смех по вагонам,
Разговор меж собою вели —
И у всех были бодрые лица,
Не предвидели близкой беды.

К злополучному месту подъехав,
Тут вожатый вагон тормозил,
В это время с вокзала по ветке
К тому месту состав подходил.

Воздух криками вдруг огласился,
Треск вагона и звуки стекла.
И трамвайный вагон очутился
Под товарным составом слона.

Тут картина была так ужасна,
Там спасенья никто не искал.
До чего это было всем ясно —
Раз вагон под вагоном лежал.

Песня имела огромный успех и была раскуплена моментально.

Вернувшись в свою комнату, Мировой, окрыленный очередным успехом, принялся сочинять новые песни. Перед ним стояла бутылка водки. Он сочинял песню, которую публика с руками будет рвать.

В комнате Мирового висела фотография. Он выдавал себя за бывшего партизана, комиссара. Сидит он за столом, на столе два нагана, в руках по нагану.

В годы гражданской войны Мировой боговал на Пушкинской и на Лиговке, доставлял своим приспешникам наиприятнейшее средство к замене всех благ земных, правда, в те годы он и сам его употреблял в несметном количестве.

Тогда он имел обыкновение лежать в своей комнате на Пушкинской улице в доме, наполненном торгующими собой женщинами, и изображать больного, не встающего с постели. В подушках у него хранились дающие блаженство пакеты, за которые отдавали и кольца, и портсигары, и золотые часы, верхнюю и нижнюю одежду, крали и приносили целыми буханками ценный, не менее золота, хлеб, и в синих пакетах рафинад, и кожаные куртки, и водолазные сапоги, на них тогда была мода. Все эти предметы на миг появлялись в комнате Мирового и исчезали бесследно. Женщины, виртуозно ругающиеся, толпились у постели Мирового, вымаливая часами хоть заначку. В его комнате было жарко, как в бане. Он лежал, молодой и сильный.

Напротив в садике, у памятника Пушкину, собирались его помощники, сидели на скамейках, ждали его пробуждения или того момента, когда наступит их очередь. В его комнате, ради безопасности, мужчинам толпиться не разрешалось. Помощники сидели на зеленых

скамейках, под городскими чахлыми деревьями, курили старинные папиросы, — все, что относилось к мирному времени, уже тогда называлось старинным,— понюхивали чистейший порошок и волновались, им уже начинало казаться, что их преследуют.

Не все помощники были у Мирового профессионалы в ту эпоху.

Были у него и широкоплечие матросы, и застенчивые прапорщики, и решившие, что не стоит учиться, что все равно все пропадет даром, студенты, и банковские служащие, одетые как иностранцы.

— В свое время я на пружинах скакал, почти все припухли, а я вот живу, песни сочиняю.

Ему вспомнилась удачная ночь на Выборгской стороне, когда он в белом балахоне выскочил из-за забора и, приставив перо к горлу, заставил испуганного старикашку донага раздеться и бежать по снегу,— вот смеху-то было,— и как в брючном поясе у безобидного на вид старикашки оказались бриллианты. «Да, теперь ночью бриллиантов никто не проносит,— подумал он,— искать теперь бриллиантов не приходится».

— Давай, гад, хоть с тобой в колотушки сыграем,— сказал Мировой явившемуся за водкой и деньгами Анфертьеву.— Что-то мои гады не идут.

И, сдавая кованые карты, от скуки запел Мировой старинную, сложенную им в годы разбоев песню:

Эх, яблочко, на подоконничке,
В Ленинграде развелись живы покойнички,
На ногах у них пружины,
А в глазах у них огонь,
Раздевай, товарищ, шубу,
Я возьму ее с собой.

— Ты какой-то Вийон новый,— сказал Анфертьев, усмехаясь.

— Это еще что? — спросил Мировой.

— Поэт был такой французский, стихи сочинял, грабежами занимался. А потом его чуть не повесили.

— Ну, меня-то не повесят,— сказал Мировой.

Мировой достал люстру и налил стакан.

— Пей, гад, в среду опять приди петь.

— А хрусты? — спросил Анфертьев.

— Пока бери трешку. Следующий раз остальное. То запьешь и в концерте участвовать не сможешь.

Когда ушел Анфертьев, Мировой стал готовиться к настоящему делу. Он поджидал Вшивую Горку и Ваньку-Шофера.

Вынул из-под пола набор деревянных пистолетов и стал перебирать. Издали они выглядели настоящими.

«С игрушками приходится возиться,— подумал он.— То ли дело настоящий шпалер. Теперь песнями приходится промышлять, а раньше для души сочинял их».

Стояла луна. Анфертьев шел в своей просмерделой одежде, одинокий и несчастный.

— Вот все, что есть,— сказал Локонов, наливая рюмку и ставя на стол.

Он повернулся и опрокинул рукавом рюмку.

Анфертьев с минуту смотрел на опрокинутую рюмку, затем в глаза Локонова, стараясь разгадать что-то.

Лицо у пьяницы исказилось, он подошел вплотную к Локонову. Голос в виске шептал ему, что его травят.

— Травишь,— повторил Анфертьев.

В этой рюмке сосредоточилось для Анфертьева спокойствие его души, возможность человечески провести несколько часов.

Анфертьев был вне себя. Руки его сами сжимались. В глазах потемнело. Голос в виске звучал все настойчивее. Вся комната наполнилась голосами.

Анфертьев почувствовал облегчение. Пошатываясь, багровый, с запекшимся ртом, вышел Анфертьев от Локонова. Он пошел к киоскам допивать пиво, остающееся в кружках, его отгоняли. Он странствовал по всему городу.

Наконец его угостили. Он свалился и уснул.

Жулонбин постучал. Никто не ответил. Жулонбин обрадовался: он подойдет к столу, откроет ящик, возьмет и незаметно скроется.

Жулонбин отворил дверь. Вошел в комнату.

Он отпрянул. На полу лежал, раскинув руки, Локонов.

В растворенную дверь заглянули. Раздался истошный женский визг. Жулонбин попытался скрыться.

За ним погнались. Толпа все увеличивалась. Жулонбин бежал изо всех сил.

— Лови! Держи! — кричали из толпы.

Начали раздаваться свистки.

Из кооперативов стали выбегать люди.

Когда он пробегал мимо пивной, парень, стоявший у дверей, подставил ему ножку.

Жулонбин растянулся со всего размаху. Его моментально окружили и повели.

⟨*1933?*⟩

СОДЕРЖАНИЕ

Вагинов К. К.

В12 Козлиная песнь; Труды и дни Свистонова; Бамбочада; Гарпагониана/Сост. А. Вагиновой; Вступ. статья Т. Никольской; Подгот. текста Т. Никольской и В. Эрля.— М.: Худож. лит., 1991. 475 с.

ISBN 5-280-01810-4

Константин Константинович Вагинов (1899—1934) известен как автор экспериментальной гротесковой прозы. В книгу включены романы: «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова», «Бамбочада» и «Гарпагониана»

В $\frac{4702010201-248}{028(01)-91}$ 12-91

ББК 84Р7

Константин Константинович
ВАГИНОВ

КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ
ТРУДЫ И ДНИ СВИСТОНОВА
БАМБОЧАДА
ГАРПАГОНИАНА

Зав. редакцией С. Князева
Редакторы Ю. Розенблюм, О. Ларкина
Художественный редактор Г. Масляненко
Технический редактор Г. Морозова
Корректор Л. Овчинникова

ИБ № 6453

Сдано в набор 01.11.90. Подписано в печать 24.07.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 24,98. Тираж 100 000 экз. Изд. № I-4040. Заказ 1565

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ВЫПУСТИЛО В СЕРИИ «ЗАБЫТАЯ КНИГА»:

1989

Белый Андрей. Серебряный голубь. Повесть в семи главах.
Вагинов Конст. Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бамбочада.
Гумилев Л. Стихи. Письма о русской поэзии.
Добычин Л. Город Эн. Рассказы.
Парнас дыбом. Литературные пародии.
Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. Народный дневник. Праздники и обычаи.

1990

Вяземский Павел. Письма и записки Оммер де Гелль.

Гроссман Л. Записки д'Аршиака. Пушкин в театральных креслах.

Жданов Лев. Последний фаворит. (Репринтное воспроизведение издания 1914 г.)

Кузмин М. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро. Повесть.

Ропшин В. (Б. Савинков). То, чего не было. Роман. Сборник. Лубочная книга.

Гоголь Н. В. Размышления о божественной литургии.

Церковно-народный месяцеслов на Руси И. П. Калинского.

Мысли мудрых людей на каждый день. Собраны Л. Н. Толстым. (Репринтное воспроизведение издания 1903 г.)

1991

Белый Андрей. Симфонии.
Шервинский С. Ост-Индия. Роман.
Карпов Пимен. Пламень. Роман. Русский ковчег. Книга стихотворений.
Из глубины. Отрывки воспоминаний.
Гиппиус З. Н. Стихотворения. Живые лица.

